

НОВЫЙ Журнал



НЬЮ-ЙОРК

**THE
NEW REVIEW**
Новый Журнал

Основатели М. Алданов и М. Цетлин – 1942
С 1946 по 1959 редактор М. Карпович
С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев
С 1966 по 1975 редактор Роман Гуль
С 1975 по 1976 редакция: Р. Гуль (главный редактор)
Г. Андреев, Л. Ржевский
1976 – 1981 редактор Роман Гуль
1981 – 1983 редакция: Р. Гуль (главный редактор),
Е. Магеровский
1984 – 1986 редакция: Р. Гуль (главный редактор),
Ю. Кашкарров, Е. Магеровский
1986 – 1990 Редакционная коллегия
1990 – 1994 редактор Юрий Кашкарров
1994 – 2005 редактор Вадим Крейд

Восемьдесят второй год издания

Главный редактор – Марина Адамович

Редакционная коллегия:

Марина Гарбер, Ренэ Герра, Елена Дубровина, Мария Рубинс,
Александра Смит

Ответственный секретарь – Наталья Бернадская

Редакция: Владимир Гандельсман, Наталья Гастева, Рашель Миневич

The New Review, Inc.:

T.Chebotareva; G.Glinka; S.Kishkovskaya, P.Khlebnikov; G.Mesniaeff;
A.Neratoff; N.Sluchevsky, P.Tcherepnine; V.Torchilin; L.Vulfina,
Y.Vulfin, M.Adamovitch.

Обложка художника М. Добужинского

THE NEW REVIEW

№ 316, сентябрь 2024

© 2024 by THE NEW REVIEW

Рукописи не возвращаются

Перепечатка материалов «Нового Журнала» без письменного разрешения редакции запрещается. Размещение материалов «Нового Журнала» онлайн без письменного разрешения редакции запрещается.

Редакция не несет ответственность за содержание публикуемых материалов. Авторы несут ответственность за достоверность приводимых ими фактов и цитат.

THE NEW REVIEW (ISSN 0029–5337) is published quarterly
by The New Review, Inc., 1216 Broadway, 2nd floor, New York, N.Y.
10001. Periodical postage paid at New York, N.Y. Publication No.
596680. POSTMASTER: send address changes to The New Review,
1216 Broadway, 2nd floor, New York, N.Y. 10001

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ ИМЕНИ МАРКА АЛДАНОВА	
Итоги 2024 года	4

ПРОЗА. ПОЭЗИЯ

<i>Владимир Гржонко</i> – Дом. Часть 4. Рай. Роман	5
<i>Татьяна Вольтская</i> – Стихи	30
<i>Максим Д. Шраер</i> – Невольные терцины. Стихи	34
<i>Борис Фабрикант</i> – Стихи	38
<i>Полина Брейтер</i> – Мне восемьдесят лет. Повесть	42
<i>Эдуард Хвиловский</i> – Стихи	108
<i>Алексей Баклан</i> – Стихи	113
<i>Галина Климова</i> – Стихи	117
<i>Герман Власов</i> – Стихи	121
<i>Владимир Торчилин</i> – Два рассказа про него	125
<i>Григорий Марк</i> – «В то время несчастья...» Стихи	134
<i>Анна Гальберштадт</i> – Ладонь, выстукивающая ритм. Из литовской поэзии. Переводы	140
<i>Василий Львов</i> – Человек спустя. Поэма	148
<i>Евгений Сливкин</i> – Стихи	169
<i>Евгений Чигрин</i> – Миражи и сомнамбулы. Стихи	173

ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

<i>Максим Макаров</i> – Страсти по... Фавьерское лето Марины Цветаевой (1935)	179
<i>Лариса Вульфина</i> – «Мы все идем одним путем – к вечности»	232
Письма С. Зёрновой к Ф. Рожанковскому (Публ. – Л. Вульфина) ...	246

КУЛЬТУРА. ИСТОРИЯ

<i>Елена Кулен</i> – Федор Степун. Опыт биографии	253
<i>Игорь Мандель, Михаил Эпштейн</i> – Что в имени тебе моем?.. Русские писатели в статистике интернета	309
<i>Ренэ Герра</i> – «Тот дивный мир, где шли мы рядом» Иван Бунин и Павел Нилус	325

КНИГА И СУДЬБА

<i>Людмила Оболенская-Флам</i> – Вики – русская княгиня во Французском Сопrotивлении	333
---	-----

ЭССЕ. ОЧЕРКИ

<i>Дмитрий Бобышев</i> – Об «Ахматовских сиротах». Выступление на конференции в Принстоне. 2024	350
--	-----

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

Памяти Бахыта Кенжеева (1950–2024)	361
--	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ ИМ. МАРКА АЛДАНОВА. 2024

Подведены итоги конкурса на соискание звания лауреата Литературной премии им. Марка Алданова, 2024 год. В конкурсе принимали участие прозаики из Великобритании, Грузии, Израиля, Кыргызстана, Латвии, Молдовы, США, Узбекистана, Черногории, Чехии, Эстонии. Особенно активно участвовали писатели Израиля и США.

ШОРТ-ЛИСТ ПРЕМИИ (в алфавитном порядке):

Владимир Лидский (*Кыргызская Республика*) – «Каждую минуту»
Улья Нова (*Латвия*) – «Баронесса Ниццета»
Ирина Пярт (*Эстония*) – «Бестселлер»
Василий Розен (*Израиль*) – «Алекс Грин: Глиняное письмо»
Наталия Явчуновская (*Израиль*) – «Перелет Чкалова через Альпы»

Призовые места распределились следующим образом:

1-е место:

Наталия Явчуновская (*Израиль*) – «Перелет Чкалова через Альпы»

2-е место:

Ирина Пярт (*Эстония*) – «Бестселлер»

3-е место:

Василий Розен (*Израиль*) – «Алекс Грин: Глиняное письмо»

Всем лауреатам высланы дипломы и подарена годовая бесплатная подписка на «Новый Журнал». Тексты лауреатов будут опубликованы в «Новом Журнале» и на сайте журнала. Корпорация, редакционная коллега и редакция «Нового Журнала» поздравляют лауреатов и желают им новых творческих успехов!

Членами жюри в 2024 году были: **Алла Ройланс**, ведущий сотрудник-консультант библиотеки Нью-Йоркского университета (США); **Ирина Муравьева**, прозаик, номинант на Букеровскую премию 2005 года, шорт-лист Бунинской премии (США); **Марк Уральский**, литературовед, историк, публицист (Германия); **Владимир Гржонко**, прозаик, журналист, радиоведущий, дважды лауреат Премии им. Марка Алданова (США); **Вадим Ярмолинец**, прозаик, журналист, организатор литературной премии им. О.Генри «Дары волхвов» (США) и главный редактор «Нового Журнала» **Марина Адамович** (США).

Об условиях приема рукописей на конкурс «Литературная премия им. Марка Алданова. 2025» см. сайт НЖ: newreviewinc.com

Оргкомитет Премии им. Марка Алданова

ПРОЗА. ПОЭЗИЯ

Владимир Гржонко

Дом

Главы из романа*

Часть четвертая. РАЙ

Всё в жизни, как известно, меняется. Наступили другие времена, к которым Дом оказался совсем не готов. Одряхлевшее было эхо вдруг словно помолодело и заметалось по двору, наполненному визгом электропил и дробью отбойных молотков. В воплях эха отчетливо слышалось отчаянное: «Помогите!»

Но, как я уже сказал, времена наступили новые, и не только к эху, но и к людям никто тогда особенно не прислушивался. Дело в том, что великий и могучий Советский Союз внезапно раскололся вдребезги, и снова наступило безвластие. Стоявший в центре города Дом стал лакомой добычей для неожиданно возникшего класса скоробогачей, прозванных в народе, вне зависимости от их национальности, «новыми русскими».

Всех жильцов – кого подкупом, кого угрозами – выселили вон из Дома и после основательной реконструкции собирались открыть в нем торговый центр. Даже мой сильно постаревший сосед дядя Гоша безропотно переехал со всем семейством в панельную многоэтажку где-то на окраине.

– Ну а чего ты хотел? – со свойственной ему прямолинейностью спросил меня дядя Гоша при встрече. – Чтобы я этим бандюкам партизанскую войну устраивал? Так себе дороже. Я ж не этот... не Марат Казей какой-нибудь.

Дядя Гоша задумался, покачал головой и добавил, что, конечно, если бы была жива *старая гвардия* вроде той же Матрены Сысоевны Зуевой, Дом нашествию чужаков так легко не поддался бы. Но из *старой гвардии* давно уже никого не осталось. А новые жильцы, увы, не обладали ни необходимой твердостью духа, ни, тем более, той преданностью Дому, которая отличала его первых послереволюционных обитателей.

– Вот прихожу иногда сюда, к Дому, вспоминаю молодость, как тут оно всё было... – пригорюнившись, признался дядя Гоша. И отхлебнул пива.

* Продолжение, см. «Новый Журнал», № 313, 2023, и № 314, 2024.

Мы с ним сидели у окна в новеньком баре, открытом на месте столовой, которой некогда заведовала Лилия Васильевна, известная еще как Лилька-Оторва, и смотрели на Дом.

В девяностые у Дома несколько раз менялись хозяева, пока в конце концов он не оказался в собственности бизнесмена Кильдеева Феликса Равильевича, в определенных кругах известного по кличке Феликс-Унитаз. По словам дяди Гоши, Феликс Равильевич, подобно многим в то время, начал свою деятельность с двух ларьков, торговавших всякой лежалой всячиной. Ну а потом, уже поднакопив денег, стал торговать сантехникой, в основном унитазами, поставляемыми из разных капиталистических стран вроде Франции или Италии.

– Он вначале-то серой мышкой был, – чуть захмелевший дядя Гоша невесело рассмеялся. – Это уж потом выбился в крутые шишки. *Приподнялся*, как теперь говорят.

И так преуспел в своем деле, что болтали, будто завел он себе не только жену-победительницу местного конкурса красоты, но и, как положено «новому русскому», золотую сантехнику. И что будто бы мог он на спор с завязанными глазами, присев на унитаз, определить не только страну-производителя, но даже и модель данного сантехнического изделия. Впрочем, про это, конечно, врал.

Владельцем Дома – или, вернее, теперь торгового центра, – Феликс Равильевич оказался совершенно случайно. Дело в том, что сначала Дом приобрел некто Завьялов Василий Никандрович по кличке Плохиш. Стучилось это после череды тайных подкупов и откровенных взяток, а также внезапных исчезновений и показательных убийств желавших приобрести Дом конкурентов. Пожалуй, только покойный Иероним Петрович Бох, с его боевым опытом и хваткой, мог бы во всей полноте оценить объем проделанной Плохишом работы.

И так уж случилось, что вторая по счету жена Феликса Равильевича, Ева Ричардовна, была дочерью родной сестры Плохиша, то есть приходилась ему племянницей. Нужно сказать, что до своей победы на конкурсе красоты и последующего замужества работала Ева Ричардовна вместе с дядюшкой в баре гостиницы «Советская», где при помощи своих чар и порции клофелина избавляла доверчивых командировочных от денег, колец, часов и прочих ненужных им мелочей, не брезгуя даже золотыми коронками. И потому была известна в определенных кругах под кличкой «Фрау Кох».

Конечно, знал Феликс Равильевич о прошлом Евы Ричардовны, но всё равно женился. Во-первых, потому что была она действительно хороша собой: рыжая, с большой крепкой грудью, тонкой талией и длинными ногами. Ну и, конечно, такой родственник, как Плохиш, показался Феликсу Равильевичу ценным приобретением. Тем более что предложение взять Еву Ричардовну в жены как раз от самого

Плохиша и исходило. И отказывать ему было бы по меньшей мере неосторожно.

Хотя порой, подвыпив, Ева Ричардовна могла вспомнить лихое боевое прошлое и те незабываемые ощущения, которые она испытывала, когда, пользуясь полной властью над бессознательным клиентом, вырывала у него изо рта золотишко... Так что брать у нее из рук питье, даже если это был невинный апельсиновый сок, Феликс Равильевич побаивался.

И вот спустя некоторое время после того, как Плохиш стал владельцем Дома, расселил жильцов и начал коренную его перестройку, вызвал он к себе Феликса Равильевича. Конечно, к тому моменту и сам Феликс Равильевич был в городе человеком достаточно уважаемым. Но тем не менее хорошо понимал разницу в положении.

– Ты, Филя, не первый день меня знаешь, – состроив благодатную мину, произнес Плохиш, – я тебе плохого не желаю. Иначе бы на племяшке не женил. Кстати, не обижаешь ее?

– Нет, конечно, Василий Никандрович, – покорно ответил Феликс Равильевич, хотя терпеть не мог, когда его называли Филей. – Я и к вам, и к ней со всей душой. Как же иначе?

– Ну да, ну да, – покивал головой Плохиш, – такая девка... Ты, главное, спиной к ней не поворачивайся!

И Плохиш расхохотался. Знал он свою племяшку. Впрочем, смех тут же и оборвал.

– Тут такое дело, Филя. Хочу я тебе свой торговый центр продать.

– Да как же, – Феликс Равильевич даже задохнулся от неожиданности, – ведь это же столько трудов вам стоило... Да и вообще, дорого, наверное.

– Ну, по цене мы договоримся, не чужие, кажись. Ты сюда слушай...

И рассказал Плохиш изумленному Феликсу Равильевичу, что готов он продать торговый центр совсем задешево – меньше чем за полцены. А почему, это уж не его, Филя, дело. Обстоятельства так сложились. Да такие обстоятельства, что лучше в них носа не совать. Правда, есть и условие.

– Вот оно, началось, – промелькнуло в голове у Феликса Равильевича.

По словам Плохиша получалось, что готов он уступить торговый центр, но за это Феликс Равильевич должен застраховать свою жизнь на крупную сумму. Скажем, на десять лет. А страховой полис оставить жене.

– Ты не пугайся, Филя! – Плохиш рассмеялся, показывая железные, еще в зоне поставленные челюсти. – Никто тебя убивать не собирается. Страховка эта – просто обеспечение для Евки. Мало ли, бизнес всегда риск. А большой бизнес – большой риск, сам понимаешь. Торговый центр – это тебе не толчки, которые ты в левом коопе-

ративе мастыришь, лохам вместо импортной сантехники втюхиваешь. Тут игры другие. Как-никак ты, Филя, мой родственник. Это всем известно. Так что через десять лет, если всё пойдет хорошо, получишь свои бабки обратно – и все дела!

Феликс Равильевич, конечно, знал про бесплатный сыр, который бывает только в мышеловке. И знал, что, действительно, большой бизнес – большой риск. Но понимал он и то, что вряд ли Плохиш задумал убить его, чтобы получить страховку. Во-первых, торговый центр всё равно стоит дороже. А если Плохиш вздумает отобрать его обратно, так и тут убивать Феликса Равильевича вроде бы незачем. С другой стороны, устранив Феликса Равильевича, получит Плохиш сразу и торговый центр, и страховку. Но как отказать Плохишу?..

– Да, умен был Феликс Равильевич, умен и чуток, – как всякий хороший рассказчик, дядя Гоша сделал паузу и со вкусом отпил из кружки. – Только откуда ж ему было знать, что Дом, хоть и перестроенный в этот ихний магазин, а все же Дом. С ним всегда всё было непросто. Да про это ты и сам понимаешь.

В общем, достал Феликс Равильевич из загашников деньги, да еще одолжил у знакомых, и наконец-то вступил во владение Домом – то есть уже почти готовым торговым центром. Оставалось только придумать ему название.

А вскорости, одним прекрасным майским утром, пришло известие, что попал Плохиш в автокатастрофу. Точнее, был взорван вместе с охраной и своим шестисотым мерседесом. Такая вот незадача... Отчего-то эта, в общем, печальная новость Феликса Равильевича не только ужаснула, но и обрадовала. И, войдя в еще пахнувший свежей краской холл торгового центра, показался себе Феликс Равильевич человеком необычайно сильным и удачливым.

Ощущение это было хоть и пьянящим, но, конечно, обманчивым, и Феликс Равильевич на этот счет не заблуждался. Но всё же, глядя через зеркальную витрину на фонтан во дворе, на помолодевшего стараниями лучших реставраторов, вызванных из ленинградского Эрмитажа, мраморного Пана, Феликс Равильевич сделал глубокий вдох, и голова у него чуть закружилась. Растроганный, он преисполнился умиления и выдохнул: «Да это же просто рай какой-то!»

Так и было найдено название торговому центру. Коротко и просто – «Рай».

Занятно, что жена Ева Ричардовна решила, что назван торговый центр не просто так, а с намеком. В том смысле, что кому же должен принадлежать Рай, как не ей, Еве. И в благодарность, несмотря на траур по дяде, устроила мужу ночь, по ее словам, незабываемой любви. Феликс Равильевич, который и раньше опасался ее приторных ласк, вдаваться в объяснения не стал. Пусть себе тешится.

Любопытно, что приглашенный московский специалист, или по-новомодному маркетолог, от названия тоже пришел в восторг и тут

же предложил соответствующее оформление торговых залов и витрин.

Стоила эта затея довольно дорого, но на радостях Феликс Равильевич решил не скупиться. И дальше всё покатилося как бы само собой. Первые три этажа были отданы под торговые помещения или, как теперь говорят, бутики. А вот последний, четвертый этаж целиком был предназначен для обслуживания особых гостей. Столичный специалист-маркетолог называл это ВИП-зоной, хотя слово «зона» Феликсу Равильевичу отчего-то не понравилось.

Согласно замыслу шустрого маркетолога посетителей здесь должны были обслуживать едва прикрытые листиками «Евы» самых голливудских внешних данных. И еще много чего придумал этот маркетолог. Например, кабинет Феликса Равильевича он предложил расположить в остекленной полусфере прямо над фонтаном, причем часть пола сделать из специального толстого стекла так, чтобы ушедшего к Феликсу Равильевичу посетителя создавалось впечатление, будто парит он словно бы в облаках.

Всё складывалось как нельзя лучше: строительство закончилось, и даже пригласительные билеты на открытие центра с выведенной золотом надписью «Добро пожаловать в 'Рай'!» уже были разосланы всем самым влиятельным людям города.

– Там такие бобры были приглашены, обалдеешь, – дядя Гоша со значением прищурился. – Ну, простой-то народ должны были через день в «Рай» пустить. А открытие только для самых-самых было назначено. Губернатор области – и тот в списках состоял... Ты это, закажи-ка еще пивка...

И вот однажды, когда Феликс Равильевич неспешно прохаживался по пахнувшим свежей краской залам, его окликнул начальник охраны из бывшей гэбэшной шушеры.

– Ну? – встревожился Феликс Равильевич.

До недавнего времени не было у него никакой охраны, и поэтому он еще не научился разговаривать с людьми так, как это делал покойный Плохиш: с маской невозмутимости на лице и почти не открывая рта, заставляя подчиненного мучительно вслушиваться.

– Да тут... – замаялся начальник охраны, – глупость какая-то... На стене в вашем кабинете...

– Так что там приключилось? Опять рабочие накосячили?

– Да нет. Гады какие-то... Непонятно даже, как смогли, объект-то охраняется, – заторопился начальник охраны, семена за Феликсом Равильевичем на четвертый этаж, мимо ВИП-зоны, в новый кабинет босса.

Лифты с выходящими во двор стеклянными шахтами пока еще не работали, и подниматься пришлось по лестнице. Пока они добрались

до кабинета, изрядно растолстевший за последнее время Феликс Равильевич так запыхался, что пару минут ничего сказать не мог. А только изумленно смотрел на стенку. Эта полукруглая стенка отделяла часть кабинета с огромным столом, за которым по замыслу маркетолога у Феликса Равильевича должны были проходить самые важные встречи.

Стол представлял собой настоящую лесную поляну и был покрыт натуральной травой, в которой кое-где росли ромашки и васильки. А в самой середине стола, прихотливо извиваясь, тек ручей, где должны были охлаждаться бутылки с элитной водкой. Кроме того, гости могли ловить в ручье рыбу, которую тут же пускали бы на уху. Над столом висел специальный потолок-небо, устроенный таким образом, чтобы на нем, если нужно, светило солнце, либо, по желанию гостей, луна.

Затея эта Феликсу Равильевичу очень понравилась. Ну действительно, если «накрывать поляну», как теперь стало называться любое застолье, так уж пусть это будет настоящая поляна. Он представил себе удивление больших людей, которых посадит за этот стол, и даже засмеялся.

Так вот, на той самой полукруглой стене были наклеены фото-обои «Березовая роща», за которыми Феликс Равильевич специально посылал гонца в Испанию. Они и сами по себе стоили кучу денег. Дело в том, что обои эти были объемными и вдобавок освещение на них менялось. Благодаря спрятанному в противоположной стене проктору роща казалась то прозрачной утренней, то золотистой, освещенной предзакатным солнцем, а то таинственной ночной, с крупными звездами, просвечивавшими сквозь кроны. Больше ни у кого в городе таких обоев не было!

И вот теперь прямо по березкам черной краской, огромными корявыми буквами было написано «Слава КПСС». И издевательский восклицательный знак в конце поставлен!

– Это что такое?! – заорал Феликс Равильевич так, что начальник охраны вздрогнул.

– Давай-ка сюда этого... как его... маркетолога, – чуть придя в себя, распорядился Феликс Равильевич. – Да побыстрее!

Пока бегали звать маркетолога, начальник охраны, который еще не знал, как ему относиться к новому боссу, и на всякий случай боялся, стал клясться и божиться, что вверенный ему объект охраняется лучше государственной границы СССР. И вообще, дело тут, что называется, внутреннее, он это натренированным за годы слежки за диссидентами нюхом чувствует. Скорее всего, крот, на конкурентов работающий, у них завелся. И мгновенно перейдя от одного сленга к другому, заверил босса, что зуб дает, это кто-то из своих крысятничает.

Феликс Равильевич скривил лицо и кивнул на надпись.

– Доохранялись, блин!

Впрочем, мысль о том, что завелась у него крыса, показалась Феликсу Равильевичу вполне здоровой – и оттого страшной. Эйфория от

смерти Плохиша сменилось ощущением незащищенности. От Плохиша хоть было понятно, чего ждать. А теперь таинственные враги, похоже, окружали его со всех сторон. Феликсу Равильевичу стало не по себе. Но усилием воли он отогнал от себя дурные предчувствия.

– Ладно, с этим чуть позже разберемся, – Феликс Равильевич перевел взгляд на прибежавшего маркетолога. – Что делать-то будем? Стереть краску можно или?..

Маркетолог, что-то бормоча себе под нос, полез обнюхивать треклятую стену. Потом послунявил палец, дотронулся до надписи и с облегчением вздохнул. Оказывается, краска, которой пользовался преступник, была всего-навсего акварелью. А это значит, что с пластиковых обоев ее можно было смыть обычной водой. Маркетолог тут же сбегал за тряпкой и прямо на глазах у всех присутствующих эту подлую надпись стер. Правда, внимательный Феликс Равильевич заметил, что глаза при этом маркетолог отводил – и как-то смущенно похмыкивал.

Маркетолога отпустили, а желавший загладить свой промах начальник охраны напрягся и выдал на-гора идею: а что если устроить у стены засаду и посмотреть, не появится ли злоумышленник?

Феликсу Равильевичу идея понравилась. В самом деле, тот, кто изгадил стену, увидев, что надпись стерли, вполне может попробовать изгадить ее снова. И велел Феликс Равильевич поставить у стенки человечка, чтобы, значит, заметно приглядывал.

– Только не к стенке, – пошутил Феликс Равильевич. – А именно у стенки. Пусть спрячется и глаз не спускает. Обои – это ерунда. Но вот перебежчик... тут есть над чем подумать.

В ту ночь приснился Феликсу Равильевичу странный сон. Будто бы был он снова совсем маленьким – лет трех, наверное, не больше. И, значит, лето, день уже под вечер. Играет он во дворе с только что подаренной отцом машинкой. Маленькой такой ярко-красной жестяной машинкой с кремовым радиатором и поднимающимся кузовом. Сначала он, присев на корточки, упоенно возит машинку по асфальту, а потом решает посмотреть, как далеко она может откатиться, если ее хорошенечко толкнуть. Машинка катится, весело подпрыгивая на выбоинах. И тут..

Проснувшись, Феликс Равильевич вспомнил, что это был не совсем сон. Вернее, приснилось ему то, что когда-то случилось в действительности. Он хорошо запомнил показавшуюся ему, малышу, огромной ногу в женской босоножке, наступившую прямо на капот его замечательной машинки. И собственный отчаянный плач он тоже запомнил. И даже то запомнил, что больше горя от потерянной игрушки было отчаяние от такой вот безвозвратности мгновения. Только что была она – красивая, новенькая, блестящая. И если бы он ее из рук не выпустил, то всё сложилось бы по-другому...

И еще тетка эта. Хорошо, что не видели в тот момент Феликса Равильевича его подчиненные. Потому что, когда – то ли во сне, то ли

наву – поднял он на эту тетку глаза, то сказала она ему... Феликс Равильевич никак не мог вспомнить, что именно она сказала, только стало ему так страшно, как еще никогда в жизни не было.

Утром позвонил начальник охраны, и уже по одному его радостному тону понял Феликс Равильевич, что сработала-таки уловка.

– Сейчас буду, – не дожидаясь подробностей, буркнул он.

И бросил трубку. Это было важно – всегда первым обрывать разговор с подчиненными. Чтобы помнили, кто тут главный. Плохиш всегда так делал.

Пока ехал в своем новеньком, с иголки, джипе к Дому, прикидывал Феликс Равильевич, кто бы это мог крысой оказаться. В принципе, кто угодно мог.

Смотрел Феликс Равильевич накануне по телевизору популярную передачу про подсознание, и очень она ему понравилась. И заставила задуматься. Получалось, что человек не всегда знает, чего он по-настоящему хочет. Оказывается, поверх самых его сокровенных желаний, как ошейник на злую собаку, надето сознание. Которое и не дает личности по-настоящему проявиться. Очень это понимал Феликс Равильевич. Потому что, несмотря на все свои успехи, чувствовал он себя иногда просто несчастным: ну никак ему было не преодолеть свое пугливое сознание...

Каково же было изумление Феликса Равильевича, когда у вновь испачканной стены он обнаружил придерживаемую охранниками ветхую старушку. И хоть вид у нее был гордый, как у оказавшейся в лапах фашистов киношной партизанки, держали ее охранники больше для того, чтобы не упала от старости. Не поверил бы Феликс Равильевич, что это она его стенку портила, да только баночка с краской да мокрая кисть, да еще правая рука старухи, этой же краской испачканная, говорили сами за себя.

Увидев, что таинственный и опасный враг оказался всего лишь полубезумной старухой, Феликс Равильевич вздохнул с облегчением

– Ты что это, бабулька, совсем охренела? – по-доброму спросил он.

Прозрачные старушечьи глаза мгновенно потемнели.

– Я вам не бабулька! – дерзко ответила она. – Зовите меня Зоей Павловной и, кстати, голубчик, сделайте одолжение, не тыкайте, это просто неприлично!

Слово «голубчик» Феликсу Равильевичу сильно не понравилось. В таком обращении к себе отчетливо слышалась ему презрительная нотка. И даже не то чтобы презрительная, а того хуже. Потому что вспомнил Феликс Равильевич, что вроде бы в стародавние времена помещики так обращались к своим дворовым. То есть к рабам крепостным. Вроде бы ласково, но на самом деле с чувством превосходства.

– Да ты!.. – вдруг возмутился Феликс Равильевич. – Какой я вам голубчик?!

Но тут же усмехнулся и головой покачал, в том смысле, что как

же пожилому человеку не стыдно хулиганить, чужое имущество портить? И вообще, кто это?

Тут уж расторопный начальник охраны доверительно зашептал Феликсу Равильевичу на ухо. Задержанная – Марецкая Зоя Павловна, до недавнего времени проживавшая в Доме в квартире номер четырнадцать. Между прочим, одна в трех комнатах. Бывшая учительница музыки, вдова. Муж ее покойный, Иван Иванович Марецкий, был председателем партконтроля при обкоме партии. Потом, когда перестройка, мать ее, началась, он и помер. От огорчения, наверное.

– Да ты ж Зою Павловну должен помнить! – дядя Гоша покачал головой. – Эх, и чего это они тут нормальной воблы или рыбца к пиву не подают. Только орешки какие-то. Ну ни черта не понимает эта молодежь!

Да, так вот, еще когда Плохиш Дом купил, отказалась Зоя Павловна выезжать из своей Квартиры, хотя предлагали ей взамен вполне приличную однушку в хрущевке в Двадцать первом микрорайоне. Там хорошо, воздух чистый и до центра всего-ничего, часа полтора на автобусе. Ну, понятно, по распоряжению самого Плохиша к ней, как и к другим упиравшимся жильцам, пришли. Раз пришли, другой. Только старушка-то оказалась не из боязливых. То есть держалась твердо, на запугивания являвшихся к ней амбалов реагировала совсем не так, как остальные жильцы. Все-таки не простая дамочка – вдова номенклатурного работника...

– А чего же ты раньше молчал? – спросил Феликс Равильевич. Партийную номенклатуру, даже бывшую, он побаивался. Ведь вот уже дважды на его памяти прыгали эти вроде бы неприметные номенклатурщики из грязи в князи, то есть из всяких там обкомов-горкомов – прямо в президенты.

Так что черт ее знает, старуху эту! Надо же, опомнилась со своей «Славой КПСС». Да еще с восклицательным знаком. Именно этот восклицательный знак показался Феликсу Равильевичу особенно оскорбительным – и почему-то даже угрожающим. Ведь кто знает, как еще дело в верхах повернется. Может, нужно было купить старухе что-то подороже из жилья, в центре города?

– Почему вовремя не доложили? – подражая Плохишу, Феликс Равильевич понизил голос.

– Но... – начальник охраны отвел глаза. – Тут понимаете, какое дело получилось...

А получилось, действительно, нечто несуразное. То есть, когда к упрямой старухе пришли в третий раз, то обнаружили, что нет ее.

– Это как это? – спросил Феликс Равильевич, оглядывая ядовито улыбающуюся старуху.

– Да мы... – промямлил начальник охраны, – стучали-стучали,

звонили-звонили. Ну а потом подумали: всё же старый человек, мало ли что...

В общем, квартиру недолго думая вскрыли, но старухи – ни живой, ни мертвой – в ней не обнаружили. Вещички, какие-никакие, были на месте, а вот самой хозяйки и след простыл. Ну, начальник охраны выждал пару дней для порядка, а потом... Мало ли куда бабулька подеваться могла. В сторожа ей никто не нанимался. Так что баракло ее древнее выбросили на помойку и поставили рабочих стены ломать. Тем более сроки поджимали, покойный Василий Никандрович неоднократно об этом говорили.

– Эх, ты-ы, – с огорчением протянул Феликс Равильевич, – ничего вам, чекистам, поручить нельзя...

– Чекистам? – вдруг встрепенулась старушка и, обратив взгляд на начальника охраны, добавила: – Ну-ка, представьтесь. Ваше звание и последняя должность?

В голосе старушки прозвучало нечто гипнотически начальственное. Сам себе удивляясь, бывший гэбэшник вытянулся и отрапортовал: «Рябинин Владимир Ильич, тысяча девятьсот пятьдесят восьмого года рождения, майор в отставке, пятое управление КГБ, уволен по служебному несоответствию!» И помявшись, добавил: «Не передал по начальству часть денег. Ну, вы понимаете...»

Эх, хоть и умен был Феликс Равильевич, но тут он просчитался. Правда, в его оправдание следует заметить, что любой бы на его месте такую нелепую старуху наказывать не стал.

В общем, Зою Павловну отпустили, наказав больше не хулиганить. А то, мол, сдадут ее суток на пятнадцать в ментовку, чтобы неповадно было. И опять-таки, упустил что-то чуткий Феликс Равильевич, не придал значения улыбке, змейкой скользнувшей по тонким старушечьим губам. Впрочем, трудно сказать, что случилось бы, вздумай Феликс Равильевич Зою Павловну задержать.

Зоя Павловна ушла, и Феликс Равильевич с головой погрузился в подготовку к грандиозной церемонии открытия «Рая», до которой оставалось всего два дня. Как принято у настоящего хозяина, Феликсу Равильевичу приходилось самому вникать во все мелочи. И мелочей этих было так много, что Феликс Равильевич напрочь о старухе забыл. Не до нее было.

Но следующей ночью, уже под утро, когда Феликс Равильевич снова смотрел свой страшный сон про машинку, его разбудил звонок телефона.

– Ф-феликс Равильевич... – убито выдохнул на другом конце провода начальник охраны, – она это... опять там...

– Кто?! – испугав жену Еву Ричардовну, в полный голос заорал Феликс Равильевич.

– Да надпись, надпись, – заторопился начальник охраны, – и снова акварель, так что...

– А вы где были?! За что я вам деньги плачу?! – возмутился Феликс Равильевич.

Ева Ричардовна села в кровати, всхлипнула и с тревогой взглянула на него.

– Мы... – начальник охраны громко сглотнул слюну, – мы... двое наших там... да мы уже стерли всё... я просто доложить...

– Как стерли? Да кто вам разрешил обои трогать?! – окончательно остервенел Феликс Равильевич. – Маркетолога этого пригласить нужно было, он знает, как их тереть...

– Он-то, Феликс Равильевич, хорошо понимал: что с начальника охраны возьмешь? Дурак, он и есть дурак. Хоть и майор кэгэбэ, – дядя Гоша рассмеялся. – А умного нанимать – себе дороже...

Обои, тем не менее, оказались в порядке. Тут беспокоиться было не о чем. Но Феликс Равильевич всё же не на шутку разволновался. Во-первых, совсем никудышная у него получается охрана, если какая-то сумасшедшая старуха умудрилась проникнуть в Дом да еще и снова испачкать стену своей идиотской надписью. Во-вторых, если до открытия «Рая» эту безумную старуху не поймать, то запросто может получиться, что опозорится Феликс Равильевич перед всеми своими гостями. Насмерть опозорится. Он же не стена с обоями: репутацию так просто тряпкой не отмоешь.

Но самое неприятное было всё же не в этом. Трудно сказать, в чем тут было дело, только отчего-то почувствовал себя Феликс Равильевич в тот день не в своей тарелке. И вдруг вспомнил он, как, стирая надпись, отводил глаза этот столичный очкарик-маркетолог. С чего бы это?..

– Ну, – спросил он, когда к нему привели запыхавшегося маркетолога, – как там всё?

– Всё в полном порядке, Феликс Равильевич! – по-пионерски отрапортовал маркетолог. – Заканчиваем кое-какую отделочку на втором этаже, в бутиках, по мелочи. А так...

– Слышь, – поддавшись внезапному наитию, спросил Феликс Равильевич, – ты мне вот что скажи... Ты тогда, когда надпись эту в первый раз стирал, о чем подумал-то? Я же видел.

– Да-а, – нерешительно протянул маркетолог, – понимаете, это, конечно, неуместно, даже смешно, но напомнила она мне...

– Ну не яни ты!

– Библию она мне напомнила.

– Библию?!

– То есть, не вообще Библию, а только пир Валтасара.

И видя, как наливаются краской лицо Феликса Равильевича, воцерковленный по моде того времени маркетолог объяснил, что это, дескать, из Библии, из книги пророка Даниила. Во время пира вавилонского царя Валтасара на стене появляется некая надпись. А какая

именно, поверхностно знакомый с предметом маркетинг уже не помнит.

Феликс Равильевич отпустил маркетинга и задумался. Старуха, конечно, совершенно безвредная. Но всё же, чтобы не опозориться, ее надо поймать. Только доверять это дело охране не стоит. Опять проворонят.

И тогда у Феликса Равильевича родилась замечательная идея. Он поймает старуху сам. Этой же ночью. Возьмет с собой, чтобы не скучно было, начальника охраны – и поймает.

О том, что делать со старухой, он тоже подумал. Наверное, напугать хорошенько. А потом действительно сдать ментам. Ненадолго, пока празднование не окончится. Был у Феликса Равильевича в местном участке прикормленный капитан. Пусть посадит бабку к божам. Этого будет достаточно.

Засаду Феликс Равильевич решил устроить эффектно. Давным-давно в каком-то фильме видел он сцену, где грабителя встречает сидящий за столом хозяин дома. Сначала всё происходит в полной темноте, но когда воришка, подсвечивая себе фонариком под ноги, подходит поближе, прямо в лицо ему бьет луч яркого света. И улыбается сидящий за столом хозяин. Неожиданно и красиво.

В общем, приказав погасить свет во всем здании, Феликс Равильевич в компании начальника охраны уселся за свой стол-поляну. В руках у него был мощный фонарь. Феликс Равильевич сидел молча, и начальник охраны, которому вся эта затея почему-то сильно не понравилась, тоже хранил молчание.

Так прошел час или даже больше. Доносившийся с улицы шум постепенно затих, и только свежестроенный Дом всё еще потрескивал и поеживался, как будто новая непривычная одежда жала ему под мышками. Откуда-то издалека донесся гудок тепловоза и стих, и от этого тишина стала еще более глубокой.

В темноте, в огромном пустом кабинете Феликсу Равильевичу опять стало не по себе. Хорошо еще, что он сообразил взять с собой начальника охраны... А потом снаружи что-то коротко ухнуло, и разбуженное эхо злобно расплескало этот звук по двору.

– Слышал? – встрепенулся Феликс Равильевич. – Что это?

– Ага, – по-ребячьи вытянув шею, ответил начальник охраны.

– Уж не наша ли это старушка?

Феликс Равильевич нащупал на фонаре кнопку и приготовился. Но больше никаких звуков – ни во дворе, ни внутри здания – не было. Прошло еще полчаса.

– А знаете, что здесь раньше было? – вдруг вполголоса заговорил начальник охраны. – Вроде давно еще, в революцию, тут коммуна обосновалась. Так, говорят, они одного мужика в стену замуровали. Фанатики! Вроде этой вот старухи.

Он помолчал и задумчиво добавил:

– Раньше вообще всё по-другому было.

Феликс Равильевич ничего не успел ему ответить, потому что совсем рядом с ними, в темноте, пронеслось что-то вроде ночного ветерка. Хотя откуда бы взяться ветерку в закрытом помещении?

Нужно все-таки отдать должное самообладанию Феликса Равильевича. Потому что старуха возникла словно бы ниоткуда. И внезапность ее появления могла испугать кого угодно.

– Ты... – начал было Феликс Равильевич, но тут же поправился. – Вы как здесь оказались?

– Так ведь мы с вами, голубчик, давно знакомы, – приветливо произнесла Зоя Павловна, глядя на Феликса Равильевича. – Только вы, вероятно, запамятовали. Впрочем, это и не удивительно, вы тогда были слишком малы. Лет пяти, наверное.

– Трех... – поправил ее Феликс Равильевич, едва шевеля помертвевшими губами. – Три года мне тогда исполнилось.

– Ну да, ну да, – улыбнулась Зоя Павловна и покачала головой. – Вот ведь как время-то летит.

– Но я помню, как вы машинку мою... – Феликс Равильевич запнулся и вдруг вспомнил, что всякий раз говорила ему женщина из сна. И это воспоминание пронзило его так, что заныло в груди.

– Вы тогда сказали, что я недостойн, – тоскливо пожаловался Феликс Равильевич. – А чего именно недостойн-то?! Неужели той машинки?

И неожиданно для самого себя заплакал навзрыд. Ох, нервы-то совсем ни к черту! Но когда первая оторопь прошла, слезы показались ему уже не позором, а сладким очищением. Как будто лопнул внутри Феликса Равильевича какой-то гнойник...

– Ну-у, зачем же так-то? – с мягкой укоризной произнесла Зоя Павловна. – Я, может, потому и пришла, чтобы за ту самую машинку с вами рассчитаться. Помню, с каким недоумением вы тогда смотрели на меня.

Повисла неловкая пауза.

– Давайте я вам о себе немного расскажу, – сказала Зоя Павловна и мягко, по-матерински улыбнулась. – Я и с Завьяловым Василием Никандровичем пыталась говорить, да он оказался глуп и невоспитан.

Ошибался начальник охраны и бывший гэбэшник, считая мужа Зои Павловны скромным председателем партконтроля при местном обкоме, занимавшем свое место, как говорится, для стула. Пожалуй, только Иероним Петрович Бох, который в свое время способствовал заселению семьи Марецких в Дом, кое-что знал о них. Да и то, несмотря на свои почти неограниченные возможности, информация у Иеронима Петровича была далеко не полной.

Например, поговаривали, что в свое время чета Марецких приложила руку к созданию советской атомной бомбы. Хотя не были они ни учеными-ядерщиками, ни присматривающими за учеными чина-

ми в погонах. Речь шла о знаменитом американском «Манхэттенском проекте», в котором Марецкие якобы принимали участие, так сказать, с советской стороны. Ну а если уж совсем попросту, то в некоторых кругах считались они теми самыми шпионами, укравшими у американцев секрет атомной бомбы.

Потом их под именем супругов Розенберг американские капиталисты даже казнили. То есть казнили, конечно, подставных лиц. А Иван Иванович и Зоя Павловна хоть и секретно, но с триумфом в очень узких кругах вернулись на родину в СССР.

А чуть позже, после смерти товарища Сталина, в верхах, как известно, начались разброд и грызня. Образовались тогда в Политбюро всякие группы и группки, и каждая тянула одеяло власти на себя. Это грозило серьезными неприятностями всем, и все это прекрасно понимали. Но договориться всё равно никак не могли. Некоторые даже жалели, что малодушно поторопились с расстрелом товарища Берии Лаврентия Павловича. Тем более что мировое капиталистическое окружение уже что-то пронюхало, и ничем хорошим для Советского Союза, то есть для членов Политбюро, такое положение кончиться не могло.

В общем, нужно было решать – и решать срочно. За советом тогда обратились к одному из чудом оставшихся в живых старых коммунистов. У него и партийный стаж ого-го какой, и опыт еще дореволюционной подпольной работы. Да и вообще, старик, персональный пенсионер районного масштаба, был давно уже не у дел... Так что принимать чью-то сторону ему было ни к чему.

Вот этот-то ветеран партии и напомнил обратившимся к нему товарищам, за что умирали в застенках настоящие большевики. Правда, не уточнил, какие именно застенки имелись в виду. Но главное не это, главное, что умирали они за идею и с верой в светлое будущее. А что есть вера в светлое будущее, если не вера в чудо?

Даром что ли великого Ильича в Мавзолее до сих пор вечно живым держат? Чистая мистика, конечно. Но ежели служит она святому делу коммунистической партии, то... Сам же Ильич и говорил, что ничем большевики брезговать не должны для достижения своих великих целей. И, кстати, с откровенным меньшевиком Рерихом довольно активную переписку вел.

Напомнил молодым соратникам старый большевик замечательную песню подпольщиков – ту самую, в которой «грозные буквы давно на стене уж чертит рука роковая». Хорошая песня, правильная! Сам товарищ Кржижановский ее любил и при случае пел.

– Вот и возьмите ее в качестве руководства, товарищи дорогие! Она нас, подпольщиков, никогда не подводила – и вас не подведет!

В результате этого разговора чья-то умная голова и решила возродить Комитет партийного контроля. То есть контроля по соблюдению основательно к тому времени подзабытых принципов партийной морали и дисциплины. Как, собственно, и было объявлено народу. Но

на самом деле эта организация никакого отношения не имела к тому показушному партийному контролю, о котором потом часто говорили в программе «Время».

И Марецких привлекли к этому делу именно потому, что вроде как погибли они геройски на вражеском электрическом стуле. А значит, всей жизнью – и даже смертью – доказали свою преданность идеалам партии.

Жить в родной стране пришлось Ивану Ивановичу и Зое Павловне практически в подполье, как до этого в проклятой Америке. Это оказалось трудно, но выбора у них не было. А была задача не дать всяким зажавшимся партийным руководителям сбить с курса великий корабль, уверенно плывущий в светлое будущее.

Работала эта система партийного контроля на удивление просто и, в то же время, эффективно. Как только возникало подозрение, что тот или иной партработник позабыл, что такое коммунистическая мораль, а заодно и принципы демократического централизма, в одно прекрасное утро на стене его кабинета появлялась сделанная черной краской размашистая надпись «Слава КПСС!». Надпись эта заставляла дрогнуть даже самых стойких партийных функционеров. Всем им было ясно: проникнуть в их хорошо охраняемые кабинеты могли только те, кто имел на это право. Но дело было даже не в том.

Таинственное появление совершенно бессмысленной, если вдуматься, надписи внушало владельцу любого кабинета такой мистический ужас, что самый твердокаменный коммунист, увидев ее, бледнел и обливался холодным потом.

Потому что, скажем, предупреждение или даже выговор с занесением в личное дело хоть и грозили большими неприятностями, но всё же были вещью привычной, и было понятно, чего ждать дальше. А тут... Кто написал и, главное, зачем?! Поневоле от каждого шороха вздрагивать начнешь. Тем более что охрана всякий раз клятвенно заверяла владельца кабинета, что ни одна живая душа в его владения не проникала. Всё это отдавало откровенной мистикой.

Ну и, конечно же, начали ходить среди своих самые безобразные слухи. Болтали, например, что однажды с устроенного после заседания партбюро банкета из-за этой самой «Славы КПСС» сразу двадцать человек пришлось отправить в психушку. Правда, некоторые недоброжелатели утверждали, что ничего такого не было, а просто перепились члены партбюро, как обычные работяги, до «белочки».

А еще рассказывали, что тех, кто всё же не внял такому грозному предупреждению, отправляли во внеочередной отпуск. Только проводили они его не на Солнечном берегу в Болгарии и даже не в Крымском спецсанатории, а в секретном лагере где-то под Киевом. И якобы там провинившийся должен был повторить все подвиги Павки Корчагина, талантливо описанные писателем и нескгибаемым коммунистом Николаем Островским.

Например, ему приходилось в компании таких же бедолаг, поливаемых холодным дождем из специальных шлангов, строить узкоколейку. Причем перевоспитуемых разделяли на две бригады, одна из которых укладывала рельсы, а другая, следуя по пятам за первой, эти рельсы снова разбирала. Потом бригады менялись местами – и всё начиналось сначала.

И еще, вооружившись деревянными саблями, в буденовках и тяжелых кирзачах должны были провинившиеся ходить в самую настоящую атаку. Особенно неприятно было то, что атаковали они не каких-нибудь врангелевцев, а таких же точно красноармейцев. То есть своих. Бились эти красноармейцы не до смерти, конечно. Хотя...

Хотя позади строя, как положено, стояли одетые в кожанки молчаливые ребята с «максимами». Так, на всякий случай... чтобы не возникло ни у кого глупых мыслей... И это работало. Потому что даже если пулеметы и были бутафорскими, то уж пулеметчики – самыми настоящими. Это парторботники наметанным глазом определяли мгновенно.

А в свободное от физических трудов время читали провинившимся теорию пассионарности ярого антисоветчика Льва Гумилева. В ней мало кто что-то понимал, но рассуждения об избытке некой «биохимической энергии» живого вещества, порождающей жертвенность ради высоких целей, только добавляли жути всему происходящему.

В номенклатурной среде побывавших в таком отпуске называли «корчагинцами». Но самым поразительным было то, что, вернувшись на свое рабочее место, парторботники действительно словно бы перерождались. Опасливо поглядывая на свежеекрашенную стену, они выказывали чудеса партийной дисциплины, бескорыстия и самоотверженности. Словом, это были самые настоящие коммунисты. Из которых, как известно, можно было хоть гвозди делать.

Правда, спустя приблизительно полгода «корчагинцы» уставали. Они мрачнели, делались нелюдимыми и старались не задерживаться у себя в кабинетах допоздна. А потом вдруг резко срывались: запивали, открыто заводили интрижки с секретаршами и вообще вели себя столь безобразно, что кончалось всё положенным на стол начальства партбилетом. Им легче было смириться с исключением из партии за аморалку, чем ждать, что на стене вновь появится та страшная надпись.

Ну а супруги Марецкие, несмотря на уже преклонный возраст, продолжали свое нелегкое дело, в котором достигли невероятного мастерства. Есть даже предположение, что последний советский генсек именно потому так резко отменил руководящую роль партии в СССР, что обнаружил ту самую проклятую надпись на стене своего кремлевского кабинета.

А потом, как верно заметил проворный начальник охраны, в разгар перестройки Иван Иванович, оставшись не у дел, умер, а о Зое Павловне забыли. Тогда о многих бесценных, беззаветно служивших родине специалистах забыли. Но Зоя Павловна всё же не унывала...

Следом за перестройкой начались новые времена, и когда люди Плохиша постучали к ней в дверь, Зоя Павловна восприняла духом и поняла, что пора снова уходить в подполье.

В подполье – как в переносном, так и в прямом смысле слова. Потому что поселилась Зоя Павловна в отдаленном уголке подвала, куда еще не добрались подчиненные Плохиша. Впрочем, подвал Дома, как известно, был велик и мало исследован, так что такой опытной подпольщице, какой была Зоя Павловна, ничего не стоило найти там надежное укрытие.

От такого дважды нелегального положения Зоя Павловна особых неудобств не испытывала. Сказывалось пройденное ею на заре карьеры специальное обучение и давно приобретенная привычка жить полной опасностей жизнью. Ее ведь в первый раз завербовало еще Охранное отделение, когда она, тогда еще юная миловидная Зочка Трубецкая, училась в Смольном институте. А уж потом ее, как ценного специалиста, передавали из одной службы в другую. Но это история длинная. Да к тому же засекреченная...

– А хотите, я расскажу, почему Плохиш продал вам Дом – да еще и задешево? – вдруг спросила Зоя Павловна.

Потрясенный Феликс Равильевич кивнул – и от этого движения проснулся. Но на грани сна и яви всё еще слышал ее голос:

«...И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут...»

Оглянувшись, понял Феликс Равильевич, что уже почти рассвело и что сидит он, навалившись грудью на свой знаменитый стол, а рядом мирно посапывает начальник охраны.

Стряхнув с себя сон, Феликс Равильевич облегченно выдохнул. Что это он, в конце-то концов, так переполошился из-за какой-то старухи? «Да ведь сегодня большой день – торжественное открытие торгового центра», – вдруг вспомнил он.

Бросив взгляд на подаренные Плохишом к свадьбе и почти неотличимые от настоящих часы «Вашерон Константин», Феликс Равильевич засуетился. Времени до приезда гостей было всего-ничего, а дел оставалось множество.

– Что правда, то правда, – дядя Гоша покачал головой и снова отхлебнул пивка, – церемония открытия торгового центра «Рай» была подготовлена на все сто. Настоящее торжество! Говорю же, сам губернатор области присутствовал, ну и мэр, понятное дело, тоже.

Да, не зря старался столичный маркетолог! Гости в количестве шестидесяти пяти человек, причем двадцать два из них – наиболее почетные и значительные, были приятно удивлены и даже поражены. И «райские» интерьеры ВИП-зоны, и выбежавшие навстречу гостям едва прикрытые листиками «Евы», и кабинет Феликса Равильевича с

прозрачным полом – все это вызвало у гостей живейший интерес. Но, как он и предполагал, именно стол-поляна с ручьем, в котором, огибая бутылки водки, лениво плавали крупные караси, привела всех в восторг.

– Так это что же получается, – покровительственно спросил у Феликса Равильевича губернатор, окинув взглядом стену с обоями, – тут у тебя действительно рай... можно прямо в березовой роще на зорьке с удочкой посидеть?

И рассмеялся. Державшийся за плечом губернатора мэр города тут же, отвернув манжету, попытался поймать карася рукой. Гости захихикали.

– Можно и на зорьке, – стараясь не выдавать волнения, Феликс Равильевич взмахнул рукой, подавая сигнал. Тут же над «поляной» наступила ночь. Смех оборвался.

– Ого, – с непонятной интонацией сказал губернатор, – ты что ж, и это умеешь? День на ночь менять? Непрост ты, Филя, ох, непрост...

Сказал он это, конечно, в шутку, хотя Феликса Равильевича неприятно кольнуло, что губернатор назвал его Филей – совсем как покойный Плохиш. Но Феликс Равильевич тут же отвлекся, потому что «Евы» начали расставлять на «поляне» холодные и горячие закуски.

Конечно же, «поляна», как ни велика она была, не могла вместить всех приглашенных. Поэтому вокруг нее расселись только самые почетные гости.

Сидевший рядом с Феликсом Равильевичем во главе стола губернатор потер руки и подмигнул самой хорошенькой «Еве» – дескать, чего стоишь, наливай холодненькой!

– И понимаешь ли, – дядя Гоша многозначительно понизил голос до шепота, – в тот самый момент, когда все замолчали, потому что губернатор встал, чтобы сказать первый тост, случилось непредвиденное.

Дядя Гоша уперся подбородком в ладонь и задумался. И я, хотя знал его уже много лет, не мог понять – то ли он намеренно держит меня в напряжении, то ли пытается собраться с мыслями. По обращенному к окну лицу дяди Гоши пробегали проникавшие через стекло солнечные зайчики. Но мне казалось, что это отсвет тех событий, о которых дядя Гоша собирался мне поведать. Тот факт, что сам он, очевидно, не был их свидетелем, дела не менял. Разве подобные мелочи когда-нибудь смущали такого человека, каким был дядя Гоша?

Случилось то, чего никак не мог предвидеть ни Феликс Равильевич, ни начальник его охраны, ни охрана губернатора, ни сам губернатор. Стоило только последнему подняться, держа в руке хрустальную стопку, а остальным гостям перестать жевать и умолкнуть... В общем, в самый что ни на есть ответственный момент Феликс Равильевич вдруг заметил, что приготовившиеся было почтительно слушать гости смотрят вовсе не на губернатора, а куда-то за его спину.

Холодок дурного предчувствия скользнул Феликсу Равильевичу за шиворот и прокатился по позвоночнику. Феликс Равильевич быстро обернулся и, конечно же, увидел стоящую у стены с березками Зою Павловну. Правда, краски у нее в руках в этот раз не было, но выражение лица казалось самым решительным. Ее высоко поднятый над белым накрахмаленным воротничком остренький подбородок не предвещал ничего хорошего. Но тут инициативу перехватил губернатор.

– Ба, – сказал он и поставил рюмку. – А это что за Ева? Впрочем, понимаю: чтобы ярче почувствовать красоту, нужно полюбоваться на уродство.

За столом снова захихикали, и Феликс Равильевич перевел дух. Похоже, всё можно было свести к шутке. Но Зоя Павловна шутить не собиралась.

– Вы, – обличительным тоном обратилась она к улыбавшемуся губернатору, – Савельев Павел Ильич, бывший второй секретарь обкома партии, а ныне губернатор области, не так ли?

– Ух ты, какая строгая, – забавляясь, просюсюкал губернатор, знаком останавливая двинувшуюся было к Зое Павловне бдительную охрану. – Ну я это, и что? Меня вон вся область знает. И не только область. Только я, милая, не по этой части. Конечно, – тут он обернулся к сидевшим за столом, – старость я уважаю, но...

– Это же вы в восемьдесят втором году проходили лечение по программе двадцать девять ноль два в пансионате сорок три дробь сто семнадцать под Киевом? Значит, надпись на стене своего кабинета хорошо помните...

Улыбка губернатора медленно погасла.

– Э-э, – глухо произнес он, – а вы, собственно, кто такая будете?

И тут же грозно обернулся к сжавшемуся Феликсу Равильевичу:

– Это что за цирк ты мне тут устроил, а?

– Ошибаетесь, цирк еще впереди, – задорно перебила его старушка. И оглядев стол, добавила:

– Да у вас тут прямо полное собрание коллектива. Как писал великий русский поэт Лермонтов Михаил Юрьевич, убитый впоследствии царскими прихвостнями, здесь и мундиры голубые, и челядь, им преданная... Но вы сюда посмотрите.

Зоя Павловна посторонилась, и на стене с березками появился большой белый квадрат. Специальное устройство, которое по замыслу маркетолога должно было проецировать на обои то солнце, то звезды, вдруг стало показывать двор Дома, каким он был до перестройки в торговый центр. На старой черно-белой довольно некачественной пленке был заснят фонтан с Паном, к которому вертикально прислонилась большая серая сигара с хвостом-стабилизатором.

– Это немецкая авиационная проникающая фугасная бомба с бризантным действием, – раздался четкий учительский голос Зои Павловны. – Тротильный эквивалент не уточнен, но достаточно высо-

кий. Попала во двор предположительно летом тысяча девятьсот сорок второго года. И только чудом не разорвалась.

Кадр поменялся, и стало видно, как бомбу окружили люди в военной форме.

– После осмотра саперами спецподразделения энкэвэдэ было решено, что вывозить бомбу из Дома слишком опасно. Равно как и деактивировать взрыватель на месте. Согласно заключению специалистов, любая попытка изменить угол, под которым находилась бомба, привела бы к немедленной детонации заряда. Тогда, в сорок втором, людей выселять из Дома не стали, не до того было, а бомбу, по специальному распоряжению руководства, приказано было закопать прямо под фонтаном, не меняя угол наклона. Вы видите куски хроники из архива кэжэбэ.

Кадры сделались совсем темными, но всё же можно было рассмотреть, как опутанную веревками бомбу медленно опускают в пробитую в дне фонтана узкую дыру.

– Разумеется, до недавнего времени эта информация была строго засекречена, – продолжала никем не останавливаемая Зоя Павловна. – Но, увы, ничто не остается тайной навечно. Даже документы из закрытых архивов. Собственно, узнав о бомбе, покойный Завьялов Василий Никандрович, он же Плохиш, и продал вам, Феликс Равильевич, этот Дом. Так что добро пожаловать в рай, дорогие товарищи!

Тишину нарушил недоверчивый голос мэра:

– Это что же получается, мы сейчас, значит, на бомбе сидим? В буквальном смысле слова? Да ну, это ерунда какая-то. Быть того не может! Провокация это!

– Да нет, не думаю, – с досадой перебил его губернатор. – То-то я удивлялся: что это вдруг Плохиш такой жирный кусок, можно сказать, даром отдал. Не тот был человек покойник, чтобы деньгами разбрасываться. Ведь знал про бомбу и никого не предупредил...

Сидевшие за столом невнятно загалдели.

«Так вот оно что... – мелькнуло в голове у Феликса Равильевича, который сразу поверил Зое Павловне. – Вот же сука этот Плохиш! Так наколоть близкого родственника! Теперь понятно, почему он меня жизнь застраховать заставил...»

Феликсу Равильевичу стало очень страшно.

– И это еще не конец, – негромко сказала Зоя Павловна, но отчетливо все ее услышали. Снова воцарилась тишина.

– При перестройке Дома, – продолжила она тем же учительским тоном, – так называемое ложе бомбы было потревожено. А поскольку удерживавшие ее деревянные бруски давно сгнили, то угол наклона несколько изменился. Поэтому в настоящий момент, в принципе, достаточно просто громкого звука, чтобы произошла детонация. То есть, попросту говоря, чтобы все это здание взлетело на воздух, к чертовой матери. Собственно, и без всяких звуков оно может в любую секунду...

И Зоя Павловна сделала рукой выразительный жест.

– А-а, – протянул мэр и, как школьник, поднял руку. – А скажите, пожалуйста, как же нам теперь быть?

– Как быть, спрашиваете? Да никак! Поздно плакаться, – отрезала Зоя Павловна и добавила: – *Тогда царь изменился в лице своем; мысли его смутили его, связи чресел ослабели, и колени его стали биться одно о другое...*

– Ай да Зоя Павловна! – не удержался я, обращаясь к дяде Гоше.

– Ну еще бы! Она и не такое могла отколоть... Говорю ж тебе, она из той породы... Ты вот Зою Космодемьянскую помнишь? Думаешь, ее действительно фрицы повесили? Держи карман шире! – увидев мое замешательство, дядя Гоша удовлетворенно усмехнулся.

– То есть вы хотите сказать, что Зоя Павловна и есть та самая Космодемьянская? Я правильно понимаю? – ошеломленно пробормотал я.

– А вот как хочешь, так и понимай! Я тебе больше скажу: пулеметчицу у Василия Ивановича Чапаева на самом деле совсем не Анкой звали. А еще, но это уже сильно позднее было, в космос тоже не эта дура Валька летала...

В это я, несмотря на хмель, верить категорически отказывался. Ну никак не могла Зоя Павловна быть и расстрелянной партизанкой, и пулеметчицей у Чапаева, и первой космонавткой. По возрасту, да и вообще...

Но дядя Гоша решительно замахал на меня руками.

– Да не в том дело, было это или не было, Фома неверующий. Могло быть, а могло и не быть. Ты дальше слушай!

В общем, за Зоей Павловной числилось множество подвигов. Что и понятно, ведь она обладала совершенно удивительными способностями, которые и привлекли к ней внимание сначала Охранки, а потом и других секретных служб. Проявились эти способности как раз в девятьсот шестнадцатом году, когда случилась у Зои Павловны первая любовь.

Ее избранником оказался профессиональный революционер – усатый кавказец. Это именно из-за него на Зою Павловну вышли агенты Охранного отделения. Уже тогда спецслужбы во всем мире интересовались людьми с необычными способностями.

– Ты головой-то не качай, я тебе не про всяких липовых экстрасенсов, которые воду по телеку заряжают, толкую, – дядя Гоша закурил остатки пива соленым орешком и поморщился. – Речь идет о тех, которые, может, один на сто миллионов встречаются. А то и реже.

Что именно такого необычного умела делать Зоя Павловна, дядя Гоша точно не знал, зато ему было известно, что все ее мужчины

делали невероятную, просто головокружительную карьеру. Потому и числилась Зоя Павловна во всех мировых спецслужбах под конспиративным псевдонимом «Рыбка».

– Просто рыбка? А почему не «Золотая рыбка»? – спросил я, не скрывая иронии.

– А потому! – со значением сказал дядя Гоша, и в глазах его появились странные огоньки. На секунду мне показалось, что знакомый с детства сосед на самом деле совсем не тот, за кого себя выдает.

– Ты думаешь, почему товарищ Берия Лаврентий Павлович чуть ли не всех встреченных женщин переимел? Думаешь, такой темперамент у человека? Не-ет, он-то не дурак был, он про Зою Павловну всё понимал, поэтому и искал такую же. Да только где ж ее, вторую такую, найдешь? А эта была единственной, кто оказался ему не по зубам.

– Так это что же получается, она была женой самого Сталина? – ошарашено спросил я. Дядя Гоша улыбнулся и кивнул. Да так, словно речь шла о самых обыденных вещах.

Ну а в тридцать втором году получила Зоя Павловна новое партийное задание. Нужно было помочь немецким товарищам прийти к власти, чтобы вместе строить светлое будущее на всей планете. Для этого в СССР ей пришлось имитировать самоубийство. А в Германии ее познакомили с одним не очень удачливым художником... Потом, в Берлине, весной сорок пятого, ей снова пришлось умереть, чтобы вскоре воскреснуть на родине и получить очередную Звезду героя...

Легендарная у Зои Павловны была жизнь. Вот только не позавидуешь ей. Ведь все мужчины, которых она любила, превращались в настоящих монстров. Просто какой-то «Аленький цветочек» наоборот...

Ну а когда наступила оттепель, наверх полетели секретные докладные. Дескать, опасное это дело – Зою Павловну на службе держать. Хватит нам, дескать, плодить тиранов, у нас теперь руководство коллективное.

В общем, в конце концов сослали Зою Павловну вместе с коллегой Иваном Ивановичем, бывшим только по легенде ее мужем, от греха подальше – в этот самый партконтроль. Это было, конечно, понижение в должности, но Зоя Павловна и не к такому привыкла. Работала на совесть. Ну а потом Советская власть кончилась, Союз развалился, и всё пришло в запустение.

– Погодите, – перебил я, – а как же Горбачев? А Ельцин? Они что, тоже...

– Чего не знаю, того не скажу, – дядя Гоша помахал рукой, заказывая еще пива, – но, учитывая возраст Зои Павловны, думаю, вряд ли.

– А кстати, сколько же ей тогда, получается, лет?

– Ну кто ж ее знает. Немолодая, прямо скажу. Но еще и не древняя. Сам посудите – даже если она, к примеру, с девятисотого года рож-

дения, то к моменту, когда вся эта история закрутилась, было ей за девяносто. Для такого человека, как Зоя Павловна, это вообще не возраст. Да ты послушай, что дальше было...

– Удивительно только одно, – среди мертвой тишины зловеще произнесла Зоя Павловна, – что эта бомба до сих пор не взорвалась.

И повернулась к Феликсу Равильевичу:

– Я же вас, голубчик, предупреждала, да вы не вняли, что называется. Так что, если сейчас поднимется паника, то взрыва не избежать совершенно точно. А вам, – она взглянула на шушукавшихся охранников губернатора, – лучше оставаться на своих местах.

Охранники замерли. Им было страшно.

– Это что же получается, – губернатор залпом выпил водки и злобно посмотрел на Феликса Равильевича. – Ты нас специально в ловушку заманил, сволочь?

– Да я-то тут причём? – пролепетал Феликс Равильевич. – Я же тут с вами взорвусь, если что...

– Да кто ты такой? – вдруг вспыхнул насмерть перепуганный мэр. – Жизнь твоя и так копейка! Ты таких людей подставил, сука!

– Тише! – одернул мэра губернатор. – На бомбе сидим, забыл? Надо же было так попасть нелепо... И главное, мне же только вчера из Москвы звонили... большие перспективы открываются, а тут...

Губернатор замолчал, как будто подавился, и оглядел скованных ужасом гостей.

Феликс Равильевич чувствовал себя ужасно. В голове метались рваные мысли, которые и мыслями-то назвать было трудно.

– А... а почему мы?.. – выдавил из себя окончательно раздавленный мэр.

– *И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут,* – ласково объяснила Зоя Павловна. – Вот и взыщем по партийной линии...

Пользуясь общей подавленностью, она достала откуда-то из-за спины баночку с краской и широкую кисть и быстро крупными буквами начала писать на стене: «Мене, мене...». Феликс Равильевич вдруг поймал себя на нелепой и несвоевременной мысли, что ему очень жаль своих дорогих обоев.

– Вы думаете, мир можно перестроить, как вот этот Дом? Ошибаетесь, дорогие! – не оборачиваясь, сказала Зоя Павловна и после небольшой заминки тщательно вывела на обоях – «...текел, упарсин».

– Взвешен, измерен и признан недостойным! – добавила она и бросила кисть. – Всё, партийный контроль свою работу закончил.

Было в этой, в общем-то, невинной фразе что-то такое, отчего у всех присутствовавших перехватило дыхание. Губернатор обреченно уронил руки на стол, а мэр, выпучив глаза, вытирал с малинового

лица пот. Чтобы не встречаться с ними взглядом, Феликс Равильевич смотрел себе под ноги. На тот самый стеклянный пол, который по замыслу дурака-маркетолога должен был создавать ощущение полета. И внизу, во дворе, прямо под собой неожиданно увидел свою жену Еву Ричардовну.

Дело в том, что, памятуя о клофелиновых пристрастиях жены, на открытие центра Феликс Равильевич ее с собой на всякий случай не взял. Это стоило ему большого скандала и даже нескольких глубоких царапин на шее, но после безвременной кончины Плохиша Ева Ричардовна стала немного покладистой и потому, получив в ответ пару плюх, осталась-таки дома.

Но ретивое, видимо, всё же разыграло, и вот она явилась в Дом. И теперь сидела на бортике фонтана, с любопытством оглядывая двор. словно что-то почувствовав, Ева Ричардовна подняла голову, увидела Феликса Равильевича и улыбнулась. Только тогда он понял, что она откровенно пьяна.

А потом... что ей стукнуло в голову, трудно сказать, но Ева Ричардовна помахала ему рукой, скинула модные лабутены, опустила ноги в фонтан и стала болтать ими, поднимая брызги. Да еще и захохотала на весь двор так пронзительно, что изумленное эхо проснулось и заходило вокруг нее кругами, как будто не веря тому, что происходит.

Феликс Равильевич застыл. Но не от ужаса, как можно было подумать. Мысленным взором окинул он всю свою жизнь с Евой Ричардовной и поежился. Его вдруг вырвавшееся на свободу подсознание в полный голос кричало ему в ухо: «А давай! Пусть всё к черту взорвется!»

– Но почему?! – воззвал он к своему нелепому подсознанию. – Ведь всё так удачно складывалось...

Тут подсознание умолкло, а Феликс Равильевич представил себе короткую вспышку, следующее за ней ничто – и ему снова стало очень страшно. Как тогда во сне. Он поднял голову, увидел улыбку на лице Зои Павловны и отвел глаза.

А Ева Ричардовна всё плескалась в фонтане, со всего маха шлепая босыми ногами по воде, и хохотала как сумасшедшая...

– Во-от, – удовлетворенно протянул дядя Гоша и отодвинул от себя пустую кружку, – такая вот история.

– Погодите, – удивился я, – а что же дальше-то?

– Ну а что тут спрашивать? Сам же видишь – стоит Дом как стоял. Правда, пока пустой. Не знают власти, что с ним теперь делать. Бомба-то всё еще там.

– Да Дом-то я вижу, вы мне конец этой истории расскажите!

– Понимаешь, – дядя Гоша почесал в затылке, – тут всё тонко. Я тебе говорил, что в последний раз Зоя Павловна написала на стене «мене, мене, текел, упарсин»?

– Ну да, помню, это пир Валтасара, – нетерпеливо перебил я его. – Дальше-то что было с Феликсом Равильевичем, губернатором и остальными?

Пока мы сидели с дядей Гошей в баре, солнце успело опуститься к горизонту. Косые его лучи теперь били в окна Дома. Народу в баре прибавилось, и стало шумно. А мне снова на миг показалось, что передо мной совсем другой человек – не тот простоватый и любящий приврать сосед, которого я знал с детства.

– Так ничего и не было, – невозмутимо ответил дядя Гоша. – Живут себе, как и жили. Губернатор – тот вроде бы наверх выдвинулся, в Москву, на большую должность. Мэр попался на взятках, на его место другой пришел, точно такой же... Ну а Феликс Равильевич свой «Рай», понятное дело, потерял. Да и всё остальное тоже потерял, теперь бедствует. Встретил я его тут как-то на улице. Так он... «Унитазы, – говорит, – я и то недостоин продавать!» И смеется. Живет, конечно, один. Ева Ричардовна, болтают, снова вернулась к прежней деятельности, клофелинчиком с приездими балуется. Ну а про остальных не скажу, не знаю.

– А как же они все из Дома выбрались?

– Да так. Сама же Зоя Павловна и вывела. По черной лестнице.

– И что это тогда было? – спросил я. – Для чего вся эта история, а, дядя Гош?

– Так ведь «взвешен, измерен и признан недостойным» – это не про них, это про Дом, – грустно произнес дядя Гоша.

Его голос почти затерялся в шуме голосов. Только сейчас я заметил, как сильно он сдал за то время, что мы не виделись.

– Я и сам толком не понимаю, что к чему. Думаю, тут вот какая штука. Говорят, есть у ученых специальная посуда вроде блюда, в ней бактерий разводят. Если что идет не так, то содержимое в ведро выплескивают, а посудину моют. Может, и здесь то же самое. Помнишь, что случилось с динозаврами? Стерли их, как не было. А люди... Может, мы оказались настолько нехороши, что нас даже стирать не стали, просто посудину в сторону отставили: живи теперь как хочешь и мучайся...

Дядя Гоша посмотрел на залитую пивом столешницу, но тут же с раздражением поднял голову.

– Да что я тебе, всё на пальцах объяснять должен?!

Я встал, расплатился с официантом, помахал на прощание рукой и, протиснувшись между столиками, выбрался на улицу. Но, сделав несколько шагов, сообразил, что забыл спросить про Зою Павловну, и вернулся. К моему удивлению, дяди Гоши на прежнем месте уже не оказалось. Наверное, вышел через другую дверь.

(Окончание следует)

Татьяна Вольтская

* * *

Благословенная ночь, когда прилетает сын,
Благословен самолет, которым он был носим,
Ничего, что рейс откладывался пять раз,
Благословен рюкзак, и шапка, и даже грязь
На его ботинках – оттуда, из наших мест,
Благословен суп, что он, обжигаясь, ест,
Благословен диван, где он проспит до утра,
Вареное яйцо на завтрак и та гора,
Что выгнула желтую спину – для наших встреч,
И другая гора – что упала с плеч.
Благословен базар, куда мы пойдем, окно,
Где увидим сороку на дереве, и кино,
Которое вместе посмотрим – а можно и не смотреть,
Просто болтать ни о чем – и отступает смерть.

* * *

И миндаль расцветает, и вишня –
Высыпают скопления звезд
В черном космосе веток. Не слышно –
Это пение сфер или дрозд.

Бродит пес неизвестной породы,
Воздух в дырках от солнечных спиц.
Небеса открывают ворота
В облупившейся краске – для птиц.

Из дворов вырывается гомон,
И на север летят косяки,
И душа над покинутым домом
Целый день нарезает круги.

* * *

Когда все уезжающие уедут,
Когда все умирающие умрут,
Оставшиеся какой-нибудь хитрый метод –
Чтобы остаться – изобретут.

Закроют глаза – будто нас и не было,
Поставят бочку, напишут: «Квас»,

Выроют пруд и запустят лебедя –
Тыпа, жизнь продолжается, но без вас.

И стол накроют обрывком старого,
Полуистлевшего кумача...
По дворам рассеется наша армия,
Не стреляя, не топоча:

Наши тени вытекут из-под спуда,
Просочатся, хлынут, войдут, не суть –
В склеротические сосуды
Улиц, заученных наизусть.

Посреди модерна и ложной готики,
Посреди кустов с воробьиным «жив!»
Растворятся, невидимо, как наркотики,
Каждый шаг запугав и закружив.

Из каких подвалов звезда засветит,
Из каких еще новых сибирских руд –
Когда все уезжающие уедут,
Когда все умирающие умрут.

* * *

Тишина-то, Господи,
Над Твоей зимой –
Только снега оспины,
Белый воздух Твой.

Мне-то, знаешь, только бы
Вон по той тропе,
Вон под теми елками,
А потом к Тебе.

Мне бы хрусткой стужею
К ледяным мосткам –
Ведь не убегу же я
И не спрячусь там.

Мне б в окошке ситцевом
Утопить глаза,
Мне бы не просить Тебя,
О чем нельзя.

* * *

Всё кажется, что это не со мной –
 Цветущая айва, апрельский зной,
 Гора с прожилками дороги –
 Всё кажется, что я не здесь,
 А там, где воздух – ледяная взвесь,
 В грязи по щиколотку ноги,

Что тихо проплывают сквозь меня –
 Граниты в цвет солдатского ремня,
 В мурашках инея – колонны,
 И тополей корявая кирза,
 Дворцовые стеклянные глаза,
 И небо с отсветом зеленым,

Чухонской грубой вязки облака,
 Брезент, борта грузовика,
 И линии, уложены, как шпалы,
 Неяркий свет под куполами век.
 Но вот внезапно выключили снег –
 И всё пропало.

* * *

Вымогатель любовных признаний,
 Жалких слов Достоевских моих,
 Всё-то сбудется, только не с нами,
 Обрывается легкий мотив.

Вот мальчишки гоняют на досках,
 Воробьи разорались в кустах,
 В новостных мельтешащих полосках –
 Кровь и гной, как на старых бинтах.

То Сорокин мигнет, то Пелевин,
 То святой Иоанн Богослов,
 Отделяющий зерна от плевел,
 Твердь дневную от дымчатых снов,

Скорлупу от ореха.

Открыто –

Не стучи, не заглядывай в рот:
 Слово плещется там, будто рыба,
 А как выгацишь – сразу умрет.

* * *

И спускается ветер с горы в середине марта,
И листает небо, как голубую книгу.
На углу на мелкие деньги играют в карты,
У фруктовых лавок с лотков продают клубнику.

Мужики сидят, поставив на землю пиво.
Заливается дрозд, ковыляет старуха в черном,
В отсыревших дворах зацветает миндаль и слива –
Будто выпал снег, и дети щебечут хором.

Пахнет мокрой овчиной, вьется дымок. Впадает
Бесконечная осень – в весну, не заметив зиму.
Розоватая горлица с пыльной стены слетает,
И старуха в черном шествует к магазину.

Мы прожили здесь второе Господне лето –
Беглецы, пришельцы, странники – всё едино.
И одна гора стоит, как ковчег Завета,
А другая – Ноев, сбоку обросший тиной.

ДРУЗЬЯМ

У вас дворы белеют понемногу,
И холодок ползет под свитера,
А я еще в туфлях на босу ногу
На нашу гору выхожу с утра.

Тут крыши солнцем смазаны, как маслом,
Лепешки из печей – вознесены,
А вам уже колочий воздух связан
И на плечи накинута – до весны.

Нева, небось, колотится о сваи,
В тумане растворён дворцовый куб –
Как кубик сахара. Я далеко. Я с вами.
Я вижу легкий пар из ваших губ,

И ваши сны, и книги, и застолья,
Мой взгляд и беспокоен, и ревнив.
Я среди вас – не видите вы, что ли –
Сижу, лицо в ладони уронив.

Максим Д. Шраер

Невольные терцины

ТВИДОВЫЙ ПИДЖАК КОМПОЗИТОРА N.

памяти В.Н. и И.Б.

Какая же бестия слимонила твидовый пиджак из дома-музея композитора N., из гранитного особняка на Малой Морской? (С тех пор на родине композитора произошли насильственные изменения

обыденных представлений, и правда больше не кажется там такой, какой она была в первородной форме. Поэтому позволю себе отступление на тему кражи личности, kleptomании величия и славы мирской.)

Согласно официальной версии иностранный агент совершил преступление против родины, вероломно похитив экспонат, на котором каждая пуговица дорога русскому сердцу, и передал его в закрытое американское учреждение.

Народной молве по душе пришлась версия правого медийного лица, будто пиджак был похищен по заданию олигарха с еврейской фамилией и теперь хранится в его частной коллекции русских богатств на острове Ибица.

А вот интеллигентная билетерша, во время допроса министерской комиссией, клялась и божилась, что пиджачок унес ректор университета, что это диверсия, за что правдолюбку уволили и выслали в город Тихвин. На новом месте ей

поручили заведовать фестивалем «Кто скажет правду о войне?» Перверсия, скажете вы? И я соглашусь. Вся это история скорее приговор, чем манифест.

Но не всё потеряно. В анналах истории таится более достоверная
версия:

Может быть сам композитор Н. решил спуститься с высоких небес
дебелой майскою ночью, переодеться вором-гастрологом
из города Сочи,
войти в свой бывший музей, прикинувшись туристом
из отдаленных мест,
скинуть бежевый плащик в углу, набросить болотный пиджак
на плечи,
на лепнине узнать фамильный вензель и выйти навек
из русской речи.

ГОДОВЩИНА

Памяти Луизы Глюк

В мирное время умирают поэты, обделенные роком.
Иное призвание было даровано той, которая не поделила
свою еврейско-венгерскую фамилию с Кавалером Глюком, –
им когда-то стыдили юного Амадея... История перебелила
потолки оперных театров. Кто нынче ставит «Эхо и Нарцисса»?
Зато сочинителя «Волшебной флейты» судьба лелеяла, баловала
и сохранила навеки... Полынь, мята, цикорий, чабрец и Melissa,
придорожные травы ее стихов цветут и засыхают на воле,
неподвластны редакторской правке. Лиловый ирис ее лица
на обложке книги о деревенской жизни, в которой желтое поле
несобранных слов. Как устроена память поэта после ее ухода?
Помню вечер в одном колледже. Бостон. Промозглая осень. Полный
зал. Роберт Пински, Дэйвид Ферри и Фрэнк Бидарт. Непогода
за окном. Она стоит в стороне, медленно произносит короткую фразу,
а по сцене гарцуют стареющие поэты, бодрые не по годам.
Как же долго волна читателей не спадала... Я подошел не сразу.
Что я мог сказать о ее стихах? Она и так понимала, в чем причина
моего смятения. Так красива она была, одинока, оленевоглаза.
«Госпожа Глюк, я люблю ваше стихотворение ‘Годовщина’».
«Какое из них?» – спросила она. – «У меня их уже два».

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАЛОМНИЧЕСТВА 1.02

Жил старик со своею старухой...
А. Пушкин

Старые бравурные немцы и немки приезжают в Святую Землю
 в октябре или ноябре,
 греют долгие белые кости у самого Мертвого моря, картинно вздыхают
 об ушедшей молодости у ворот Яд Вашема, слушают Оффенбаха
 в Израильской опере.

Старые сентиментальные австрийцы и австриячки в Святую Землю
 весной приезжают,
 пьют капучино в Кафе Ландвер, местной шварме предпочитают
 еду европейскую,
 страшатся эфиопских евреев и дешевые древности на блошином рынке
 в Яффо скупают.

И только усталые еврейско-русские старики и старухи не приезжают
 в Землю Святую,
 не шаркают по камням Старого города. В магазине Бабель
 на улице Алленби
 беглых поэтов не слушают, в ресторанчике Викинг на Бен-Йехуда
 не пьют горькую,
 потому что русские старики и еврейские старухи уже умерли
 или еще не воскресли
 потому что еврейские старики и русские старухи уже воскресли
 или еще не умерли.

ТРОЙНЫЕ ПОМИНКИ

Федору Полякову

Как наши отцы пережили советскую мерзость?
 И как помогли нам найти противоядие памяти?
 В них жила какая-то особая изощренная дерзость.

Эта дерзость была во всем – как проходили мимо паперти,
 как завязывали галстук узлом чуть-чуть набекрень,
 как не любили порожных слов и пятен на белой скатерти,
 прощали своим коллегам и сотрапезникам, презирали лень,
 как красиво они говорили «хрен тебе в зубы, чтоб
 не шаталась шея»,
 и как ненавидели праздники черни и площадную брань.

В голове после ухода отцов остается пустая траншея,
 отвоевали солдатики, отпели свое, отпереводили, отлечили...
 Не получается сказать обо всем, заведомо не упрощая.

Июньским вечером мы с тобой окажемся около
 ресторана «Рецина»,
 Предварительно помолчав, медленно проходя
 мимо Юден-плаца.
 В ресторане шумливо, падают смоляное вино, здесь не мучает
 венцев вина,

здесь и мы с тобой усядемся за столик под фотографией
 острова Наксос
 и помянем отцов по-русски, по-иудейски и по-византийски,
 а потом спустимся по лестнице в прошлое, где им
 по восемнадцать,

где музы одеты в длинные узкие юбки, где фонарями
 горят папироски,
 где наложен запрет на слезы, – где сыновьям позволено толь-
 ко смеяться, в бирибу резаться, – где кемарят мрачные
 весельчаки,

где на кухонном прилавке в тарелке спит грубая
 средиземная соль,
 где, задыхаясь, поют о любви смерть лещ-ципура,
 камбала-тубмала и кефаль-печаль.

ПРЕДСКАЗАНИЕ 1.02

Борису Ланину

В год нашей свадьбы мой покойный тесть,
 который ребенком пережил Транснистрию,
 сказал моей жене, что я буду всю жизнь висеть

петлей у нее на шее и так свою жизнь устрою,
 что днями буду целыми прохлаждаться и сочинять
 стихи. Прошло почти двадцать пять лет. Я открою

семейную тайну, дабы время не побежало вспять:
 Мой тесть талантливо ошибался насчет ослиных хвостов,
 сидения дома, желания бить баклуши и ваньку валять, –

насчет петли на шее и других метафорических оков...
 Но он оказался совершенно прав насчет писания стихов.

Борис Фабрикант

* * *

ну что увидишь со спины
когда наискосок
все слезы грянувшей войны
не погасить в песок

и что рассказывать своим
родившимся в аду
какие сказки повторим
в разрушенном саду

их непорочное на свет
рождение в войне
лежит осколком в них как след
и не иссечь вовне

* * *

Разорванная скатерть на ветру
Всё бьется из стропил, ей всё нейметса,
Она видна сквозь сумрак поутру
Над домом у разбитого колодца.

Дом – призрак из надежд и голосов,
Где вытекло из жизни время в среду,
Где эхо вспоминает столько слов,
Что скатерть рвется, чтоб поспеть к обеду

* * *

Медальные награды барельефов,
Метельные приезжие снега,
На стенах распечатанное эхо,
Пустившееся в белые бега.

Тогда сады свою меняли кожу,
А мы снимали стёртые года,
Тот молодой, случившийся прохожий
Не понимал, что было – навсегда.

Переставляя имена и даты,
Не изменить дорогу в никуда.

Не говори, что ты невиноватый,
Еще вернется бывшая беда.

Вагонная беседа проездная,
Как исповедь в разбитое стекло.
И жизнь идет, тягучая, родная,
Тропой по снегу, где белым-бело

* * *

Здесь капли падают секундами,
Порядок дождевой блюда,
И утекает время скудное
Уже прошедшего дождя.

Пройди босой сквозь эту мягкую,
Прозрачную, как небо, тень,
И расплескаешь время мягое,
Залитое в расчет на день.

Нас разделяют днями, сутками
По календарным островкам.
Минутами, как пальцы, чуткими,
Любовь идет по лепесткам

* * *

Папа вырос в Коростене до войны
За мостом растянутым, как гармони.
На тропинки ссыпали тишины,
Отряхнув ладони.

Под горою быстро текла вода,
С берега напротив начинался пляж.
По реке идти, не втоптать следа,
Упиралась речка в гранитный кряж.

Я бывал на Броваре. Огород
Был границей лета на мой приезд,
Из травы на вишню, дождавшись, лез,
Собирая спелую прямо в рот.

Эти годы струнами напряглись,
Расстояния между нами нет.
Слышишь, слышишь музыку? Это жизнь.
И колки подкручивает рассвет

* * *

Мне кажется, открытая на строчке
С набором слов прозрачным светом щель
Укажет на расставленные точки,
Придумает заглавие и цель.

Мы от рожденья жизнь не замечаем,
Она идет, не различая нас.
В ущелье узком, склон скребя плечами,
Исход опять не видим, каждый раз.

Так и живем в пространстве, где осадки
Опережают взлёт, не взяв следа.
И отжимаем вымокшие складки,
И улетаем к солнцу навсегда

* * *

Сдались часы без боя, и смерти нет,
Она пролетает мимо над головой
И оставляет в сердце разбитый след.
Девятый, считаешь дальше, сороковой.

Две бесконечные даты сходятся встык.
Смерти сейчас так много, закрыв глаза,
Сеют, не глядя, слезы, уносят крик
С темным лицом, как старые образа.

Вечное божье царство – шумный вокзал.
С каждым гудком начинается новый день.
Зал ожидания – чистилище, Он сказал.
Скрылась на свет, чтобы спрятаться, наша тень

* * *

Примазывается поближе к Богу,
Как будто он случается вблизи,
В дождливый день идет через дорогу
Вдоль зебры непросохшей по грязи.

Невидимые ангелы взлетают,
Порядок строгий – разом и в строю.
И след прозрачный над землёю тает,
Там, где они запели на краю.

Бог подает на паперти монеты,
Скупает души оптом местный бес.
Господь летит, как будущее лето,
С поправкой на пустой осенний лес.

Не ждет молитв, не празднует субботу,
Лишь сторонится всех земных забот.
И каждый вечер снова за работу,
Испорченную заповедь скребёт

Лондон

Полина Брейтер

Мне восемьдесят лет

Автобиографическая повесть

Мне восемьдесят лет, и я не знаю, как жить.

Мне восемьдесят лет, и я всё еще не знаю, как жить.

Я была зачата в декабре 1941-го в Сталинграде, куда мой отец привез из Одессы мою маму, и где она жила вместе с другими эвакуированными. Я могла бы и не родиться, если бы перед самой Сталинградской битвой маме не удалось перебраться в Сибирь. Битва началась в июле 1942-го, я родилась в начале августа.

Мама никогда не говорила мне о Сталинграде, и я долгое время думала, что она была эвакуирована сразу в Сибирь. Зато о сибирской жизни рассказывала много. Даже о самом моменте моего появления на свет. Как хозяйка квартиры убежала за акушеркой, и мама осталась с моей двухлетней сестричкой. Как она кричала от боли, а сестричка говорила ей: «Мамочка, не бойся, я же с тобой».

На сибирскую жизнь мама никогда не жаловалась, но по ее рассказам у меня складывалась мрачная картина. Я представляла себе избу, в которой мы жили. Представляла почему-то темные грязные стены. Потому ли, что мое свидетельство о рождении было выдано каким-то неведомым мне Грязновским сельским советом Омской области. Потому ли, что, как мне рассказывали потом, я всё время пыталась эти стены лизать. Доктор говорил маме, что мне не хватает кальция, и советовал купить коробочку зубного порошка. Тогда я стала лизать порошок.

Еще мне рассказывали, как мама ходила со мной на руках в соседнюю деревню за молоком, потому что купить его там, где мы жили, было невозможно. Однажды по дороге на нас напала корова, и мама упала, но, даже падая, помнила, что надо прикрыть меня собой.

Всё это я знала только по рассказам, но сохранилось и одно собственное воспоминание. Это было перед Новым годом, скорее всего, 1944-м, когда мне шел уже шестнадцатый месяц. Могло ли что-то остаться в памяти? Едва ли. Но до сих пор перед глазами картинка: какой-то дядя в форме подбрасывает меня, ловит и снова подбрасывает. Он радостно смеется, прижимает меня к себе, а его жесткая щетина царапает мои щеки. Наверное, это все-таки было в конце 43-го. Потому что, рассматривая позже папины документы, я прочитала,

что в 1943-м году он был командирован в Омск, а оттуда в Знаменку*. В Омской области жили мы с мамой, там я и родилась. А Знаменку освободили в декабре 1943-го. В этом городе, как говорили мне родители, мы прожили какое-то время, ожидая освобождения Одессы.

В Одессу мы добрались в апреле 1944 года. И папа был уже там. Этого я, конечно, не помню, но помню, как гордилась в детстве, показывая всем подружкам документ с большой круглой печатью, в котором говорилось о папе, что он «прибыл в Одессу совместно с частями Красной Армии 13 апреля 1944 года».

Мне было почти три года, когда окончилась война.

Одесса. Год примерно 1945-й. Мы уже вернулись из эвакуации. Я расту робкой и пугливой девочкой. Боюсь толпы, криков, споров, скандалов.

Мы с мамой в «Пассаже». Все бегут к какому-то магазинчику. Мама тоже. Выстраивается длинная очередь.

– Что будут давать?

– Детские чулочки.

– Возьми ребенка на руки, затолкают!

Подходит милиционер. Орет на женщин, чтоб тихо стояли, а они – на него и друг на друга. Шум, сейчас будет драка. Плачу и дергаю маму, которая держит меня на руках:

– Пойдем отсюда! Не хочу чулочек. Не надо чулочек. Эти тети злые! Они страшные! Пойдем отсюда, мамочка!

«Пассаж» в Одессе очень красивый и расположен в самом центре – на углу улиц Дерибасовской и Преображенской. Это здание с многочисленными скульптурами и барельефами, прекрасным фасадом и широким двором под стеклянной крышей было построено еще в XIX веке. Но я тогда ничего этого не видела и не замечала. В памяти о моем детстве Одесса была вся израненная. На улицах то и дело попадались развалины и полуразрушенные дома. Это не казалось мне странным: я ведь иного не видела. Меня не удивляли окна, заложённые фанерой, дома, в которых одна половина была заселена, а другая пустая. Зато пугали пролетающие самолеты. Не знаю, почему я так их боялась. Бывать под бомбежками мне не приходилось. И все-таки всё во мне сжималось от ужаса, когда над головой пролетал самолет, и только когда звук начинал стихать и я понимала, что самолет удалился, так и не сбросив бомбу, немного расслаблялась, облегченно вздыхала и оглядывалась по сторонам: не заметил ли кто-нибудь, как я трусила?

Мама и папа уходили на работу, сестричка – в детский сад, а я оставалась с тетей Лизой. Хотя мечтала о детском саде, разглядывала в окна уголок с игрушками, маленькие столики со стульчиками, на которых сидели дети, а воспитательница в белом халате разносила

* Город в Кировоградской области

им то еду, то карандаши для рисования, то какие-то картинки. Детский сад казался мне волшебным миром, я представляла себе таинственную прекрасную жизнь с необыкновенными играми и сказками, куда можно попасть только на награду за хорошее поведение.

Старшая сестра Рита рассказывала о детском саде взахлеб. Как они ходят гулять парами, как они спят днем в специальных кроватках-раскладушках, как воспитательница играет, поет и танцует с ними, какие у них бывают праздники – утренники, на которых они выступают, а им за это раздают подарки.

Однажды и мне довелось попасть на такой утренник. Накануне взрослые весь вечер готовили Рите наряд. Оранжевую юбочку с пушистым рыжим хвостиком, такую же кофточку, светло-коричневые перчатки и тапочки, на каждый пальчик которых папа нашил черные «ноготочки». На рыжеволосую Ритину головку надели беретик с пушистыми рыжими ушками, и уже на всё это – маску белки. Я не могла дождаться, когда же мама поведет меня на утренник. И вот – сижу с другими детьми в первом ряду на маленьком стульчике и, замирая, смотрю и слушаю, как моя сестричка выбегает на середину зала в своем беличем костюме, лисята и зайчата кричат ей хором: «Ты откуда, Рыжий Хвостик?» А она им: «Новостей сегодня – воз!» Они: «Говори!». И она так торжественно: «На елку в гости едет дедушка Мороз!»

На этом утреннике я окончательно убедилась, что детский сад – это волшебный и сказочный мир, куда даже дед Мороз в гости приходит. И стала просить родителей отправить меня туда.

Наконец меня записали. Рита это время уже училась в школе и потому очень важничала. Она приходила за мной в детский сад в конце дня, помогала переодеться и за руку отводила домой, ощущая себя взрослой старшей сестрой.

Но детский сад оказался совсем другим. Неприятности начались в первый же день за завтраком. Нам дали манную кашу. Еще и сейчас вижу, как сижу за столиком перед своей тарелкой. Все давно поели и играют в заповедном уголке. Но мне было сказано: «Не выйдешь из-за стола, пока всё не съешь». И я понимаю, что мне никогда не выйти из-за этого стола, потому что я никогда ее не съем. Время от времени ко мне подходит какой-то мальчик и, сочувствуя, уговаривает съесть кашу и пойти играть. Я сижу, безнадежно глядя в тарелку, потерянная, беспомощная, беззащитная. Понимаю, что я – хуже всех. И от этого мне так сиротливо, будто нет ни папы, ни мамы, ни тети Лизы, ни доброты, ни ласки, а только чужая строгость, враждебность и безразличность по отношению ко мне, не умеющей справиться с кашей.

Вторая неприятность тоже была связана с едой. Нас кормят жареной колбасой. И я снова сижу над тарелкой – на этот раз с куском колбасы. Меня уже пробовали кормить и воспитательница, и няня. А потом приходит сама заведующая Софья Захаровна. Она широко раз-

водит руки, радостно улыбается и говорит: «Ну вы просто не умеете! У меня она сейчас всё покушает, правда, деточка?» Я понимаю, что должно произойти что-то ужасное. Что Софья Захаровна – взрослая, хорошая, добрая (иначе не была бы заведующей) ласкает меня, усаживает на колени и совершенно уверена: я ее не подведу, съем проклятую колбасу, и все увидят, как она, заведующая, хорошо умеет кормить детей. Софья Захаровна ждет от меня, что я ее не посрамлю, а я сейчас посрамлю. Потому что *не могу* съесть колбасу! Ах, если бы спрятаться куда-то, исчезнуть, стать невидимкой, чтобы не было всего этого – моего отказа и разочарования заведующей! Мне так не хочется разочаровывать ее. Но я не могу съесть колбасу, я точно знаю, что меня вырвет, если положу в рот хоть кусочек. А все ждут, все смотрят, все ожидают, что будет. И теперь всё зависит от меня. Вот сейчас скажу «не хочу» – и улыбка Софьи Захаровны погаснет. И тогда я делаю какое-то сверхусилие, кладу в рот кусочек колбасы и начинаю жевать. Ради доброй заведующей, ее ласковой уверенности «у меня она всё покушает», ради нее жую и давлось – и уже больше давлось, чем жую. Все радуются, Софья Захаровна улыбается победно, еще шире и добродушнее: девочка ее не подвела. И тут меня выворачивает недожеванной колбасой прямо на белый халат доброй заведующей, на стол, на тарелку, на весь мир...

Третья неприятность была очень похожа на две предыдущие. Только на этот раз нужно было не съесть, а спеть или сплясать, потому что это было на музыкальных занятиях. И я не смогла преодолеть мучительной застенчивости. Это было ужасно. Тогда это случилось впервые, но как много раз оно повторялось потом в разные времена моей жизни!

Рита каждый день приходила за мной, выслушивала мои жалобы снисходительно или насмешливо, но не злобно. И, в общем, меня не обижала, только не могла принять всерьез мои беды. «Подрастешь, привыкнешь, – говорила. – Это еще что – спеть, сплясать, кашу доест вовремя. Вот подожди, попадешь в школу. Тогда узнаешь».

Так потом и повелось. «Вот погоди, начнете таблицу умножения учить, тогда узнаешь.» «Вот погоди, будут у вас в четвертом классе дроби, тогда узнаешь.» «Вот погоди, начнутся алгебра, физика и химия, тогда узнаешь.» Она была старше всего на два года, но между нами всегда стояли эти два класса.

«Интересно, если бы про нас написали книжку, мы были бы положительные или отрицательные героини?» – спрашивала я. Она отвечала с лукавинкой: «Я была бы положительной, а ты отрицательной».

И я понимала, что она права. Это было обидно, но приходилось признавать, что она действительно «положительная». Она была правильной. Послушной, аккуратной, вежливой. Хорошо училась и всегда выполняла уроки. А я была неправильной. Упрямой, непослушной, вечно растрепанной. И в моем дневнике было больше замечаний, чем

оценок: «разговаривала на уроке», «опоздала с перемены», «не слушала объяснений учителя». Конечно, я была «отрицательной»!

Я была «отрицательной», но в какой-то момент осознала, что живу не сама по себе, а в мире. И что связана с этим миром понятными и не очень понятными мне нитями. И что мир этот – большой. И что он был до моего рождения и будет после моей смерти. И что я – внутри этого мира, но и он – внутри меня.

А тогда, после третьей своей неприятности, заявила твердо: «Больше в детский сад не пойду». Удивительно не то, что я взбунтовалась. Удивительно, что родители согласились с этим и оставили меня дома с тетей Лизой.

«За старшую я спокоен, – сказал как-то папа. – У нее всё пойдет своим чередом. А вот младшая...» Я услышала это, но поняла по-своему. Папа Риту хвалит. Она хорошая. А я не такая, значит, плохая. И папа, хоть и не ругает меня, потому что добрый и вообще никогда никого не ругает, но за меня беспокоится. Почему? Это было непонятно. Может быть, потому что я отказалась ходить в детский сад?..

Тетя Лиза не могла оставлять меня дома одну, и я повсюду ходила с ней. И на рынок, и по магазинам, и даже к родственникам в гости. Дел у нас было много. Очень хорошо помню очереди. За сахаром. За мукой. За керосином. Помню, что иногда возникали скандалы. Кто-то кричал: «На ребенка не давать!» А тетя Лиза возмущалась: «Как это не давать! Ребенок очередь отстоял!»

Мне не было тяжело стоять в этих очередях, потому что я всё время придумывала сказки. Вернее, одну длинную сказку, которая не помню когда началась, а окончилась уже где-то во втором классе, когда ее вытеснили книжки.

Мне было три года, когда я впервые пережила тоску расставания. Мама куда-то уехала. Не понимая, отчего ее нет рядом, отчего так тяжело и тоскливо, я бродила по квартире и зарывалась лицом в мамин халат, чтобы почувствовать ее запах.

Но стоило ей вернуться, как я тут же забыла о тоскливой разлуке. Мы все радовались тогда. Приходил в гости мамин брат дядя Юзек. Он давал нам с сестричкой немного денег, приговаривая при этом: «Ханука гелт», и объяснял нам, что это значит. Рассказывал, что дедушка с бабушкой, когда были маленькими, как мы сейчас, всегда отмечали праздник Хануки. Они пели «Ханука, ханука а ёнтеф а шейнер»*, а их папы и мамы говорили: «Их вынч алэ идн гезынт быз 120 юр, мыт мазл, нахэс фын ди киндэр ин эйниклех!»** И все ели горячие хрустящие латкес, которые сейчас называют «драники».

* Ханука, Ханука, светлый праздник (*идиши*)

** Я желаю всем евреям здоровья до ста двадцати лет, счастья, радости и удовольствия от детей и внуков! (*идиши*)

Сестричка взяла несколько латкес и стала угощать детей во дворе. Дети ели и радовались, хотя холодные латкес уже не такие вкусные. И вдруг прибежала мама Андрюшки из двадцатой квартиры. Схватила его за руку и потащила домой с криком: «Не смей кушать эту жидовскую еду!» Андрюшка ревел, все расстроились....

Мне было четыре, когда начался послевоенный голод. Не помню чувства голода, но помню слова «малокровие», «белокровие», «усиленное питание», «переливание крови», которые произносили доктора, осматривая меня, и помню мамино лицо при этом.

Дядя Юзек каждый месяц давал маме сто рублей «младшенькой на яички». Он был богаче нас, потому что работал зубным техником. И меня стали «усиленно питать». Молочные каши, хлеб с маслом, куриные бульоны. Еда превратилась в пытку. Чтобы «подсластить пилюлю», мне давали какие-то кремы: заварной, сливочный, творожный. Я пыталась их есть, преодолевая отвращение. Увы. Никаких результатов.

Чтобы обеспечить это самое «усиленное питание», летом нас с сестрой повезли в деревню со смешным названием «Мартоноша». Там мы играли в войну. Мы – это три городские девочки, приехавшие туда на лето: моя сестра Рита, наша подружка Майка и я – младшая. И местный мальчишка, который был, конечно, немцем. Он нас пытал и допрашивал. Меня допрашивал первой. Не помню, какую тайну нужно было не выдать. Но отлично помню этого мальчика. Как он решительно подтягивал на себе длинные трусы, словно это были военные брюки, как помахивал, угрожая, тонким стеблем подсолнуха, как всё более и более иступленными становились его глаза: «Будешь говорить? Будешь говорить?!». Он бил сначала не очень сильно, но в какой-то момент я заорала: «Ты же больно бьешь, по-настоящему!» А потом уже сквозь слезы: «Умру – не скажу!». И готовилась умереть – не сказать, а он готовился пытать до смерти (моей), но получить нужные сведения.

Выдержала бы? Сказала бы? К счастью, проверить не удалось. Подбежали взрослые. Разняли, развели. Мальчишка удрал. Я редела... А если бы не разняли? Наверное, сказала бы. При всем своем фанатичном «умру – не скажу».

Когда мы ехали на поезде в эту деревню и стояли у окна, глаза на поля, Майка, которая была на целых три года старше меня, сказала задиристо:

– А спорим, ты не пройдешь босиком по стерне!

Про стерню я, городская девочка, услышала впервые – и впервые же ее увидела за окошком поезда. Уверенная, что если надо, то всё выдержу, ответила:

– А спорим – пройду. На что спорим?

И мы поспорили на три щелчка и маленького пупса.

Конечно, я не прошла и десяти шагов по колючему жнивью. Откуда мне было знать, какое оно острое! Как ножом резало ногу!

Конечно, Майка смеялась надо мной и с удовольствием щелкала и дразнила. И, конечно, всё лето показывала мне, дразня, пупсика, а я злилась на нее и обижалась.

Помню, как нас с сестрой впервые повели на представление в цирк. Мне много рассказывали о цирке, о том, какие там показывают чудеса – и клоунов, и наездников, и... ну, словом, ничего лучше цирка не бывает на свете. Вот с такими ожиданиями я и пошла. И действительно: фокусники, акробаты, дрессированные собачки! Я была в восторге. А потом на арену вышел верблюд. Не помню, что он там делал, помню только его самого, как он шагал по кругу – царственный, величественный и спокойный. А подстригли его специально для цирка, чтоб посмешнее было. Выстригли в верхних частях ног круглые шарики, так что казалось, будто он одет в смешные штанишки-«пуфики». Я смотрела, как спокойно, даже величаво вышагивает верблюд, то ли не замечая, то ли не обращая внимания на то, что вырядили его в эти дурацкие штанишки. Но я-то замечала и понимала, что его выставили на посмешище толпе зрителей. Я видела, как все смеялись и хлопали, и мне казалось, что это они над ним смеются. Хотелось броситься на арену, обнять верблюда и сказать ему, что он совсем не смешной, но я не могла этого сделать, не решалась. Только громко плакала от отчаянья и беспомощности, от обиды за униженного верблюда. А он с достоинством шествовал по арене, неторопливо перебирая ногами. И я поняла, что он вовсе не чувствует никакой обиды, никакой насмешки или униженности. Он не то чтобы их не замечает, он о них просто не знает. Потому что его нет там, где обижают и насмеваются. Он – не там.

Как же я любила тогда этого верблюда! Как я любила его за то, что он не был униженным. Они унижали его, а он не унижался. Они обижали его, а он не обижался. И потому обида и унижение не могли коснуться его. Не так, как говорят иногда взрослые, «он был выше этого». Нет, ничего такого. Он был не выше и не ниже. Его просто *не было* там, где над ним насмеялись, где пытались его унижить.

Ритка потом смеялась надо мной, говорила, что я испугалась верблюда и дразнила меня трусишкой, а я не умела ей объяснить, что чувствовала и почему плакала. Но папа, как ни странно, понял меня.

Мне было пять, когда я научилась читать. Не помню, как это произошло: никто меня этому не учил. Как-то незаметно получилось, может быть, потому что всё время вертелась рядом со старшей сестрой. Но хорошо помню, как сама узнала об этом. Мы праздновали папин день рождения. Это было в январе, у нас всё еще стояла праздничная елка. И в какой-то момент я похвасталась взрослым, что умею читать. Мне не поверили, разумеется, но дали в руки газету. Я прочитала ее название: «ПРАВДА». «Ну да, – сказала мама, – ты же знаешь, как называется газета. А прочитай вот это», – и стала указы-

вать на названия разных статей. Прочитала. Все удивились. Я и сама удивилась и стала читать выбранную наугад маленькую статейку, радуясь, что справляюсь и с мелким шрифтом: «Советский театр понес большую утрату... Умер Соломон Михайлович Михоэлс...»

Игры незаметно, но быстро сменились книгами. Чтение изменило мою жизнь. Сказки Андерсена и братьев Гримм, книжки Виталия Бианки и Бориса Житкова, «Честное слово» и «Буква ТЫ» Пантелеева, «Сын полка» Катаева, рассказы Николая Носова и Виктора Драгунского, «Гуттаперчевый мальчик» Григоровича и «Ванька Жуков» Чехова, сказки Пушкина и чеховская «Каштанка»... Хотя это уже не о детях, но очень для детей.

Ну и, конечно, детские стихи. Самые разные, очень любимые. «У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том...», «У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Слон», «Зима, крестьянин торжествуя, на дровнях обновляет путь», «Одеяло убежало, улетела простыня...», «Белеет парус одинокий в тумане моря голубом», «Мистер Твистер, бывший министр...», «Однажды, в студеную зимнюю пору», «Крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха: что такое хорошо и что такое плохо?» Их было бесконечно много. И они никогда не надоедали.

До сих пор помню первую свою библиотеку, куда записалась еще дошкольницей. Высокие полки книг с картинками и без. Книги казались мне такими таинственными. Неужели когда-нибудь прочитаю их все? И тишина в зале – какая-то особенная, сосредоточенная, торжественная. И запах, на всю жизнь полюбленный библиотечный запах – запах множества старых и новых книг, смешанный с запахом клея. Даже сейчас ясно помню его – и помню, как библиотекарь спрашивал меня, что мне хочется выбрать. И я отвечала тихо и смущенно:

– Паустовского.

– Опять Паустовского? Почему?

– Нравится...

То, что тревожило меня в раннем детстве, стало потом и острее, и явственней. «*Второй воздух*, – объясняла я позднее, – у Паустовского он есть. Неважно, о чем говорит писатель, что делают его герои. Главное – это второй воздух.»

Этот второй воздух я и сейчас чувствую в его рассказах. И в рассказе про отважного растрепанного воробья, и про офицеров, тоскующих неведомо о чем, и про ту молодую женщину, которая получила телеграмму и уехала в далекую деревню к маме, а мама ее умерла... И даже про кота Воругу.

Мне было шесть, когда началась школа. Подготовительный класс – нулевка.

Учительницу звали Анна Васильевна. Высокая, стройная, красивая, а главное – добрая. Любила ли она нас? Этого я не знала. Но в

школу ходила охотно. Мне было там хорошо: никто никого не обижал, никто никому не завидовал, никто ни над кем не насмеялся. На уроках чтения Анна Васильевна подходила ко мне, легонько гладила по голове и говорила: «Мы сейчас по букварю читать будем, а ты почитай вот эту книжку, интересная». На уроках арифметики она клала на парту Ленке Беренблюму, нашему классному математическому гению, листок с задачками и головоломками, а на уроках ритмики не отпускала руки толстенной неуклюжей Жени Землегорской.

На большой перемене нам давали бесплатный завтрак: булочку с сахаром. Булочка была маленькая и серая, сахара было мало. Его приносили в самодельных кулечках, свернутых из листиков исписанных тетрадок. По четыре кулечка из каждого листика. Анне Васильевне не приходилось заставлять нас есть: время было голодное, сахар казался прекрасным лакомством, да и булочки, хоть и серые, казались почти пирожными. В дополнение к этому завтраку она приносила из школьного буфета чайник с кипятком и стаканчики – и начинался праздник... Хорошо я жила весь этот год. Школу любила. После уроков уходить домой не спешила. И уже завязывались у меня дружба с другими ребятами.

Но вскоре все изменилось бесповоротно.

Мне было семь, когда меня перевели из нулевки в первый класс. Теперь мы не только читали букварь и писали палочки, но и решали задачки и даже сочиняли по картинкам рассказы. Я уже умела складывать и вычитать. «Папа, – спрашивала я, – какое число самое большое? Ведь если к самому большому прибавить единицу, оно станет еще больше. Получается, что самого большого просто нет?» Папа терялся и не знал, что ответить.

В первом классе всё было не так, как в подготовительном. Вместо любимой всеми Анны Васильевны теперь у нас была учительница Надежда Осиповна, которая излучала злость и суровость так же естественно, как Анна Васильевна – ласковую доброту. Надежда Осиповна приходила всегда в одной и той же одежде: узкой черной юбке, блеклой блузке и черном пиджаке. На носу у нее было пенсне. На голове – косынка болотного цвета из парашютного шелка. Я не могу вспомнить ее улыбающейся, не могу припомнить ни одной ее шутки. С детьми она говорила таким тоном, что мы сразу понимали, как безнадежно мы плохи и глупы. И что двойка, которой она только что тебя наградила, это еще очень высокая оценка. Я жутко боялась ее, возненавидела школу, считала себя самой тупой и скверной девочкой на свете. Оценки у меня были очень плохие, и я до сих пор не могу понять, как мог ребенок, читавший книги, посещавший библиотеку, знавший наизусть кучу стихотворений, получать двойки и тройки по чтению. Как мог ребенок, легко решающий задачи для третьего класса, получать в первом тройки по арифметике. Но всё это было. И почему-то никого не удивляло.

Жизнь моя стала безрадостной, а сама я – мрачной и угрюмой.

Каждое утро мечтала заболеть, чтобы не идти в школу. Каждый день считала, сколько еще осталось ждать каникул. Понимали ли мои родители, что происходило с их дочкой? Не знаю. Но они не ругали меня за плохие оценки в табеле и только удивлялись: они были уверены, что я буду учиться лучше старшей, буду отличницей, и вот...

Я сказала, что не могу вспомнить Надежду Осиповну улыбающейся. Но одну ее улыбку я все-таки запомнила. Это было в день рождения Ленина. А я забыла дома тетрадку по арифметике. Надежда Осиповна (вот тогда-то она как раз и улыбалась) умиленно рассказывала нам, каким замечательным мальчиком, послушным и прилежным, был маленький Володя Ульянов, как хорошо он учился. А я всё время думала о том, что забыла тетрадку по арифметике, что нужно сказать об этом и получить свою заслуженную двойку.

Никогда ни до, ни после не видела я Надежду Осиповну такой ласковой и доброй. Она говорила нам о Володе Ульянове с нежностью, будто он был ее внуком. День его рождения был для нее самым настоящим праздником. И дети слушали ее так, будто и для них этот день был праздником. А я знала, что сейчас всем этот праздник испорчу.

И когда Надежда Осиповна окончила свою воспитательную беседу, растроганно добавив что-то вроде: «...и я уверена, что и вы будете учиться так же хорошо, как маленький Ленин» или «Будем же брать пример с маленького Володи Ульянова», я обреченно подняла руку.

«Ты хочешь что-то рассказать о Ленине? – спросила Надежда Осиповна, всё еще продолжая улыбаться. – Или хочешь прочитать стихотворение о нем? Что ты хочешь сказать нам?»

– Я забыла тетрадку по арифметике...

Долгая пауза. И только улыбка сползает с лица Надежды Осиповны. Я стою виноватая, с опущенной головой и дневником в руках. И вдруг... О чудо! Учительница снова улыбается! По случаю праздника в честь дня рождения нашего дорогого вождя она не ставит мне двойку, а только пишет в дневнике замечание.

Надежда Осиповна часто проводила беседы о том, как хороша, добра и справедлива наша родина. Какое счастливое у нас детство. Как тяжело живут дети в других странах. Вот тогда оно и пришло впервые – ощущение, что я не знаю, как жить. Как жить, если где-то голодают такие же дети, как я. Как есть свой хлеб с маслом и яблоко, которые мама дает мне с собой в школу, если не все на свете дети могут есть яблоко, масло и хлеб.

О многом я тогда даже не догадывалась... Вот куда-то исчез отец Жени Землегорской. Вчера еще был, ходил с ней в кино, а сегодня его уже нет. Женя всё время плакала, но ничего не говорила. Я спрашивала ее: «Ты по папе скучаешь? Он в командировке? Не скучай, он вернется скоро». А она на меня смотрит – и сквозь слезы: «Да, скоро... Ничего ты не понимаешь».

Тогда же, в семь лет, меня записали в музыкальную школу. Это было подарком ко дню рождения. 6 августа 1949 года я стояла с группой детей, ожидая прослушивания. Меня прослушали и приняли.

10 сентября папа собирался повести меня на первый урок музыки. Но урок не состоялся: учительница неожиданно уехала. Уехала в Пензу, куда отправили в ссылку ее мужа Самуила Григорьевича. Он был профессором в политехническом институте, и дома рассказывали о нем, что он преподает самый трудный предмет – сопромат. Больше я ничего о нем не знала и слов «безродный космополит» еще не слышала, но слышала, как мои родители говорили между собой, что Самуилу Григорьевичу повезло, что ему достался счастливый билет, что он мог бы поехать не в ссылку, а в лагерь. И я поняла, что ссылка – это что-то очень хорошее, интересное и приятное. Потому что про лагерь я уже знала. Знала, что бывают разные лагеря – городские и загородные. В загородных дети живут в лесу или возле моря. Там интересно и хорошо. Они живут отрядами, ходят в походы, ходят купаться. А по воскресеньям к ним приезжают родители и привозят разные вкусности. А городские – это как у нас во дворе, куда мы приходим на несколько часов и играем во всякие игры. А еще вожатые рассказывают нам интересные истории. И если Самуилу Григорьевичу повезло поехать в ссылку, которая еще лучше лагеря, то почему тогда так переживает его жена, моя будущая учительница музыки? И почему мама говорит: «Если отправили, значит заслужил. Дыма без огня не бывает». Я тоже думала, что заслужил. Наверное, очень хорошо обучал своих студентов трудному сопромату. Только при чем тут дым?..

А вскоре «борьба с космополитизмом» коснулась и нашей семьи. Папу сняли с работы. Сняли «за непригодность». За пять лет работы на этом месте он три раза получил премию и четыре раза благодарность. И вот вдруг оказался непригодным. Что изменилось? Этого я не знала, как не знала и того, что такое статья КЗОТ, по которой уволили папу. Что-то тревожное я всё же ощутила – просто потому, что эта тревога висела в воздухе нашей квартиры. Кроме того, я догадывалась, что снять с работы – это вроде как исключить. А исключить – это всяко плохо. Но вскоре после этого пошли разговоры о ссылке, и опять взрослые повторяли, что мог бы быть лагерь. И я обрадовалась, что папе повезло, как раньше повезло Самуилу Григорьевичу. А когда узнала, что ссылают его в какой-то дом отдыха, обрадовалась еще больше – и никак не могла понять, чему огорчается мама, тем более что папа вовсе не огорчался, а пытался маму утешать.

Позднее я узнала, что сначала ему за что-то объявили строгий выговор «по партийной линии». Но, к счастью, не исключили из партии и не посадили в тюрьму, как угрожали, а только сняли с работы, и это считалось тогда невероятным везением. Отца спас его друг, молдаванин дядя Андрей, Майкин папа, и я, конечно, тогда не понимала, как он рисковал, вступаясь за «космополита».

И опять было неясно, как жить, как совместить то, что говорят нам в школе, с тем, что случилось с моим отцом, которого любила, которому верила, которого считала безусловно хорошим и честным человеком.

Зимой мы с мамой поехали проведать папу. Дом отдыха был почти пустой, но папа в нем действительно жил. Правда, он там не отдыхал, а работал. И работал, видимо, много, потому что мы с мамой его почти не видели. Он был и электриком, и завхозом, и ответственным за культурные мероприятия, и кем-то еще, не помню, кем именно. «И швец, и жнец, и на дуде игрец», – говорил он сам о себе, посмеиваясь. Папа не жаловался. Да ведь он и вообще никогда не жаловался.

Так и жили – мы с мамой дома, а папа в доме отдыха – в ссылке.

Каждое летнее утро тетя Лиза укладывала в стеклянную банку вареную молодую картошку, смешанную со сливочным маслом, чесноком и укропом, заворачивала в промасленную бумагу жареные бычки, купленные накануне на Привозе, а в старую газету – крупные красные степные помидоры и пупырчатые огурцы, наливала в большую бутылку прохладный сладкий компот, и мы втроем – она и мы с сестрой – шли в парк им. Шевченко... или, как я его тогда называла, в «паркшевченко».

В парке мы проходили сначала по главной аллее, но не до спуска к пляжу Ланжерон, а только до широкой ложбины, поросшей травой. Ложбина эта казалась мне тогда очень глубокой (потом оказалось – почти плоская). Там, в глубокой тени деревьев, мы проводили весь день. Дачи у нас не было. И детей выводили «на воздух». Тетя Лиза расстилала подстилки, мы с сестрой играли и баловались. И только время от времени тетя беззлобно покрикивала: «Хватит бегать уже! Ляжьте и полежите. Вот вам книжки, читайте». И все это происходило совсем-совсем рядышком с теми самыми переулками – Обсерваторным, Стурдзовским, Батарейным, – которые ведут на Черноморскую улицу, где когда-то жил Паустовский. И те же акции стояли там, хотя даже во времена, когда он там жил, они казались ему старыми. И те же ограды, разве что еще больше обветшали.

Тогда мы с сестрой ничего об этом не знали. Паустовский для нас жил не в Одессе, а *везде*. В сказках, которые мы читали. В рассказах, похожих на сказки. Мы дышали тем воздухом, которым дышал он, воздухом, в котором было так много нежности и волшебства, доброты и терпимости.

Многое из детства было связано с ним. Рите подарили на день рождения большой серый том «Избранного» Паустовского. Это были рассказы – детские и взрослые вперемешку. И так мы их и читали – то детские, то взрослые – не выбирая, вздохом и с восторгом. Читали за столом во время еды, оставляя на книге жирные пятна и получая за это нахлобучку от взрослых: «Нельзя книги портить. К книге надо отно-

ситься с уважением». Кто ж спорит, конечно надо, да мы и относились, но как удержаться от чтения за обедом или завтраком, как отбросить книжку, прервать чтение на такое долгое время! И читали, читали во время еды, читали, лежа в постели, читали по очереди, отбирая книжку друг у друга. И, конечно, представляли себя всеми его героями.

Я жила в уверенности, что это он мне и обо мне пишет, потому что это я вот так же стою у окна, когда разговариваю со своим платаном или хожу по заснеженной тропинке, сочиняя сама себе сказку. А что события в рассказах другие, так это он так специально придумал. Писатель же!

Рита тоже очень-очень эту книгу любит. Поэтому ей она достается чаще, чем мне.

– Отдай, не твоя! Это мне подарили!

– Ну и что? Сейчас моя очередь!

И – хватать книгу с двух сторон. Вот-вот драка начнется.

Держу книжку крепко: ни за что не отдам, ни за что! И тут становится как-то стыдно. Будто книжкин автор смотрит на меня и посмеивается. Отпускаю. Рита торжествует. Ей кажется, что она победила. На самом деле победил Паустовский.

Каждый день я разыгрывала этюды и гаммы под строгим взглядом дамы с картины Крамского «Незнакомка». Копия этой картины висела над пианино, и я была уверена, что дама следит оттуда за мной и возмущается, когда я автоматически отстукиваю пальцами этюды Черни, а сама в это время придумываю и рассказываю сама себе вслух длинную до бесконечности сказку – или ставлю на пюпитр книгу и читаю ее под непрерывные гаммы. Потом я узнала, что была эта «Незнакомка» вовсе не дамой, а молодой девушкой. Но мне-то она казалась такой взрослой и суровой, я так боялась ее глаз, следивших за мной и видевших меня насквозь. Не сомневалась, что она осуждает меня за плохое поведение, а сказки мои ей не нравятся.

Мне было восемь, когда книги захватили меня окончательно и на всю жизнь. Отличать хорошие книжки от плохих я тогда совсем не умела. С одинаковым интересом читала «Детство» Толстого и «Детство» Горького, «Приключения Тома Сойера» и книжки о советских школах и пионерских лагерях, – о чем угодно, лишь бы о детях, о сверстниках. «Васек Трубачев и его товарищи», «Алые погоны» или «Четвертая высота» – эти были еще из лучших.

А что могло быть прекрасней Тимура с его командой! Когда эта книжка пришла ко мне, организованного тимуровского движения еще не было. Была чистая игра – в мужество, в благородство, в рыцарство. Еще можно было любить и Тимура, и Женьку, и Колю Колокольчикову, и даже Квакина, потому что никакие бюрократы не превратили еще эту игру в «массовое патриотическое движение пионеров и школьников», и игра оставалась игрой.

Мне было всё еще восемь, когда меня не приняли в пионеры, и я писала жалобное письмо Сталину. Мои одноклассники радостно суетились, ходили с мамами покупать пионерские галстуки и значки, заучивали наизусть торжественное обещание юного пионера. А я больная лежала в постели и думала о мальчишке, очень древнем мальчишке, который жил так давно, что люди еще не умели ни читать, ни писать, ни строить дома. И жил он совсем недолго, потому что вскоре погиб, а я помню его, люблю и знаю, что он – мой братик. Мой маленький старший братик, старше меня на много тысяч или даже на миллион лет. И всё равно братик! Он Землю нашу другой видел, и она его видела другим, но мы с ним одинаковые, хотя и очень разные. И могли бы встретиться, если бы не разминулись во времени.

Свое письмо Сталину я тогда не отправила, но не потому, что почитала великого вождя недостаточно добрым, чтобы пожалеть и приласкать меня, а потому что мне стало стыдно: Сталин так занят, ему обо всей стране думать нужно, а я к нему со своими обидами... Скорее всего, даже и не поэтому. Просто пока писала письмо, так упивалась жалостью к самой себе, что насытилась ею, и стала она мне больше не нужна. Но любовь к нему, но постоянное присутствие его в жизни восьмилетней девочки было таким же естественным, как присутствие мамы и папы, как любовь к ним. Почему? Дома о нем никогда не говорили – и тем более никогда не восхищались им. Правда, когда у нас собирились гости на какой-нибудь праздник, первый тост всегда был за товарища Сталина. Но даже я, маленькая, понимала тогда, что это «просто так нужно». Нужно выпить за товарища Сталина, а потом уже начинать праздник. Нет, не это порождало любовь к нему. Школа? Но мало ли о чем говорили с первоклашками в школе. Этого было достаточно для формального общепринятого отношения к Сталину как к мудрому вождю, но любить его... Любовь – это ведь не признание каких-то заслуг, тем более ребенком. Для чувства нужно было что-то другое.

И это другое было. Оно было разлито в воздухе. Мы все дышали этим с самого раннего детства. Впитывали это, еще не понимая, что же мы впитываем. Целый день работала в квартире черная тарелка – радиоточка. Целый день звучали из нее советские песни. Целый день, независимо от того, слушала я радио или не слушала, вливались они в мое детское ухо: «О Сталине мудром, родном и любимом, прекрасную песню слагает народ», «Сталин – наши дела, Сталин – крылья орла, Сталин – воля и ум миллионов», «Сталин – это счастья знамя, человечества рассвет! Пусть живет любимый Сталин много-много долгих лет!», «Мы учимся так, чтобы Сталин ‘Отлично, ребята!’ сказал», «Мой Сталин любимый учитель и друг, к тебе миллионы протянуты рук», «Сталин – стучат миллионы сердец»...

Мы выходили на улицу, и с многочисленных портретов нам улыбался наш «вождь и учитель», наш «родной и любимый», наш «мира и счастья оплот».

Никто никогда не осмелился бы сказать при ребенке что-то иное о великом вожде. Никто никогда не осмелился бы упомянуть о миллионах расстрелянных или отправленных в лагерь. Никто никогда не хмыкнул, слушая, как я декламировала: «Мы так вам верили, товарищ Сталин, как, может быть, не верили себе». Действительно ли верили? Я – верила. У меня голос подрагивал от переполненности чувств, когда я произносила: «Спасибо вам, что в дни великих бедствий о всех о нас вы думали в Кремле, за то, что вы повсюду с нами вместе, за то, что вы живете на земле».

Мне было девять, когда на школьной линейке выстроили нас всех – от первого до десятого класса, – и директорша долго и скучно рассказывала нам, что мы должны быть добрыми и справедливыми, потому что добра и справедлива наша страна. На этом месте я отвлеклась и перестала слушать. И спохватилась только тогда, когда услышала знакомое имя – Илюша Шамелошвили. «Мы все вместе можем помочь Илюше, – говорила директорша, и мне казалось, что она сейчас лопнет от гордости. – На деньги, собранные учителями и вами, дети, мы купили ему ботинки. Шамелошвили, выйди на середину.»

Илюшу я знала хорошо, потому что мы учились в одном классе. Он вовсе не был «бедным сироткой». Он был веселый и добрый. Кроме мамы, у него была тетя, которая жила в Грузии. Она приезжала к ним в гости и привозила красивые вкусные гранаты. Однажды Илюша принес такой гранат в школу и всех угощал. Каждому давал по два зернышка, а некоторым даже по три.

Сейчас он вышел на середину и стоял с опущенной головой. Я думала, он заплачет, но он молчал. И только когда директорша подошла к нему с коробкой в руках, он неожиданно заорал: «В гробу я вас видел с вашими ботинками», – и бросился бежать. Его схватили и держали крепко, он вырывался, упирался – и повалился на пол. Физрук за руку поволок его по полу через вестибюль мимо всей нашей линейки – мимо первого класса, мимо второго, мимо третьего... а он всё продолжал что-то кричать сквозь слезы. И никто из нас ничем не мог ему помочь.

Почему у этой противной директорши, которая так потом возмущалась «неблагодарным поведением отвратительного мальчишки», не вылетали изо рта маленькие попугайчики вместо черных и ядовитых комков ее фальшивой и оскорбительной речи? Почему Илюша Шамелошвили не вылетел через окно на улицу из пыльной и мрачной школы, а позволил тащить себя по грязному полу, и все дети и все учителя это видели?

Почему с людьми не случаются чудеса, как в сказках? Почему у них венки не зацветают, а пруттики не превращаются в волшебные палочки? Но ведь это же яснее ясного, что чудеса не случаются с людьми потому, что они соглашаются жить без чудес! Так зачем же они соглашаются? Почему?

Но я тогда отомстила за Илюшу. Я вырезала из журнала «Крокодил» карикатуру. На картинке была нарисована большая свинья в военном шлеме и с автоматом в руках. Я намазала ее на обороте клеем и, когда директорша проходила мимо меня по коридору, приложила ей эту свинью к юбке. Она, конечно, ничего не заметила – и так и пошла, покачивая толстыми бедрами со своим портретом. Как мы все радовались! И никто меня не выдал.

Мне было десять, когда я стала ощущать непонятную, густо повисшую в воздухе тревогу – и дома, и в школе, и во дворе, и у друзей моих родителей, к которым мы ходили в гости. Неожиданно это коснулось и меня.

– Мама не разрешает мне с тобой дружить, – сказала мне девочка Лида. Я удивилась: еще вчера мы целый день играли в школу.

– Почему?

– Потому что ты еврейка.

– Ну и что?

– А вы Христа распяли!

– Христа? Ну, во-первых, мы пионеры и в бога не верим. Во-вторых, даже если распяли, то это когда было, причем тут мы с тобой? А в-третьих, твоя мама учительница, она не могла так сказать, ты все врешь!

– А вы и сейчас такие. Мама сказала, что от вас всего можно ожидать. Вот почитай газеты, сколько ваших пересажали. Мама сказала, что в ее классе у половины жидовских детей папы уже в тюрьме, а у остальных завтра посадят.

– Ну ладно – ответила я ей, стараясь не показывать свою обиду, – только с кем же ты теперь играть будешь? У нас полдвора евреев. И Натанчик Зильберштейн, за которым ты бегаешь, тоже!

Это было летом 1952-го. Уже увольняли и отправляли в лагеря и ссылки «безродных космополитов» и «буржуазных националистов». Уже совсем немного осталось до дела врачей. И никого не удивляли собранные чемоданчики в каждой квартире: к нежеланному отъезду готовились на всякий случай все.

К тому времени уже прошли депортации кулаков, немцев, крымских татар, калмыков, чеченцев, турок-месхетинцев, корейцев, греков... Да кого только не депортировали. Четырнадцать этносов, четырнадцать! Конечно, я тогда еще ничего об этом не знала. Не слышала шепота взрослых об арестах евреев, об увольнениях евреев-врачей и медсестер; о том, что на железной дороге уже подготовлены списки «лиц некоренной национальности»; что вагоны, в которых возили пленных немцев, продезинфицировали так, что пробыть в них более пяти минут стало опасно для здоровья: начинались головокружение, кашель, рвота, болели и слезились глаза. И в этих вагонах теперь

собирались «спасать евреев от справедливого народного гнева путем их переселения». Не знала я тогда ни слов Эммануила Казакевича: «Я им не дам», ни слов Юрия Олеси: «Если это случится, я тоже еврей...» Ничего этого я не знала, да и не могла знать. Просто ощущала напряжение вокруг себя. Дома, в школе, во дворе...

А потом было то, что было. Смерть вождя и тирана. Всеобщее горе, всеобщие слезы и тайная радость – «Ус откинул хвост», – освобождение врачей, восстановление многих уволенных, а для меня, в первую очередь, – возвращение домой папы. И хотя я, конечно, радовалась, как и мама, и Ритка, и он сам, но не сообразила связать это со смертью вождя.

О смерти Сталина я узнала ночью. Меня разбудил громкий голос Левитана. Мама и сестричка стояли у радиоточки. Мама молчала. Рита плакала. «Сталин умер», – прошептала она мне и заплакала еще громче. Я почувствовала себя глупой и бесчувственной, потому что у меня не было ни слез, ни горя... хотя жалко, конечно, – всегда жалко, когда умирают.

6 марта занятия в школе не отменили, но вместо первого урока выстроили нас всех на общешкольную линейку. И учителя, и ученики обливались слезами, плакали очень искренне. Рядом со мной стояла девочка из параллельного класса Наташа Ростовская. «Как мы будем теперь жить? Как мы будем жить без него?» – причитала она, утирая слезы. А они всё кагились и кагились по ее щекам. Я подумала: «Какая она умная. Совсем как взрослая. Обо всей стране переживает. Мне и в голову не пришло, что из-за смерти Сталина в нашей жизни что-то изменится».

В этот день у нас была контрольная по арифметике. Но в вестибюле школы у бюста Сталина стоял почетный караул, и мне очень хотелось тоже постоять в карауле, отдавая пионерский салют. Я решала примеры и задачки, а сама представляла себе, как стою в этом карауле, – серьезная девочка, пионерка, готовая на всё ради своей родины.

В карауле я постояла. А за контрольную получила тройку и выволочку от мамы.

Мне было почти одиннадцать, когда летом, играя во дворе, мы услышали чей-то громкий голос и бросились на улицу. Мимо нашего дома медленно проезжала легковая машина с открытым верхом. В ней стоял человек в форме и синей фуражке. В руках он держал рупор и сообщал о разоблачении Берии. Я побежала домой с криком: «Мама, Берия – враг народа!». Мама в ужасе рванула дверь, схватила меня за руку, втощила в комнату и руками закрывала мне рот, чтоб никто не услышал моих слов.

Я тогда уже довольно много читала и размышляла, например, о законе, описанном Виктором Гюго, по которому человек мог быть

приговорен к смертной казни даже за мелкую кражу, – кражу 40 су, например. Вообще – о честности, о воровстве, о смертной казни. И никак не могла понять, как люди додумались убивать человека за кражу. Причем не просто убивать, а обязать одного человека убить другого за то, что тот украл у третьего 40 су. Хотела и не могла понять, почему судьям не казалось дикостью оглашать такой приговор. Не умея еще рассуждать ни о последствиях таких законов, ни о чем другом, пыталась только догадаться, почему это могло так быть, что один человек (судья), даже не рассерженный на другого (вора), все-таки решал убить его. И он не будет в этом случае считаться убийцей, а наоборот, будет продолжать считаться честным человеком, хорошо выполняющим свой долг. И он это делает, и это не нарушает его сон и не пробуждает его совесть, хотя он, может быть, и не плохой, и не злой, и не бессовестный человек.

Я заговорила об этом со Славиком Вольтовым, который дал мне почитать книгу Гюго. Славик криво усмехнулся и сказал: «Что ты хочешь от Гюго? А у нас что – лучше?» Я возмутилась: «Да ты что, Славка, у нас виноватых не убивают, их сажают в тюрьму и перевоспитывают. А без вины вообще никогда никого обвинять не станут, подумаешь – 40 су». Славик посмотрел на меня как на дуру, покрутил пальцем у виска и сказал: «Ну хорошо, допустим, ты ничего не знаешь о Соловках, о раскулачивании или о краже колосков с поля, но про Зиновьева, Каменева и Бухарина ты слышала?» Я растерянно смотрела на него. Я не слышала. Правда, уже тогда много читала, и книги мои были далеко не только детскими. Но в них ни о чем таком не рассказывалось...

– Кто твой любимый герой?

– Овод и Рахметов.

Шестой класс. Я больна. У меня ангина. Лежу с компрессом на горле и с книгой Чернышевского в руках. Читаю «Что делать?» – роман, над которым смеются одноклассники моей старшей сестры: им весело высмеивать новых людей и Рахметова, весело дразнить меня и друг друга, подделываясь под «нежизненную» речь героев. «Ах, миленький!» – восклицают они жеманно. «Что, мой друг?» – отвечают солидно.

Как простодушно, как прямолинейно я воспринимаю слова, написанные автором. Он посмеивается – а я всерьез. Он иронизирует – а я воспринимаю всё один к одному. Зато сколько восторга, сколько открытий! И каждый раз шепчу себе: «И я так хочу, и я так буду!» Ничто не смущает меня. Слово «утопия» еще не прозвучало – учительница литературы скажет нам так об этой книге только года через два. А пока я готова идти за ним, за этим прекрасным человеком, который так хорошо всё придумал и разъяснил. И я тоже хочу любить, как его новые люди. И жить по тем же принципам. И поступать так же.

Ах, только б найти их, только б найти! И только бы они меня приняли!..

Засыпаю. Мне снятся сны – как Верочке, Вере Павловне. В этих снах я большая, взрослая. И живу хорошо – правильно, чисто, красиво... И мечты мои – о будущей справедливой и правильной жизни, о красивой и правильной любви.

Самое удивительное – это осталось и по сей день. Так много изменилось. Так много мы увидели своими глазами. И узнали. И приняли. И отвергли. Но снова ждет меня на больничной койке том Чернышевского. Я снова больна, и снова читаю роман «Что делать» – и не могу оторваться.

Роман «Овод» я любила до самозабвения.

«...Пойдемте за мной из этого мира в другой мир, полный света...» – так говорил Овод в тюрьме.

В другой мир? Конечно, я называла Артура своим любимым героем! Это была для меня книга о нем, о сыне. Несчастливого падре я тогда совсем не замечала, страданиям его не сочувствовала. Он был для меня только отцом Овода, который обрек сына на смерть. И лишь гораздо позднее стала думать не об Артуре, а об отце, о невыносимой трагедии всей его жизни. О том страшном выборе, который и свел его с ума, потому что выхода нет и быть не могло.

Я не понимала тогда, насколько трагичным, насколько безвыходным было его положение. Вот он и выбрал сумасшествие. Это не под силу человеку – такой выбор. Но тогда почему Бог ему этот выбор предложил?... Куда Овод звал отца? В мир борьбы, в мир бойни, в мир войны? В мир ненависти и мести? Интересно, о чем на самом деле писала Войнич – о трагедии сына или о трагедии отца?

Мне было двенадцать, когда меня по-настоящему и всерьез начало мучить, что я не знаю, как жить, чтобы сделать мир лучше и справедливой.

В двенадцать я впервые попала в пионерский лагерь. Никто меня не заставлял, сама захотела попробовать. Знакомые девчонки и мальчишки с таким удовольствием туда ездили, так много и восторженно рассказывали о своих отрядах!

Попробовала. Выдержала целых пять дней. До первого папиного визита. Он сначала никак не понимал:

– Тебе тут плохо?

– Нет.

– Тебе скучно?

– Нет.

– Тебя обижают?

– Да нет же, всё хорошо. Только если ты меня не заберешь, я всё равно убегу отсюда.

– Но почему?!

Что я могла объяснить папе? Что детей так много. Что все они – вместе, все – заодно, и только я одна не вместе и не заодно. Что все чужие, а я какая-то другая. И я не могу с ними ничего разделить, просто не могу! А когда стараюсь, получается нелепо, или плохо, или неправильно, или странно. И всё невпопад. Они все инородные, и не только в лагере – везде. С ними хорошо или плохо, но с ними – *не дома*. И никогда мне с ними не стать своей: мы какие-то... инородные.

Инопородные... А в чем, собственно, инородность? Этого я не могла объяснить даже себе самой. Ведь мы все жили одинаковыми жизнями. Школа, родители, уроки, книжки, кино. Почему я чувствовала себя чужой и в классе, и во дворе, и вот теперь в пионерском лагере?

И все-таки эта инородность была безусловной. Ее ощущали и я, и все ребята вокруг. И потому меня не удивляло, когда они не приглашали меня в свою компанию, не делились своими секретами, не допускали в свою жизнь, как и я их в свою не допускала. Мне было не интересно то, что было интересно им, а они считали дурацкими и смешными мои мысли и мои вопросы. Будто мы с ними в разных измерениях жили.

Иногда мне казалось, что кто-то думает о том же, о чем думаю я. Ну вот хоть Славик Вольтов. Он знал что-то важное, о чем я не знала. Но не только дружбы, даже просто серьезного разговора, кроме того, о смертной казни, у меня с ним не получалось. Он ёрничал, дурачился, болтал срунду, и я не могла понять, что же его интересует на самом деле. Гонять с мальчишками в футбол? Насмехаться над девчонками? Задавать каверзные вопросы учителям?

А может быть, я случайно родилась здесь, в этом мире, на этой земле, в это время, в облике человека женского пола? Может быть, на самом деле это произошло по ошибке, и я должна была родиться где-то в другом месте и времени, в другом мире и в другом облике?

Ошибка уже произошла. И теперь мне придется отжить свой срок. Но так как все во мне, все «детали», все «составные части» предназначались для чего-то другого, они совсем не годятся для этого мира, для этой жизни. Может быть, поэтому я чувствую себя такой чужой, такой бесконечно одинокой, неизбежно одинокой среди всех людей – даже тех, кого пытаюсь любить и люблю, кто любит меня?

Мы же очень разные! Мне уже в дошкольном детстве было одиноко среди всех детей и взрослых. Мы уже тогда были инородными. Те, кто тянулся ко мне, всё равно всегда знали, что мы из разного материала. И я всегда знала, что никогда не смогу приспособиться к этой жизни, ничему не смогу научиться. Мне все в ней тоскливо, скучно, не нужно. Я всегда жду: когда же это кончится и начнется настоящее, и не могу принять всерьез окружающую меня жизнь. Я в этой жизни ненужная, чужая, лишняя. И от этого мне вовсе не хорошо и не легко жить. Но ведь в этом нет моей вины. Ведь я не выбирала, где и какой родиться!

...Мне так хотелось, чтобы кто-то понял меня и то, чем я мучаюсь, разделит бы это со мной и тем самым помог бы мне, избавил от одиночества. Но никто не хотел или не мог понять. Или понимал, но не разделял. Я искала: ходила в гости к знакомым, гуляла с подружками, беседовала со взрослыми, но никак не могла найти себе близких, родных. И мне было страшно смотреть на мир и на людей – и некуда было деться от мучивших меня вопросов. Я задавала их всем подряд и всё надеялась, что кто-нибудь ответит же когда-нибудь. И каждый раз ударялась больно-пребольно: нет, не то, не то! А когда же будет – то?

Несмотря на это, я всё время в кого-то влюблялась: в сверстниц и во взрослых тоже, особенно в учителей. И, влюбляясь, обожествляла их, но не потому, что они были «те самые, которые», а потому что иначе вообще трудно было бы выжить, а эти были – или казались – лучше, ближе, более подходящими к «тем, которые»... И я всё надеялась и не знала, что помощь может прийти только изнутри. Но чем больше я к ним тянулась, тем острее и больней, и бездомней ощущала свое одиночество среди всех чужих. Все были чужие! Даже семья и близкие! И от отчаянья я думала, что близких по-настоящему не бывает на свете. Что так и должно быть, и надо научиться терпеть. Я была тогда один сплошной синяк, который болел тем сильнее, что я не могла быть одна, всё равно шла к ним. Тыкалась, ударялась и шла.

Учительница русского языка и литературы была одной из моих любимых. Я верила, что уж она-то непременно знает то, о чем я хочу и не решаюсь спросить. Знает, но молчит. Почему? Однажды я все-таки решилась задать ей несколько своих вопросов. Спросила, зачем мы рождаемся, что мы должны успеть сделать в свой жизни, в чем вообще ее смысл. Мне казалось, что момент для таких вопросов был очень подходящим: у нее болел маленький сын, и она лежала с ним в больнице. Я пришла к ней с коробкой конфет от нашего класса, и беседа у нас была не такой, как на уроках в школе, а более домашней, более доверительной, что ли. Но в ответ на мои вопросы она сказала, что не надо умничать, что надо хорошо учиться и делать уроки, а всю эту ерунду просто выбросить из головы.

Как чуждо, как страшно, как одиноко было во всех этих «заведениях» – в саду, в школе, в больнице. Какая тоска!

Я не знала тогда, что долго еще буду так смотреть на этот мир, считать себя обреченной жить в нем до самой смерти, тоскливо недоумевать, почему другим людям интересно и важно то, о чем они думают и говорят. Как им не скучно и не тошно жить их жизнью, зачем они так всерьез принимают те пустяки, ненужные и ничего не значащие, которые они называют «делами» и «заботами»? Не знала, что еще долго буду думать, что они только снаружи так живут, а внутри всё понимают. Что я буду стыдиться себя, своей невозможности выдержать такую жизнь, что буду считать себя хуже всех, потому что все как-то справляются, выдерживают, а я не могу. Может быть, они

просто играют в серьезные обязанности, а на самом деле не верят, что эти обязанности и дела и впрямь так важны?

Вакуум был вокруг меня. А за ним – чужой и чуждый мир, в котором я – падчерица и сирота, нелюбимая, ненужная, мешающая, раздражающая всех вокруг – и когда веду себя плохо, и когда веду себя хорошо. Я писала неуклюжие и не поэтичные стишки, которые начинались, например, так: «Вот я живу. Зачем? Для чего? Кому от этого лучше стало?» И твердила вслед за Николенькой Иртеньевым: «Вы все не любите меня, не понимаете, как я несчастлива!»

Зачем я живу? Цветасва, которую я полюбила гораздо позже, тоже думала об этом. Она говорила – «чтоб душа сбывлась». А откуда ей знать, сбывлась или не сбывлась? И как о себе можно узнать такое?

И все-таки один собеседник у меня был. Вернее – слушатель.

Каждый день я возвращалась из школы с Инночкой Муляренко. Считалось, что мы дружим. И я выкладывала ей всё – или почти всё, – что волновало меня, а она слушала терпеливо и охотно.

«Как ты думаешь, – спрашивала я, – хочется ли птице стать человеком? Вот мне стать вороной не хочется, но она умеет летать! Неужели ворона лучше меня, раз ей дано летать, а мне нет? И, может быть, ворона вовсе и не радуется своему умению летать? Может быть, у нее свои неудобства. Может быть, она завидует людям. Интересно, хотела бы ворона быть человеком? И знает ли ворона, что такое счастье? Что такое несчастье или ощущение дискомфорта, она, конечно, знает. А вот счастье?..»

Или в другой раз: «Знаешь, я поняла что-то очень важное. Это было как озарение, хотя ничего, вроде бы, нового, всё знала и раньше, но вдруг с какой-то пронзительностью поняла, что не надо бороться с плохими чувствами к тем, кто тебе не нравится, кого ты не можешь полюбить или просто хоть как-то общаться с ними, потому что они кажутся тебе плохими и мелкими. Не надо бороться даже со своим плохим и мелким, надо только заполнить себя добром и любовью, и для всего того дурного просто не останется места. Не бороться с низостью, мелкостью, злом, а заполнять себя высотой, безмерностью, добром. Потому что если человеку хочется сделать что-то плохое или он что-то дурное чувствует, то это означает только одно: что в душе этого человека появилось место, не заполненное добром. И как только оно заполнится, дурное само уйдет без ненависти, злости, борьбы и убийства. Всё творит и созидает любовь. Всё разрушает и умертвляет отсутствие любви. Как это легко и просто, оказывается. Нужно только полюбить их всех, и полюбить не *себе*, а *им*. Как легко и как просто... И тогда мы научимся жить так, чтоб всем было хорошо – и льву, и ягненку, да, непременно и льву, и ягненку, и чтоб все были хорошие, и чтоб всем было хорошо».

Или про Акакия Акакиевича:

«Ты помнишь, ты помнишь, он им говорил: ‘Оставьте меня. Зачем вы меня обижаете?’ А они даже после этого продолжали над ним насмехаться! Ведь, кажется, уже невозможно больше! Я бы там на месте в соляной столб превратилась от ужаса, что могла такое сделать. А им даже стыдно не стало. Они потом снова сыпали ему бумажки на голову, а он опять эту фразу, да? И никто не пожалел его! А рядом с нами? Ведь рядом с нами они тоже есть, Акакии Акакиевичи, а мы их разве видим? А вдруг мы так же их обижаем? А вдруг мы просто их не замечаем, а они в это время живут рядом и мучаются...»

И, наконец, про самое главное, самое мучительное:

«Есть ли в нашей жизни какой-то смысл? Каким может быть смысл нашей жизни, если мы всё равно умрем когда-нибудь? Зачем же мы тогда родились?..»

Инночка – девочка хорошая. Действительно хорошая. Учится на четверки и пятерки. И в музыкальной школе по классу баяна тоже. И ни с кем не ссорится никогда. И умненькая. И книжки читает.

Мы сидим за одной партой. А после школы идем сначала к моему дому, а потом к ее. И так несколько раз (мы живем в разных концах города), потому что нам интересно беседовать, и мы не можем расстаться.

Но из меня льются потоки и ливни. В плохих стихах («это вне поэзии», – скажет о них позже мой учитель, для которого поэзия была всем на свете) и в неорганизованной прозе я изливаю на Инночку свои подростковые мучения и мечтания. Она слушает и вбирает в себя. Ей не скучно. Ей интересно. Она готова разделить со мной все. Разница только в одном. Я мучаюсь по-настоящему. Мне жизненно важно, смертельно необходимо всё то, о чем мы говорим. А ей только интересно. Она слушает и даже сопереживает. Но потом мы расходимся по домам. И пока я (а со мной еще миллионы подростков, но я же не знаю об этом!) совершаю героические поступки или гибну от стыда за собственную никчемность, ищу смысл жизни и даю сама себе великие клятвы, Инночка спокойно ужинает, делает уроки, играет на баяне заданные упражнения и ложится спать.

У меня дома совсем не так спокойно:

– Что с тобой?

– Ничего, мам.

Как это ничего, если я до сих пор не знаю, зачем родилась и живу на свете?!

– Ты уроки сделала?

– Нам не задано.

Вранье, вранье, нам задано много. Но кому они нужны, эти задания, если в это время где-то кто-то гибнет, а кто-то голодает? И я до сих пор не помогла им!

Я мучилась и тосковала. У Инночки этих мучений и этой тоски

не было – только отражение моих. Она и выросла хорошим человеком – спокойным, добрым, честным и добросовестным. Вышла замуж. Родила двоих детей. Живет хорошо. Действительно хорошо. Только без моих мучений и тоски...

Мне было тринадцать, когда на вопрос, есть ли Бог, я, воспитанная в духе атеизма, ответила: «Бога, конечно, нет, но у меня есть». И сказав это вслух, стала думать о том, что это значит.

«Может быть, это то, что приходит ко мне, когда я слушаю музыку Баха или читаю стихи?»

Примерно в это время продолжала взахлеб читать Виктора Гюго. То, что знал и рассказывал мне о Боге Гюго, было близко тому, что думала я сама... Была бы хоть немного более дерзкой, могла бы сказать: «У нас один Бог». Или, по крайней мере: «У нас близкие, похожие боги». Но дерзости для таких утверждений все-таки не хватало.

Нет, так и не сумела объяснить самой себе, сформулировать словами то неясное, воздушное, ускользающее от попыток слепить из него нечто конкретное, уложить в какие-то рамки. Тем более не могла – и даже не пробовала – заговорить об этом с кем-то другим. Но с каждым днем оно становилось всё осязаемее, казалось всё более важным, наполняло меня собой и вбирало в себя. И не было ничего нужнее и главнее этого. И ничем нельзя было его заменить... как и ни с кем нельзя было этим поделиться. Тогда мне казалось, что вот я вырасту, буду больше знать и понимать и смогу сказать словами, что же это такое – Бог, которого я полюбила.

Мне было четырнадцать, когда меня приняли в комсомол, и я удивилась странному молчанию мамы – и собственному ощущению фальши, – когда сказала: «Это самый счастливый день моей жизни».

Самый счастливый день... Это было время, когда я еще истово веровала во всё, что нам говорили в школе. Святыми были для меня слова «комсомол», «большевик», «революция». Не подвергала сомнению героизм Павлика Морозова или Зои Космодемьянской, гордилась тем, что мои родители были членами Коммунистической партии. Искренне считала, что наша страна – самая лучшая и самая справедливая в мире. Шел 1956-й год. Это был год Двадцатого съезда КПСС с докладом Хрущева «О культе личности и его последствиях». Год, когда в стране впервые, хотя еще и вполголоса, заговорили о беззакониях, о терроре и о репрессиях. Это был год советско-польского кризиса, когда поляки восстали под лозунгами «Долой русских!», «Да здравствует свободная Польша!», «Долой коммунистов!». Это был год венгерского восстания, подавленного советскими войсками, когда за несколько дней погибли 2652 венгра и 640 советских военнослужащих, были ранены 19226 венгров и 1251 советский солдат. И всё это прошло как-то мимо меня. Я ничего об этом не слышала.

Когда мы начали узнавать то, о чем говорилось на XX съезде партии, я, ничего еще толком не понимая, бросилась против всех: «Если это правда, почему вы не говорили ему в лицо, когда он был жив? А теперь, когда он умер и не может себя защитить...»

И только гораздо позднее, в свои восемьдесят, увидела запись речи Хрущева на XX съезде. Голос диктора рассказывал, что кто-то в зале крикнул тогда почти такую же фразу: «Если это правда, то почему вы не говорили об этом тогда, когда Сталин был жив?» Хрущев отреагировал мгновенно: «Встаньте, кто это сказал». Никто, конечно, не встал. И тогда Хрущев произнес: «Вот и я тогда поступал так же».

Мне было пятнадцать, когда я получила если и не ответ на вопрос «как жить?», то подсказку: любовью. Потому что то, что приходит ко мне, когда я слушаю музыку Баха или читаю стихи, приходит еще и тогда, когда я кого-то люблю.

Я не знала, это у всех людей такая сумасшедшая потребность в любви – или у меня только.

В пятнадцать пришла ко мне первая полудетская любовь к однокласснице Ленке. С тех пор я жила в состоянии любви. И по сей день помню ее – первую. Как дружили, как с уроков убегали на Приморский бульвар, как она меня в музыку влюбила, просто своей любовью к ней заразив, как дразнила меня: «Знаешь, я вдруг поняла, кто ты. Ты же у нас Золушка! И даже внешне похожа на ту Золушку из фильма... Если твои обидчики попадают в переделки, ты не радуешься. Ты бы их оттуда своими руками вытащила, чтобы они тебя и дальше обижали! Вспомни, как Золушка собственными золотыми ручками надела свою маленькую хрустальную туфельку на огромную ногу сестры, отказавшись тем самым и от принца, и от счастья, и от всего на свете... Почему считается, что Золушка хорошая? Неумение постоять за себя – разве это такое уж положительное качество? По-моему, ты типичная Золушка...»

Ленка утверждала, что я ношу любовь в себе. Где я – там и любовь. Но разве не все люди таковы? Неужели кто-то признает, что есть что-то больше и главное любви?

Эта любовь еще больше отдалила меня от других и добавила еще больше вопросов.

Ленка пришла к нам в девятый класс, когда приехала с родителями из Львова, и была совсем не похожа на моих одноклассников. Даже внешне не похожа. Она казалась мне сказочно красивой, красивее всех других девочек. И действительно от всех отличалась, и не только внешне, потому что была – не здесь.

Ленка всё время меня удивляла. Это только понарошку она сидела за партой и притворялась, что слушает учителя. На самом же деле была далеко, в каком-то нездешнем волшебном мире, а слушала небеса. Скрывала, что на самом деле она – сказочное существо. Волшебница

или фея. Отвечала урок или писала на доске решение задачи, как обыкновенная девочка, и мне казалось удивительным и странным: зачем, зачем она делает это? Почему не взмахивает волшебной палочкой или даже просто рукой, чтобы решение задачи само появилось на доске?

Ленка рассказывала мне о Львове и западных украинцах, обо всей нашей стране такое, что нужно было либо не верить ей и возненавидеть ее как врага на всю жизнь, либо верить и отчаяться, разуверившись во всем, что я знала о нашей стране раньше. Возненавидеть ее я уже не могла. А значит, не могла и не поверить.

Так я начала, наконец, узнавать о страшном, преступном и кровавом пути своей родины. И опять не знала, как жить. И как совместить, тоже не знала. Ведь родина – она как мать. И что делать, если твоя мать – дрянь? Мерзкая и подлая преступница. Что делать?!

Это было тяжело и болезненно, всё во мне сопротивлялось, не желая принимать свалившееся на меня знание. Я не хотела его и плакала, слушая песню «Широка страна моя родная». Еще недавно я верила каждому слову этой песни, верила в революцию, в счастливое будущее, в справедливость и свободу для всех, в то, что наша страна – самая лучшая. Я плакала, оттого что это оказалось неправдой, оттого что это всегда было неправдой, оттого что это не могло быть правдой. И еще оттого, что даже теперь, уже зная о страшной лжи, я всё равно не могла избавиться от острого желания, чтобы оно всё же оказалось правдой. Раз оно уже было, то пусть бы оно было хотя бы не зря. Пусть мы не стали свободными и счастливыми, раз не заслужили свободы и счастья, но пусть бы не были обмануты те вера, и надежда, и стремление к идеалу.

Я поняла тогда и другое: что моя родина-мать не любит меня. Не просто равнодушна ко мне, нет, она активно меня не любит. А я всё равно продолжаю ее любить. Как с этим жить? Что делать?

А делать что-нибудь было надо, просто жизненно необходимо. То, что я узнавала о своей родине-матери, не было совместимо с любовью к ней, но я не могла ее ненавидеть и даже просто быть равнодушной к ней не могла.

Хотела что-то придумать, что позволило бы мне по-прежнему любить свою родину и гордиться ею. Но чем больше я о ней узнавала, тем меньше оставалось у меня надежды.

Я не видела выхода и не знала пути, который мог бы привести меня хоть куда-нибудь. Было горько и страшно. Обидно и горько. Безнадежно обидно и горько.

Я писала тогда в своем школьном сочинении: «Почему ты не любишь меня, Родина? Почему я тебе не нужна? Разве не поверила я с малолетства твоим словам о любви к детям и заботе о них? Разве не шептала, сидя за школьной партией: ‘Какое счастье, что я родилась в такой прекрасной стране!’»

Я шептала тогда это искренне, хотя знала, что мой отец был уво-

лен с работы и отправлен в ссылку как безродный космополит и только чудом избежал лагеря. Отец тогда боялся выходить из дому и боялся быть дома. Целый день он играл по слуху на скрипке печальные и рвущую душу мелодии, прерываясь только на несколько минут, когда раздавался звонок в дверь. Тогда он останавливался, цепенел со скрипкой в руках и смотрел напряженно, кто же пришел. Когда видел, что пришел кто-то свой, не опасный, уходил в другую комнату и, не пытаясь даже заговоривать с гостем, снова начинал играть. Он был прав, что боялся. В любой день или в любую ночь он мог быть арестован, как и каждый в моей любимой стране.

«Ты плохая мать, Родина, – писала я. – Ты не любишь своих детей. Ты не любишь их красотой и талантом. Ты не радуешься их успехам, не огорчаешься, когда им плохо. Ты – плохая мать. Тебе не нужны твои дети. Ты, как кукушка, разбрасываешь их по чужим гнездам, и это они плачут от тоски по тебе, а ты не плачешь. Тебе все равно. ‘Незаменимых нет, – говоришь ты, теряя очередного своего ребенка, – незаменимых нет’. Мы, люди, умеем любить. А ты не умеешь любить, Родина. Ты умеешь славить и восхвалять, но любить ты не умеешь. Тебе никто не дорог, и сама ты себе не дорога тоже. Ты уничтожаешь себя так же бестрепетно, как лишаешься детей своих. А они не могут избавиться от любви к тебе, даже зная о тебе так много, даже зная, что ты не любишь их.

Плохо в нашей стране. Плохо в семье, где мать никого не любит. Горе такой семье. Научись любить своих детей, Родина...»

Конечно, меня прорабатывали на комсомольском собрании и на педсовете, но к этому я была уже безучастна.

Мне было шестнадцать, когда началась травля Пастернака. Мы с Ленкой бегали в библиотеку и перебирали газеты. В каждой было что-то о нем и его «клеветническом романе». Кем только его не называли! И «литературным сорняком», и «лягушкой в болоте», и «паршивой овцой», и «озлобленным обывателем». Под рубрикой «Советские люди осуждают действия Бориса Пастернака» публиковались бесконечные заметки советских служащих, рабочих, колхозников, которые, конечно, Пастернака не читали, но осуждали дружно и гневно. Да что рабочие и колхозники! Романа Пастернака не читало и большинство писателей, единогласно проголосовавших за его исключение из их Союза. Но этого им показалось мало. И они решили, что надо лишить его гражданства и выслать из страны как изменника родины. Мы с Ленкой только кулаки сжимали от бессильного гнева!

Тогда же я впервые получила ответ на свои вопросы о Боге. Случайно купила в букинистическом «Исповедь» и «В чем моя вера» Толстого. И это оказалось очень «мое». Будто автор подслушал меня, услышал мои вопросы – и тут же стал отвечать именно на них.

Книги были старые, дореволюционные. Листая их, я обнаружи-

ла, что они были бывшими библиотечными. И не просто библиотечными, а со штампиками и печатями НКВД. Как могли эти книги попасть в советскую тюремную библиотеку? Как попали потом в букинистический магазин? Я рисовала себе картины обыска, ареста, конфискации книг, пыталась представить себе судьбу их бывших владельцев...

Так Толстой поговорил со мной не только о вере.

Мне было семнадцать, когда я окончила одиннадцать классов средней школы и пыталась поступать в университет. Хотя и знала о пятипроцентной норме для евреев.

Когда я пришла с документами, у меня даже принимать их не хотели. «Деточка, не нужно вам подавать», – сказал мне член приемной комиссии, к которому я подошла со своими заполненными бумагами. «Почему?» – спросила я наивно, еще не догадываясь, что он имел в виду. А он понимал очень хорошо и изо всех сил старался донести свое понимание до меня, глупой, объяснить мне безнадежность моего положения, не нарушая при этом ни этики, ни закона. Я до сих пор помню, как он читал по документам, пытаясь интонацией подчеркнуть самое важное, самое информативное. Прочитал мою еврейскую фамилию. Посмотрел на меня не злобно, даже соболезнующе. Помолчал. Потом прочитал дату окончания школы. Опять помолчал. «Значит, стажа у вас еще нет?» – спросил. – А вы знаете, что без стажа примут всего пять человек? Пять человек, вы понимаете, сколько это человек на каждое место? Я вам добра желаю. Зачем вам напрасно нервничать, сдавать экзамены, это же почти невероятно – поступить при таком конкурсе!»

Документы я все-таки подала. Конкурс оказался действительно немаленьким, но и не таким уж страшным. Всего двадцать человек на место.

Каким-то чудом мне удалось сдать все экзамены с неплохими результатами и набрать проходной балл. Но меня всё равно не приняли. Мама возмущалась и требовала, чтобы папа пошел в университет добиваться правды. Папа никогда не мог перечить маме. И он пошел. Только ничего у него не вышло. Так в университет я тогда и не поступила, хорошо хоть работу какую-то нашла.

К этому времени я уже поняла, что вряд ли смогу сделать мир лучше, а всех людей добрыми и счастливыми. И отчаянье овладело мною. А что это гордыня сатанинская, как-то и не подумала. Я тогда еще не знала слов Бродского, которые он произнесет позднее: «Мир, вероятно, спасти уже не удастся, но отдельного человека всегда можно». Но, не зная этих слов, изо всех сил хотела спасать если не всех, то хоть кого-нибудь – человека, человек, только бы начать поскорее и не останавливаться до последнего вздоха, чтоб побольше успеть. Разве мир не состоит из этих человек? И разве не сказано в Талмуде: «Тот, кто спасает одну жизнь, спасает весь мир?»

Но никого я не спасла. Никого. Никого из тех, кто был рядом. Никого из тех, кто был далеко.

Мне было восемнадцать, когда я поняла, что множество моих братьев и сестер, рассыпанных во времени и в пространстве, ходили теми же дорогами и искали ответы на те же вопросы. Но я не знала, смогли ли они их найти. Искала учителя или учителей, но их не было вокруг меня, а если и были, я их не видела. Искала ответы в книгах. Книги хорошо учили, да я плохо училась. И опять не знала, как жить.

Это был шестидесятый год. Еще продолжалась хрущевская оттепель. Уже появился и разошелся по всей стране новый термин «шестидесятники», введенный Станиславом Рассадиным в журнале «Юность», который с восторгом читали и я, и все мои друзья и знакомые. Читали стихи молодых поэтов, почти наших ровесников, – Рождественского, Вознесенского, Евтушенко, Ахмадулиной, Казаковой, прозу молодых писателей Аксенова и Гладиллина. А в «Новом Мире» – Залыгина и Айтматова, мемуары Эренбурга и написанные в эмиграции стихи Цветаевой.

Мне было девятнадцать, когда тело Сталина было вынесено из мавзолея. Я знала об этом и молчала. Но не молчали другие.

Куда еще тянется провод из гроба того?

Нет, Сталин не умер. Считает он смерть поправимостью.

Мы вынесли из мавзолея его.

как из наследников Сталина – Сталина вынести?..*

Мне было двадцать, когда я прочитала «Один день Ивана Денисовича» и услышала песню Галича «Облака плывут в Абакан».

Солженицын сдал «Ивана Денисовича» в «Новый мир» еще в ноябре 1961-го, и повесть произвела сильнейшее впечатление на Твардовского – главного редактора журнала в то время. «Пробить» публикацию такого явно непроходимого произведения было нелегко, и опубликовано оно было лишь в ноябре 1962-го. Но в течение года повесть распространялась в списках, и это была первая самиздатская книга, которую я держала в руках.

Повесть произвела на меня впечатление бомбы, разорвавшейся если не прямо во мне, то в нескольких сантиметрах от меня – и только случайно меня не убившей. С ужасом и стыдом вспоминала я свои слова, сказанные когда-то Славику Вольтову: «У нас виноватых не убивают, их сажают в тюрьму и перевоспитывают. А без вины вообще никогда никого обвинять не станут». Что за дура я тогда была! А девят-

* Евгений Евтушенко. «Наследники Сталина» (Написано в 1961 г., опубликовано 21 октября 1962 г.).

тый класс? Когда Ленка рассказывала жуткую правду о нашей стране, я думала про себя: «Не может быть. Что-то она все-таки преувеличивает». Ленка говорила осторожно и не очень много. Скорее всего, она и сама тогда знала далеко не всё. Да и откуда? Таких книг тогда еще не было. А если в лагере и побывал кто-то из близких семьи или родственник, родители не стали бы рассказывать ей об этом.

Хорошо знала об этом Женя Землегорская, измученный и больной отец которой возвратился из лагеря в 1958-м и умер в 1959-м.

Повесть Солженицына все-таки появилась в печати – и была прочитана. В том же 1962 году мы шептались на кухнях о выставке в Манеже, где Хрущев грубо ругал художников-авангардистов, оскорблял их, а работы Эрнста Неизвестного назвал «дегенеративным искусством». В ту же ночь после посещения Хрущевым выставку закрыли.

И с новой силой стал меня мучить вопрос: как жить? Как жить, если происходит такое, а я ничего, ну решительно ничего не могу сделать, чтобы этого не было, – и даже не знаю, что можно сделать. В своем отчаянии я была не одинока: все мои друзья теряли тогда надежду на какое-то улучшение. А другие люди? Были ли эти надежды у большинства советских граждан? Думали ли они об этом?

Мне был двадцать один, когда состоялась другая знаменитая встреча Хрущева с интеллигенцией. Встреча, на которой он орал на Андрея Вознесенского, оскорблял его. На которой этот человек, раскрывший в 1956 году историю беззаконий, массовых арестов и расстрелов, проводившихся Сталиным и по его указанию, теперь произнес: «Сажать мы не разучились! Думают, что Сталин умер, и, значит, всё можно».

Благодаря этому человеку в стране начался период, так и называвшийся «хрущевская оттепель», – то самое время, когда впервые осудили культ личности Сталина и репрессии. Благодаря ему тысячи и тысячи заключенных вернулись домой из ГУЛАГа. Благодаря ему в стране наступила хоть какая-то либерализация. И вот теперь именно он заявил: «Никакой оттепели. Или лето, или мороз». И добавил, обращаясь к молодым поэтам: «Можете сказать, что теперь уже не оттепель и не заморозки, а морозы. Да, для таких будут самые жестокие морозы. Мы не те, которые были в клубе Петефи, а мы те, которые помогали разгромить венгров».

Шел 1964 год. Мне было двадцать два, когда стало очевидно – наступает конец оттепели. Я поняла это не тогда, когда смещали Хрущева, а гораздо раньше – во время суда над Иосифом Бродским.

О ходе этого позорного судилища я узнавала благодаря распечаткам записей, сделанных Фридой Вигдоровой на судебных заседаниях. Эти записи стали одним из первых произведений нарождающегося

самиздата. Мы с друзьями собирались на кухнях и взволнованно читали вслух:

Судья: Чем вы занимаетесь?

Бродский: Пишу стихи.

Судья: А вообще какая ваша специальность?

Бродский: Поэт, поэт-переводчик.

Судья: А кто это признал, что вы поэт? Кто причислил вас к поэтам?

Бродский: Никто. (*Без вызова*). А кто причислил меня к роду человеческого?

В то время я почти не знала стихов Бродского – и не могла их оценить. Но это не имело значения. Судили поэта и поэзию. Судили ни за что, без всякой вины. Естественно, я встала на сторону подсудимого. Естественно, чувствовала себя оскорбленной, будто не кого-то незнакомого безвинно судили, будто безвинно судили меня.

Восхищало достоинство, с которым он держался. Сам собой возник вопрос: «А я бы смогла так?»

И опять ничего не могла сделать. И опять ничем не могла помочь. И опять с новой силой звучало во мне: как жить и для чего жить, если от жизни моей никому не становится лучше?

В октябре 1964-го Хрущев был смещен, и к власти пришел Брежнев. Впереди нас ждали долгие годы застоя.

Мне было двадцать три и двадцать четыре, когда в стране начались события, которые мы и по сей день помним как «процесс Даниэля и Синявского».

Оба они были арестованы в сентябре 1965 года, и снова, как во время суда над Бродским, я бегала в библиотеку и перелистывала газеты в поисках информации. Достоверной информации не было. Ходили слухи. Имен этих писателей я не знала, как не знала и о том, что свои произведения они публиковали на Западе под псевдонимами. В газетах снова были только оскорбления, обвинения и возмущенные «отклики трудящихся», никогда, разумеется, не читавших опальных авторов. И снова как личная трагедия воспринималось происходящее, а душу жег стыд за себя, за собственное бессилие...

Официальная информация о Даниэле и Синявском начала появляться в печати только в январе 1966-го, а в феврале прошел и сам процесс. Снова, как во время суда над Бродским, я зачитывалась не газетными публикациями, а распечатками записей, распространявшихся в списках. И видела двух честных и мужественных людей, которые не отрекались от своих убеждений даже перед судьями, грозящими им расправой. «Я считаю, что каждый член общества отвечает за то, что происходит в обществе. Я не исключая при этом себя», – говорил Даниэль. «Ты в ответе за других», – продолжал он. И мне казалось,

что эти его слова обращены непосредственно ко мне. Мне казалось, что он откуда-то узнал мои мысли, мое чувство вины, мое «я виновата, потому что виноваты все», «я виновата, потому что каждый виноват за всех, и не за всех вместе, а за каждого в отдельности». Но как вынести груз такой огромной вины? Как жить с такой виной? Как быть таким виноватым – и все-таки жить?!

«Лишь будучи увиденным Богом, ты сделался человеком», – говорил Синявский. И мне казалось, что он тоже подслушал мысли моих тринадцати лет, когда на вопрос, есть ли Бог, я отвечала «Бога, конечно, нет, но у меня есть» и пыталась объяснить самой себе, что же это – Бог, которого я полюбила.

«Чтобы навсегда исчезли тюрьмы, мы понастроили новые тюрьмы», – говорил Синявский. А я думала: «Вот кто мог бы стать моим учителем. Вот кто мог бы научить меня, как жить и что делать, чтобы мир стал хоть немного лучше».

С процессом Даниэля и Синявского обычно связывают начало широкого диссидентского движения.

В 1966-м году в нью-йоркском «Новом Журнале» впервые вышли четыре «Колымских рассказа» Шаламова. В это же время его рассказы циркулировали и в самиздате. У советских людей появилась возможность читать многое из недоступного раньше.

Теперь уже нельзя было пожаловаться на недостаток информации. Мы читали запрещенные произведения Ахматовой, Мандельштама, Даниила Андреева, подпольные стихи Коржавина и слушали «Песню о Сталине» Алешковского, песни Галича и народные лагерные песни. Мы читали «Белую книгу», составленную Гинзбургем*. Читали приведенные в ней документы: подробности процесса над Даниэлем и Синявским, позорную речь Шолохова, клеймившего подсудимых и жалевшего о мягкости приговора, и прекрасное ответное открытое письмо Лидии Чуковской, под которым хотелось подписаться, хотелось самой быть автором такого письма.

Это было только начало. Впереди было множество книг. Нас ожидали «Хроники текущих событий», которые начнутся в 1968-м, «Полдень» Натальи Горбаневской, журнал «Синтаксис».

Но главное уже свершилось. Я перестала быть одинокой. Перестала быть одиночкой.

Теперь мне были известны имена далеких и близких единомышленников, друзей, которых, может быть, никогда не увижу, но никогда и не отпущу их руки, как и они моей руки никогда не отпустят.

В том же 1965 году, когда мы переживали арест Даниэля и Синявского, римский Папа Павел VI издал буллу, в которой с евреев снимались обвинения в смерти Иисуса Христа. Это, конечно, не сни-

* Была опубликована в 1967 году в издательстве «Посев».

зило уровень бытового или государственного антисемитизма в моей стране. Но заставило меня задуматься и обрадоваться. Обрадовалась я потому, что и раньше, размышляя на эту тему, говорила сама себе: «Но разве Иисус не добровольно принял на себя страдания и смерть? Если действительно не добровольно, то в чем тогда его подвиг? Он тогда не герой, а жертва. И как можно тогда говорить о нем ‘Смертию смерть поправ’? А если добровольно, то как можно винить в его смерти кого бы то ни было, евреев, которые не выносили ему смертный приговор»? И вот теперь Папа Павел VI сказал о добровольности принятия Христом смерти по своей великой любви к людям...

А задумалась я о вечности и о времени. О смерти и о бессмертии, о конечном и бесконечном. Я размышляла примерно так: «Не знаю, как объяснить бесконечность, безмерность, глубину, но я чувствую их собой – собой суетной, маленькой, предельной и... бесконечной».

Мне было двадцать три года, я не хотела жить днями, жить временным – и не умела жить вечностью. «Вечность – это не день и не век, это вообще не время, это другое, – размышляла я. – Нельзя и не надо выключать из себя Вечность на время житейских передраг, но можно и нужно пребывать в ней всегда – и слушая великую музыку, и выметая метелкой квартиру.»

«Бесконечности можно причаститься, – думала я – а можно ли причаститься бессмертию? Например, любовью. Каждый любящий верит, что его любовь – бессмертна...»

Любовь, стихи, музыка, картины, добрые дела и героические подвиги – всё это, конечно бессмертно. А остальное, что с ним происходит? Оно исчезает?

И вот тогда мне попала на глаза статья Бехтерева, в которой ученый утверждал, что ничто не исчезает, не пропадает бесследно – ни один наш шаг, ни один наш поступок, ни одна мысль, ни одно чувство.

«Не пропадает бесследно? Но ведь это и есть бессмертие!» – обрадовалась я, но тут же и спохватилась: какую же ответственность это накладывает на человека! Получается, что каждый мой промах, каждый мелкий обман или крупное преступление, каждая нанесенная кому-то обида, но и каждый добрый поступок, каждое утешение, подаренное человеку, каждая большая или маленькая поддержка близкому или просто прохожему, словом, всё-всё-всё – не исчезает и не исчезнет вместе со мной, и это не метафора, не фантазия, это реальность, о которой говорят ученые и поэты, философы и художники... Ведь это значит, что, умирая, человек действительно не исчезает, а продолжает существовать. Не только гении и великие люди, но все, все, – он, она, я – каждый. Вот такие мы, какими были в течение своей жизни. И этим мы, смертные, причащаемся бессмертию...

«Что же такое человек? – думала я. – Смертный он или бессмерт-

ный, временный или вечный? Или даже иначе. Где живет человек – в вечности или во времени?»

А могут ли соединяться время и вечность? Ведь вечность не имеет ни начала, ни конца, а время начинается, длится, оканчивается. Смерти нет, человек бессмертен, но он рождается, живет, умирает. Противоречие? Или соединение в человеке временного и вечного? Двойственная природа человека, обреченного родиться и умирать, осознавать свою обреченность и неизбежность смерти, и при этом не только стремиться к вечности, но и воплощать ее в своей коротенькой жизни.

Так могут ли воссоединиться время и вечность? Получается, что могут. Они соединяются в человеке...

...Брежневские времена становились всё более затхлыми. Еще не было видно ни выходов, ни путей, а тупики жгли, и я металась, нелепая и бессильная, между диссидентами и безнадежной, ослабляющей верой в просто добрых и честных людей.

Мне было двадцать пять, когда в Советском Союзе начало набирать силу правозащитное движение. Участились демонстрации и протесты в защиту политических обвиняемых. В то же время резко ужесточились репрессии против инакомыслящих. Всё чаще приходили сообщения об арестах. Всё жестче становились приговоры. Я слушала западные радиостанции и читала тамиздатские книги – и «Мастера и Маргариту» Булгакова*, и «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург**, и самиздатских «Гадких лебедей», и «Сказку о Тройке» братьев Стругацких.

Летом того года мы с подружкой Мирой отправились в поездку по Украине и Литве. Сначала провели недельку на турбазе, потом несколько дней во Львове. И я впервые тогда, пожалуй, начала понимать западных украинцев, которых советские власти судили и отправляли в тюрьмы и лагеря за «украинский национализм». Понимать и сочувствовать им.

Из Львова мы направились в Вильнюс. Вот во время этого переезда нам и довелось познакомиться со знаменитым «стольпинным». Мы уже вышли на перрон и искали свой вагон, но случайно пошли в другую сторону и оказались в хвосте состава, а там самым последним вагоном обычного пассажирского поезда был именно он, так хорошо известный всем советским людям, так подробно описанный Солженицыным. Снаружи – обычный вагон, мы бы и внимания на

* Первое полное издание книги на русском языке вышло в 1967 году в издательстве YMCA-Press в Париже.

** Неполная публикация издательства Harcourt, Милан, Италия.

него не обратили. Но он был освещен, правда, только наполовину, и этого оказалось достаточно.

Это было как обухом по голове. Вот мы с Мирой – веселые беззаботные туристки, экскурсантки, путешественницы. Вокруг нас полно народу, все куда-то бегут, торопятся. А посреди всего этого – вагон. Одна его половина – для солдат-конвоиров – освещена. Они там отдыхают полураздетые, в синих маечках. Вторая половина для заключенных. Здесь купе отделены от коридора сплошной решеткой и, хотя они не освещены, нам всё равно видно в полутьме много совсем молодых лиц, и все они – и взрослые, и мальчики – в голубых маечках и с бритыми головами. А лиц не разглядеть. Выглядит всё очень буднично, очень обыденно, очень спокойно. И люди эти тоже вроде бы спокойны: не шумят, не кричат, не бьются о решетку (а решетка-то узорная, красивая). Но мы с Мирой отлично понимаем, *что это такое* – то, что выглядит так буднично. *Что* оно на самом деле означает. А означает оно, что одни люди везут других людей в клетках.

Конечно, мы сразу вспомнили и Мыколу Руденку*, и нашего одессита Васю Барладяну**, и Анатолия Марченко***, и многих, многих других. Но ведь мы даже не знали, кого видели в тот момент там, за решетками, кто были эти заключенные в синих маечках. Может быть, эти люди воровали, убивали, насильничали. Может быть, они были очень скверными людьми. Но мне казалось, что дело даже и не в том, кто они и за что попали в этот вагон – хотя это, конечно, важно. Дело было в том, что одни люди присвоили себе право сажать других людей в клетку. Но кто дал им такое право? А если признать сразу и полностью, что клетка для себе подобных – это плохо, позорно, безнравственно, то что делать с настоящими преступниками?

Этого я не знала, знала только, что и звери в клетках – в зоопарках, например, – вызывали у меня совсем не радостные чувства. А тут люди! Собственно, вопрос для меня был только один: можно ли признать нравственным и человеческим то, что одни люди сажают в клетку других людей?

Мы с Мирой вернулись в свое купе, но не могли успокоиться. «Как же так, – говорила я, – вот я с ними в одном поезде еду, размышляю о вечности. А они – рядом. У них сиюминутная такая нужда, что мне и не представить. И опять, как всегда, я ничем не могу быть полезна. Ничем никому не могу помочь. В дореволюционной России люди арестантам хлебешек давали. А мы и этого не можем.»

* Николай Данилович Руденко (1920–2004), украинский писатель, поэт и редактор, правозащитник, руководитель и один из основателей Украинской Хельсинкской группы.

** Василий Барладяну (1942–2010), один из основателей Украинского Хельсинкского Союза, публицист, в советские времена – политзаключенный, посажен за националистические идеи; отсидел в лагерях шесть лет.

*** Анатолий Тихонович Марченко (1938–1986), правозащитник, известный диссидент, писатель.

Мира пыталась меня утешить. Говорила, что утром на остановке мы попробуем им в окошко передать еду. На том и порешили. Но утром арестантского вагона, конечно, уже не было. Отцепили по дороге.

Мне было двадцать шесть, когда советские танки давили Пражскую весну.

Утром 21 августа 1968 года мы стояли в длинной очереди на остановке нашего заводского автобуса, чтобы ехать на работу. А напротив, у здания райвоенкомата, в другой очереди-толпе стояли наши мужчины. Они махали нам руками на прощание. Я не понимала, в чем дело: еще ничего не знала. Мне объяснили: их мобилизовали на военную операцию в Чехословакии.

На работе мы шептались в укромных местах, и начальник спецотдела разгонял нас: «Больше трех не собираться». Несколько женщин, у которых мужей забрали той ночью, приходили в заводскую библиотеку, рассказывали, как мужья уходили, не успев даже толком попрощаться. Всей душой мы сочувствовали и нашим мужчинам, и чехам, но что, кроме этого шепота, мы могли себе позволить?

«А что мы можем сделать?». И впрямь – что мы могли? Что сегодня могут сделать сочувствующие украинцам россияне? Но ведь восемь человек тогда знали, что делать. Восемь. А меня не было среди них. Я не стала девятой.

И всё это время я не знала, как жить. Была, конечно, уверена, что нахожусь на стороне добра. Более того, была уверена, что все люди – или большинство людей – хотят быть на стороне добра. Но тогда откуда берется зло?..

В то время я еще не слышала «Петербургского романса» Галича с его пророческими словами «Смеешь выйти на площадь, можешь выйти на площадь...» Поэт рассказывал, что написал эту песню за день до «демонстрации семерых», еще не зная о том, что демонстрация состоится. Не слышала я и слов Ларисы Богораз, которые она сказала на суде по «делу семерых»: «Промолчать – значило для меня солгать. Для меня мало было знать, что нет моего голоса ‘за’, – для меня было важно, что не будет моего голоса ‘против’».

Наталья Горбаневская составила и опубликовала книгу «Полдень», которая была полностью посвящена чешским событиям. В ней был напечатан и текст воззвания Григоренко и Яхимовича «К гражданам Советского Союза!» с призывом добиваться вывода советских войск из Чехословакии.

«Мы все несем долю вины.» Эти слова Петра Григоренко были обращены, казалось, прямо ко мне. Я ощущала свою долю вины ежедневно и ежечасно. Ощущала, но... Опять ничего не делала, опять не знала, как жить.

Мне было двадцать семь в 1969 году, который считался относи-

тельно спокойным. Этот «спокойный» год начался с попытки покушения на Брежнева. Оно оказалось неудачным. Советских людей это событие не очень взволновало. Скорее вызвало насмешки. Но я не разделяла всеобщего веселья. Меня раздирали противоречивые чувства, с которыми я не могла справиться.

«Этот человек взял на себя смелость и ответственность избавить страну от скверного правителя, – рассуждала я. – Избавить страну от правителя-маразматика – это же хорошо? Значит, этот человек – герой? Но он пошел на убийство. А как же заповедь ‘не убий’? Ну а если это строго необходимо, жизненно необходимо – убить человека, который приносит зло другому, другим, целой стране, странам? Но как же быть тогда с толстовским непотивлением злу насилием, с учением Ганди о ненасильственном сопротивлении?»

Я верила, что убивать нельзя никогда – ни на войне, ни в революции, ни в бунте против угнетателя, ни на охоте, нигде и никого. Никогда, ни за что, ни при каких обстоятельствах. Убивать нельзя еще и потому, что от зла не будет и не может быть добра. Невозможно прийти к гармонии через хаос, к справедливости через несправедливость, к свету через тьму, к нравственности через безнравственность. Нельзя. Невозможно.

Мне было двадцать восемь, когда оттепель окончательно перестала существовать.

Для меня это было связано с позорным разгромом и уничтожением глашатая оттепели – лучшего в то время журнала «Новый мир».

Шестнадцать лет во главе журнала стоял Твардовский. Шестнадцать лет журнал считался нравственным эталоном современной литературы. В 1970-м началась настоящая травля сотрудников и главного редактора «Нового мира». В феврале Александр Трифонович подал заявление об уходе. Не пережив травли и разгрома, он тяжело заболел и вскоре умер на шестьдесят втором году жизни.

И опять все молчали? Молчали. Но не все.

И если жив еще народ,
то почему его не слышно
и почему во лжи облыжной
молчит, дерьма набравши в рот?

Это строки из стихотворения Бориса Чичибабина «Памяти А.Твардовского». Поэт не смолчал. И поплатился: в 1973-м был исключен из Союза писателей за «написание антисоветских стихотворений». Стихотворение об А. Твардовском было одним из них.

Тогда же началась откровенная травля Солженицына и Сахарова. 29 августа 1973 года газета «Правда» опубликовала письмо 40 членов Академии наук СССР с осуждением академика Андрея

Сахарова. Только академики Петр Капица, Яков Зельдович и Анатолий Александров отказались поставить свои подписи.

А через два дня, 31 августа 1973 года, на страницах этой газеты появилось открытое письмо советских писателей с осуждением «таких людей, как Сахаров и Солженицын, клеветующих на наш государственный и общественный строй». Под письмом стояли подписи 31 писателя. Василь Быков подписывать письмо отказался, но его подпись всё равно поставили.

В том же году КГБ конфисковал рукопись «Архипелага ГУЛАГа» Солженицына. Александр Исаевич распорядился сдать в набор экземпляр «Архипелага», который уже находился в Париже. Книга вышла в свет в декабре, после чего травля писателя в советской печати разгорелась до невиданных высот. В «Литературной газете» был даже открыт специальный раздел «Отпор литературному власовцу», в котором печатались статьи, клеймящие «растленную душонку» и «клеветника».

Мне шел 31-й год. Я напряженно следила за ходом событий: посадят или не посадят?

Это было время, когда я делала свои первые робкие «протестные» шаги. Купила машинку «Москва». Это была, конечно, не «Эрика», но и она давала четыре копии, а если на очень тонкой бумаге, то и шесть. Печатать я тогда еще не умела совсем, но быстро научилась, и вскоре уже договаривалась с переплетной мастерской. Моими первыми «изданиями» были «Реквием» Ахматовой, письма Булгакова Сталину, сборник стихотворений Мандельштама. Всё то, что удалось достать в распечатках. Позже к этому прибавился сборник избранных стихотворений Бориса Чичибабина, тоже составленный из рукописных тетрадок.

Мне было тридцать два, когда мною заинтересовался Комитет государственной безопасности.

В то время я преподавала в Кировоградском пединституте, и всё у меня было хорошо. Всё было мне там по душе. И лекции, и практические занятия, и студенческий научный кружок, и моя научная работа, а главное – беседы со студентами, – с группами и с каждым отдельно.

Я даже не заметила, как что-то начало меняться. Почему-то на мои лекции стали чуть ли не каждый день приходиться то декан, то заведующий кафедрой, то проректор, то еще кто-нибудь с факультета. Сидели, слушали, ничего не говорили. «Будьте очень осторожны, – предупреждали меня коллеги, – тут что-то не так.» Но мне казалось, что я и так осторожна.

Это было время высылки из страны Солженицына. Я узнала о ней из передачи по телевизору. 14 февраля в «Новостях» передали сообщение ТАСС о том, что «лишен гражданства СССР и выдворен за пределы Советского Союза Солженицын А.И.». Студенты в тот

день расспрашивали меня о нем, о его произведениях. Мне нужно было как-то лавировать между осторожностью и невозможностью предать доверие студентов. «Нет, не читала ‘Архипелаг ГУЛАГ’, – отвечала я в аудитории на их вопросы, – потому что он не был издан у нас в стране.» На тот момент это было правдой. «Но читала его повесть ‘Один день Ивана Денисовича’, которая была издана более десяти лет тому назад, – продолжала я, изо всех сил сдерживая себя, чтоб не сболтнуть лишнего. – В ней нет ни капельки лжи. Солженицын написал правду. В том-то и сила повести. В правде. В той, которую раскрыла партия народу на XX съезде. А без правды – как можно вести страну? Вести страну нужно с открытыми глазами. Иначе будет, как в фильме ‘Бег’, – слепой ведет слепого...»

Когда студенты заговаривали со мной о Павлике Морозове, которого тогда еще положено было считать пионером-героем, я отвечала осторожно: «Павлик, конечно, герой... Во всяком случае – жертва, ведь он погиб, его убили». Тут бы мне остановиться, но меня уже «несло», и я продолжала: «Но в общем-то он донес на своего отца. И я не уверена, что можно признать этот поступок похвальным. Кроме того, мне кажется, что дело было не в ‘политической зрелости’ мальчика, а скорее в том, что отец не был с ним ласков и добр, и особой любви между ними не было. Если бы Павлик крепко любил отца, то, может быть, и не донес бы. А если бы донес, то тем хуже.»

«Вы поторопились с этим, – сказал мне после моего процесса кто-то из знакомых. – Вы поторопились, по меньшей мере, лет на десять.»

И вот в один не очень прекрасный день меня вызвали в местный отдел КГБ, и начался допрос, который растянулся на много часов. О моих «домашних изданиях» на машинке они не упомянули. Наверное, не знали о них. А может быть, их это и не интересовало. Их интересовали мои «антисоветские» разговоры, особенно со студентами. Мне предъявляли обвинения одно за другим, и по каждому я должна была дать объяснения, действительно ли я говорила это студентам – и с какой целью. По глупости ли, по наивности или просто растерявшись, я выбрала самый неудачный ответ. Я отвечала: «Хотела научить студентов думать».

Заговорили и о годах террора. Оказалось, у них насобиралось много моих высказываний по этому поводу. О невинных людях, отправленных в лагеря, о количестве жертв, об общей моей оценке периода культа личности. Вот тогда-то и прозвучала фраза, которую не могу забыть до сих пор. Один из допрашивающих спросил меня: «Вы действительно считаете, что у нас несправедливо сажали в тюрьму невинных людей?» – «Конечно, – отвечала я, – об этом говорилось на XX съезде КПСС. Партия осудила это.» И тогда он произнес: «Я сам работал в отделе по рассмотрению дел на реабилитацию. Да,

были случаи чрезмерной строгости наказания. Например, за опоздание на работу или за украденные с поля колоски можно было получить 20 или 25 лет. Но не было ни одного посаженного без вины».

Подумать только – ни одного! Как тут можно было спорить о количестве жертв террора?

Многие обвинения, которые мне тогда предъявили, выглядели просто смешно. По крайней мере, с моей точки зрения. Например, такое: «Призывала студентов к самоотверженности». Но людям, которые меня допрашивали, это смешным не казалось, и они собирали и собирали так называемые обвинительные эпизоды.

«Эпизодов» было много. Следователи при мне листали толстые папки с моим «делом». Всё пошло «в торбу». И 66-й сонет Шекспира, который я читала студентам как бы в качестве примера длинного предложения с большим количеством однородных членов. Сонет и впрямь тогда, как и сейчас, впрочем, звучал очень уж ко времени. И то, как я говорила со студентами об исключении их товарища из комсомола и из института – хотя сама считала, что разговор был не политический, а скорее, этический. «Неужели действительно в каждой группе по стукачу? И ведь меня предупреждали», – думала я тоскливо.

Но мои обвинители сами невольно разубедили меня в этом. «Ваше вредное влияние на студентов было так велико, – пеняли они мне, – что многие из них, даже сидя здесь, отстаивали враждебные взгляды, внушенные вами.» Я представила себе своих ребят на допросе, как они волновались, как боялись, но все-таки страх оказаться предателем был сильнее страха перед предстоящими неприятностями, и они пытались защищаться и защищать меня – и то, о чем мы с ними говорили.

Но «обвинительных эпизодов» следователям и без того хватало. Сначала, правда, пытались поиграть со мной в «кошки-мышки». Дескать, кто способствовал развитию ваших антисоветских взглядов? Кто разделяет их? Соблазняли: «Вы же знаете, мы всё можем. Мы еще и сейчас можем всё повернуть вспять». Пугали: «От вашего поведения зависит, откроем ли мы уголовное дело или ограничимся профилактическими мерами». А потом махнули рукой и просто выгнали из института по статье. Совсем как папу в годы борьбы с космополитизмом. Его в сорок девятом уволили по статье «по непригодности к занимаемой должности», а меня в семьдесят четвертом – как «не обеспечивающую учебно-воспитательной работы». И чтоб неповадно мне было пытаться в будущем трудиться «на идеологическом фронте», записали в приказе об увольнении: «Проявила политическую незрелость, допускала извращение фактов советской действительности, что фактически способствовало распространению враждебных взглядов и отрицательно влияло на воспитание студенческой молодежи в духе советского патриотизма и пролетарского интернационализма».

Ну что ж, спасибо, что не посадили. И за оказанную честь спа-

сибо: Сахарова и Солженицына тоже клеймили за то, что они «порочили общественный и государственный строй».

В последние дни в Кировограде я ходила по институту как зачумленная. Никто со мной не заговаривал: боялись. Да и сама я боялась тоже. Подошел ко мне мальчик-студент: «Давайте я помогу вам вещи складывать». А я подумала: небось, подослан; провокатор, наверное, доносчик. Пусть простит меня тот парнишка, если не был тогда виноват. Вот такими мы были пугаными воронами...

Весь следующий год был для меня годом мыканий, безработицы, утрат, но и обретений. Тяжелый, болезненный, но и очень важный, многому научивший. Порой даже подумывала о том, что, может быть, и не стоило мне рисковать, терять работу, ломать свою жизнь. Студенты, скорее всего, даже не заметили моего ухода. И только гораздо позднее, уже в иммиграции, произошли у меня две встречи.

Первая – с программистом, работавшим со мной над моей научной темой, которая должна была стать докторской диссертацией. После моего возвращения из Кировограда он побоялся продолжать сотрудничество. Таких оказалось всего трое – да и те не из близких друзей, а просто знакомые. Я его не осуждала. Он собирался защищать кандидатскую, и опасные знакомства были ему не нужны. Встретив его в совсем другой стране, я снова стала думать о тех далеких событиях. Жизнь они мне, конечно, не сломали, но был ли во всем этом смысл? К чему были все эти разговоры? Студенты меня послушали – и забыли. А у меня и докторская накрылась, и в деревне пришлось десять лет прожить. Если вдуматься, что такое важное я им успела сказать?

И почти сразу получила ответ на свой вопрос. Потому что вторая встреча была с женщиной из Кировограда, которая не узнала меня в лицо, да и не могла узнать: она была не моей студенткой, училась на мехмате. Но быстро «вычислила», кто я такая, и воскликнула, обращаясь к мужу и дочери: «Вы помните, помните, я вам говорила!» Они помнили. И мы все радовались и удивлялись.

Вот что она рассказала мне:

«А вы знаете, у меня вся жизнь тогда изменилась. Я, собственно, с того времени и начала думать сама. И понимать. Когда вы уехали, у нас было общее собрание всех студентов и преподавателей. Выступал гэбэшник, что-то говорил, мы, конечно, не слушали, так сидели, болтали, нам было неинтересно. А в конце он спросил традиционное: ‘Вопросы есть?’ И тут встала одна четверокурсница с английского отделения и сказала: ‘Есть вопрос. А кто нам теперь будет говорить правду?’ В зале так тихо стало... А она повторила: ‘Вот вы уволили ее, и она уехала. А кто нам теперь будет говорить правду?’ До того дня меня не интересовали ни политика, ни Солженицын, ни самиздат, ни диссиденты. А тут я подумала: что же это такое? Один

пишет книгу, зная, что может сесть за нее в тюрьму, и его выгоняют из страны. А другие читают эту книгу, зная, что это опасно, а потом рассказывают студентам и за это их выгоняют с работы – и тоже могут посадить. Но тут появляются третьи – как эта четверокурсница, которую я столько раз видела в институте, вроде ничего в ней особенного не было. И вот она встает и на весь зал в присутствии человека из органов задает вопрос, за который ее могут выгнать из института накануне госэкзаменов. И она ведь это понимает, но все-таки встает и задает свой вопрос... И с этого дня я стала искать другие книги. По-другому думать. И началась моя новая жизнь, в которой я, кстати, и своего будущего мужа встретила. Вот и он о вас знает. И дочка».

Эта встреча и этот разговор могут показаться придуманными, из серии «в жизни так не бывает», и тем не менее это правда, я ничего не прибавила.

А тогда, в 1974-м, я вернулась домой в Одессу.

Рассказала всем своим друзьям о том, что произошло со мной в Кировограде и, разумеется, не скрыла от них, что КГБ интересовался теми, кто разделяет мои взгляды. Но никто не испугался, никто от меня не отвернулся, никто не перестал общаться со мной. Все поддерживали меня и помогали – каждый как и чем мог. Одесские друзья приходили ко мне, чтобы быть рядом, пытались помочь найти работу или хоть какой-то приработок. Иногородние писали письма:

«Вы правильно решили, горячка и умница, что Ваше кировоградское испытание, этот страшный перелом всей жизни со всей внезапностью низости, ужаса и кошмара, что всё это оказалось, в конечном счете, к добру и благу. На мой взгляд, это было хорошо не только потому, что дало Вам возможность узнать и проверить себя, свою душу, силу и готовность духа, но еще и потому (ни на волосок не сомневаясь в Вас и зная, что сейчас, на Вашем сегодняшнем уровне, возвращение в науку было бы для Вас, наверное, счастьем безоговорочным и чистым), что уберегло Вас от опасного соблазна заняться неглавным делом, которое могло бы – благородной и даже жертвенной видимостью своей суеты, алчностью и честолюбием – захватить и увлечь Вас, неумную, целиком и на многие лишние годы замедлить, удлинить и затруднить Ваш путь к самой себе».

На работу меня не брали, и я стала думать о том, о чем раньше не думала, искать и находить книги, которые раньше мне не попадались; людей, которые, в отличие от меня, пассивными не были. Словом, спасибо славным органам госбезопасности, которые подтолкнули меня туда, куда без них могла бы идти гораздо дальше.

Но боже, какой сумбур воцарился в моей голове! С одной стороны, «Глухая пора листопада» – роман Юрия Давыдова о народниках – с явным намеком на сегодняшний день. Книга вызвала во мне острое чувство невозможности жить без сопротивления тому, что черно. Невозможности жить, не меньше.

Государственная машина – и народники... Если верить Давыдову, получалось, что каждого, любого, всякого можно заставить, обработать, убедить, довести до психического созревания, – всё что угодно, как угодно, но привести к нужному – к раскалыванию, разочарованию, превращению в мягкую глину в руках умного и умелого противника. Я еще не знала о «1984» Оруэлла, но для мучительных раздумий хватало и Давыдова.

А потом прочитала, наконец, «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына. Он расколел мою жизнь на «до» и «после». Никакая другая книга не внушала мне столько ужаса, тем более невыносимого, что в ней не было ни единой придуманной строчки. Всё, что описывал автор, происходило на самом деле. В это не хотелось, невысказанно было поверить, но в этом нельзя было и сомневаться. Никогда еще вопрос «Как же жить, как жить, узнав об этом?!» не звучал с такой остротой, не оборачивался абсолютной невозможностью жить без сопротивления тому, о чем прочитала.

С другой стороны, в это же время с увлечением читала книги Вивекананды, Кришнамурти, Ауробиндо Гхоша. Мир, лад, вечность...

А я – между ними.

Как дальше жить? Как совместить?

Сестра приняла решение об эмиграции и уговаривала меня ехать с ней и ее семьей. Я отказывалась. Мы спорили с нею. Я говорила, что нельзя всем уехать с родной земли – и ссылалась на стихи поэта. Сестра возражала, что поэт наверняка не еврей, а русский. И ему не твердили всю жизнь, что эта земля – не его земля, что он здесь гость, о чем забывать не должен, а если забудет, ему напомнят новыми погромами. И что поэт не поступал в институт по пятипроцентной норме. И что стихи он писал на своем родном языке, а мы на своем ничего не пишем и не читаем, потому что не знаем его – да и негде узнать. «Даже слепому видно, – настаивала она, – что если не отдельные люди, и даже не сотни, а десятки и сотни тысяч бросают насиженные места и отправляются в неизвестность, то это не случайность, это уже исторический процесс.» Она упрекала меня, что я всю жизнь живу «всуперечь потоку». Что жалею всех подряд без разбора, даже убийц – Каина, Иуду.

Я «отбивалась», говорила, что жалею тех, кому плохо... ну а разве другие люди не так? Жалея Каина, я же от этого Авеля жалела не меньше? Жалея Иуду, разве меньше я любила Христа? Теперь многие считают, что Иуда вообще не предавал Иисуса, а выполнял его волю. Я и сама давно так думаю. Но дело в другом. Это ведь совершенно нормально – жалеть человека, который мучается. Ведь мучается же! Каким бы плохим он ни был. Когда ему станет хорошо, он не будет вызывать к себе жалости, но когда ему плохо...

Меня огорчали тогда все эти страстные, но бесполезные споры.

Всю свою жизнь я стыдилась. Того, что счастлива – перед другими, кто менее счастлив. Того, что временами чувствую себя несчастной, хотя ничего особенно плохого со мною не происходит. Стыдилась быть хорошей, стыдилась быть плохой; лица своего стыдилась, нелепости своей, странностей своих, да мало ли...

Нет, уезжать из страны мне решительно не хотелось. Мыкалась без работы, перебиваясь случайными заработками да частными уроками. Не согласилась уехать и тогда, когда меня вызвали в *компетентные органы* и очень настойчиво порекомендовали эмигрировать. Даже обещали помочь в оформлении документов.

Мне было тридцать три, когда мне все-таки разрешили работать учительницей, правда, в сельской школе-восемилетке. Работа в школе, конечно, отличалась от преподавания в педагогическом институте, но ведь и те мои студенты были детьми, только чуть постарше, тем более что многие из них тоже приехали из деревни. Но с каким удовольствием я беседовала с учениками, отвечала на их вопросы, рассказывала о том, о чем они не задумывались раньше.

Мне всегда хотелось работать с детьми. Я тогда мечтала о школе радости. Мне ужасно нравилось видеть, как радовались мои пятиклассники правильно прочитанному иностранному слову. У них светлеи личики, им было приятно, что вот они чему-то научились – и теперь могут прочесть то, что вчера еще не могли. Мне было легко учить их, играя, а они быстрее «схватывали» материал.

И малышей особенно любила, когда они улыбались оттого, что смогли решить задачку. Мне нравилось хвалить их. Мне казалось, что когда их хвалят, они уже от похвалы делаются лучше. А если и не делаются лучше, то все-таки начинают хотеть быть хорошими. Я рассказывала им сказки, чтобы они учились добру и любви, а заодно грамматике и математике.

Конечно, случалось всякое. Встречались и очень агрессивные, злобные дети, отвечающие грубостью на любое замечание, – дети с реакцией зверька, а не ребенка. И вот иногда во мне рождалось какое-то теплое чувство к такому зверенышу. Меня при этом не столько раздражало, сколько огорчало его поведение, мне хотелось его понять. И тогда завязывалась *ниточка* – ниточка от моего сердца к его сердцу. Он ничего не знал, конечно, а я всегда знала – и всегда могла проверить, так ли это. Делала ему какое-нибудь замечание, и он не огрызнулся в ответ, а улыбался смущенной *детской* улыбкой, а я внутренне ликовала. Знала, что в ответ на мое тепло в звереныше пробуждается человеческое. И пока это длилось, можно было пытаться говорить с этим ребенком. И опять вспоминалось «открытие», что всё зло в мире от недолюбленности. Этим детям не хватило витамина любви...

Деревня моя была не очень далеко от Одессы, и я могла часто

приезжать домой. Мне даже казалось, что я вытянула счастливый билет – возможность сочетать городскую и сельскую жизнь.

А в городе я сдружилась с группой диссидентов и начала помогать в созданной ими подпольной библиотеке самиздатской литературы. Библиотека эта была очень хороша. Я читала всё, что удавалось достать. И неопубликованные стихи из «Доктора Живаго», и Андрея Платонова, и Оруэлла, и Солженицына. Да чего там только не было! И какой это был восторг – помогать библиотекарю пополнять собрание новыми книгами – одна лучше другой!

Увы, длилось это недолго. Арестовали Костю, библиотекаря, а книги изъяли, и больше их никто не мог прочитать.

Судьба Кости волновала нас всех. Страшное началось сразу, когда за ним пришли и увели. А мы остались. Даже мне, совсем еще новенькой, казалось, что это не Костя, а я сидела перед следователем, мучилась неопределенностью и страхом, пытаясь понять, что происходит и на что можно надеяться. Мы уговаривали себя и друг друга, что, может быть, они «там» не знают всего, потому что не все книги конфискованы и потому что не доказано, что именно Костя занимался библиотекой. Как будто «там» нужно было что-то доказывать, как будто «там» имела значение законность или существовало понятие «презумпции невиновности». Мой страх усиливался еще и тем, что я отлично понимала: если Костя назовет мое имя, беды не миновать, меня ждет его участь, тем более что на мне уже и так ярлык «антисоветчицы».

Иногда Косте удавалось передать через надежного человека письма друзьям. Каждое его письмо было страшнее и безумнее предыдущего.

В СИЗО Костя пытался покончить с собой. В СИЗО он лежал в «больничке», где его «лечили» галоперидолом, о котором он писал: «От него ломит, выламывает, выкручивает все тело, искривляется рот. Невозможно ни ходить, ни лежать, ни сидеть, ни стоять. Я не в состоянии передать всю палитру ощущений».

Косте дали максимальный срок по его статьям – восемь лет в лагере строго режима.

Он не назвал мое имя как своего помощника по самиздатской библиотеке, и меня не арестовали. Но что-то, видимо, «там», в КГБ знали или подозревали. Потому что в мою деревню к директору школы приезжали на белой «Волге» какие-то люди в штатском, долго с ней беседовали, и сразу же после этого отношение ко мне директора резко изменилось.

Повторилась история, очень похожая на ту, кировоградскую. Почти ежедневно мои уроки посещали директор или завуч, проверяли планы, контролировали посещаемость политзанятий и работу в группе продленного дня... Было понятно, чем это вызвано и к чему может привести. Но искать другую работу казалось делом безнадежным.

Мне было тридцать четыре, когда пришла ко мне самая большая и главная моя любовь, которая жива до сих пор. И сразу всё переменялось.

Я почувствовала себя счастливой и богатой – и невольно смотрела на людей иначе: как мне было не жалеть их? Они ведь не так счастливы, как я, они хуже и тяжелее живут. А когда по-настоящему кого-то жалеешь, то ведь и сам не замечаешь, как начинаешь любить.

Никуда не исчезли мои вопросы, мои поиски, мои беспокойства и мои сомнения. Ведь принять любовь – это принять блаженство и счастье, но и ответственность за все дела Вселенной. И если кто-то еще может уклониться, то любящий – никогда. И если кому-то можно простить слепоту и равнодушие, то любящему – ни за что.

Нас теперь было двое. И всё стало другим. В том числе и поиски, и сомнения, и чувство ответственности за всё происходящее в мире.

«Господи! – молилась я, – Прими любовь нашу, прими нас, Господи. Прими нас таких, какие мы есть. Прими нас малых, грешных, слабых, но любящих, любящих! Мы часто теряемся, мы блуждаем и тычемся в заборы и стенки. Мы путаемся в словах, мы знаем, что мы плохие. И что на самом деле мы еще хуже, чем знаем об этом. Мы знаем, что всё здесь, на земле, оборачивается злом, тьмой и тяжестью. Ничто не может изменить этого, даже наша любовь, наш Свет, наш Дар, Твой Дар, Господи. Но нам являлся Свет, мы постигли Тишину, мы знакомы с Озарениями, нам дарован Полет. Мы любим, Господи. Мы любим Тебя. Мы любим Тебя в тополе, в облаке, в тишине и друг в друге. Мы любим Тебя в нашей Любви и в мире Твоём. Благослови нас, Господи! Соедини нас. Соединись с нами!»

Как я была благодарна Богу за эту подаренную мне любовь! Вот только неловко было радоваться, когда всем вокруг вовсе не так хорошо. Ведь переменялось-то всё только у меня! А в мире? Зло по-прежнему побеждало добро и торжествовало, а я всё еще ничего не сделала для того, чтобы было иначе. И кто-нибудь, увидев мою счастливую улыбку, мог бы закричать: «Да как ты смеешь быть счастливой, когда...» И кто-то погибал, а кто-то пил горькую, ибо разве честный человек может не вобрать в себя все муки боли и стыда? А может ли быть счастливым человек, в котором боль и стыд, вина и страдание? И наоборот, разве счастливый человек не знает боли, стыда, вины и страданий?

– Ты счастлива? – спросил меня однажды любимый.

– Да, – ответила я.

– А почему?

– Потому что... потому что Бог..

Он понял меня: нельзя, невозможно не быть счастливым, любя Бога. Нельзя, невозможно не быть счастливым, любя Его, даже если у тебя горе или боль. А как же не любить Бога, разве это возможно,

если уже познал эту любовь? Разве может пройти, исчезнуть, перестать быть любовь к Богу? Вот так и получилось, что я всё равно была счастливая, всегда счастливая.

Мне было тридцать пять, когда, сидя на лекции по международному положению, я писала своей подруге Маше: «От нас требуют конспектировать, это очень хорошо. Потому что можно писать не таясь. Вот лектор говорит: ‘В Иране 350 боевых самолетов’, а я записываю: ‘Не хочу, чтобы в Иране была гражданская война. Не хочу слушать, что говорит этот человек на трибуне, всё равно не верю ему. Я знаю, что в мире много бомб, что все люди могут убивать друг друга. Но пусть бы они лучше поучились любить. Почему так легко научиться уничтожать, почему так легко быть злым, жестоким? Почему так трудно дается человеку любовь, почему?!’ Лектор рассказывает о фашизме в Кампучии (фашизм – и такое незрелое, такое сказочное, такое детское название – Кампучия). А теперь он гневно говорит о Китае, с которым мы давно уже не ‘братья навек’, и произносит такие знакомые, такие советские названия: съезд Коммунистической партии, председатель обкома, ЦК... Как же он не боится, что люди начнут сравнивать и сопоставлять? Как же они все не боятся? Неужели действительно правы те, кто говорит, будто фашизм свойственен человеку, что человек – фашист по натуре своей, что это естественно для него. Но почему, почему?! Почему для человека может быть естественно и приятно делать другим зло? Не могу этого понять. Могу понять, что дерутся, бьют друг друга, сердятся, обижают и обижаются. Но зачем, ради какого удовольствия резать людей на куски, подбрасывать младенцев и расстреливать их в воздухе? Почему им такого хочется, такое приятно? И, если это все же так, то не лучше ли тогда, чтобы нас, людей, вообще уничтожили, смели с лица земли? Не лучше ли, чтобы мы перестали быть? Может быть, на нашем месте появятся другие – более человеческие (вернее было бы сказать – ‘менее человеческие’), более добрые? Я ведь даже не спрашиваю, что делать. Я спрашиваю одно: почему это так? Почему?!’»

Мне было сорок, когда впервые при моей жизни было официально признано, что в стране не хватает продовольствия. Это было объявлено в докладе Брежнева на пленуме ЦК КПСС. Всё вокруг начало рушиться, ломаться, кагиться в пропасть, и мы жили с ощущением, что долго так продолжаться не может. Что-то должно было случиться, произойти. Но что?

В том же 1982 году умер Брежнев. Началась стремительная смена власти. Сначала пришел Андропов, потом Черненко.

Жизнь в городе и в стране становилась всё более беспокойной и всё более непонятной. Все уже давно привыкли, что с полок магазинов пропадают самые обычные товары. Первым неожиданным дефи-

цитом оказались почему-то моющие средства. Как и многие другие, я посчитала это досадной случайностью и посмеивалась над очередями за стиральным порошком. Но всё больше товаров исчезало с полок, а очереди становились всё длиннее. Потом начали задерживать зарплату. То зарплата запаздывала на несколько дней, а то и вовсе пропускались выплаты. А на что еще жить, сбережений-то у людей не было. А если у кого и были, то обесценивались буквально каждую минуту.

Началось падение рубля. Многие предприятия начали расплачиваться с работниками не деньгами, а своей продукцией. Обесценивание денег было таким стремительным, что оставлять какую-то сумму на следующий месяц уже не имело смысла.

Я тогда еще получала зарплату, просто нужно было тратить ее очень быстро. Денег хватало на оплату счетов и на еду, а больше ни на что. Многие пытались менять рубли на доллары. Неофициальный обменный курс непрерывно рос, но люди всё равно продолжали менять. А по официальному курсу рубль по-прежнему оценивался выше доллара. Людям, которые выезжали из страны, разрешали обменивать лишь небольшую сумму. Потом многие предприятия совсем перестали платить зарплату: нечем было. Страну трясло, и все уже понимали, что долго так продолжаться не может.

Мне было сорок три, когда в Советском Союзе началось то, что назвали «перестройкой».

Это был 1985 год. К власти пришел Михаил Сергеевич Горбачев, который впервые произнес: «Видимо, всем нам надо перестраиваться». Замелькали новые необычные слова «ускорение», «демократизация», «реформы», «рыночные отношения», «гласность», «свобода слова».

Интересное было время.

Сначала все радовались: появилась надежда. Бегали по утрам за свежими газетами, обменивались журналами, жадно смотрели по телевизору новости о последних событиях. Ликовали, когда Андрея Дмитриевича Сахарова вернули из горьковской ссылки.

И я поверила. Поверила, что изменения происходят или произойдут не только на словах, но и на деле. Поверила в добрую волю Михаила Горбачева. Друзья и знакомые посмеивались надо мной и моей наивностью, но я всё равно надеялась. Хотя никаких реальных изменений в нашей повседневной жизни не было. «Может быть, еще рано? Может быть, следует подождать?» – думала я.

Мне было сорок шесть, когда я плакала бессильными слезами, читая о сумгаитском погроме. Сорок семь, когда радовалась началу массовой репатриации евреев в Израиль. И в то же время сжимала кулаки, когда на съезде весь зал захлопывал и затоптывал выступление Андрея Дмитриевича, а Горбачев отключал ему микрофон.

Мне было сорок восемь и сорок девять, когда я с ужасом наблюдала за развитием кровавого конфликта между Азербайджаном и Арменией, возмущалась, когда в Вильнюс вошли советские танки и гордилась вильнюсцами, отстаивавшими свою независимость.

Господи, как мне снова и снова было стыдно, отчаянно, страшно, оттого что мы, люди, – *такие*, допускаем *такое* – и будем допускать, будем, потому что мы же не стали лучше, мы стали хуже, в нас еще меньше чести, достоинства, любви к добру. Мы пойдем на любой компромисс, убедим себя, что так было нужно. Нас даже уговаривать не придется: наша совесть так услужливо подбрасывает нам любые оправдания, мы так готовы на всё, что требуется от нас... или только нам кажется, что требуется. Моя честь? Пожалуйста. На колени? С удовольствием. Равнодушные к чужой беде, мы только к самим себе не можем быть равнодушными. Пусть рядом с нами убивают ребенка, мы глаза закроем, пусть обижают, насильничают – нам-то что? А потом мы скажем с чувством собственного достоинства: «Лично я отказываюсь считать себя виноватым. Я не несу ответственности за всё, что происходит в стране».

И ведь тогда никто из нас еще не знал и не мог знать о российских танках в Украине, о том, что «русские братья» будут равнять с землей украинские села и города, не щадя ни людей, ни древних памятников и храмов. Еще даже представить себе невозможно было, до какого страшного дна насилия, убийств, грабежа и пыток люди способны дойти на самом деле.

И снова, снова я не понимала, как жить, как принимать происходящее с нами, в котором так перепуталось праведное и грешное. И чем дальше, тем меньше праведного и тем больше грешного. Да, мы все – жертвы. Да, исковерканные наши души – результат долгого кромсания их палачом, да, да, да, всё это так, и нас можно жалеть, потому что нас не только уничтожали в лагерях, с нами сделали что-то похуже: нас оставили жить, искалечив, но не убив до конца наши души. Да, это так. Но пусть нас жалеют другие, пусть жалеют и отказываются судить те, кто имеет на это право. Мы такого права не имеем. Это мы породили и взрастили Сталина, поставили его на пьедестал и начали ему молиться. Это мы все – мы, а не он один, виноваты. Раньше я думала, что знаю, почему так получилось, а теперь не знаю совсем. Но знаю, что надо не виноватого искать, а каяться. Почти семьдесят лет мы прожили в позоре, в преступлениях, потом взвалили всю вину за это на одного только Сталина, а сами опять чистенькие – и, значит, можно как ни в чем не бывало жить по-прежнему: жрать, спать да баб ласкать. И всё. Да и Сталина не больно ругаем уже: соскучились по сильной руке.

Я понимала, что улучшить жизнь можно. Можно вернуть из лагерей и тюрем невинных людей – и не сажать их туда больше. Да ведь это было уже однажды при Хрущеве, а чем окончилось? Можно

отменить нашу изоляцию от всего остального мира. Можно научить-ся спасать людей от болезней, которые считаются неизлечимыми, можно продлить срок жизни человека. Можно отменить цензуру и дать людям возможность читать всё, что было написано, – и писать свободно. Да ведь это уже и делалось. Может быть, это самое лучшее, что делалось в то время. Многое можно было сделать – и делалось. И потому я радовалась переменам в нашей стране, тому, что называли «перестройкой». Вот только найти свое место в ней, понять, наконец, как жить всё равно не получалось.

Я мучительно размышляла. О чем? О жизни человека. О том, что ее срок – 50-70-100 лет – это крохотное мгновение в жизни всего человечества. Но для самого человека это бесконечно много – целая Вселенная. О том, что никто из нас не может сдвинуть свой срок влево или вправо на линии жизни человечества и поэтому должен жить по законам своего времени. О том, что нет «хорошего» и «плохого» времени для жизни, что всякое время вбирает в себя всю бесконечность.

«Я живу, ощущая свою связь с бесконечным числом людей, существ и растений во времени и в пространстве, – думала я. – С неведомыми существами, которых древние люди в Египте и других странах называли ‘богами’, потому что те умели делать невозможное и учили этому землян. Эти боги совсем не похожи на моего Бога, которого я люблю, но как много они сделали для нашей Земли, а значит, и для меня тоже... Это большое и радостное чувство. Но почему оно не помогает мне преодолеть нелюбовь и неприятие моих ближних?»

А как быть с жестокостью? Она проявлялась во все времена в свирепых войнах, которые люди вели друг с другом. Да разве только в войнах? Когда женщине за измену присуждали смертную казнь, отрубали руку у вора, подвергали людей жесточайшим пыткам?

Я говорила себе то, что сама же могла опровергнуть. Говорила, например, так: «Они жестоко карали воровство, и потому их общество не знало краж». А могла сказать иначе: «И если за украденную картошку они засыпали человека землей, живьем закапывали его в землю, то чего стоит их честность, и нужна ли она, такая честность, вскормленная на крови и жестокости?»

Во мне бурлила жажда *дела, действия*, хотелось немедленно изменить общество, весь мир к лучшему. В то же время я понимала, что борьба добра со злом существует столько, сколько человек живет на планете. Что решить это сразу, быстро, ни мне, ни кому-то другому, разумеется, не удастся.

Я думала о трех мальчиках, погибших во время путча в августе 1991-го. 22-летний Дмитрий Комарь, 37-летний Владимир Усов и 28-летний Илья Кричевский. Что было бы с ними, не погибли они тогда?..

Я рассуждала примерно так: Пушкин дружил с декабристами, и на вопрос царя, где бы он был 14 декабря, окажись в тот день в

Петербурге, ответил: «На Сенатской площади». Но я-то у Белого дома не была! Я сидела у телевизора, смотрела не отрываясь, волновалась. Мне казалось, что толпа перестала быть толпой и снова стала народом.

Это время, когда все мы надеялись и верили – или хотели верить, – оно было таким коротким! А могло ли оно быть длиннее?

«Отнял Бог. Не заслужили.» Эти слова я произнесла, когда узнала о смерти Сахарова. Но почему отнял, почему?

Почему ни одна революция, тем более в России, не обходилась без бесовщины? Да только ли революции?

Вот уж не знаю, был ли в этом мире человек светлее Иисуса, а ведь и Его именем сколько бесовщины творилось! Сколько бесы во имя Его жгли, резали, топили, несли смерть, мрак, страх, предательство, страхом порожденное, отречения, компромиссы...

Может, мы, люди, и не умеем иначе? По образу и подобию Бога сотворенные? Но почему, почему не умеем?

«Дьявол начинается с пены на губах ангела...» А если бы у ангела не появилась пена на губах? Если бы он был терпелив и терпим – и не бросался бы на зло с пеною на губах, а только бы вздыхал тихонечко? Но не такому ли ангелу было сказано: «Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч! Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих»*. Так где же выход? Где та узкая тропинка между пеной на губах и?.. И как пройти по ней, даже если она отыщется? Выход столь же прост, сколь недоступен. Это то, о чем сказал Святой Августин: «Возлюби Бога и делай что хочешь».

Неожиданно перестройка отразилась и на моей судьбе. Перестал действовать запрет на педагогическую работу, и мне разрешили учительствовать в Одессе. Правда, не в вузе и не в школе, а в Доме пионеров, но это было даже лучше, потому что мне не нужно было придерживаться единой официальной программы. Я могла делать, что хочу и как хочу: начальство контролировало только посещаемость занятий. Осуществилась моя мечта о школе радости. Мы играли почти всё время урока. С мячом, с игрушками, в эстафеты, в настольные игры. Играли на равных – ребята и я. Они даже не замечали, что всё это подчинено какой-то учебной цели. «Мы будем сегодня играть или учиться?» – спрашивали они меня. И с восторгом играли, то есть учились, и я с не меньшим восторгом играла с ними, то есть учила их.

С детьми было хорошо. Мы с ними любили друг друга, занятия проходили весело, дети начинали говорить по-английски, даже не замечая этого. Мне не приходилось принуждать и наказывать их, а им на меня обижаться. Да, с детьми было хорошо. А вот со взрослыми...

...Помню то ужасное общее собрание. Решался вопрос о снятии с работы преподавательницы Хромовой. Все присутствовавшие злоб-

* Откровение ап. Иоанна Богослова, глава 3, стих 15. (Апокалипсис)

ствовали, как звери, почуявшие кровь. И приняли решение о снятии «по недоверию». Так снимали проворовавшихся продавцов. Голосовали 46 человек: 35 за снятие, я одна против, 10 воздержались.

Впервые я видела, как целая группа, казалось бы, нормальных людей, среди которых были и умные, и добрые, и интеллигентные, на глазах превратилась в толпу – единую общую массу, готовую разорвать на куски человека, с которым вместе работали, болтали о жизни, рассматривали фотографии детей.

Я думала о демократии. Вот это собрание, которое было бы невозможно до перестройки, оно тоже – одно из проявлений демократии? Так что же такое демократия? Власть народа? Был бы на собрании вместо меня мудрый человек, который поговорил бы с людьми, и решение могло бы быть другим. От чего же зависит решение? От того, кто ведет этот народ, направляет? И чего я хочу? Власть народа? Это опасно. Власть вожаков? Тоже опасно. И я опять не видела пути. То есть видела его для человека, для себя, для тех, с кем говорила потом, после собрания, для каждого в отдельности, но не видела его для общества, для массы. Я опять была не с теми и не с другими. Ни с кем. Но и не против кого бы то ни было.

Удивила меня наша «профсоюзная богиня». На мой шуточный вопрос, возьмет ли она меня в будущем году в профком, она ответила неожиданно серьезно: «Возьму. Нам обязательно нужен человек, который выступает против, не идет за большинством». Но зачем ей нужно было, чтобы я выступала против? Она объяснила, что не хочет, чтобы все единогласно бездумно принимали решение, надеется, что мое «против» заставит людей думать. И ее, в том числе.

Сестра писала письма из Америки и требовала, чтобы я выезжала как можно быстрее. Я отвечала ей: «Если в безнадежные застойные времена я не хотела уезжать из этой страны, неужели уеду сейчас, когда всё в ней меняется?» Она не верила, что перемены к лучшему возможны, и говорила, что всё окончится плохо. Что те, кто сейчас у власти, не уйдут и не переменятся, а только поменяют обличье. Что те, кто был у кормушки, у нее и останутся, а те, кому было голодно, будут продолжать голодать. «Никогда не будет в этой стране правды и справедливости. Никогда ты не сможешь почувствовать себя в безопасности», – писала Рита.

К сожалению, приходилось признать, что во многом она была права. Я не сетовала на свою неустроенность и необеспеченность. Но жизнь вокруг становилось всё жестче, всё труднее было выживать, люди становились всё более агрессивными. Постепенно эйфория спадала. Всё быстрее обесценивался рубль. Пустели полки в магазинах. Всё меньше нравились лидеры, вещавшие с телевизионных экранов и газетных страниц. События в Нагорном Карабахе, погромы, резкое обострение антисемитизма... всё это усиливало ощущение незащищенности.

Многие уезжали тогда из страны. Даже те, кто совсем недавно были уверены, что никогда не уедут.

Однажды посреди бела дня я шла по довольно оживленной улице, и какой-то незнакомый мужчина замахнулся на меня со словами «У-у, жидовка! Скоро мы вас всех уничтожим!» Я испугалась. Ведь он мог и ударить. И никто, решительно никто не вступился бы, даже внимания бы не обратил. Все шло своей дорогой. Сердце колотилось так, что я не могла ни дышать, ни разговаривать. «Почему? – сама удивлялась. – Из-за чего я так расстроилась? Не от боли, конечно. Он же меня не ударил. Не от страха. Всё это длилось несколько мгновений. Да и чего бояться? Что он больно избьет? Нет. Это же днем происходило, даже утром. Под ярким солнцем. В людном месте. Ну стукнул бы, так что же страшного? От обиды? Так ведь я не обиделась бы на зверя, если бы он набросился на меня... Что же все-таки произошло? Почему я никак не могла успокоиться? А сердце всё колотилось от ужаса, что меня могли ударить. Что какая-то чужая рука какого-то огромного разъяренного животного в синем костюме и беретике коснулась бы меня, чтобы сделать больно, унижить, оскорбить...»

«Почему, – думала я, – так много злобы и раздражения в воздухе, так мало доброжелательности и радости? Наверное, это правда, что люди выдыхают что-то невидимое, из чего образуется атмосфера, в которой мы живем. Например, атмосфера вражды, равнодушия, взаимного желания подавлять. Или, наоборот, атмосфера покоя, тишины, доброжелательности. Как было бы хорошо вдыхать и выдыхать светлую нежность друг к другу. И жить в любви. Например, к этому неизвестно чем разъяренному мужику?» Я пыталась убедить себя полюбить и его, но как-то не получалось.

Постепенно, конечно, успокоилась. Сходила на урок к маленькому Мишеньке, хорошему доброму мальчику, который уже читал Жюль Верна, но всё еще был уверен, что козел тоже дает немножко молока. А может быть, и вправду мог бы дать хоть несколько капелек, если бы очень постарался?

Сходила на рынок купить овощи. Вспомнила, как в детстве боялась силы, боялась толпы, очередей, криков, драк. И подростком боялась. Но всегда больше всего обиды боялась – что обидят, унижат. Боялась, что сама кого-нибудь обижу или унижу, боялась, что при мне обидят, унижат. Вспомнила, как лет в двенадцать очень наивно размышляла об этом: «А что, если кто-то подойдет и щелкнет меня по носу или плюнет в лицо, или даст пощечину – что тогда? Что если кто-то оскорбит меня? Ведь девчонок и девушек часто оскорбляют просто так...» И смертельно этого боялась. Не боялась почему-то, что убьют или ограбят. А вот этого всегда боялась.

Да ведь и сегодня не стала умней. И сегодня не знаю, что делать, как слабому защищаться от сильного наглеца. Как, защищаясь, не

оказаться на одном уровне с грубияном. Как сохранить достоинство в такой ситуации. Как при этом научиться тому, что в детстве называли «не обращать внимания»? Ведь портится же настроение, портится. И мерзко тебе. И трусом себя чувствуешь, и не зря ведь.

Я всегда знала, что не умею «постоять за себя», считала себя слабой, трусливой. «Потому что теряюсь, – говорила себе, – и потому что стыжусь. И еще потому, что не знаю, как себя вести. А люди любят обижать. Просто так, ради удовольствия. Даже дети. Дети, играя, что делают? Подставляют ножку, дразнят друг друга. Почему они именно так играют? Почему, если видят перед собой слабого, у них почти всегда возникает соблазн унижить его, ударить, подчинить себе?..»

А потом была та телевизионная передача – то ли «Взгляд», то ли «Прожектор перестройки», то ли «Час пик». Журналист Юрий Щекочихин неожиданно на всю страну объявил, что в Москве намечаются еврейские погромы – и даже назвал предполагаемые даты. Это стало шоком для меня и для миллионов других телезрителей. Мы все понимали, что этими словами Щекочихин спас евреев, потому что после его выступления погромов в эти дни не будет. Но себя он тогда погубил.

Щекочихин умер 3 июля 2003 года – уже при Путине. Московские следователи отмечали, что картина смерти Щекочихина точно такая, как у Литвиненко, но официально отравление Юрия Щекочихина не признается до сих пор.

Ему было 53 года. Все его близкие, родные, коллеги были уверены в том, что его отравили из-за профессиональной деятельности. Дело Щекочихина то открывали, то закрывали. Журналистам удалось собрать множество косвенных доказательств – например, показания эксперта, проводившего вскрытие, – который рассказал, что Щекочихина действительно отравили.

Тогда, во время телевизионной передачи, я ничего не знала об этом человеке, но навсегда запомнила его имя, понимая, что многие и многие, и я в том числе, обязаны ему жизнью.

Через несколько дней после предупреждения о погромах снова позвонила сестра Рита, и я рассказала ей всё. Она отреагировала мгновенно: «Немедленно, немедленно оформляй бумаги на выезд в Америку. Я твоя сестра. Я твоя старшая сестра. Я отвечаю за тебя перед нашими родителями. Кто тебя защитит? Кто поможет тебе? Я прошу тебя, я требую. Не хочешь приезжать сейчас? Ладно. Но пусть у тебя будут оформлены все документы. Пусть у тебя будет возможность бежать, если это понадобится». И я решила анкету заполнить. Чтобы всё было готово на случай необходимости срочно спастись.

Через несколько месяцев меня вызвали на интервью в Москву, в американское посольство. По результатам этого интервью мне должны были либо утвердить статус беженца, либо отказать в нем, если бы у меня не оказалось оснований считать себя преследуемой. К сожалению, этих оснований было более чем достаточно...

В Москве я встретила с одноклассником Ленькой Беренблумом, нашим математическим гением. Собиралась ночевать у родственников, но они меня не приняли. «Понимаешь, – смущенно говорил двоюродный брат, – время сейчас такое... ты же знаешь, как относятся к отъезжантам. А у меня на работе с этим строго.»

Я стала думать, куда бы приткнуться на ночь. Гостиница – дело безнадежное, а знакомых в Москве не было. Вот тогда-то и позвонила Леньке. Не на ночлег проситься, а посоветоваться, что делать. А он без колебаний пригласил к себе.

Через час я уже сидела за столом с Ленькой и его женой Генриеттой, которую он ласково называл Генечкой.

Он встретил меня так, будто в последний раз мы виделись только вчера, а перед этим – на прошлой неделе.

– Ленька, – спросила я, – неужели ты так хорошо помнишь наше детство? Столько лет прошло, столько новых друзей и событий, новых связей. А мы встретились с тобой – и будто всё еще за одной партой сидим. И ни капельки наша связка не истончилась. Хотя мы были всего только одноклассниками, даже и не дружили особо.

– Вот и видно, что ты – чистый гуманитарий, – отвечал он то ли всерьез, то ли со скрытой улыбкой. – А знаешь ли ты, кто такой Дирак? И что такое уравнение Дирака? Не знаешь. А жаль, потому что его считают самым красивым уравнением в физике. Оно описывает феномен квантовой запутанности, в котором говорится, что если две системы взаимодействуют друг с другом в течение определенного периода времени, а затем отделяются друг от друга, их можно описать как две разные системы, но они уже существуют как иная уникальная система. То, что происходит с одной, продолжает влиять на другую – даже на расстоянии световых лет. Вот мы с тобой взаимодействовали, то есть учились вместе довольно долго. И теперь по законам квантовой запутанности будем связаны всегда.

Стало ясно, что он смеется и шутит, но смеется озорно, по-мальчишечьи, а шутит игриво и благодушно – и вообще, встрече со мной рад.

Беседа за столом текла непринужденно. Сначала «как дела?» – «а у тебя как?», рассказы, расспросы об общих знакомых. Потом, разумеется, об эмиграции.

– Как, и он уехал?

– Представь себе.

– Так кто же вообще из наших остался?

– Да уже почти никого...

Интервьюировала меня женщина польского происхождения, говорящая по-русски. Никогда раньше чиновник в официальном учреждении не разговаривал со мной так вежливо, так участливо, доверительно, по-человечески. Она улыбалась, расспрашивая меня, задавая вопросы. Понимала, что я волнуюсь, и пыталась помочь мне,

поддержать. «Подумать только, – сокрушалась я, – впервые в жизни чиновник, от которого зависит моя судьба, мне улыбается. И это – представитель другой страны. Страны, которая соглашается принять меня, но не была и никогда не будет моей родиной...»

Вечером, сидя за чаем у Ленки с Генриеттой, я говорила с тоской:

– Вот прожила на своей родине всю свою жизнь – и всю жизнь любила ее, но никогда не чувствовала себя любимой ею. Ни разу за всю свою жизнь не почувствовала, что моя родина хочет меня защитить, что ей важна моя судьба. С самого детства мы знали, что должны быть готовы отдать за нее жизнь. Помнишь, Ленка, как мы распевали «Мы мирные люди, мы родину любим, и жизнь мы готовы отдать за нее»? И нам всё время твердили о пионерах-героях, которые отдали свои жизни за родину. Но ни разу, ни разу никто не сказал нам о том, чем она готова пожертвовать ради нас. И ни разу, понимаешь, ни разу мне не улыбнулся ни один чиновник, а только всячески показывал, что он хочет поскорее от меня избавиться и, если можно, отказать мне в любой моей просьбе.

Ленка понимал мою тоску, мое смятение и говорил со мной мягко, сочувственно:

– Это время у тебя такое. У нас у всех сейчас такое время. Раньше не было выбора. А сейчас мы можем выбирать свою дорогу. Только это очень трудно, оказывается.

– Я хочу сделать выбор и не могу. Потому и мучаюсь. Я не умею жить, не знаю, как обустроить эту жизнь, как зарабатывать деньги, как не привлекать к себе внимание гэбэшников, как оставаться незаметной, как скрывать свою абсолютную невозможность идти в ногу большинством. Что же мне делать, Ленка? Я не могу избавиться от чувства какой-то обреченности. Мне кажется, что я непременно должна погибнуть или умереть, потому что не смогу прижиться в этом мире, как какое-нибудь растение умирает, потому что его пересадили «не туда», и оно не может прижиться в чужой почве. Мне тоскливо, сиротливо и страшно.

– Ты сегодняшняя не сможешь ничего выбрать. Любой твой выбор будет плох. Нужно не выбирать, нужно жить дальше, жить в завтра. Нужно стать той, которая делает этот выбор легко и незаметно, потому что выбора не будет, просто не надо будет выбирать. Та, завтрашняя, сможет это сделать незаметно и безусильно.

– Мне дали разрешение на эмиграцию. Мне дали статус беженца. И это означает, что если я приеду в Америку, мне с первого дня начнут помогать – продуктами, деньгами, медицинским обслуживанием. Мне будут оплачивать квартиру и даже дадут какую-то мебель на первое время. Меня будут учить английскому языку и помогать найти первую работу. Не знаю, что еще они будут делать для меня. Но

знаю, что помогать они будут с готовностью, будут со мной доброжелательны и деликатны, не попрекнут тем, что я отнимаю у них драгоценное время, не покажут мне, что я им в тягость, и они хотят поскорее от меня избавиться. Нет, все они будут улыбаться мне. Но – я этого не хочу. Я хочу, чтобы всё это было на моей родине. Хочу остаться здесь до тех пор, пока здешние чиновники не начнут улыбаться нам.

Мудрец Померанц сказал: «Наше дело – идти по выбранной дороге, но не хулить чужие дороги». И сам всю жизнь так поступал. Но он не подсказал, как научиться этому. Где найти в себе силы и мудрость не осуждать другие дороги, но и со своей не сворачивать.

– Мне трудно и страшно, Ленка. Нужно сделать выбор, а я не могу, не готова. Я хочу быть достойной того, что со мной происходит. Я верю Богу. Очень верю Богу и поэтому надеюсь, что всё будет правильно. Думать об эмиграции для меня – это как думать о смерти, о том, что она рано или поздно случится – и тогда твоя жизнь вроде бы прекратится, хотя, может быть, начнется новая. И это мне всё еще страшно...

...Когда я вернулась домой в Одессу, меня ожидала повестка – вызов в *компетентные органы*. На этот раз со мной говорили уже не так спокойно, как в прошлый, и довольно сухо объяснили, что мое положение за это время ухудшилось.

– Вы не должны обольщаться и думать, что нам ничего не известно о ваших связях с антисоветскими элементами. Вам удалось обманым путем проникнуть на какое-то время в сельскую школу, но вы должны понимать, что больше мы этого не допустим. Это же относится и к Дому пионеров, где вы сейчас работаете. Нам известно, где проживает ваша сестра с семьей. Но не надейтесь, что с ее помощью вы сможете жить на нетрудовые доходы, нигде не работая. Да, она имеет право отправлять вам посылки, но вы не имеете права продавать то, что она вам пришлет. Это называется спекуляцией и будет караться по всей строгости закона. Вас не привлекли пока к уголовной ответственности за вашу антисоветскую деятельность, но вы понимаете, что мы можем сделать это в любой момент. Оснований более чем достаточно. Пожалуй, мне следует повторить вам свой совет. Самым лучшим вариантом для вас была бы эмиграция. Подумайте. Пока у вас еще есть выбор. Но времени на раздумья осталось мало.

Вскоре после этого мне приснился сон. Я на пляже. Одни люди купаются, другие собираются кучками, смеются чему-то, бродят по берегу. Словом, идет обычная курортная жизнь. Я стою одетая и с сумкой через плечо. Мне не хочется купаться, но почему-то я медленно иду к воде, вхожу в воду как есть, в одежде и обуви, и медленно иду вперед. «Что это? Я собираюсь утопиться? Но почему? Ведь у

меня всё еще *есть выбор* – ехать или остаться? Или этот выбор – иллюзия? А как же люди на берегу? Разве им не кажется странным, что человек входит в воду в одежде и с сумкой через плечо?» Так думала я во сне, а сама медленно погружалась всё глубже и глубже. Мне не было страшно. Мне было – никак.

Вдруг чья-то рука легла на мое плечо. Чья-то рука схватила меня за рукав, и я услышала: «Ты чего? Ты чего? Ты давай выходи». Я оглянулась и увидела незнакомого парня. «Послушайте, – он говорил со мной мягко, так разговаривают с большими или со скорбящими, чтобы хоть как-то их утешить. – Послушайте. Никогда, никогда в нашей стране чиновники не будут нам улыбаться. Никогда, никогда наша страна не станет любить нас и дорожить нами. Никогда мы не будем дороги ей. Никогда не будет она заботиться о нас, а лишь о себе только. Никогда она не будет нас защищать. Потому что мы не нужны ей. У вас есть возможность уехать? Уезжайте без колебаний и без сожалений. Пусть чужая родина станет для вас своей. Пусть она полюбит вас, защитит, позаботится. Поезжайте и полюбите ее. Пусть она станет для вас матерью».

И я почему-то не стала сопротивляться, а пошла с ним к берегу: «Да ладно, – сказала себе, – вытащили и вытащили. Чего уж теперь».

Мне было пятьдесят, когда после долгих колебаний и внутреннего сопротивления я всё же решила на эмиграцию. Мы с тетей Лизой, которой исполнилось к тому времени восемьдесят четыре года, уехали к сестре в Америку.

Перед отъездом я молилась. Сначала просила об отдельных людях и называла их по имени. Но мне всё время было стыдно, что, прося об одних, не прошу о других. Я боялась забыть и обидеть кого-нибудь – и, конечно, забывала и обижала, потому что нельзя же было перечислить всех. И тогда постепенно как-то само собой получилось, что молитва моя зазвучала иначе:

«Прошу Тебя, Господи, сохрани и продли тетину жизнь. Не дай ей умереть. Сделай так, чтоб она еще пожила на этом свете. Сжался над ней, помилуй ее, благослови ее, Господи. Не принимай в расчет ее слабости и грехи, не принимай в расчет мои грехи и слабости. Продли ее жизнь, пусть еще не начинается то страшное, помоги ей, Господи, помоги ей!»

Помоги, Господи, и другим людям. Помоги всем, кто нуждается в Твоей помощи. Все нуждаются в твоей помощи, Господи. Сделай так, чтоб они могли нести свой крест. Сделай так, чтоб каждый мог нести свой крест, чтоб крест этот не оказался слишком тяжелым, чтоб человек смог нести его, и не сломаться, и не упасть по дороге. Помоги им всем, Господи!

Помоги тем, кто ищет Тебя и не может найти. Помоги им найти Тебя!

Помоги тем, кто не ищет Тебя, потому что не знает о Тебе. Дай

им познать Себя. Дай им узнать о Тебе, чтоб в них проснулась тоска по Тебе, томление по Тебе, и чтоб они начали искать Тебя, Господи.

Помоги тем, кто сначала искал Тебя, а потом перестал, потому что между Тобою и миром выбрал мир, между вечным и временным – временное. Сделай так, чтобы они поняли свое заблуждение не разумом, а душою – и вернулись на истинный Путь, и снова захотели бесконечного, и начали бы снова искать Тебя.

Помоги и мне, Господи. Помоги тем, что пребудь во мне во все времена и минуты моей жизни. Не оставляй меня. Не дай мне оставить Тебя даже ненадолго. Будь во мне в печали и в радости, будь во мне, когда я занимаюсь делом. Я слаба и легко увлекаюсь, а в увлечении путаю конечное и бесконечное. Вношу одно в другое и могу забыться и не заметить, что отдаюсь не бесконечному, а предельному. Помоги мне, пребудь в душе моей во все минуты, во все моменты, во все времена. Всегда пребудь во мне, Господи!»

Вот примерно такая была молитва. А почему именно такая, а не иная, почему именно об этом, а не о другом, мне говорить стыдно и неловко. Так уж получилось...

Мне был пятьдесят один год, когда я приехала в Соединенные Штаты. Сначала было очень тяжело. Потом оказалось, что воздух здесь и не другой, и не такой, как был дома. Что Земля вращается везде одинаково. Что живу я вовсе не в Украине, не в Америке и даже не на планете Земля, а в том мире, который был мне предложен и который сама выбрала. И да, этот мир и есть моя родина и мой дом. И мне не нужно учиться жить в нем. Трудности? Сомнения? Трагедии? Опасности? Конечно, конечно, всё это есть и будет. Но через них проходишь так же естественно, как ребенок, когда учится ходить или разговаривать.

Вместо Черного моря у меня за окном теперь дерево. Оно живет в унылом и пустынном дворе, окруженное унылыми стенами домов. Может быть, ему тоже, как и мне, хочется найти кого-то среди никого. Ему труднее, чем мне в моих поисках: оно стоит там, где его посадили, и не может ни ездить, ни летать, ни ходить. С другой стороны, оно смиренней и безропотней в принятии своей судьбы и роли. Как оно называется, я не знаю. Попробую выяснить. Впрочем, какая разница.

В первый год иммиграции я праздновала Хануку в одиночестве, но соблюдая все традиции. «Лучше зажечь свечу, чем проклинать тьму.» Это китайская пословица. Она могла бы быть не китайской, а древнееврейской, или древнегреческой, или русской, или индийской, или арабской, или японской, – любой. Но как зажечь эту свечу? Она не зажжется сама по себе ни от ненависти ко тьме, ни от любви к свету... А может быть, зажжется? Может быть, тяга и любовь людей к Свету – это и есть то чудо, благодаря которому восемь дней вместо одного горел святой огонь в Иерусалимском храме, освобожденном

восставшими маккавеями? Может быть, наши души – это и есть горящие фитильки, может быть, как бы ни были они малы, их призвание – поддерживать Свет?

Мне было пятьдесят два, когда я поступила на работу в Нью-Йорке. Это была офисная работа, она мне не очень нравилась. Но иммигрант любой работе рад.

Часто мое «здесь», в офисе, где я трудилась и получала зарплату, оказывалось в «не-здесь». И мое пребывание в «не-здесь» было не менее, а может быть, и более реально, чем пребывание в офисе.

Мое постоянное отсутствие в «здесь», то есть за моим рабочим столом, со временем перестало удивлять сотрудников, хотя и было чревато санкциями начальства. Они видели мой отсутствующий взгляд, обращенный на документы или компьютерный монитор. И пытались помочь мне, возвращая меня в «здесь».

«Не здесь» не отпускало меня, но снисходительно позволяло моему телу притворяться, изображать присутствие «в нужном месте в нужное время». И таким образом избавляться от неприятностей.

Все правильно. «Здесь» и «не-здесь» не спорят: каждый берет свою долю, каждый дает свою долю. И даже как будто понятно, для чего.

Мне было пятьдесят шесть, когда я снова почувствовала себя, как в отрочестве, совершенно одинокой. Рядом были друзья, которых любила я, которые любили меня, но я ощущала невидимую стену, которая отделяла меня от всех. И не с кем было говорить на одном языке. Вакуум вокруг меня снова сгустился. И хотя мир уже не казался таким чужим и чуждым, как тогда, в подростковые годы, но было так же страшно, что еще долго придется жить в этом мире изолированной от всех. И я сначала испугалась, потом как бы оцепенела, потом решила, что душа моя умерла и, следовательно, жизни больше не будет.

Мне было пятьдесят восемь, когда я поняла, что мои друзья своей любовью увели меня от смерти в жизнь, но процесс оживления только начинался. Я оживала не вся сразу, а мозаично. И мертвое – забытое? – перемежалось во мне с живым – вспомненным? С острой болью вспоминала я о бесконечности мира, в котором жила раньше, когда, например, заплеванной и грязный двор казался частью Космоса – и частью Вселенной был кусочек неба над ним. Бесконечность проглядывала в самых обычных вещах, предметах, явлениях.

Вспоминая это, я ужасалась тому, что живу в клетке предметного мира, где двор – это просто двор, где всё имеет конец и начало, а параллельные прямые никогда не пересекаются... И начинала понимать, что умирать не надо. Не надо уходить от любимых и любящих.

Я опять училась жить и быть счастливой, и весь враждебный и

чуждый мир не был сильнее моего... Он был больше не властен над моим миром – или властен в очень малой степени.

Мне было шестьдесят, когда осуществилось пожелание одной из моих одесских подруг: «Пусть Бог пошлет тебе слышащего тебя и говорящего с тобой на одном языке. И любящих, которым ты будешь нужна и которых ты будешь слышать и говорить с ними на их языке».

Мне было шестьдесят восемь, когда ко мне пришла болезнь, и я оказалась в больнице. Сначала была только боль. Она наплывала, сжимала всё сильнее и сильнее и когда казалось, что вот сейчас дождет до конца и прекратится вместе с сознанием или жизнью, я кричала: «Ну сделайте же что-нибудь, чтобы не было так больно!» Может быть, это мне только казалось, что я кричу – и кричу громко. На самом деле был только стон, жалующийся и отчаянный. Но, видимо, что-то делали. Потому что боль начинала отплывать. И тогда наступало ничто. Пустота. А потом в этой пустоте – жизнь, но уже какая-то иная. Она была странной, в ней перемешивалось знакомое и чужое, в ней были страшные сны и мучительные бреды, но боли в ней не было.

Желтая бабочка играла с травами и цветами.
Жужжал шмель.

Порхали какие-то птички. Кружили стайкой, резвились на солнце, переносились с дерева на дерево. И от этого меня охватывала радость и благодарная нежность к этим крохам. «Как же так, – думала, – я их люблю, но ничего для них не делаю. А они и вовсе не знают о моем существовании, а помогают так ощутимо. Это ведь всегда так, наверное: мы полезнее всего, когда сами не знаем об этом. И радость всегда начинается, когда горе еще не изжито. И надежда всегда рождается, когда еще живо отчаяние. И свет самый яркий – во тьме.»

А птахи знай себе щебечут, синими крылышками на солнце машут. Вот еще одна – чуть поменьше воробышка, красновато-коричневая, с ярко-синим хвостиком. Она на меня не смотрит, у нее свои дела и заботы. А я на нее смотрю. И во мне тихонько звучат голоса, слова, полуфразы:

В небе, в море, в воздухе...
Небом, небом оваяно...
Тяжелого или темного не будет...
И вообще ничего не будет...
Кроме вот этого парящего, плывущего...
Прощать или не прощать – это уже судить...
Ничего *от* вас, всё только *для* вас, понимаете?
Устает ли душа от любви, от полета...
Сморщилась душа к старости...
Сморщилась и потускнела...

И разучилась расширяться и вбирать в себя Бесконечность?..

И вдруг резко так, так пронзительно: «Новгород, Новгород, город, грод, град!»

Это петух орет человеческим голосом слова человечьи – и почему-то о Новгороде. Недавно о Новгороде читала, вот и застрял где-то там. «Город, грод, град...»

И опять болезнь, усталость и пустота. Не та, что готова наполниться Богом, ибо Ему одному лишь раскрыта. А та, что ничем не наполнится, потому что она и не сосуд вовсе, а плотная масса, стена, сквозь которую не пройти. Эта пустота – мертвая. Она ничего не рождает и даже не эманурует. Всё исчезает. Всё.

Так что же со мной происходит? Я живу во сне? Или вижу сны о жизни?..

Постепенно успокаивается сердце, выравнивается дыхание и, укачивая сама себя, прикрываю глаза, незаметно задремываю и отключаюсь.

Просыпаюсь в поту и в страхе от звука собственного голоса, который кричит: «Почему, почему?» Который кричит: «Как же теперь жить?!»

Засыпаю опять. Сплю долго, без сновидений – и просыпаюсь отдохнувшей. Боли нет. Есть только слабость. Есть только желание лежать неподвижно и ни о чем не думать. Ко мне подходит медсестра и берет за руку. «Не шевелите меня», – говорю ей, закрываю глаза и засыпаю снова. Медсестра вводит в капельницу очередную порцию лекарств, измеряет давление и температуру. Всего этого я уже не чувствую. Стою у какого-то дерева, смотрю вверх и думаю о том, что небо кажется мне таким беспредельным, потому что я гляжу на него снизу, с земли. И вижу весь небесный купол. А будь я в нем, видела бы всё иначе – и вокруг себя, и вверху, и внизу. И тогда небом казалось бы мне то, чего я не могу видеть сейчас, а земля, может быть, представлялась бы такой же величественной и беспредельной, каким кажется сейчас небо. Ведь тогда передо мной был бы весь земной купол, как сейчас небесный.

Мне было семьдесят, и я думала, что жизнь кончается и пора подводить итоги. А юношеские вопросы «Как можно улыбаться, когда кто-то плачет?», «Как можно жить, если была атомная бомба в Хиросиме?» Где они были, эти вопросы, все эти годы? Исчезли или остались? А если остались, то остались такими же – или превратились в другие, похожие?

Я снова была больна, лежала в постели под теплым одеялом из верблюжьей шерсти и дрожала от холода. Отчего я мерзла? От слабости? От старости? От болезни? От жалости к самой себе? Мне было страшно. Но почему? Чего я боялась? Смерти? Немощи? Увечья? Обиды, которую кто-то может мне нанести?

Я боялась не успеть. Мне казалось, что я должна сказать что-то важное. Что-то очень важное должна я сказать. Если успею, если скажу, мир преобразится. Зло не будет больше торжествовать и насмехаться над добром. Добро перестанет стыдиться себя и прятаться по углам. Люди забудут обижать друг друга. Исчезнут предательство, ложь, насилие, злоба. И только взаимная доброжелательность и ласковая участливость останутся с людьми.

Но для этого я должна успеть сказать это важное. И я могу его сказать. И хочу сказать именно его. Но почему-то не получается. Почему-то вместо тех самых важных слов наползают другие, маленькие и мелкие; они мешают, они всё заслоняют собой и всё превращают в такое же маленькое и мелкое. И поэтому я мерзну и дрожу в одиночестве под теплым одеялом из верблюжьей шерсти, переходя от бодрствования ко сну, а потом возвращаясь в полудрему, полную всяких видений, причудливых и бредовых. Просыпаюсь на мгновение и снова впадаю в сон. И снится мне всё не то, всё не то...

С самого детства мне хотелось знать, зачем я родилась, к какой цели иду, зачем моя жизнь и куда она меня ведет. И вдруг с удивлением обнаружила, что у меня, кажется, и нет цели, что я не хочу знать, куда приду. Хочу жить. Просто хочу жить. Разве этого мало?

Мне было восемьдесят, когда Россия напала на Украину – и снова началась война. И опять снился мне страшный сон – на этот раз не только тяжелый, но и странный для женщины, тем более, больной и старой.

Мне снились резкие звуки стрельбы и взрывов. Я знала во сне, что это наша атака, что нужно идти вперед, но мне было страшно, и я не могла заставить себя встать и выпрыгнуть из окопа. «Нет, нет, нет, нет, я не встану, – кричала я самой себе, не слыша своего голоса, слыша только эти грозящие смертью звуки. – Нет, я не побегу, я не хочу умирать, не хочу в эту свистящую вокруг смерть, не хочу, не хочу, нет!»

Я понимала, что надо встать, надо бежать вперед со всеми, нельзя оставаться на месте, но не могла подняться, просто не могла заставить себя подняться. А они, другие? Как же они все? Им тоже страшно, наверное, но они же встали, они бегут, они бегут и падают, но поднимаются и бегут всё равно, а я не могу, я трусиха, я не могу, не могу с ними!

Вот кто-то подбегает ко мне. Сержант? Командир? Ротный? «Вставай, – кричит, – вставай, падло, что разлежся, вставай! Тут смерть, а там еще неизвестно. Вставай, мать твою!» Он хватается за меня и тащит, а я упираюсь не потому, что не хочу, а потому что *не могу* встать, – не могу даже с его помощью, совсем не могу, вот не могу – и точка. Он бьет меня сапогом, а я хватаю этот сапог как спасенье, как соломинку, хватаю и не отпускаю. И он тащит меня, ругаясь и осыпая презреньем и матом, трясая сапогом, с которого пытается меня стряхнуть. Но я

всё равно не могу встать и бежать со всеми, только не отпускаю его сапог и мешаю ему тащить себя, и лицо мое обливается при этом чем-то горячим – потом, слезами?

...Открываю глаза. Я в постели. Лицо мокрое. От слез или от пота? Колотится сердце. Дыхание – как после километровой пробежки. Руки сжаты в кулаки, будто за что-то держатся и отпустить не могут. Но – никакой войны. Никакой свистящей смерти. Никто не стреляет. Никто никуда не бежит – и мне не нужно бежать.

Значит, это только приснилось. Иду в ванную и долго мою лицо холодной водой. Иду к холодильнику, хватаю бутылку воды и пью прямо из горлышка. Иду на балкон и смотрю на обычную мирную жизнь. Вот две девушки что-то рассказывают друг дружке и смеются. Вот старушка входит в магазин, вот едут машины – обыкновенные, не военные. И приснится же такое! Чушь какая-то... И этот сапог! Никто уже сапоги в армии не носит, ботинки у всех. И не бегут они в атаку, как в той, Второй мировой. Это всё из кино, из фильмов советских, из детства. Всё иначе сейчас. Всё ли? А страх? А свистящая смерть вокруг? Моя смерть, моя, не чья-то. И открытие о себе: я – трусиха. Я хуже всех. Все преодолели свой страх, а я не смогла. Если бы я выжила там, во сне, меня судили бы мои побратимы. Именем всех погибших судили бы меня. И это было бы справедливо.

Но я же не солдат, я вообще – не женщина, а женщина, больная и старая. И я не в Украине и не в России, а в благополучной Америке.

Звонит телефон. Виктор. Опять станет пересказывать последние события в Украине. Сколько обстрелов, сколько «хлопков», сколько погибших и пострадавших. Вот уж кто не испугался бы на поле боя! А впрочем... Ведь и он обо мне не знает, как я на самом деле труслива. Нет, не стану отвечать ему сейчас. После перезвоню. Нужно от сна отойти. Хорошо все-таки, что это был только сон.

Почему папа никогда не рассказывал нам с сестрой о войне? Какие-то дурацкие смешные истории рассказывал, а о фронте, о боях, о том, как всё это было на самом деле, – никогда. Мой Вовочка отправился защищать Украину. Защищать Украину от русских? Не от русских, конечно, от россиян, среди которых и буряты, и чеченцы, и евреи, да и украинцы тоже. Научился ли он там, на войне, ненависти к России? А я? Как я отношусь к сегодняшней России, которая каждую минуту может убить моего Вовку и убивает тысячи и тысячи других Вовок и Мыколок? И кто убивает? Такие же Вовки и Николки? Тамиры и Арданы? Тимуры и Каримы? Как, как мне относиться к России?!

Мне больно, и стыдно, и горько... Вспоминаю, как когда-то давно у стен Кирилловского монастыря мучил меня вопрос: «Какие вы были? Какие? Вы понимали, *что* вы строите? Вы понимали, *где* вы живете?» И говорила, что хочу машину времени, хочу увидеть тех, кто

строил эти стены. Хочу понять, как у темных, грубых мужиков, которых так живо представляла себе – грязных, оборванных, сидящих в лаптях, в зипунах, с луком, хлебом и водкой, беседующих о чем-то, переплетающих речь бранными словами... Как же у них получилось *это*? Почему в их постройке Бог присутствует? Откуда? Ведь никто другой, а они построили все эти святые молитвы – церкви! И в этих церквях Бог живет. Да, они детские, но они Божьи. Значит, Бог прощал, или попускал, или не знаю что. Но только Он не отворачивался, не покидал их, скверных и мерзких, не лишал их Своей благодати. Так могу ли я отречься от них?

А как же те украинские мальчики, которых лечит мой Вовка в госпиталях и медсанбатах? И как те российские мальчики, которых лечат другие Вовки? Мне хочется обнять их всех – и украинцев, и россиян, – обнять и укрыть от их боли, от их страха, от крика подгоняющего их в атаку командира, от стоящей рядом и поджидающей своего часа смерти.

Так хорошо любить всех вместе. Так трудно по одному...

Но ведь это неправильно. Я не должна жалеть всех одинаково, потому что одни нападают, а другие защищаются... И разве я не на чьей-то стороне? Конечно, на чьей-то. Я, безусловно, на стороне украинцев, но... Кто подскажет мне меру жалости к ним, и к тем, кто убивал или ранил их, а теперь сам лежит раненый или убитый? Кто научит меня не впускать в себя ненависть, которая никогда не умела порождать жизнь, а смерть только.

И я все повторяю про себя: «Господи, не дай гневу разрушить нас изнутри! Помогите нам обратить его в добрую силу! Помогите победить силы зла!»

В последнее время я особенно остро и виновато ощущаю свое родство с природой – не только с растениями, но и с камнями, горами, водой... А вдруг это потому, что она обращается ко мне, зовет меня... Может такое быть? Ведь я часто разговариваю с нею, почему бы и ей не поговорить со мною? А если это правда, что мне тогда делать? Я не могу понять, о чем она меня просит...

Человек – часть природы. Напрасно он возомнил себя чем-то особенным. Он такое же дитя Бога, как волк и ягненок, и дерево, и куст.

И опять, опять бесконечные вопросы, на которые не найти ответы. А главное, по-прежнему непонятно, как же все-таки жить. Почему за восемьдесят лет я так и не узнала, так и не научилась этому, но не исчезла, не погибла, а уцелела – и даже считаю себя счастливой? Может быть, именно потому что «выпало мне счастье жить в том мире, который был мне предложен и который сама выбрала»?

Кастанеда рассказывал о первом задании, которое дал ему Дон Хуан Матус: нужно было найти свое «пятно». «Свое идеальное пятно есть у любого человека, но прежде, чем ты отыщешь свое, нужно

почувствовать каждое», – объяснял Дон Хуан. Почувствовать каждое – значит научиться видеть невидимое. Кастанеде это долго не удавалось, но в конце концов он увидел и нашел свое «пятно», свое «место силы».

А я, наверное, так этому и не научилась. Не сумела войти в свое самое глубинное, а потому своего «пятна», своего «места силы» так и не нашла.

Долгую жизнь я прожила. День моего появления на свет был четыреста десятым днем войны с немецкими оккупантами. В Советском Союзе мы называли ту войну Великой Отечественной. В этот день шли ожесточенные бои на южных подступах к Сталинграду, из которого моей беременной мною маме удалось выбраться в Сибирь, где я и родилась.

Мой восьмидесятый день рождения стал сто шестьдесят третьим днем вторжения России в Украину. В этот день российские оккупанты трижды обстреляли Запорожскую АЭС, и весь мир с напряжением и страхом ждал: произойдет или не произойдет утечка водорода, случится или не случится распыление радиоактивных веществ, разгорится или не разгорится пожар на станции. В этот же день я узнала, что в Николаеве во время обстрела погибла Вера – моя бывшая однокурсница, с которой вместе готовились к экзаменам и проходили преддипломную практику.

Долгую жизнь я прожила. Всё оказалось преодолимо. Но не было в этом моей заслуги. Не моя это была заслуга. Не я делала всё это. Не я справлялась с трудностями, поражениями, страхами и провалами. Всё это делалось со мною. Всё было подарено мне.

Иногда мир становился Богом, и Космос – Богом и вся Вселенная – Богом. И всё сливалось вместе и принимало меня в себя. Я чувствовала себя любимой всем этим, любимой Богом. Мне казалось тогда, что я растворяюсь и тоже сливаюсь с миром. Это было похоже на чувство счастья – только намного, намного больше.

В другое время небо закрывалось и превращалось в твердый потолок. Я становилась несчастной и толковала о богооставленности. Но и тогда понимала, что это не Бог оставил меня, а я оставила Бога. Что Он ждет меня, только нужно подняться повыше.

Я выжила, но не нашла того, что искала всю жизнь. Всегда искала. Но так и не сумела найти. Сегодня мне восемьдесят лет, и я всё еще не знаю, как жить.

...Боюсь ли я смерти? Скорее всего, боюсь. Но если верить даосским раскладам, чувством, уравновешивающим страх, ослабляющим его, является вовсе не храбрость, которая – только разновидность гнева. Чувством, уравновешивающим страх, оказалась нежность. Такие дела.

Эдуард Хвиловский

ВАРЛАМУ ШАЛАМОВУ

В себя уйдя не посреди двора,
а посреди обугленной пустыни,
он полагал, что было всё вчера,
а всё случилось завтра, и отныне

и навсегда, как компас ни крути
среди застрявших в соснах астробий
на вымороженном всегда пути
безликих и окаменевших хлябей,

где не живут пчела или оса,
не говоря уже о белых чайках
или следах такого колеса,
что держится не на каких-то гайках,

а на какой-то костяной оси,
от нижней точки и до верховодной.
Вот ни о чём другом и не проси.
И не прошу по простоте природной,

читаю только и помногу раз
исчезнувшего в воздухе Варлама
и проникаю в его вечный сказ
и прочно, и доверчиво, и прямо.

ПРАВИЛА ЛЕТОСЛОЖЕНИЯ

Свист сатанинский повсюду,
даже в тотальных приветках
от перекрёстного чуда
до мозговых ответов,

от прототипов иллюзий
смерчеподобного толка
до светло-желтых конфузий,
в коих живёт жизнемолка.

Светел посыл неуёмный
с фоном из неба и стыни,

как и момент неподъемный
с шалью из мягкой твердыни.

Что-то сжимает запястья,
кто-то играет на скрипке
в поисках нужного счастья
и без малейшей ошибки.

Где-то древесные хаты,
где-то одни небоскребы
и расписные палаты,
дабы узреть их всем чтобы.

Так и живется прелетно
среди пространного «много»,
и говорит безответно
с камнем большая дорога.

Воздух исполнен свет-влаги,
и бесподобны дельфины
в сине-зеленой отваге,
с коей они все едины

также, как мы, не напрасно,
с правилами умноженья,
где познаём жизнестрастно
истины летодвиженья.

Здесь не конец, не начало
ямба и даже хорей, –
сказанность просто признала
правила летосложенья.

* * *

Есть кротость запахов и кротость превращений
в другое вещество и в смыслы всяких снов,
есть стансы внутренних во всем перемещений
и сдвиги радостных, мятущихся основ.

Есть кротость дивных, перекрестных изумлений
во времени другом и с почерком его,
никак не связанная с разницей прочтений. –
Возникновение всего из ничего.

Есть кротость вкусов и прекрасные мгновенья
в посылах из земель, где нет больших домов,

но где встречаются такие приключения,
что сразу гаснут все огни прожекторов.

Есть кротость огненных прохлад больших пожаров
на медленной воде и даже под водой,
вне всех бульваров и аксессуаров
в земле покоя и в земле прифронтовой.

И где-то даже существует кротость взрывов
и смелость заячьих и беличьих прыжков
во время маслячных приливов и отливов
в рассказах осознавших всё голов.

КРУГОВОРОТ

Круговорот в круговороте цикла
и цикл в круговороте оборота.
Ответов нет как ни у квадроицикла,
так ни у квадробеглобегемота.

Всё решено без наших канцелярий
и даже без предела беспредела:
давно забетонирован розарий,
и все вокруг давным-давно при деле.

Светла и память, и при ней не память
в минуты и часы большого сброса
того, что ни убавить, ни прибавить
к решению вопроса-не-вопроса,

которого и нет на самом деле
(разве что, только у галлюцинаций
в их сброженном пределе-беспределе
и на виду у группы личных граций).

В не-ящике – повестка-неповестка
лежит со дня творенья-нетворенья,
и нет ни одного святого места
среди любезных всех столпотворений.

И нет вчера, сегодня или завтра,
и всё это есть в Книге и в пространстве
за горизонтом, в том холодном замке,
где спрятаны пределы окаянства.

Всё выглядит пристойно даже ночью,
тем более не ночью и при свете,
и иногда до посиненья очень, –
пусть даже и при суверенитете.

* * *

Он был незначителен, как незначителен ствол
без пиропатронов и без пулевого снабженья.
Свет был упоителен, ибо неслышно пришел
в свое световое и очень глухое мгновенье,

не зная изъянов и всех злоизвестностей их,
засевших в столетьях, где есть неокрепшие души.
Кто просто исчез, кто возник и тотчас же затих –
хоть слушай про это иль вовсе про это не слушай.

Лишь *день* подкует всё, а ночь всё потом раскует,
когда все эксцессы пребудут в местах, где процессы
и где привлекательность лучшие песни поет,
и ей подпевают профессиональные бесы.

И быть посему и тому, кто продрог и кто не
в избытках своих длинноствольных и прочих убытков
с отдачей и без при донельзя округлой Луне
в присутствии всех и в отсутствие всяких напитков.

Морали здесь нет. Ее выпил большой моралист
внутри всех страниц безучастных по сути наречий.
Остался на памяти только простреленный лист
вот этот – в присутствии рукопожатий при встрече.

ТАКОЙ ЧЕЛОВЕК

В неподсудном немислимом сильно изверился,
не искал утешения, право, ни в чем,
проверялся всю жизнь и, возможно, проверился.
Если нет, – всё не то, и вообще не о том.

Не внимал утешителям, был осмотрителен,
иногда – как всегда, иногда – напрямик,
вызывая порой, – неизменно почтителен, –
то ли крик, то ли миг, то ли просто тупик,

не стыдясь беспощадности радужных критиков
и успешных трибунов на крупной стезе,

и, тем более, мелко раскрашенных нытиков
в поле, в молле, в размолле, в миру и везде,

и терпел всякий раз, дорожил всякой мелочью
для других, но сверхважностью для самого,
и какой-то иной неописанной немочью
в чем-то этого, в чем-то, возможно, того,

был утерян чрез силу и через задумчивость
вперемежку с классическим звуком октав,
неизбывных всегда, услаждающих чувственность,
в невозможно далеком их раз повстречав.

Всё *то* было при нем, не подобное облаку
или стае пушинок из сказок о них,
но, скорее, древесно-железному мороку,
проскользнувшему в тихо опознанный стих.

Алексей Баклан

* * *

Шептать у Петропавловской стены:
«Душе моя, покаяйся Царства ради».
Весна и осень соединены
в одном отдельно взятом Ленинграде.

...Покайся, но покоя не сыскать
ни в коньяке, ни в Кушнере, ни в Кафке.
Внутри – метафизическая гать,
сырые перевернутые лавки.

Как тени, посмотри, мы все теперь,
безжизненно боящиеся боли
и прочих незначительных потерь,
сидящие на крепком алкоголе.

Давно бы прочь, в другие времена,
автобусом смешным, шмелевским
летом. Но всё-таки помилуй и меня,
неискренне просящего об этом.

* * *

Я собираю незнакомок
в стихи, как Блок,
но ленинградский лед так ломок
и так далек.

Пока Венеция по венам,
туман как клей,
не говори о сокровенном –
переболей.

Как в обреченности есть нега,
в разлуке – джаз,
не избежим дождя и снега,
едва держась.

Что всё безжизненно и голо
теперь, почти.
В канале черная гондола
как гроб почти.

17.01 Венеция

* * *

Будет август душным и чужим,
 Мараканы дымные огни.
 Соблюдай диету и режим,
 все запросы дружбы отклони.

Ничего не видно, никого
 не услышишь в шорохе помех.
 Как же забывается легко,
 пусть закат взорвался и померк.

Из того, что вырвут и сотрут,
 что еще на память утаишь?
 Желтого автобуса маршрут,
 лоскуты просроченных афиш.

* * *

И рдеет отзвук катастрофы
 В сладчайшей музыке минут.

Юрий Манделштам

Не то чтобы дьявол в деталях, а так – в мелочах:
 в оборванной фразе, в отсутствии такта и меры.
 Вчера еще цвел этот сад, а сегодня зачах,
 полоской заката дополнив «кровавую мэри».

А раньше еще – Ленинград, и банальный такой
 пейзаж: над Финляндским вокзалом – рассеянный морок,
 как будто и есть тот обещанный вечный покой,
 где больше никто никому не любим и не дорог,

где март на исходе, но всё еще хочется греть
 ладони дыханием, врать о несбывшихся тайнах.
 Как раз остается глоток на последнюю треть,
 и долгая музыка тихих маршрутов трамвайных.

* * *

Как снег сегодня медленно летел –
 я загадаю что-нибудь такое,
 пока нас будут выпускать из тел
 в зубовный скрежет вечного покоя.

Кто был неразговорчив и жесток,
 кто ждал конца легко и терпеливо –

для каждого отыщется чертог
у ледяного Финского залива,

когда нас аккуратно завершат
и выставят итоговые даты...
На горизонте видится Кронштадт,
и мертвые ни в чем не виноваты.

* * *

Цвета как цвета, но я говорю о другом...

Б. Г.

Апрель опять уходит из-под ног,
слова не завиваются в венки,
не пишется совсем, хоть бейся лбом.
Ни безобидный ленинградский смог,
ни тот сонет, что вымучить не смог,
ни даже золото на голубом

не повод для, не панацея от.
Так медленно, что оторопь берет,
проходят дни, минуя календарь.
Уже цветут и вишня, и айва,
и тишина, как водится, права –
попробуй промолчи и не ударь,

попробуй не копить на черный час,
а продолжаться, еле волочась, –
пусть каждый слог неспешен и ленив, –
взрастая в город, взрастая из
воспоминаний, как мы собрались,
как разошлись, имен не сохранив.

НА 320 ЛЕТ

Сколько раз я в тебя не вернусь,
сколько раз о тебе пожалею?
Опишу привокзальную гнусь;
аллеорию смерти – аллею

в душной завязи кленов и лип,
мимолетную музыку окон,
словно ставишь на паузу клип,
забываешь о том, как далек он –

Ленинграда вечернего гул;
как смеркается грозно-лилово.
Сколько раз я тебя обманул,
не дождался прощального слова.

Просто вышел гулять налегке
надыхаться сиреневым маем.
Говорим на родном языке,
притворяясь, что всё понимаем.

Галина Климова

ТРИ ВЯЗА

Как вы там в Ногинске без меня,
ребятня,
дворовая родня?
И Клязьма,
тормозная на мели,
и тощий лес, на кладбище кивая?
И рельсы ни гу-гу –
лишь стон из-под земли
злодейски убиенного последнего трамвая.

Как вы там в Ногинске,
кореша,
три отвязных на Советской вяза?
Дупло на вылет,
на вырост душа.

Жесть –
эти медные трубы местного джаза,
их вьюжный заезженный фьюжен!

Кто там в валенках и на лыжах?
Девочка Сольвейг?
С песней всё ближе.
И другой рай в райцентре не нужен.

Широколиственна память крон –
майских жуков повзрослевшая стая.
Вязы шершаво шумят с трех сторон,
а с четвертой – кто,
отпрыском к ним прирастая?

* * *

Детство дословное, дословесное
неизъяснимо –
жесты, гримасы, гуление, трепет,
если согласные мимо,
гласные – в крик и лепет.

Ау, о, уа, –
сквозь немоту напрямик
мерещится речи родной материк –
плачем спелёнутые слова.

* * *

Февральскую лазурь уже не отменить:
 Грабарь и Пастернак – холст и страница –
 навзрыд молчат,
 и праздником горят
 их страждущие света лица.

Прилётных голосов раскатистый маршрут,
 как небослов

– и наизусть, и громко.

Грачей родные гнезда на березах ждут,
 проталины – тепла,
 и женщина – ребенка.

* * *

«Не рыдай Мене, Мати»
Канон Великой Субботы ирмос 6
Ярославу

Разлука больше, чем пустыня Руб-эль-Хали,
 но жарче жизни,

ветреной любви.

Чужие звезды спят и видят стать родными,
 не спит лишь мать
 и наяву

беду отводит, как грозу.

Хвали верблюда, сокола, гюрзу,
 хвали хамсин – как сын – за солнечное имя!
 И дюны стронутся,

и грянут пылко в лад:

во имя Твое...

Непостижимое уму здесь инобытие,
 и воздух знойный мреет, чуть робея
 под сон песчинок на усах скарабея
 в тени серебристой полыни.
 – Не рыдай мене, сыне!

ЛЕСТНИЦА ЯКОВА

На Таганке –
 под ноги смотри, не споткнись! –
 там на эскалаторе в час пик –
 вверх-вниз,
 вверх-вниз
 живая лестница,

от многоэтажки небес до земли
 а на ней
 торшеров хрупкие хрустали,
 и будто школьники в столицу на парад –
 ангелы парами,
 ангелы в ряд
 барагозят, бузят и вот-вот воспарят.

Крылья у них в рюкзаках за спиной,
 кто – в город,
 кто – на Кольцо,
 лишь один летел и летел надо мной,
 но стрёмно глянуть ему в лицо,
 чтоб саечку не схлопотать за испуг.

– А если лестница рухнет вдруг,
 ангелов кто спасет?

Проснулся Яков, и взор на восток:
 та же лестница с неба
 и сонмы пламенных лиц,
 на детей похожих,
 а в профиль – на птиц...

– Ангелов или меня
 в час пик испытует Бог?

* * *

Миру миро –
 не «Миру – мир»,
 не транспарант на праздничном параде,
 не вдовами оплаканный плакат.

Это жен-мироносиц рассвет-отряд
 в путь выдвигается Христа ради:
 в слезах Богоматерь, подруги, родня
 по мертвой осыпи безбожного дня
 к пещере, где Тело Его...

Им ли смерти бояться?

Их семеро лишь – не двенадцать,
 и горлинкой Магдалина – не поймать, не угнаться.
 Миро, как море ручной работы, дышит в ее сосуде.
 – Чтоб всё по-людски,

мы же люди?!

А Сын Человеческий – лучший из нас.

Герман Власов

* * *

услыхать ли услышать
как торопится дождь
пробежаться по крыше
повторяясь точь в точь

в каплевидных солдатах
в берцах их неземных
громогласным раскатом
слышишь гонит он их

ах последние сроки
свежестрижен газон
и притихли сороки
и залитый балкон

скоро ль гравий дорожек
при луне заблестит
и единственный ежик
выйдет прошелестит

* * *

найти утешение в ветре
из милой глухой старины
взволнованном шелке и фетре
где кажется мы рождены

и тайно блеснула надежда
и в белом стоял Серафим
поэтому ветхой одежды
нет нет а изнанку храним

да здравствует глянec посуды
трюмо и хромой табурет
мы родом из самого чуда
которого кажется нет

но что утешало манило
в июне макушку пекло
где ягода наша малина
секретик цветное стекло

армада ли книжная полка
нависла и хочет упасть
и сам я из детства осколок
найду ли ответную часть

* * *

и все твои труды в полях под ориноко
стать медью из руды искрящейся под током

гудящей если ватт умноженный на кило
ты сам себе канат и сам себе стропила

ты черный грубый горн когда он остывает
ты человек он горд но совестлив бывает

смотри звенит пейзаж с порезом над картинкой
подросток карандаш взлетающий тростинкой

влечет его руда он чаще сверху слышит
другие города их флюгера и крыши

он делается остр и ровень он с грозой
он вертикальный мост нащупанный лозой

ОКНО

с памятью слепой от страха
шарить в давешнем углу
брюки находить рубаху
уколовшись об иглу

ветошью окно в европу
насухо тереть оно
в брызги мерзлого укропа
настежь мной отворено

а снаружи в непогоду
если слякоть со двора
будет просто черным ходом
веселится детвора

на печной ольховый запах
ярко желтый птичий лик

и зачем его на запад
рослый прорубил старик

на наличники в картинках
на герань и на котят
и кривые фотоснимки
в инстаграме разместят

* * *

бархатница на *E*
солнцем земным согрета
будем на острие
скажем ну здравствуй лето

здравствуй губы огонь
через твое тройное
ну приложи ладонь
царственное земное

слышишь оно стучит
как колотится гулко
будь нам и зонт и щит
в темени переулка

искоса промолчи
в самом начале мира
дай отыскать ключи
дружеской от квартиры

* * *

Кузнечик дорогой...

Ломоносов

синичка малая о сколь же ты смирна
ни табака не ждешь ты ни вина
но семечка
по благостным трудам
а если и не дам
что отдана ты воздуху внаем
чирикаешь на ветке о своем
сама как стих крылатый на руке
при галстукке и черном ободке
ни кровь ни пот твой глаз не замутят
тебе не страшен ад

* * *

Он видит нас во сне, Он ложечкой мешает
густой настой. Почти не говорит.
Он, будто листопад, вдыхает нас, листая
и серебром звенит.

И если крепкий чай, и если нужный градус,
характер у крутого кипятка, –
просыпет Он в стакан нечаянную радость
и станет жизнь сладка.

А, если беден сбор и вкус его несносен –
скривит свой рот, оставит серебро.
Он в круглое окно оценит взглядом осень
и выплеснет в ведро.

Он – Диоклетиан, но стены дома шире
Иллирии; не просочится мышь
в дубовый кабинет и ты в его квартире
карандашом лежишь

поверх счетов, бумаг. Вот стародавний свиток,
вот с проволокой общая тетрадь.
Но если ложки нет – тобой густой напиток
возьмется размешать.

Владимир Торчилин

Два рассказа про него

В СТАРОМ ДОМЕ

Сколько раз он говорил себе, что пора заканчивать с этими мальчишескими эскападами, когда старость уже даже не на горизонте, а приближается со скоростью междугороднего автобуса, но остановиться не мог. Это было сильнее его, и каждый раз, когда выдавалось – только не зимой, – хоть несколько свободных дней, даже если просто долгий викенд, он забрасывал за спину всегда готовый рюкзак с приспособленным наверху спальником и отправлялся бродяжничать. Разумеется, бродяжничество его начиналось не прямо с порога: сначала надо было добраться до автобусной или железнодорожной станции, оттуда – до какого-нибудь затерянного в середине окружающих их городок бесконечных лесов и долин местечка, а вот там уже начать настоящее странничество по проселочным дорогам, то и дело уходя с них в ослепительные березовые рощи или прозрачные и пахучие сосновые леса, которых щедрая природа накидала в их малолюдном краю видимо-невидимо. Так он неторопливо бродил целыми днями без какой-либо цели и просто наслаждался природой, сказочными деревьями, пением лесных птиц, синим и даже серым небом и той странной свободой мыслей и ног, которая так редко выпадает нам в галантерейной пестроте городов. Ночевал он обычно в лесу, разведя костерок под каким-нибудь густым деревом, – его опыта хватало, чтобы костер давал пламя до раннего утра, отпугивая вполне возможных лесных хищников, и уютно устроившись в своем старом, но таком удобном спальнике. А разных запасов на несколько дней – много ли надо... А потом очередной проселок выводил его к какому-нибудь поселку или ферме, откуда всегда было можно добраться и до мест, в которых вновь возникали автобусы или поезда.

Вот и в этот раз поначалу всё было, как обычно, – и маленький пятачок с тремя домиками, на котором его высадила автобус, и уводившая в сосновый лес проселочная дорога, по которой он бодро зашагал в гущу деревьев, и густой запах разогретой на солнце смолы, от которого кружилась голова, и голубое небо в просвете между сплетающимися над дорогой ветвями, и несмолкаемый гомон мелькающих в ветвях птиц – в общем всё, ради чего, собственно он тут и был. И ночь у тихого костерка под огромной сосной – сначала чай с разогре-

той банкой консервов, а потом спокойный сон в старом спальнике под шелестящий шум ветра в верхушках деревьев и редкий посвист ночных птиц – тоже была такой же привычно-прекрасной, как и десятки похожих ночей до нее. Но вот к вечеру второго дня случилась незадача. Он вышел из леса еще до полудня и направился вперед сквозь бесконечные луга по обе стороны неезженной, поросшей травой дороге, под ровное жужжанье мириадов шмелей, пчел, ос, мух, цикад, комаров – какие там еще звучащие существа таятся в высоких травах! Шел он уже несколько часов и видел, что приближаются вечер и дождь, а вот подходящего места для ночлега не просматривается – не то что леса, а даже какого-нибудь леска или рощицы, где можно найти хоть какое-никакое убежище на ночь.

Поднявшись на небольшой холмик, он увидел довольно далеко пять-шесть тесно стоявших домиков и какое-то непонятное строение, стоявшее особняком. Он очень не любил просить приюта в ситуации вроде этой, но бывало, что и приходилось, когда другого выхода не было.

– Ну, ладно, – подойду, посмотрю, – думал он, направляясь к домикам, вокруг которых пока не замечалось людей, хотя пара стоявших машин говорила, что кто-нибудь да в этом поселочке есть.

Он, наконец, приблизился к замеченному им ранее непонятному строению с правой стороны дороги, и увидел, что это старый заброшенный дом с наполовину провалившейся крышей и осевшим углом, что и придавало ему такой странный вид. Вокруг дома стояло несколько невысоких деревьев.

– А чем плох этот домик?.. – подумал он. – В конце концов, часть крыши есть, да и стены на месте. Надо глянуть внутрь, пока еще светло. Наверняка какой-нибудь подходящий уголок найду спальник на пол бросить. А что мне еще надо?

Когда он приблизился к дому, то ощутил не то, чтобы тревогу, но какое-то неприятное чувство внутри – уж больно недружелюбно дом смотрелся... Это было старое здание с кирпичным фундаментом и серыми, местами уже замшелыми, дощатыми стенами, с заколоченными досками окнами без стекол и с крышей, остатки которой выглядели не слишком надежно. Но выбора всё равно уже не было – идти вперед к обитаемым домам, где шансов на ночлег немного (он хорошо знал нерасположенность к путникам жителей таких мини-деревушек), а потом всё равно возвращаться к этому же дому, но уж в полной темноте, когда и устроиваться будет сложнее, – такая перспектива не выглядела привлекательной. Так что выбор был сделан. Он поднялся на три ступени сохранившегося крыльца, оттолкнул незапертую раздолбанную и скрипучую входную дверь и вошел внутрь. Дом, разумеется, был в полной разрухе и беспорядке. Паутина свисала с потолка, раскученные полы были покрыты пылью и мусором.

Изнутри дом оказался больше, чем виделся снаружи, и шаги его

разносились по пустым комнатам, пока он искал место, где бы устроиться на ночлег. Как ни странно, такое место нашлось быстро. Уже вторая комната, куда он заглянул, пришлась ему по душе – пол был почти чистый, на нем не было заметных кусков штукатурки и грязи, так что расчистить место для спальника не стало проблемой. Но главное, в этой комнате был камин! И выглядел он вполне прилично – то есть без всякой помоечной дряни внутри.

Он поставил рюкзак в угол и заглянул в соседние комнаты, где частично сохранившиеся полы дали ему достаточно досок – в конце концов, почему не выломать их, если почти всё и так выломано? – чтобы обеспечить камин топливом хоть на пару часов. Пока он ломал и таскал, почти стемнело, так что при оставшемся неверном свете он разложил спальник, кусочком зажженной бумаги проверил наличие тяги – она была – и заправил камин дровами.

Разжечь огонь для специалиста по кострам было делом одной минуты – и вот он уже полулежал на разложенном спальнике, не залезая пока внутрь, и наслаждался видом огня и волной тепла, исходящей из камина. Снаружи уже окончательно стемнело.

– Интересно, – неторопливо думал он, – кем был хозяин этого дома и почему поставил его отдельно от остальных, да еще и выше по склону, так что дом и его обитатели смотрели на жителей поселочка как бы свысока?.. Наверное, не любили хозяина и его ближних за такую вот гордыню, и после того, как он или они умерли или уехали, никто на дом не польстился, оставив его медленно разрушаться в гордом одиночестве. Вполне вероятная история. Хотя домина был что надо...

Понемногу мысли его становились всё более тягучими. Он бросил в камин последние из наломанных досок, и пока огонь дожигал их, оставляя вместо дров пока еще горевшие краснотой и жаром прямоугольнички, он решил, что нагляделся достаточно и залез в спальник. Какое-то время он лежал с открытыми глазами, наблюдая за отсветами понемногу затихающего огня на стенах и потолке. По мере того, как ночь продолжалась, странные звуки начали наполнять воздух. Звуки, которых он никогда не слышал при прежних ночевках в лесу. Там он мог с уверенностью определить любой шум – исходил ли он от костра, от деревьев, от птиц или от зверей. Тут же было совершенно иное дело: звуки, за исключением потрескивавших догорающих досок, были ему совершенно неизвестны – какие-то скрипы, шорохи, подвывания и даже непонятно откуда доносящееся тихое посвистывание. Сначала он пытался не обращать внимания на звуки, говоря себе, что это просто естественное бормотание старого дома – так сказать, «ноктюрн на флейте водосточных труб», то есть выбитых окон. Да еще и начавшийся дождь... Но чем больше он пытался объяснить себе происхождение этих звуков, тем они становились многообразнее, мощнее и непонятнее. Вдобавок он вдруг отчетливо ощутил,

что дом покачивается, как будто корабль, плывущий по какому-то неведомому морю или озеру. И сколько он ни пытался убедить себя, что это всего лишь ночной ветер и дождь шумят в кронах окружающих деревьев, создавая иллюзию шума прибоя, волн, ударяющих в наружные стены дома-корабля, – ничего не помогало: покачивание было невероятно реальным.

Чтобы как-то отвлечься от всех этих смущающих ощущений, он начал вспоминать свои прошлые походы и ночевки, даже самые давние, когда он был еще с друзьями и попутчиками. В камине вдруг раздался особенно громкий треск догорающего дерева, и по странному зигзагу памяти он вдруг вспомнил очень давний вечер, когда они тесной своей компанией сидели у костра, заправленного в тот раз сильно сырой древесиной, и хотя разжечь костер им удалось, но горение сопровождалось таким непрерывно треском – так, что возникало ощущение, будто сидение их происходит под непрерывную пулеметную перестрелку. Кто же был тогда с ним в этой компании? Он начал вспоминать – и лица друзей одно за другим представляли перед ним. Глядя на первое из них, он вдруг с испугом подумал, что не может вспомнить, жив этот человек или уже нет. Он начал перебирать в памяти всех своих приятелей, но с памятью происходило что-то странное. Он помнил всех, кто сидел тогда у костра, видел их как будто вживе, но память упорно отказывалась разделить живых и мертвых. Мысль его металась, пытаясь по каким-то косвенным признакам разделить тех, кого уже нет, от тех, кому он может хоть завтра позвонить по телефону и услышать привычное: «Это ты, старик? Ну привет!» Но как он ни старался, память отказывалась продчиняться. Он пытался вспомнить, кого из друзей уже успел похоронить, но в ошалевшей памяти всплывали лишь подробности похорон, но не лицо усопшего. Более того: из судорожно выхватываемых его стараниями эпизодов прошлого не удавалось построить никакой временной последовательности: он вспоминал само событие, но не мог отчетливо указать, когда именно оно произошло – пять лет тому назад или на прошлой неделе, давно и недавно – всё переплелось в пугающую мешанину.

Он попытался заставить себя не думать больше ни о чем и сосредоточиться на том, чтобы заснуть; сон должен был прекратить нелепую чехарду воспоминаний и дать голове отдых или хотя бы время, чтобы вернуть упорядоченную картину прошлого. Он уговаривал себя, что даже если этот заброшенный дом живет какой-то своей ночной жизнью, к нему это не имеет никакого отношения, и все звуки, так непохожие на звуки его лесных ночевок, не должны смущать его сознание. Он – сам по себе, а дом – сам по себе. Случайно встретились, всего лишь вместе переночуют, как это бывало в его давних командировках в гостиничных комнатах, которые он делил на одну ночь с другими постояльцами, ему совершенно не знакомыми. Ну, бывало, что кто-то из них храпел, и ему нелегко засыпалось, но, все-

таки, в конце концов засыпалось же! Вот и тут – ну, похрапывает себе старый дом, снится ему что-то свое, ему-то какое дело! Его задача – заснуть поскорей и быть в форме к завтрашнему утру. Засыпай же, давай... Засыпай...

Он проснулся, когда уже рассвело, солнечный лучик уже бродил по стенке напротив, слева от пустого дверного проема. Птичий гомон был настолько громким, что он даже удивился, почему гомон этот не разбудил его раньше. Вокруг в доме ничего не скрипело и не шаталось. Правда, может, просто потому, что ночной ветер к утру утих, да и дождь кончился. И вчерашняя загадочная путаница в голове исчезла, и больше не было сомнений в том, кому он сможет позвонить, когда вернется, а с кем поговорить уже никогда не придется.

– Старееет голова, – невесело подумал он, – чего только в ней не перемешалось! Конечно, в таком возрасте уже нормально терять приятелей, но, по крайней мере, стоит точно помнить, кого именно. Тут еще эти скрипы, качания и завывания – пожалуй, и самого себя забудешь, на том ты свете или на этом!

При свете дня этот заброшенный дом потерял свою магию, способную объединить живых и умерших в единое целое. Да и магия-то эта, наверняка, была всего лишь продуктом его собственного мозга, смущенного непривычным окружением. Скрипы и потрескивания – разве это не игра давно не шпаклеванных деревянных стен в ночном холоде, а непонятные шорохи – просто свидетельство ночных прогулок таких естественных для старого дома мышей и, может быть, даже крыс. Да еще это смущающее чувство одиночества, которого он никогда не ощущал у костра в лесу при соседстве так хорошо знакомой лесной жизни...

Он вылез из спальника, свернул его и привязал к рюкзаку. Пора было трогаться дальше. Дорога звала. Он чуть ополоснул лицо водой из фляжки – полный утренний моцион можно было отложить до какой-нибудь речки или озера, что просто не могли не встретиться ему на пути, – закинул рюкзак за спину, надвинул на лоб бейсболку и двинулся на выход.

Отойдя от дома шагов на пятьдесят, он обернулся. Дом стоял как ни в чем не бывало. Обычный старый заброшенный дом с полуобвалившейся крышей. Он постоял с минуту, потом усмехнулся.

– Ну, пока, домик! За уют, конечно, спасибо, но, пожалуй, больше никаких экспериментов. Никаких ночевок со скрипами и завываниями. В лесу, только в лесу!

И направился прочь от деревушки.

СКАМЕЙКИ

Он много лет ходил этой аллеей из дома на работу и обратно – хоть чуть дольше, чем по улице, но уж больно приятно дважды в день пройтись, так сказать, сквозь природу, – но на скамейки эти обратил

внимание только, когда вышел на пенсию. И парк этот, и сама аллея были какими-то странными, не совсем парковыми. Скорее, просто лес, а сквозь него – дорога. А по бокам от дороги не аккуратные однопородные деревья, как полагалось бы на настоящей аллее, – скажем, тополя, каштаны, дубы или липы (помните – «стояла темных лип аллея») или даже чего-нибудь с иголками, а всё вперемешку, лиственные и хвойные, – ну чисто лес, разве что только все деревья одинаково большие и подлеска нет, лишь травка низкая, а местами мох или даже просто усыпанная прошлой листвой и хвоей земля. Но всё равно приятно.

И даже когда в пенсионеры перешел, по привычке тянуло его пройтись по этой аллее, пусть и не доходя до ее конца, где через дорогу стояло офисное здание, в котором он все эти последние пятнадцать лет и отрубил. Просто пройтись – туда и обратно.

Вот тогда он на эти скамейки внимание и обратил. Не то чтобы он раньше их не замечал – как и положено в хорошей аллее, скамеек там стояло достаточно, но замечал как-то мимоходом – стоят себе и стоят... А тут обратил. Именно на те, которые располагались на изгибе, где аллея проходила по самому берегу протекавшей через город реки, так что на прибрежной стороне открывался вид с их высокого и обрывистого берега на нижнюю заречную часть города. Этот аллеиный изгиб, или дуга, был достаточно длинным, чтобы в него могло уместиться аж восемь скамеек – правда, они тут стояли плотнее, чем на остальной лесной части: пять – на внешней дуге спинками к обрыву и речке и три – на внутренней. Из пяти на внешней стороне две крайние были под деревьями, а средние стояли там, где деревья временно свой ряд прерывали – слишком близко к обрыву, и эти скамейки в тень не попадали.

Все три на малой дуге стояли под деревьями, ряд которых на этой стороне аллеи не прерывался. Он стал часто посиживать на средней из этих трех и смотреть на небо. Усаживаясь, каждый раз бормотал: «За рекой, в тени деревьев», вспоминая русское название хемингуэевского романа. Не каждый раз посидеть получалось, иногда скамейка уже была занята, но в общем и целом она доставалась ему настолько часто, что он считал ее своей и даже, уходя из дома, так и говорил домочадцам: «Пойду у себя на скамеечке посижу».

«Глупо как-то стоят, – неторопливо думал он, сидя на своей скамейке, – те, что на обрыве – спиной к реке, так что никакого с них вида нет, за спиной остается, только на те же деревья на моей стороне аллеи, а с тех, что под деревьями, – из-за высокого обрыва тоже ни реки, ни нижнего города не видно – только скамейки напротив и небо.» Так что, видом полюбоваться – надо было встать на самом обрыве спиной к аллее и к скамейкам. Только он что-то никогда не видел, чтобы кто-нибудь там стоял.

Но не только о расположении скамеек он думал, сидя в приятной

тени. Много чего удавалось ему разглядеть, когда вместо пробегаания мимо в прежние рабочие годы он стал одним из пенсионных «сидельцев». Сначала он обратил внимание на то, что каждая скамейка имела своих завсегдатаев. Конечно, на первый взгляд, сидящие постоянно менялись, но если проводить здесь подолгу день за днем, то обнаруживалось, что некоторые появлялись достаточно часто, и было очевидно, что эти скамейки для каждого из них такие же «свои», как для него – средняя из трех.

Самая левая скамейка на большой дуге была абонирована прочнее остальных. Даже когда она стояла свободной, на нее никто не покушался по причине ее загаженности голубями, и даже когда скамейки мыли – парковая администрация свое дело знала – она всё равно загаживалась почти мгновенно. Так как на ней почти всегда – только с перерывами на сон и короткими отлучками по другим надобностям – сидела старушка, которая всегда приносила с собой пакет с какими-то крошками или кусочками, на что и слетались чуть не все окрестные голуби, едва завидев хорошо знакомую им кормилицу. Старушка откровенно радовалась и счастливо смеялась, когда голуби садились ей на колени и брали крошки из рук. Она о чем-то говорила с ними и, казалось, всерьез думала, что они ее понимают, поскольку на их воркование она то утвердительно, то отрицательно покачивала головой, а порой даже поглаживала какого-нибудь совсем осмелевшего голубя по сизой спинке – похоже, услышав от него что-то приятное в свой адрес.

По какому-то удивительному совпадению – от скамейки что ли отходили призывные флюиды – на самой правой из них в этом ряду почти всегда сидели парочки. И не просто парочки, а откровенно влюбленные парочки, поскольку по нашим свободным временам они бесконечно обнимались и целовались, так что их лиц он разглядеть не мог, и иногда ему казалось, что это всё время одна и та же парочка, которая еще не устала от близости друг друга за долгие месяцы, проведенные на этой скамейке.

На скамейке слева от него часто сидел пожилой мужчина в сильно потрепанной одежде и совершенно не подходящих его облику новых адидасовских кроссовках. Перед ним всегда была развернута газета, но он редко переворачивал ее страницы, так что казалось (наверное, так оно и было), что газета нужна ему не для чтения, а для маскировки: заслоняя ею, разглядывать молодых женщин, особенно совершавших пробежки, – в спортивной форме, в теплую погоду едва прикрывавшей женское тело.

Открытые скамейки прямо перед ним постоянно занимали молодые матери с колясками, в которых они привозили своих младенцев принимать солнечные ванны в удобном и незатененном месте, где и сами они могли спокойно посидеть и расслабиться, а если рядом оказывалась другая мамаша, то и от души поговорить, пока не наступала пора возвращаться обратно к домашней рутине.

«Вот как оно получается, – думал он, – за ту пару часов, что я провожу на своей скамейке, я вижу несколько человек, для которых точно так же необходимо провести эти же часы на своих скамейках. Но ведь кроме этих часов, еще немало пригодного времени, чтобы здесь посидели и другие люди. А это значит, что каждая скамейка имеет несколько постоянных клиентов, которые приходят к ней регулярно, да еще какое-то количество посетителей случайных, так сказать, одноразовых. И все они приходят сюда, чтобы отдохнуть, подумать или просто побыть наедине со своими мыслями. И все они находят утешение и покой в этой аллее, среди деревьев и неба. И каждый из них оставляет тут кусочек своей души, который безмянным продолжает жить вместе с этой аллеей, и с каждой скамейкой на ней.»

Размышления о безмянности ушедших навсегда завсегдатаев оказались не совсем верными и приняли несколько иное направление, когда он случайно обратил внимание на то, что на трех скамейках – справа от него и на двух прямо напротив – в спинки вделаны какие-то металлические (похоже, бронзовые) таблички, выдававшие себя блеском отраженного солнца, когда солнце не было закрыто облаками, а сами таблички не были закрыты спинами сидящих. Он выбрал время, когда мог, никого не беспокоя, внимательно рассмотреть таблички, и увидел, что это всё – информация о том, что данная скамейка хранит (или хоронит) память о тех, на чьи жертвования она сделана и установлена. На трех видных ему табличках были имена Мистера и Миссис Макнил, Мистера и Миссис Сун Чен и, по-видимому, одинокого Мистера Кржичича.

Ознакомившись с табличками, он стал частенько размышлять о них или, точнее, о людях, чьи имена на них значились. Он пытался понять, есть ли какой-то смысл в таком обозначении своих имен во времени и пространстве, когда табличка не дает никакой информации о человеке, а только его имя – и если кто-то захочет понять, когда и где этот даритель жил и чем занимался, то никакой возможности для этого у любопытствующего не будет. Даже если полезть в энциклопедию или в сеть, то там, скорее всего, окажется целый набор Макнилов и Сун Ченов... ну, может, Кржичичей будет поменьше, если вообще будет, – но и о Кржичиче, как узнать, кем он был и чем занимался?

Завещал бы он, скажем, больницу или школу на его деньги построить, там понятно – и его большая фотография где-нибудь на стенке висела бы или даже прямо у входа, и табличка с его биографией наличествовала бы, так что и мир, и город могли бы с ним детально познакомиться, а тут что – только имя на бронзовой табличке. А кто он и что он – неизвестно, и никогда известно не будет. Ну и в чем смысл тогда? Разве что просто надеяться, что кто-то, прочитавший его имя на табличке, будет какое-то время крутить это имя у себя в голове, гадая, кто это такой – вот он и еще на сколько-то с живыми останется.

Может, конечно, и так, но что-то в такие сложные конструкции слабо верится. Ну что можно сказать по табличке? Ну разве, что мистер Макнил, скорее всего, шотландского происхождения, мистер Сун Чен – корейского (тут, впрочем, не наверняка), а мистер Кржичич или его родители прибыли сюда откуда-нибудь с Южных Балкан. А дальше можно лишь бесконечно гадать, где именно этот человек жил, как свои деньги заработал, сколько ему было лет, когда он покинул этот мир, ну и всё такое прочее. Разве что в одном трудно будет засомневаться: почему он или она захотели видеть свое имя на расположенной здесь скамейке. Разумеется, именно потому, что она расположена как раз здесь, и как раз здесь они провели многие часы, глядя на небо или на деревья. Только и всего... Ну и зачем это? Лучше уж тогда вообще без имени...

Через какое-то время, после того, как он умер и перестал приходить на свою скамейку, и о его существовании с трудом могли припомнить только скамеечные старожилы, парковые рабочие установили четвертую скамейку в ряду из трех на малой дуге – свободное пространство справа это позволяло, – с которой тоже открывался вид на небо и облака, и в спинку которой была вделана бронзовая табличка со странным посвящением: «В память о неизвестном»...

Бостон

Григорий Марк

«В то время несчастья...»

* * *

В то время несчастья болтались на мне,
как тряпки на пугале при лунном свете.
Но не замечали. А это вдвойне
обидным казалось. И, чтоб разглядеть их
получше, я ветошью воспоминаний
прошедшую жизнь зачищал по ночам
до блеска зеркального. Как наказание.
Отмщенье. Себе самому. Аз воздам

21 июля, 2021

* * *

За окнами бабье короткое лето.
Как милфы* в кричащих цыганских нарядах,
притихли деревья. Их песенки спеты,
они уже тронуты гнилостным ядом.

Некроз мягких тканей. Но в самом начале.
Волокна в пустой сердцевине истлели.
При этом стволы разрослись, вширь раздались,
добавились новые кольца на теле.

Внутри у них смерть, но снаружи цветенье.
Трава, окропленная солнечной влагой,
воздушные россыпи птичьего пенья,
слоистый настой из грибниц, жухлых ягод.

От запахов ополоумевший ветер
блуждает в акациях, ольхах, осинах.
Росы бижутерия в утреннем свете
искрится на листьях среди паутины.

Просвечены полупрозрачные платья.
Стволы истекают истомой смолистой,
у всех на виду раскрывают объятья
ветвей оголенных и дышат со свистом.

Патлатые кроны закинута страстно.
Под листьями ветер-охальник шурует.

Он на языке из одних только гласных
бормочет невнятно и лижет кору их.

Бушуют горячие темные соки
толчками в подгнивших утробах. Там время
зачатья настало. Исполнились сроки,
и падает в землю разбухшее семя.

Быть может, одно из них в новом году
во мне древом жизни иной прорастет,
и будет дано до того, как уйду,
увидеть воочью, сорвать его плод.

18-21 Окт., 2022

*Милфа – сексуально привлекательная, уже рожавшая зрелая женщина.

* * *

Плывут по лицам в окнах грозовые тучи.
Слепые пятна. Блики в зеркале пустом.
Смотреть, закрыв глаза. Чтоб видно было лучше.
Сосредоточиться на главном. На одном.

Ведь внешность не важна совсем. Она мешает.
Нигде не сказано, как выглядел Христос.
Чтоб каждый думал, что похож. И невзирая
на пропасть между Ним и нами, мог всерьез

пытаться подражать. Хотя бы в самом малом.

12 июня 2021

В НОВЫЙ ГОД К НАМ В ДЕРЕВНЮ ВОРВАЛСЯ НОРД-ВЕСТ

В Новый Год к нам в деревню
ворвался норд-вест.
Удлиняя дороги,
следы замечая,
покрутился позёмкой
и кинулся в лес.
Там со свистом гоняет
с ветвей птичьей стаи.

Я тогда на себя
был совсем непохож.
Лихорадило, ждал
и боялся чего-то,
что изменит мне жизнь.

Была крупная дрожь
очень больно. В душе
отзывалась ломотой.

Не хватало тепла,
не хватало людей.
Видно, к холоду при-
говорён еще с детства.
Жизнь назад в Ленинграде
продрог до костей
и с тех пор всё никак
не могу отогреться.

Я смотрел, как вокруг
тишь да снежная гладь
землю кутали бережно
в белые гююки.
Обняв крепко себя,
я пытался унять
колотун, успокоиться,
взять себя в руки.

Просветление не
наступало. Лишь лес
тряс во тьме свои кроны,
и на километры
вербный иней, замерзшие
хляби небес,
черно-белый пейзаж,
перетянутый ветром.

Сучий холод, стекая
по голым ветвям,
застывал хрупким кружевом
льдинок и сучьев.
С длинным выводком звезд
месяц плыл по холмам,
чуть поодаль тянулись
за месяцем тучи.

И единственный след
человека – лыжня
была еле видна.
От промерзшего снега,
сколько глаз мой хватал,
тусклый свет без огня.

Сокровенная тишь,
нисходящая с неба.

Но не тем, чем казался,
был этот пейзаж.
В нем творилось неладное,
самая малость.
Заоконье дрожало,
как зыбкий мираж.
Или, просто, стекло
надо мной издевалось?

Отражение кренилось.
Повёрнутый вбок
взгляд в окне становился
циничным и алчным.
А потом вдруг улыбка,
уютный зевок,
и смеется лицо.
Но при этом я знал, что

всё вернется на белые
глюки своя.
Снежный лес, обжигающий
холод в гортани,
неподвижные тени
из небытия
у меня за кухонным
столом, их молчанье.

25-31 Дек., 2022

* * *

И видел я ветер. Казался он мутной
шуршащею пленкой на кронах смоковниц.
Под нею набухшие кровью минуты
сердец непроживших стучали неровно.

На красных ветвях высоко от земли,
сквозь тысячи лиственных всхлипов, повсюду
в плацентах бесплодных смоковниц росли
сердца, обраставшие сеткой сосудов.

И кто-то твердил, выбиваясь из сил,
что я недостоин. Собрав удивленья
в слова, не себе ли я зло сотворил?
Ведь тем, кто с Тобой, остаются сомненья.

24 июля, 2022

* * *

Что-то странное в небе случилось вчера.
В полночь вдруг потускнели все звезды. Казалось,
их сиянье теперь из земли поднималось.
И над городом рыскали прожектора.

Диск луны ярко вспыхнул в скрещенных лучах.
Она дернулась набок и тут же потухла.
Ночь трещала по швам, комья листьев пожухлых
по асфальту метались. В далеких церквях

били колокола, собирали народ.
За ударом удар звон на улицы падал,
растворялся во тьме. И висел – совсем рядом,
стоит только глаза приподнять, – небосвод.

В трансформаторной будке гудел тяжело
электрический ток. За окном исчезали
очертанья домов и опять появлялись,
словно щетки на миг протирали стекло.

У пространства менялась его кривизна,
возникали повсюду разрывы, пустоты.
На высокой душераздирающей ноте
длился звук, где-то лопнула в небе струна.

И стоглазая ночь, вознесясь от земли,
разбухала и тужилась, будто стремилась
поскорей разродиться. С внезапною силой
хлынул дождь, это воды ее отошли.

По размякшему небу одна за одной
набегали волнами от края до края
содроганья, слабея и вновь нарастая.
Схватки первые в темной утробе ночной.

Дождь затих. Колокольному звону в ответ
гонг ударил в зените, по рельсу железом.
И тогда луч прожектора скальпелем взрезал
ей подбрюшье. Из тьмы появился на свет

плод, спасенный сечением кесаревым.
Промелькнула отрезанная пуповина.
Загогулиной серой, как хвостик крысиный,
по экрану вильнула. Над залом пустым

купол коркою льда зарастал. Облака
проносились на нем удивительно быстро,
словно ветер прокручивал пленку со свистом,
и мельканье струилось по льду. Но рука

выводила уже логотипа овал,
мое имя, дрожащее нетерпеливо,
заголовок бегущим красивым курсивом.
И весь город похож был на зрительный зал,

над которым убавили звезды накал.
Чтобы все, кто хотел, могли видеть воочью
фильм о жизни младенца, рожденного ночью.
Но единственный зритель глаз не поднимал.
Апр., 2023

* * *

Под утро шуршанье дождя в темноте,
квадрат на стене наливается светом.
Прозрачные тени скользят по воде,
всплывают в стекле очертания веток
отростками тьмы, силуэты людей.
С них мыльная пена свисает везде.
И медленно, листик за листиком ветер
полощет рябую рябину в дожде.
День стирки деревьев. Индейское лето.

1 нояб., 2023

Анна Гальберштадт

Ладонь, выстукивающая ритм

Из литовской поэзии

Марюс Бурокас

ФЕВРАЛЬ

Мороз-пёс лижет
мне руки. Снег
и камни. Детские головы светятся
в окнах. В трубах
леденеет вода, расщепляется дерево
валит дым, жемчужный свет
ощупывает стекло.
Все состояния теперь непостоянны. Время –
и ветер с моря обветривают, обжигают,
я оттаиваю. Мне не хватало
этой соли, твоей
кожи, согревающихся под ладонью
шершавых губ
чистого бытия.

* * *

жалкие
вильнюсские ангелы

широкозадые

страшные
в своей белой слепоте

давно списанные
со всех небесных сражений

ссылка
ссылка в нашем городе
их участь

одинокчество
и испытание скукой

знаем
 такими и должны быть
 наши пастыри

задохнемся во сне
 от их перьев

* * *

Книги – это мои
 тропинки
 и сад

убежище и
 больница

вцепившись в предложения в них
 вглядываюсь в зелень
 через дорогу

*– тесны твои решетки
 строчка*

глотаю стихов пилюли

гладкие
 как галька
 у Черного моря

 так нет же
 и я хочу

хочу быть
 одним их этих –

в латах,
 в запряженной гексаметром
 колеснице

сжимающим поводья
 и копые

орущим
 летящим как безумный

к каменным
 повернутым к нам
 спинам богов

Сигитас Геда

А НА САМОМ-ТО ДЕЛЕ И НЕТ НИЧЕГО

*самые большие переживания в моей жизни –
один из моих друзей любил прогуливаться по лезвию бритвы, но
я дошел до рожицы из сабель –*

самого главного героя-любownika Иисуса Христа не было, придумали его отщепенцы, правда, но такой малюсенький акцент, а всё остальное До и После него, акцент всегда был, насколько нам известно, за – огромное пространство, пурпурное одеяние и ореол, явление народу, снятие с креста, воплощение, божественный знак, жизнь, скитания, принятие мук, смерть и воскрешение, исцеление и воскрешение других, – всё было и возродилось по радению апостолов, как проекция, как накопление, как концентрация благородства, но всё равно он остался маленькой точкой, сосредоточенной самой в себе в этой вселенной, а мне так бы хотелось, чтобы он сиял надо мной как огромная пурпурная звезда с тысячей ветвей, а тут и растения, и моря-океаны, люди, миры, Бог Отец и Матерь его Святейшего духа, золото, соли и воды, розы и бриллиантовые звезды, а крестик на самой вершине, как прочерченный кровавым ногтем, о! я желаю, чтоб он был большой, такой необъемный, чтобы я мог его спотыкаясь нести, такой вышитый сверкающими рубинами острорезными, святыми его звездочками, они как пуговицы, как клешни рака, такой далекий и близкий, что, даже ничего не испытывая, ты страдал бы, страдал бы, страдал бы, работать некогда, любить некогда, бороться некогда, разорвать цепи неволи, реконструировать мир, начать заново...

20 ПРИЗНАНИЙ

Подумал о том, что я уже всё испытал,
притворялся младенцем, ребенком малым,
маленьким мальчиком и маленькой девочкой.
Маленьким детским богом – Ничем.
Я прикидывался птицей.
С высоты птичьего полета смотрел на Литву, на кратеры ее морей.
Притворялся ксендзом, кентавром, Жаворонком, Иисусом
Христом, величайшим литовским поэтом, всякими людьми и птицами.
Хароном, демиургом, игравшим с ракушками в Балтике.
Смертным, ласкавшим Дидону в глубине моря с китами.
Пьяным Вийоном или Бильханой,
насилюющим несовершеннолетнюю королевскую дочь.
Кассандрой, предсказывающей гибель.
Пикассо, дробящим кости.

Выжившим из ума Гельдерлином, жаждущим только тишины.
Ли Бо с припорошенными снегом знаменами в древнем Китае.
Вороной, белой, выдергивающей крапиву.
Всеми созданиями, которыми ты, Господи, велел мне быть.
А вот сейчас я хотел бы быть собой.
Жестоким, темным, безжалостным,
Бессильным, больным, благородным.
Умирающим и воскресающим. Чтобы жить.

Антанас Йонинас

КАК ПИШЕТСЯ СТИХОТВОРЕНИЕ

Март, дерево ожидания
подтаявшие ветви
с взрывающимися воробьями
на бледных альпийских склонах
граффити весны
и нетерпенье зимы
ладонью, выстукивающей ритм
по кромке плоского,
как стол, пейзажа

апрель, месяц сожалений
дерево тоски и раскаяния
галки, как черные флюгеры
тысячи флюгеров, одинаковых
железнодорожных птиц,
прикованных к запыленным тополям

и май, дерево неисполненных желаний
покрытое мелкими цветочками предательства
меж мозолистых корней
красуются важные павлины
божественные кони с ядовитым опереньем
одной рукой держу я арфу мира
я другой провожу по медным струнам сосен
мои корни говорят небу сосна
и иголок коготками робко
царапают землю

время смоем все, но и грех, который нужно бы смыть,
 и его вроде нет уж
 я курю у окна и не вижу тебя, наклоненной
 над раковиной, Венера моя
 там вдали у озера горного в отраженном сиянии
 ты накрыта легкой вуалью дождя
 золотит твои руки сквозь сплетенья ветвей
 в просвете меж туч солнечный луч
 сколько шагов тут столкнулось и сколько не встретились
 тут, у ратуши бывшей
 сколько желаний уносит несбывшихся эхо шагов
 эротическое
 и сколько несказанного скрыто за дверями закрытыми
 кондитерских парикмахерских и аптек
 как больно осознавать, что не исправить день
 когда пропустил его, как ошибку
 снова весна, холодна как стекло, но она уж
 в воспоминаний шкатулке на бархате пестром
 как мало в ней простоты
 и утешения мало
 но вот ты снова бредешь под дождем под красной рябиной
 принеси мне невообразимое что-нибудь
 любимая моя

Кестутис Навакас

ИЗ КНИГИ СТО И ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

ЧЕТВЕРТОЕ

Растения – это португальцы. Животные –
 французы. Металлы – это немцы, а
 минералы – скандинавы. явления природы
 из миттель-Европы, скорее всего когда-то
 принадлежали Габсбургам. то, как мы действуем
 – евреи. то, как мы мыслим, – это по-разному. если
 хорошо получается – чехи, если плохо –
 албанцы и итальянцы. если так себе – швейцарцы
 и бельгийцы. наши страсти – это испанцы
 наше молчание – исландцы. наша вера –
 поляки. бессознательное – древние греки.
 наша любовь – все исчезнувшие народы.

британцев нет. венгров нет. русских нет. голландцев.
 литовцев нет. были. летописей не осталось.

ПЯТОЕ

Кому нужны эти топоры, смысл этих топоров слишком таинственный. Для чего пилы и дамасская сталь иногда невозможно понять и ножницы они хотя бы красивы. Иногда невозможно войти в комнату, когда ножницы на столе иногда и комнат нет, куда вот так взял и вошел. Но всё что угодно можно разрезать или разрубить ребром бумажного листа. Если там есть хоть две буквы. Одной не хватит. Одной не на что опереться, одна выпадет сквозь свое собственное отверстие, если сможешь найти вторую – оставь сомнения. впусти ее:

бумажным листом сможешь рубить. Тогда топоры будут опущены и со временем кровь свернется

СОРОК ПЯТОЕ

Он ходит по комнатам не в состоянии перейти из одной в другую. не возвращаясь. он отворяет двери: одна комната – венеция другая комната – париж он идет из одной в другую не в состоянии войти: одна комната – опал, вторая – нефрит он становится Ею: она пряталась в нем а сейчас распускается она идет. Комнаты две. Одна – рождение а другая – смерть, он блуждал по ним и не мог войти и не мог родиться или умереть она это может ей подчиняются небеса когда он – это она, получается войти в обе комнаты

в комнатах там такое странное мыло как смоешь пену– появляются из нее прекраснейшие сосуды

Симона Бернотас

БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Ты мне сказала
 Что между нами
 Всё кончено
 Нет электричества
 Не вскипятить воду

Свет погас
Черные экраны
Транслируют пустоту
Я сказал тебе
Что всё это
Можно легко исправить
Зажег свечи
Стал искать
Предохранители
Включать и
Выключать
Взад
И вперед
Чтобы мы могли начать
Всё сначала
Ну что такого?
Прикинуться
Что ничего-то
И не было
Мелкая
Неполадка
Всё починим
Но ничего из этого
Не вышло
Свечи потухли
И я один
В глубокой ночи

БЛАГОСЛОВЕННАЯ

плачет хлеб, который ты ешь.
вопит вода, которой ты умываешься.
визжит воздух, которым ты дышишь

башни кафедрального собора
предназначенные благословлять
твое существование
вздымаются в небо
опрокидывая тебя
на землю

ты давишься хлебом
мутна вода, которой моешься.
воздух, которым дышишь – как лёд

Василий Львов

Человек спустя

Человек в нашей культуре всегда мыслился как сочленение и союз тела и души, живого и логического, естественного (животного) и сверхъестественного <...> Но вернее было бы смотреть на человека как на произведение двух этих начал и, чем искать метафизическую связь между ними, обратиться к тайне их практического и политического размежевания. Что есть человек, который суть место и производная все новых переделов и цезур?

*Джорджо Агамбен**

ЦЕЗУРА ПЕРВАЯ

ЕОУЫЭ

стЕн	гЕрц	свЕт	дЕнь
стОн	звОн	стОл	лО
зУд	гУл	стУл	дУ
жИл	стЫк	хнЫк	лЫй
лЭп	Эх	Эх	цЕ

Дни не закончиваются...
Давно, как в темь, спорхнули ночи...
До век истончивается
Бетон у стенки нерабочей.

Но человек
Ночи ловец
Считать овец
Всё хочет...

И скоро стачиваются,
Как зубы, грани двоеточий,
И подминают сон сурочий
Сорочий гвалт и грай грача.
Но человек
Ночи ловец
Считать овец
Всё хочет...

* Вольный перевод автора, из книги Дж. Агамбена «L'aperto. L'uomo e l'animale» («Открытое. Человек и животное»). «Цезура», пауза в стихе или мелодии, происходит от латинского «caedere» – «сечь», «рубить», «умертвлять».

Вот как большая алыча,
Жильцов внутри сосредоточив,
Горит над миром каланча,
Скребя подбрюшье звездоточий...

Бросая ответ неохочий,
Висит дыра от калача,
Висит, как будто бы ничья,
И вспоминает черны ночи.

Но человек
Ночи ловец
Считать овец
Всё хочет –

Но человек
Ночи ловец
Себе ночлег
Пророчит...

ЦЕЗУРА ВТОРАЯ

За слов родных пределы
однажды вышед,
гляжу – так дух на тело
взирает свыше.
Вкруг пяльцев обведенный
из дому выжит;
душа – швея, ей вышит
маршрут ладони.

Засов мне отпер двери:
кто изгнан, ищет;
богаче мы с потерей,
с разлукой – ближе.

Душа: «За мной, наперсник,
латай с изнанки,
вот так, крест-накрест, крестник,
земной изгнанник».

Хоть слова из Герольда
уж давно излетели,
человек Арчимбольдо
носит их в своем теле;

копошенье, мельканье:
рыщут библиофилы,
над плодами познания –
хоровод дроздофилы;

после скорой их смерти
ворох крылышек трупный
всё собою облепит,

но, как кашель и лепет,
их рассеет глас трубный
на последнем концерте.

ЦЕЗУРА ТРЕТЬЯ

Стихосклонение

Сколь легок ленный, сладкой **стон** полднейной!
Изян, взлелеян средь простынь, **простим**.
Сколь свод покоен, в коем дух **вместим**
И с ним душа-наперсница – царевной!

Гимнаст, *она* раскачиваться склонна
Со склона в темь – и вспять из пропастей,
Из тех **станц**, откуда ждут **вестей**,
Как **стих** – из **стона**, милость – с небосклона.

Белый сон

...не думал я, что окажусь
в столь сладостно-обрыдшей сцене...

...вот с формой повседневность приняла
предбездний, но баюкающий смысл...

...резвится детвора и рóзлит
белесоватый свет по полу;
негромко у стены играет Моцарт –

трусость бесовская
отсель пытаться убежать,
но боязно, что до сих пор
мысль тонкая, в мистическом подполье
ютившаяся, вдруг теперь исчезнет
и свет дневной поглотит нас опять,
опять все ничего-что не понявших...

...без силы мысль...

...безмысленная сила...

ЦЕЗУРА ЧЕТВЕРТАЯ

Человек

Ne mashi kulakami, ne trebui drak,
govoria: «Chelovek cheloveku drug», –
ili «drug i vrag
on za prosto tak,
feierverk neironov, a posle – prakh...»
Nu k chemu lilipuchii etot zamakh?
Nu otkuda takaia poshlost’?
Chto obidy, esli ne posh zlost’?
Vidno, pravda, chto gore da glory – v umakh.

На слово скор
Свой приговор
Вершу я.

Я бузотер –
Пора в упор
Глядеть.

В семье бретер,
Прибыток скор
Пложу я.

Хочу на спор,
Как матадор,
Поддеть.

Душевный вор,
Злой контролер,
Бушуя,

Любовь смог в сор
И честь в позор
Одеть.

Могу в костер,
Взяв на измор,
Ревнуя,

Вскочить – фурор!
И – весь укор –
Смотреть.

Но что за вздор?
Наперекор
Сгорю я?

Так отчего же
Я так хочу
Гореть?

ЦЕЗУРА ПЯТАЯ

Снегопад

Не!

пишите мне.

Не!

звоните.

Я прошу!

(Отчего же молчат?)

Вот бы выйти отсюда –

выйти!

Улиц голь – вод летейских ушат.

Шаг –

закружишься в вихре событий:

улучат – увлачат – измельчат...

Объясните же! Объясните!

Как мне снова

попасть

назад?

Как мне

быть?

Как

забыть?

Как

избыться?

Как, горя от стыда, вынести ад

И из пепла восстать, как та птица?!

Тишина,

в вышине

Будда

Смеженный в перекрестьи волостей

и межявья негой изможденный ✧

берложивший в объятиях бровей ✧

спросонья благодатью увлажненный ✧

блаженный ✧ умиленный ✧ взгляд ✧ недвижим ✧
 заоблачною манной полон иже ✧
 горé ресницы ✧ ризы воздымает
 и ✧ горизонт обведши ✧ осеняет ✧
 и лишь ✧ на миг единый лишь на миг ✧ сме ✧
 жается сны ✧
 жается ✧
 всё ниже ✧ ✧ ✧

ЦЕЗУРА ШЕСТАЯ

Я слушаю древа я слушаю очи я слушаю слушаю
 слушаю всё... Мне скучно смотреть на простые
 предметы на небо на звезды на чье-то лицо...
 Мне нравятся звуки и смысл мне неважен мне
 нравится речь говорить ни о чем и в общем-то
 смысл это лишнее даже когда без него мы лишь
 шум издаем... Поэтому муза лелеет медуза
 поэтому фея терзает Тесея поэтому факты идут
 на антракты поэтому этому этот не тот.

...в морщинистых руках сновальщицы застыла спица –
 не спится;
 в который раз сустав вдруг выкинул коленце,
 всё колобродят кости, тревожные младенцы,
 и хнычут ноздри:
 был тяжкий, глокий сон о коздре;
 слух наострю – кряхтит под потолком, –
 в глазах в углу сидит недотыком-
 как кажется – крестись скорей!
 бурлят метеоризмы батарей,
 танцуют по стене лианы силуэтов –
 эфирные тела вещественных скелетов;
 по кости, как по лузе, хлад – невомоготу!
 встаю с кровати ню;
 прикрывши наготу,
 бреду на кухню, простыню
 оставив, подернутой молочной пенкой
 покрыт мой теплый чай, бубнит сосед за стенкой,
 что говорит, мне скучно разобрать,
 спросонок непонятлив мой рассудок,
 хожу туда-сюда по кухне – трепетная мать,
 нося под сердцем ноющий желудок,
 но вдруг взошла улыбка на лице:
 об отчем долге, мне судьбой сулимом,

я вспомнил тут и в виде растворимом
бокал наполнил витамином С,
и просветлился светом нетворимым.

ЦЕЗУРА СЕДЬМАЯ

Влюбленность варвара вражды его опасней:
Гарем весны пал жертвой Аквилона,
Но так же, как руины Парфенона,
Полуразрушенны, цветы еще прекрасней.

Воробей на ветке... дует ветер...
Под ногами – листьев конфетти.
Ах, читатель, ты меня прости:
У хореев пятистопный метр
Просто так звучит – ты не грусти.

ЦЕЗУРА ВОСЬМАЯ

Топи истории

это было давно
торбу лет зим
высохла трын-трава
дело же было так

топь там тишь
троп там нет
топ топ топ
треск плеск стриж

тишь там топь
тыл тут тиф
тих скифа стон
скифа стон стих

тын терял тень
тёс тенил тис
тихо тёк день
точно тёк тать

Макария

Довлеет слоннице... стлаютя стода...
Ворчавка гавчет и трикозы мечут...
Заклашилась в захлёбе лебарда...
Тягубчато ся блажденно щипчут...

Влажинки ниц ручьятся и лиются,
И мленьницы сокрильями махают...
Поохолмь паршут гуси, гоготают...
Стручатся* слезы и слова гнетутся...

* Слово из стихотворения Екатерины Талоновой: «Стручатся слезы из глубоких очей».

ЦЕЗУРА ДЕВЯТАЯ

Прогнозирует ненастье
Воспаленное запястье.
Что со мной? Я в том артисте –
Он заламывает кисти,
Пересчитывает кости
(Месяца в убытке, росте,
Точно слабый слог, ударный
Цикл свершают календарный),
Чтоб под кресел треск древесный
И под клеток рукопесный
Воплотившись в пианиста,
Под раскат этюдов Листа
Из хребта клавиатуры
Выбить тайну партитуры.

Я точно ветер с голыми руками
Когда под ними нет листа
Когда поднимет и с чиста
Идет змеиться красными строками

Я точно Лист с горящими руками
Когда под ними пустота
Когда нахлынет темнота
Я точно вечер белыми ночами

Я вечно точен вставшими часами
Когда год минет без щелчка
Облекшись кочевыми облаками
Где ни реки ни озерка
Когда под ними нет зрачка
Я точно череп с полыми дугами

Я верно недомолвье между нами
Когда меж нами два молчка
Или ночами с кондачка
Когда мы мечем бисер болтунами

Всего верней я недоразуменье
 Пустяк межреберный сквозняк
 Я шум из ничего пусть так
 Я, тяга, тщусь понять свое влеченье

ЦЕЗУРА ДЕСЯТАЯ

О сень листисая дерев,
 подернись блеклостью слепящей
 багристо-желудевых островов!
 Приди, о седовласый мавр,
 явись, летосени кентавр!

Мой дож!
 звучи,
 чтобы вода,
 пригвождена к земле,
 кипела!

На ны идущ!
 журчи, ворчи,
 чтоб вторил зонт ей
 а капелла!

Крапитель душ!
 урчи, бурчи
 и вверх себя порывам смело –

туда, где ветер-панибрат, –
 à droite,
 туда, где ветр-гаврош, –
 à gauche, –
 и ты туда идешь, о дож!

Из ливня – в кривень,
 левня – в правень,
 чтоб за листом
 взлетал бы ставень!

Чтоб жилы обжигала дрожь,
 хлещи вовсю, сентябрьский дождь!

Виват тебе,
 сень-
 тябрь,

Сен
Тибр –
sine qua non,
osé et libre!

Наконец тронь осень этот молкший лист
Пусть как мамонт отрытый из-под льда он сгниет
Так и тронулся бы я вместе с ним пародист
Хоть не в дальний путь – хоть бы в дольный лет

Сколько месяцев лежит этот сыр на витрине
Никто ничто его не берет
Весь он бледно-синий
А она купила и домой несет

Он потом надкушенный попал в мусор с листвою
Мусор – это порядок закон мировой

Но вселенные живут порознь
Неодинаковая у них погода
Ан устроит какая-нибудь себе казнь другим кознь – оползень
И тогда только сходятся у черной дыры мусоропровода

Стоят молча и кидают в черноту огарки сверхстарых звезд

ЦЕЗУРА ОДИННАДЦАТАЯ

Влюбленным придает серьезность дождь
Серьезность дождь влюбленным придает
Дождь придает влюбленности серьезность
О, придает серьезность дождь влюбленным

И придает веселость гром
гром гром гром гром
Им придает веселость

А солнце дуновенье флирт

Ехать в аэропорт придаст им рок
Дорога метафизику, дорогу метафизика

Серьезность дождь серьезность дождь
Веселость гром веселость гром
Солнце ветерок ветер солнышко
Ехать в аэропорт
Флирт рок метафизичность путь

Им придает любовь

Им придает любовь

Эрота окрылила Эрато
 Гекатонхейром разметнулись на подушке
 Эрато окрылила Эрота
 Тревогам путь в тартарары заказан
 Окрылила Эрота Эрато
 Эроп похищенный телицей
 Эрато Эрота окрылила
 И упорхнули сообща

ЦЕЗУРА ДВЕНАДЦАТАЯ

Terza rima

I fell into the disappear –

Я полетел в пропасть

Mein Herr, it's dark, but I'll adhere –

Вдруг заяц в шубке – шась!

Беляк – а может, Беликов?

(He went through real trauma)

Look! He's about to maverick off!

...Здесь может быть твоя реклама...

I dropped myself to disappear –

Я драпал – прямо в ночь

I shed attire and my tier –

И – вплавь, и влёт – воочь

Ewe'll sea the seal:

'STEP ONNO PETS'

Баран! Нет сил.

Здесь нужен спец.

I'll keel without my specs!

Agape! I fly to disappear!

Я вновь лечу в пропасть!

Оставлю по себе проснись,

Чтоб в селезни попасть!

Agog! I shot up гегелем

И гоголем взлетел!

Не человеческим логосом,

а птиц пернатым голосом

O romme de shchi вскричал!

Sie kann nicht Volk, my Marian,
 Ere come big loopy зверь –
 Примчался – what a carry-on!
 Скорее – прочь от east!
 Пуга Mussorgsky's off the Liszt
 And Brahms – скорее, I insist –
 На запад! (В западню?)

I fell in two not to despair
 Чтоб ГОСТом не упасть
 I splintered off like Eritrea
 И вдруг застыл aghast

I dripped into объ-livion –
 Пал каплею в forget:
 Я пропустил, обвинил ли он
 Лао-коан иль net.

Я продолжаю в disappear
 Без памяти nestись
 Beyond repair – without peer
 Не к – в – на – но из

Японские стансы

Японские стансы – <...>: вяло,
 усыпительно, мертво, – все на низких
 нотах с полутонами. Мерзость!

Николай Японский

1.

Четверг, не страстной.
 Еще одна смерть в семье.
 Летняя морось.

2.

Аврал. Жар. Нью-Йорк.
 Новорожденного крик.
 Гроза, ливень, вздох.

3.

аллейки чисты
 слышится будущий ворох листьев
 пока еще ребят
 вот как бегают вот как резвятся электрушки
 а небо сдвинуло тучи

zZZ
 zLzLzLzLzL
 zzzZZZZzzZZz

уходят безответно как в никогда одна за одной
 как в никуда безвозвратные молнии

как
 ты там?

ЦЕЗУРА ТРИНАДЦАТАЯ

Я пишу роман
 В духе Мор д'Артур
 Я пишу в карман
 Дни как мухи мрут

Я бешу маман
 Тещу и жену
 Не бушую пьян
 Просто чушь шучу

Словно не норма-
 льный семьи член
 А какой норманн
 Профиль вычерчен

На тафте лежу
 Точно мор д'амур
 Я не имярек
 А Амударья
 Видный человек

Я пишу роман
 Так уж и роман
 Точно хиромант
 Жизни нитевик
 Как плетут орна-
 Мент себя плету

Я пишу роман
 В духе Порт-Артур
 Я пишу в карман
 Дни как мухи мрут
 Я шепчу в намор-
 Дник шепчу, шепчу

Я ушиб роман
 Я роман ушиб
 Я теперь О! Шипка!
 Пишу пишу

пЕснИ

Песня № 1

И Рог
 Е Лиф
 йи
 рог
 лиф
 йи
 пи
 Фань Йа
 фа и
 Е пи ни и Я
 ти жать
 А ит да по ез
 ни
 ку
 да ни
 да ко не
 гда ку
 да не
 да ког
 да

Песня № 2

Е
 И
 йи е
 ро рог лиф
 фей
 Йинь Иль
 Йань Йа
 Ле У
 тад во
 ва лок

жди да жди шти да шти шли до жди
 по пу сту по по лю
 штрих да штрих гріх да грех
 Го ри лье Ф

Песня № 3

И Су Се
 И и сус
 Е шу а
 И сти на
 Е на
 и сти е и
 сти на да сти на
 па ле сти па сти ла
 сти на
 И и йе
 е у ру са лим
 И и йе
 е о ро о гли Ф

ЦЕЗУРА ПОСЛЕДНЯЯ

Planet Netnet (Оммаж Yello, «Planet Dada»)

*гад
годичный
в ось
меричный
скорь
скрипичный
жгут!
заплел!*

ЗА!
ЗА!
ЗА!
ЗАЛОЖНИ

ЛОЖ!
ЛОЖ!
ЛОЖ!
НАЛОЖНИ

К!
К!
К!
КАЛЕКА!

ЦА!
ЦА!
ЦА!
У ВЕКА!

Змий!
Зимовний!
Летний!
Удав!
соробору
роборосу
соробору
роборо

Осенний!
Аспид!
Весны!
Василиск!

обо-обнуляет
 обо-обнуляет
 обо-обнуляет

Двуглав!

об!
 нуляет
 оп!
 нуляет
 ир!
 нуляет
 об!
 нуля

П р о б е г о м
 П р о г о н о м
 П р о р е х о й
 П р о б р о с о м
 П р о л é ж н е м
 Держав

Пан!
 Демоний!
 Пропал!
 Оптикум!

соробо
 роборо
 соробо
 роборо

Змий!
 Зимовний!
 Летний!
 Удав!
 обо обо обо обо обо обну – ля!
 обо обо обо обо обо обнуб – ля!

– Скорпъ набираить ишь перед броском

гад
годи́чный
в вось
меричный
скорпъ

*скрипичный**жгут!**заплел!*

ОК!

ОК!

ОК!

ЗА ОКО!

ХА!

ХА!

ХА!

ЭПОХА!

ХАМ!

ХАМ!

ХАМ!

МУРАПИ!

МУР!

МУР!

МУР!

МУРА ПИ...

Змий!

Зимовний!

Летний!

Удав!

обнуля

обнуля

обнуля

обо-обнуля

Осенний!

Аспид!

Весны!

Василиск!

обо обо обо обо обо обну – ля!

обо обо обо обо обо обо обо

уробороуробороуробороРОС!

уробороуробороуробороСОС!

уробороуробороуробороРОС!

уробороуроборобороборо

гад
голичный
в вось
меричный
скорь
эх! эх! эх!
скриичный
эх! эх! эх!
жгут!
эх! эх! эх!
заплел!

И
февралий
И
февроний
И
петроний
Костоправ

Змий!
горгоний

голичный
аСПИД!

Змий
горгоний

голичный
аСПИД!

Змий!
горгоний

голичный
аСПИД!

ходит он по кругу
ходит он по кругу
ходит по кругу

Шахид!

Календарь

Взяв спичку, я зажег свечу, как встарь;
передо мной раскинулся тропарь –
синод равноапостольных дорожек,
додекафон,
в начале от круженья недотрожек
весь занесен...

«...вишь, намело! Аль дремлешь? Не кемарь!
И снег, и солнце вот... Ну выглянь, Варь!»

Ан поздно! Как хурма,
под лавку закатилось солнце
и зреет, и видны в оконце
лишь комната да тьма.

Так день за днем бредет, что Персеваль –
вдруг свет! взор ослепил святой Грааль!
О, мой смутьян, бунтарь, мятежник, рев-
-олюционер, Лефевр, Новый ЛЕФ!

Решителен и дерзок, как тире,
подвел под гильотину *longue durée* –
и, растекаясь, талая бродель,
у скатов превращается в капель...

Трепля, листает книгу резвый шквал,
уже мы миновали перевал –
доселе лютым холодом контужен,
шевелится комар, теплом разбужен,

уж на посту, метая и рыча,
клокочет РАПП, реляции строча,

но ненадолго – новая пора,
плисецкая, придет, и под «ура!»
здесь будет установлен майорат
и в честь него – торжественный парад,

а после – век династии Ы-Юн
(до времени нестрашен жадный гунн),
там – декаданс династии Ы-Юл:
изнежен зноем, весь дворец уснул;

ушли маньчжур последний и уйгур,
как предвещал о том старик авгур...

«Или мы варвары? Вино скорей разбавь ты!» –
пьют за победу с шумом аргонавты...

но кончен пир и с ним – беспечный гам,
багрец бежит со стен, рябь – по водам,
и стали все готовиться к вечерне;
блеснет руно вдогон лучом вечерним,

воды коснется, тетивой двоясь,
и весело, как будто ОПОЯЗ,
вдруг заиграет нотных листьев вязь,
ноктюрными октавами вихрясь,
что страшно аж! но я бурь не боюсь,
ведь скоро упраздняют их, как юс,

и вот – абрадекабра! – карильон
под детский смех кончает свой прогон;

гашу свечу – еляя слаще гарь –
и пару теплых натянув сапожек,
прощальный взгляд бросаю на тропарь,
синод равноапостольных дорожек,
додекафон...

Нью-Йорк

Евгений Сливкин

НА КЛАДБИЦЕ ВАРШАВСКИХ ПОВСТАНЦЕВ

На повстанческом кладбище надпись
на чужом – прозвучала на нашем,
уложившись в трехстопный анапест:
Лейтенант Красной армии Саша.
Без труда она переводима,
а другие – не перетолмачишь...
На могилах бойцов – псевдонимы:
«Зоська», «Вили», «Парасоль» и «Матяш».
Лейтенант Красной армии Саша,
в оседающем пепле и дыме
без фамилии павший и спасший
Красной армии честное имя.
Беглый лагерник – прежнее званье
он в подполье носил, не позоря.
Пусть над этой плитою славяне
старый спор меж собою доспорят!
Обгорелый, растерзанный, страшный –
он встает с автоматом на шею.
Лейтенант Красной армии Саша...

Как мой батя, дошедший до Шпрее.

РЕЙХСТАГ

Купола стеклянная витрина,
реет черно-красно-желтый стяг –
это в центре серого Берлина
из развалин поднятый Рейхстаг.

Он давно от копоти и сажи,
словно бы от прошлого, отмыт –
лишь тевтоны, вставшие на страже,
помнят, как чухонский лёд трещит.

Тополиный пух, как балерина,
в воздухе кружится день-деньской
посредине майского Берлина,
опускаясь над Москва-рекой.

Одуревшей родине на благо –
чтобы не клялась на их крови! –
те, кого уж нет, со стен Рейхстага
отозвали подписи свои.

* * *

В карманном словаре волшебных слов
найдется слово Швеция недаром.
Мы не ценили Сельму Лагерлёф, –
мы выросли с Аркадием Гайдаром!

Вождь лысый и картавый, вождь рябой,
вождь лысый, с шевелюрой, снова лысый...
Хотелось пить из чашки голубой,
но серые ее разбили крысы.

И как случилось, что судьбой забыт
тот барабанщик в пионерской блузе,
а мальчик Нильс по-прежнему летит
в Лапландию на белоснежном гусе?!

ОТТЕПЕЛЬ

Без перебоев принимают роды...
Младенцы в мир приходят, вереща –
уменьшенные копии Хруща:
громкоголосы, лысы, кругломорды.

Они орут до побуренья кожи,
и хоть усы и брови им поклея –
ни на кого другого не похожи
из тех, кто залезал на Мавзолей.

Сучат кривыми ножками в припадке,
пускают важно пузыри слюны,
как будто есть надежда у страны
освободиться от мертвящей хватки.

ИЗ ИСТОРИИ СССР

Мало ли кого подсунут –
не устроишь всем проверку!..
Запускали на трибуну
надувную пионерку
из резины зарубежной,

чтоб не сохла и не мокла...
Целовал девчонку Брежнев,
до него – Никита чмокал.
Всё равно она сдувалась,
хоть стояли наготове;
и куда-то подевалась
при генсеке Горбачеве.
Много раз ее латали
за границу и сами,
говоря: «Проклятый Сталин
проколол ее усами!»

ЛИТЕРАТУРНОЕ

Шатнулась лира, сдулась марка,
надулся франк, но вот-вот лопнет...
Ах, эти пьяницы Ремарка,
блуждающие по Европе!

Стучат вагонные колеса,
огни столиц горят зловеще,
без коньяка и кальвадоса
еще труднее, чем без женщин.

Нет, женщины не обделяли
их, помнящих не понаслышке
допросы в пыточном подвале
и лагерей кривые вышки.

Но им за всё пережитое
еще одна светила ходка,
их пассий тратила чахотка,
кончались визы и спиртное...

Загнуться от тоски и блуда
легко во время пандемии –
вернулись, не поймешь откуда,
бездомцы Эриха Марии!

Опять в Европе пополнение:
спасаясь от стыда и боли,
непоротое поколение
не хочет, чтоб его пороли.

* * *

Всё мы понимали, но, однако,
надрывать себе не стали сердца:
жили при задушенных поляках,
жили при раздавленных венгерцах.

В сад ходили в шляпах и с тростями,
тяготясь, носили эполеты,
сборники читали с повестями
Гоголя, съезжались на банкеты.

Прочих европейцев не глупее,
хлынули, перенимая моду,
глянуть на «Последний день Помпеи»
и «Явление Христа народу».

А британский лорд-плешиво темя
в пламенных речах и через прессу
называл нас: «Варварское племя,
всякому враждебное прогрессу».

Блэксбург, шт. Вирджиния

Евгений Чигрин

Миражи и сомнамбулы

* * *

Переходить из сновидений в тот,
Который параллельный, научился,
Когда был жизнью, как пиджак, потёрт,
Не говоря про чеховского Фирса.
Фирс тут при чем? С вопросами потом,
А лучше никогда. Не пил три года,
Дверь в зазеркалье открывал ключом,
Оттуда на меня сверкала кодла
Таких чудовищ, отшатнись, мираж.
Так есть ли после смерти жизнь? Не помню.
Сказал и вышел, выхватив пейзаж:
Закат с куста смотрел на колокольню.
И свет помятый лез за воротник
Глухого леса, заньрни – не выйдешь:
Там к мандрагоре вьется змеевик,
Там в «тихо-тихо» поневоле вникнешь.
...К реке спустился. Свыкся с тишиной,
Закрыв глаза: *земля была безвидна*
И Божий Дух носился над водой...
И сказки по воде писались слитно.

НАКРЫТЫ СЧАСТЬЕМ

Кошей размером с муравья,
Яга размером с муху,
Куда вы тащите слова
Мои, хватает духу?

Вам хватит сил отнять любовь
В них скрытую, такую,
Которой – червь – не прекословь,
Которая живую

Строфой за каждого стоит,
В которой дождь и лето,
И запах трав, и свежий мирт,
И нечто вообще-то,

ЕВГЕНИЙ ЧИГРИН

И почему-то, и зачем,
Светило с городами,
С картинкой ангела Эдем,
И Астарот с грехами

Смеется так, что стул упал,
Перевернулось пламя,
Заткнулся телесериал,
Возникла пентаграмма,

Закат рассыпал перец над
Вообразимым лесом,
Младенец облаком был взят
На воспитанье... Чейзам

Хватило жуликов и тех,
Кто их на свет выводит,
Кто самый лучший не для всех?
Пусть на него нисходит

Святая солнца благодать,
А мне оставьте слово
И роз запахнутую рать,
И что-то от иного,

Того, что знаю не всегда,
Того, что входит в сердце,
Накрыты счастьем города,
Мой ключ подходит к дверце.

Из пекла выташу строфу,
Покрою лаком рая.
Дождь тянет музыку Ду Фу,
Резвяся и играя.

РАЗНОЕ 1.

Я кушал фрукты и драконов
В обманчивом Вьетнаме,
Луну на тысячу лимонов
Я нарезал руками...

Я стадом древних обезьян
Обсеян был в Ханое,
Мне улыбался наркоман:
Обличье озорное.

Я шел на красный светофор,
Как записной вьетнамец,
В башке крутился местный вздор,
Пылал рекламный глянец.
Я окунался в Астану:
В ней возникал стихами.
За что мне эта жизнь? А ну,
Ответьте городами.
Теперь я стар и болен так,
Что доктора руками
Разводят... Расцветает мак
Под нашими домами.
Мой ангел кодекс соблюдая,
Отвел от бесов душу,
Я жил на дудочке дудя,
Порой на всю катушку.
Я буду чистым уходить,
И всё. И всё такое.
Позвольте как-нибудь дожить
Вы, племя молодое.
Позвольте вывернуть карман:
Я тоже жил на свете.
Ты слышишь, в синем блеске вран,
Ты слышишь, ангел смерти?!

РАЗНОЕ 2.

Художник Батюшков писал
Мне стих, как житель рая.
Меня Жуковский обнимал,
Страшилками пугая.
Всё по-немецки: was ist das
И всякое такое...
Виниловый крутился пласт,
И племя молодое
Читало Пушкина взахлеб
И Вяземского тоже.
Несли иные чей-то гроб,
Ты это видел, Боже?
В сверхдальнозоркие (прикинь)
Приборы марсиане
Всё это видели... Богинь
(Ну как на биеннале)
Они показывали нам,
А мы не возражали,
И марсианский пел Адам,

Для Евы те печали,
 Которые знакомы мне,
 Да и тебе, товарищ,
 Мерцало нечто в вышине,
 Как лампы обиталищ,

В которых, может быть, и мы
 По смерти очутимся,
 И слышал я: поют псалмы
 Все те, которым снимся...
 ...Нас марсиане не хотят,
 И, видимо, так надо.
 Сквозь рай сквозит не Дантов ад,
 А только святость сада.

* * *

Стараюсь на плаву держаться, но –
 Кто говорит, что скоро я на дно
 Отправлюсь? Ну, конечно, личный призрак.
 Волочится за мною по ночам,
 Врет мастерски, и шлет по адресам:
 Рукой подать до панночек нечистых.

Не в зеркало, а в зазеркалье он
 Глядится вечерами, так влюблен
 В своих, но – говорит совсем другое.
 И если он ублюдок? Кто же я?
 Мы как две капли? Хуже: не друзья.
 Что между нами? Что-то потайное?

Вот он завис на торцевой стене,
 В зеленом свете, в голубом огне
 Мерещится, за ним есть третий кто-то...
 В сомнамбулу я превращаюсь и –
 Вздремнул, проснулся – в цвет картошки фри
 Луна стоит на страже Бегемота

Библейского, и обещает что
 Всё будет хуже? Что за колдовство?
 Мне ничего (не заливай) не надо.
 Ни женщин нет, нет давешних друзей,
 Пожалуй, самый верный друг – Морфей,
 Кто подтвердит? Спросите дубликата.

Пока он дышит – в памяти музей
 Открыт до петухов, сведущ дисплей:

Каким подонком выглядишь ты сам-то?
Взгляни в свои бесславные дела,
А вот и та, которая дала,
Но вовремя погасла, точно лампа.

Цветочки это? Ягодки, дружок,
Всё это, кореш, – волчий пирожок,
Слетевшего с катушек явный признак,
Язвительность, абсурд и матерок...
По сути дела, «виртуальный морг»,
Вот что тебе показывает призрак.

ЧЕРНЫЙ ЗАЯЦ

Зимою сердце смотрит черным зайцем
На белый колер, стойкий лёд реки,
На девочку: гуляет с африканцем,
Похожим на Степаныча* стихи.
Эндемик мексиканских захолустий
Твой черный заяц, не черней детей
Гекаты, что в пальто из нежной грусти
Невдалеке от стылых галерей
Деревьев, опустивших руки в зиму,
А корни в подземелья, где живут,
Стучат и спят, и мнут цветную глину
Не хоббиты, а гномы, стерегут
Сосуд волшебный – золото и яшма...
Зимою кайфно в кресле подремать
Над книгою Алжира, что миражна,
Над словом, крылышкующим в тетрадь.
Зима глядит недетскими глазами
На слабый мир, на крепкий лед реки
И падает за белыми церквями
От смеха, принимая за такси
«Паджеро» с заболевшим «мандарином»
И лекарем с пилюлями в руке.
А рядом персонаж с лицом гусиным
И огонек томится в погребке:
Глинтвейн на травах и медовый бренди,
И кутают тоску, и ждут других,
И черный заяц в старой киноленте
Мелькает на экранах сетевых.
Теперь смотри: Геката машет дланью,
Луна краснее колера лисы.
...Зимою сердце, видимо, за гранью
Какой-то там нейтральной полосы.

* * *

Ну вот и троллинг кролика, а кто
У нас сегодня кролик? Их немало.
Из дома выйдешь: волк в полупальто,
В глазах огни бесцветного кошмара.
Вот потому и некому сказать...
А что сказать, попробуй догадайся
И запиши, как максимуму в тетрадь,
В постыдно-мерзком демонам сознайся.
И сам ты заяц, чем вам заяц не
Потрафил (угости меня морковкой!),
По улице идешь, а там в огне
Сапфирный тигр, а подле тварь с винтовкой,
Вот потому и некого обнять,
Хорошее сказать, позвать на кофе,
По старой ссылке прочитать «Кровать
Летающую» и – на полуслове
Себя поймать. Такая полоса...
Такое многоточие, прикинь-ка:
Вчера по Маховой прошла лиса,
Сегодня по Тверской собака Динго.
Кого водила? Ела эскимо,
Скорей лизала, сам ты черт в квадрате,
Кому такое написать письмо,
Чтоб стало лучше в этом снегопаде.
Ну да, я позабыл вам написать,
Что снег с утра засыпал всё, что можно.
Вот потому и некого обнять,
К тому ж без алкоголя слишком тошно.
Не так ли, повелитель Саваоф?
Не так ли, искуситель Мефистофель?
Пускай я буду кролик, я готов,
Перехожу на травку и картофель.
Такая вот раскладка, не хочу
Я больше ни-че-го и флаг мой белый
Я завещаю лучшему врачу...
Пускай другой везучий и умелый
Напишет вам *зеленые слова*,
Ну, а меня чудовищ гневных стая
Раздавит в переулке, как червя, –
Легко, играя.

ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

Максим Макаров

Страсти по...

*Фавьерское лето Марины Цветаевой (1935)**

Папка № 2

В сентябре 1961 г. в Москве выходит первая посмертная книга стихов Марины Цветаевой¹. «Вокруг книги в Москве творится невообразимое. Получаю много писем от доставших, а еще больше от не доставших книжечку. На ‘черном рынке’ цена уже десятикратная...»² В январе 1962 г. Секретариат Союза писателей СССР учреждает «Комиссию по литературному наследию Марины Цветаевой». Журналы начинают печатать ее стихи, тиражи расходятся мгновенно – на дворе *оттепель*, запрещенные ранее темы очень популярны.

В 1969 г. Галина Семеновна Родионова (Швецова, Шерцер), старшая дочь первооткрывательницы Фавьера Аполлинаруи Алексеевны Швецовой, пишет воспоминания «Я знала Цветаеву» и отправляет их для публикации в журнал «Вопросы литературы». Но поскольку все материалы о Цветаевой проверялись Комиссией, ей и были переданы записки. Так они попали к А.С. Эфрон. Несмотря на настойчивые попытки Г.С. убедить А.С. Эфрон в достоверности своих воспоминаний, «канонизированы» они всё же не были.

Воспоминания Г.С. Родионовой в данной публикации приводятся в первоначальной авторской редакции³.

1. *Цветаева, М.И.* Избранное. Под ред. Вл. Орлов. М.: Худлит. 1961.

2. Из письма А.С. Эфрон – Вл. Орлову, 10 октября 1961 года.

3. РГАЛИ ф.1190, оп. 2, ед. хр. 196 и ф. 2219, оп. 2, ед. хр. 576.

ГАЛИНА РОДИОНОВА. «Я ЗНАЛА ЦВЕТАЕВУ»

Я знала Марину Ивановну Цветаеву и даже была с ней в дружеских отношениях. Я встретила с ней, когда мы обе прошли половину нашего сложного, с неожиданными поворотами, пути, на полдороге очень трудной жизни Марины. Наши стежки-дорожки неожиданно сошлись в жарком синем Провансе в предвоенные годы, и мы сразу же пошли рядом и на довольно долгое время.

* Окончание. Начало см. НЖ, № 315, 2024.

Впервые увидела я ее среди приморских сосен и виноградников Фавьера – так называется местность на берегу Средиземного моря, у подножия невысоких отрогов Маврских гор. В живописный этот, благословенный уголок Прованса съезжалась творческая богема всех стран – художников привлекали яркие краски, писатели и поэты искали здесь вдохновения.

Потянулась в Фавьер русская интеллигенция: Саша Черный построил сказочный «пряничный» домик среди сосен, причудливо расписал свой теремок Иван Билибин, маститый Гречанинов¹, любивший комфорт, снимал на лето одну из фавьерских вилл. Во главе с вдовой Ильи Мечникова поселились здесь и русские ученые, сотрудники Пастеровского института. Возник целый русский городок, его называли *city Russe* – так и писали на конвертах писем.

Предприимчивые дамы из Одессы понастроили длинные домишки с отдельными комнатками, дешевое общежитие, его называли «Авгиевы конюшни». Хозяйки кормили дешево своих постояльцев русским борщом и пирожками. Вот сюда и приехала погреться на солнце, отдохнуть от тяжелой парижской зимы Марина, поселилась в «конюшнях».

Весть о приезде Цветаевой взволновала русский поселок, многим захотелось ее повидать, послушать, как она сама читает свои стихи². Фавьерская творческая интеллигенция, зная об очень трудном материальном положении Цветаевой, воспользовалась таким желанием, и на террасе одной из вилл были организованы ее чтения. Приглашались все желающие, деньги «за билет» опускали в ларек-копилку у входа на виллу.

Вот на таком чтении я и увидела впервые Марину, услышала своеобразные ритмы и интонации в ее чтении, услышала ее глуховатый, негромкий голос. Многие стихи я уже знала, но вот «Девический дагерротип души моей» (о ее девичьей комнате) и «Я в смерти нарядной пребуду» (об осенней рябине) услышала впервые. После чтения я подошла к Марине, поблагодарила ее, сказала ей что-то о стихах. Она посмотрела на меня внимательно, невидящим и в то же время чуть колючим взглядом.

Я не совсем согласна с Эренбургом, когда он пишет, что у Марины были «растерянные глаза». Она просто была очень близорукой, ничего не видела, натякала на предметы, не видела, что подавали ей на тарелке. Почему она не носила ни очков, ни пенсне, я не знаю. Когда же на близком расстоянии она всматривалась в кого-нибудь, глаза ее делались пронизывающими, часто – колючими, очень редко – ласковыми, иногда они мерцали. У нее была привычка морщить лоб – возможно, от близорукости, что придавало ей слегка надменный вид. Одетая она была очень обычно: светлое платье с коричневым узором, не очень элегантно, но и не некрасиво. Коротко острижена, много седины в ее когда-то светлых волосах, что

французы называют метко *sel et poivre* (соль и перец). Легка, по-девичьи тоненькая, узкие ладони, узкие длинные ступни ног.

Мои взволнованные замечания, по-видимому, чем-то ее заинтересовали, и мы договорились встретиться на пляже и побеседовать в спокойной обстановке.

Я пришла в названные ею время и место, она уже поджидала меня. На ней были синие полотняные шорты и светлая блузка, легкая провансальская большая шляпа. Она показала мне проще, не такой надменной. Обычно Марина носила шорты. Она не любила одеваться: ей было безразлично, что на ней надето, ничем не украшала она свои скромные туалеты, не носила ни брошек, ни бус, ни клипсов. Была в ней какая-то усталость, надломленность (приходили на память слова: «Острою секирой ранена береза») и в то же время страстность и, порою, иступленность. Говорила быстро, оживленно, всегда интересно, даже и обычный разговор превращался в философский театр.

Мы стали встречаться на пляже ежедневно. В Фавьер на лето приезжали русские, но Марина сторонилась их, вероятно, потому что и я часто бывала одна (я была француженкой – по паспорту). Марина легко как-то пошла навстречу мне, моей дружбе. Как и я, Марина не находила общих с эмигрантами слов, ей не по душе было их чванство: они считали себя выше «этих французи́ков», которых, в сущности, и не знали, гордились тем, что у них «есть душа» (у французов ее нет), сравнивали культуру своего умного профессора с культурой виноградаря-фермера. Марина посмеивалась над тем, что все они были офицерами Императорской гвардии или гвардейского экипажа, к своим русским фамилиям приписывали аристократическую приставку «де» – «де-Пряжкин», «де-Иванов». Настоящая же знать, аристократия, чуждалась этих «гвардейцев», вращаясь во французском обществе, с которым была связана узами смешанных браков. (Буржуазия, имевшая деньги в заграничных банках, жила тоже очень замкнуто.)

Что особенно возмущало Марину, так это язык эмигрантов; они, гордясь тем, что говорят по-русски, говорили на какой-то невероятной тарабарщине, прибавляя русские суффиксы и флексии к французским словам, спрягая и склоняя эти слова по правилам русской грамматики. Марина говорила возмущенно: «Галя, да ведь это же настоящее варварство». Она смеялась над тем, как две эмигрантки – одна из Парижа, другая из Берлина – не могли никак понять друг друга. Об этом в веселом фельетоне рассказала Тэффи³, и Марина, у которой были иные, чем у Тэффи, взгляды и убеждения, говорила, смеясь: «Спасибо Тэффи. Вот молодец. Как остроумно!» Эмигранты говорили об *авионах* (самолетах), *аксиданах* (авариях), ели они *паты* (макароны), их жены хорошо *кудрили* (шили) и т.д. «Ну кто же их в Москве поймет, когда они вернуться, – и если вернуться туда?» – возмущалась Марина.

Однажды Марина сказала мне: «Знаете, Галя, очень мне нравится сказочное фавьерское лукоморье – хотя вместо дуба и растет вот эта старая большая сосна и нет ученого кота. Но мне очень трудно жить и работать в «конюшнях»⁴, раздражает варварская тарабарщина, раздражает и то, что смотрят на меня, как на любопытный экспонат, хотя многие моих стихов не читали или не поняли. Не знаю что и делать! И в Париж не хочется возвращаться!» Я посоветовала ей снять помещение у фермеров. У меня были товарищи среди фермеров-коммунистов, и у одного из них я нашла чердак над хозяйственной постройкой. Чердак большой, прохладный, с отдельным ходом – нужно было подниматься по деревянной крутой лестнице. Вот и поселилась там Марина, и этот чердак на довольно долгое время стал ее пристанищем.

Я зашла посмотреть, как она там устроилась, и немало удивилась. Она не пыталась создать в этом помещении, где ей предстояло жить, даже видимость «грошового» уюта, здесь не было ничего, что бы говорило о присутствии женщины. Даже постоянного спутника женщины – зеркала, ни большого, ни маленького, – не было. Только одно, очень небольшое, в сумочке. Ни любимых гравюр, ни эстампов, ни фотографий. В Провансе – изобилие цветов, но ни одной розы или амариллиса на столе. Два топчана, покрытых чем-то темным, без всяких пестрых подушек и подушечек. Большой стол завален книгами, открытками, закрытыми белыми листами не испанной еще бумаги, остро отточенные карандаши, и всё засыпано пеплом и мелкой крошкой пахучего табака-самосада. На углу стола – керогаз для приготовления несложного обеда. Как безразлично было Марине, что на ней надето, ей было безразлично, что есть. Она и не говорила никогда о своих меню и не делала попыток, как другие приезжие женщины, приготовить вкусные и острые провансальские блюда. Вот большой бонбон вина (большую бутылку оплетенную мягкой соломой) по ее просьбе я ей достала. Я никогда не видела, чтобы Марина пила скверную эмигрантскую водку, но терпкое, самодельное виноградное фермерское вино – пинар – она очень любила медленно потягивать из большого стакана. Мы пристроили бонбон на чердаке.

Мне случалось бывать в богемных квартирах, но обиталище Марины нельзя было сравнить даже с ними. Казалось, что здесь начали и не закончили уборку или собираются уезжать. Очень накурено. Но Марина чувствовала себя здесь отлично, никогда ничего не искала, всё необходимое было у нее под рукой. Организованный беспорядок.

Впрочем, на чердаке она проводила только небольшую часть времени. Писала, работала она регулярно каждое утро, а затем шла или на пляж, или мы уходили в дальние прогулки по окрестностям Фавьера.

Мне было приятно, что Марина понимала мой Прованс, очарование сухих меловых гор, покрытых нищенским покровом, который солнце превращало в роскошные сверкающие одежды. Слушала она сухой шорох тростника над речонкой, а на золотом пляже, глядя на

меняющийся лик моря, следила движения ветра. Вот несется вдоль узкого коридора Роны озорной, веселый мистраль, треплет сосны, хлопает окнами, сдергивает с путника шляпку, поднимает юбки и разгоняет облака, а небо ярко-синее, море тоже, и спокойна его сверкающая гладь – но обманчив этот покой: мистраль дует от берега в море и может легко увлечь за собой и лодку, и неосторожного пловца. Когда же влажный восточный ветер хлещет по лицу мокрыми полотенцами, задергивая небо тяжелыми тучами, поднимаются огромные волны, с жадным ревом набрасываются на дюны, швыряют лодки, как мячи. Жутко! Но ветер дует на берег, море всё равно вынесет и лодку, и пловца, только не растеряться, только смело, под углом волны, продолжать путь. По душе это было Марине! Она купалась с наслаждением, яростно боролась с волной⁵. Иногда же мы слушали, как ласковый «испанец», западный душистый ветер, ведет обратно воды, отогнанные мистралем, и они вкрадчиво и ласково шумят.

Тут же, на пляже, на страницах блокнота Марина писала звучные стихи⁶. Где они, эти фавьерские блокноты? Я не знаю. Наизусть, к сожалению, стихов я не запомнила. Осталось в памяти, что однажды, отождествляя душу поэта с жизнью природы, она приписала довольно неожиданно – в конце: «А лира (поэта) – обет бедности...»

Когда же из Африки налетал душный, обжигающий *сирокко*, вихрем кружил песок, и он противно скрипел на зубах, мы торопливо собирали пляжное имущество и убегали домой. И о *сирокко* писала Марина.

Иногда я предлагала ей пойти подальше, куда-нибудь в рыбацкий поселок, где «никого нет», кроме местных жителей, а жемчужные заливы похожи на изображения прерафаэлитов и напоминают золотые мифы Эллады. Марина охотно соглашалась на экскурсии в «мифоланд», просила только «прихватить двух-трех мужчин» на случай, если захочется «зайти куда-нибудь выпить» – одним неудобно, а жара страшная, только, прибавляла она, – «неболтливых, чтобы не раздражали пошлыми замечаниями и не портили нам настроение». Я подыскивала подходящих спутников, и мы отправлялись – быстроногая Марина в большой шляпе, в шортах, с толстым самодельным «посохом», двое-трое русских и я. Путь наш проходил параллельно пляжу, поднимался на холм, пересекая рощицы приморской сосны, и выводил на берег какого-то эллинского синего залива, и мерещилось нам, что из сверкающих вод появится златокудрая Венера или проплывет по его синеве на серебряном дельфине розовощекий младенец, трубя в серебряный же рог. Стихи о заливах были и у других поэтов. И у Марины были стихи об этом заливе.

Отдыхали мы под пестрым тентом рыбацкой забегаловки, курили, пили кисловатый пинар. Подсаживались рыбаки, и Марина оживленно беседовала с ними. Они рассказывали о ночном лове рыбы, о сетях, о своей несложной, но трудной жизни. Они, конечно, и понятия

не имели, кто такая Цветаева, но чувствовали и понимали, что с ними разговаривает необычная женщина, смеялись ее остроумным шуткам, удивлялись меткой сущности ее вопросов. Спутники наши слушали ее благоговейно, стараясь, очевидно, запомнить слова Марины Цветаевой. Кто были эти случайные и добровольные наши спутники? Я не помню, да и тогда толком не знала. И где-то они сейчас?..

Иногда же я тащила Марину в нашу «столицу» – «наш рай-центр» Борм. По крутым тропкам, где когда-то проходили пилигримы и рыцари, мы поднимались в средневековый городок, с башнями, замком, узкими ступенчатыми улочками и с поэтическим названием *Bormes les Mimosas* («Бормы под мимозами»). Действительно, он утопает в пушистом золоте мимоз, яркими фонтанами сверкающих на синем экране моря. Мы бродили по крутым улочкам с забавными, озорными названиями, например: «Cassecou» – «сломай шею», с трепетом входили в замок синьоров XIII века, бродили по обширным его залам. Там были огромные каминные, над ними – гербы, вырезанные на плитах, и Марина говорила: «Представьте, вечером в камине жарко пылают целые сосны, при их мерцающем неровном освещении сидят рыцари и дамы, слушают моих далеких предшественников – трубадуров, смеются, вздыхают, плачут».

С главной, почетной террасы, из долины открывался вид на меловые синие горы, и вдали, как в сапфиновой чаще, курилось в легкой дымке море. Марина стояла на террасе, смотрела на море, и мне казалось, что стоит и ждет своего Тристана *la châtelaine* (владелица замка) Изольда. А Марина говорила: «Знаете, как странно. Я очень интересуюсь историей и Рима, и Эллады – какие удивительные, целые эпохи. Но ближе всего я чувствую Средневековье: я как будто бы вижу пеструю толпу монахов, рыцарей, трубадуров, чувствую их движение, живу в нем...» Приводила на память стихи Гумилева, они кончались строфой: «И пахнет звездами и морем твой плащ широкий, Женеьева!» (это говорил поэт тех времен своей возлюбленной). Марина продолжала: «Ведь, подумайте, сколько они знали, ничего 'по-настоящему' не зная. Правильно лечили многие болезни (золоченым жемчугом, вытяжками из печени животных), знали, что золото – элемент, который можно получить из других элементов, только не знали – почему и как! У них было очень развито чувство интуиции». Разговор переходил на Бергсона. Этот философ-интуитивист интересовал Марину, хотя и не все его постулаты принимала она безоговорочно. Бергсон пытался провести черту между знанием, основанным на точных данных разума, и познанием, возникающим вне разума, – интуицией. Поиски границы этой ее очень тогда занимали, очень интересовали ее и вопросы наследственности.

Она часто говорила мне: «Как мне хочется снова увидеть родину, русские просторы, русское небо, рябину, мне хочется, чтобы похоронили меня на берегу Оки, под белым камнем». И задумчиво добавля-

ла: «Ведь она, моя бабушка, была сельской попадшей, простой русской женщиной, это она зовет меня туда, а другая была польская панночка».

Так вот откуда надменность, какая-то «барская тоска».

А она продолжала: «Я их обеих в себе чувствую – они живут во мне». И мы обсуждали загадочный тогда для нас вопрос наследственности – не формы носа, рта, лица, а духовной наследственности. Мы тогда ничего не знали о кодовой информации, заложенной в хромосомах клеток, генах, определяющих облик человека, но Марина чувствовала, что это большой, непростой вопрос, и пыталась его как-то решать по-своему.

Мы говорили об этом в недолгие летние ночи на ступеньках лестницы, ведущей на чердак. Говорили, конечно, и о поэзии. Марина очень любила Гёте и читала наизусть по-немецки его стихи, восторгалась ритмами и образами. Она знакомила меня с творчеством Райнера Мариа Рильке, я плохо знала творчество этого поэта, а Марина им очень увлекалась. Иногда она говорила и об эмигрантском поэте, бывшем сатириконе Доне Аминадо (Шполянском). Аминадо писал сатирические, юмористические стихотворения, правда, очень талантливо, но относились к нему как-то несерьезно, подлинным поэтом его не считали. А Марина уверяла меня, что он – настоящий поэт, чуткий и одаренный, в доказательство читала его стихи.

«Послушайте хотя бы только вот это! – говорила она:

Чтоб размотать на конус синий
Тяжелых дум веретено,
Чтоб выпить этот воздух синий,
Как пьют блаженное вино...

– Разве это не хорошо? Ведь так сказать мог только поэт.»

«А ведь действительно хорошо, – думала я, – ‘конус синий’... ‘синий воздух’», – и начинала тоже «серьезнее» относиться к этому всегда веселому, смуглому, улыбчивому Дону Аминадо, который, по видимому, и сам не знал, что он подлинный поэт, весело зарабатывая на хлеб насущный, конечно, «у Милюкова».

Я тогда увлекалась Анной Ахматовой. Сказала об этом Марине, боялась, как бы она не осудила слишком субъективную тематику Ахматовой и ограниченное ее видение, – мне было бы больно... Но, оказывается, Марина тоже считала Ахматову большим поэтом («Как Блок!»), ее тоже увлекала взволнованная искренность и умение «владеть своим ремеслом». Писать стихи Марина считала ремеслом, требующим большого мастерства. «У Анны Ахматовой свои настроения, – говорила Марина, – у меня – свои. У нас – разные читатели и ценители. Но мы оба – поэты. Разные – и одинаковые. Я написала ей, что нам не о чем спорить, и кончила обращение так:

Твой Петроград –
Моя Москва!»

Вот так и говорили мы ночью – о поэтах, о различных вопросах, нас интересовавших тогда. Ее еще очень интересовал вопрос о свободной воле. Для нее, такой непреклонной, гордой, человек должен быть хозяином своей судьбы, и все-таки такое безапелляционное решение ее не совсем «устраивало». Слова «судьба», «мек-туб» (рок – по-арабски) имели для нее какое-то скрытое значение. У нее были где-то добыты ею стихи Нострадамуса, поэта XVI века⁷. Он изложил историю Европы в закодированных стихах. Марина часами разгадывала этот шифр. «Смотрите, – говорила она, – смерть Людовика XVI предсказана, описана, и предсказано даже, что его предаст масло!» (его предал торговец маслом). «А вот что-то о том, что будет война, какой еще не было, и погибнут миллионы людей». Я ей возражала, что такие предсказания были и раньше, и были войны, и еще будут – войны всегда можно предсказать, а зная о событиях, «понять» шифровку. Она соглашалась: ведь этот «mek-tub» казался ей унижительным для человека, лишал жизнь всякого значения... И все-таки этот «рок» чем-то тревожил ее, уж очень сложным был ее духовный склад, множество ручейков, сталкиваясь, бурлили в ее глубине.

Была она очень эмоциональна и события все воспринимала как-то по-своему, исключительно через импульсы своих рецепторов, иногда «рассудку вопреки». События волновали ее своей эмоциональной, красочной, спектаклярной стороной – это тоже была одна из причин, почему она не ладила с эмиграцией, – левые считали ее «правой», а правые – ругали за «левизну» и «обзывали» большевичкой. Я спросила ее: «Стихи стихами, но все-таки как же вы относитесь к событиям?!» А она ответила: «Знаете, когда Гёте спросили, как он относится к французской революции, он ответил: ‘Что вы меня спрашиваете! Я занимаюсь эпохами тысячелетий (он был геолог), а вы спрашиваете меня о каком-то быстро проходящем моменте!’» – «Гёте мог так сказать, – возразила я, – он – немец, революция – французская, но мы-то живем в этот моменте, мы сами – творцы момента!» – «Да, конечно, творцы момента – в этом вы правы... не знаю! Знаю одно – мне лично одного хочется, очень хочу туда!» – «Это куда же?» – удивилась и не поняла я. «Туда, домой, домой, на Оку!» И долго молчала.

Мы шли, возвращаясь с прогулки, угождаями богатых фермеров. «Чья земля?» – спросила Марина. «Мутонши, – ответила я, улыбаясь, – так русские переделали фамилию Mouton, и там ее земля...» – «А лес?» – «И лес ее». «Вот так маркиза Карабаса! – засмеялась Марина. – Как только эта земля ее не давит ни при жизни, ни в могиле! Да нет – наверное, все-таки давит!» И опять спросила: «А сосна-то эта – тоже ее?» – «Забавно, – сказала Марина, – свое дерево! Еще понимаю: своя комната, свой дом... но свое дерево! А знаете – это ведь, пожалуй, и хорошо: мое дерево!» Ей, ничем не владевшей, – всё ее имущество

можно было без труда уложить в две авоськи, – казалось, что владеть сосной, деревом очень «забавно», а в какой-то степени даже приятно. А мы всё шли виноградниками «маркизы» Мутонши.

«Эти кисти тяжелого темного винограда похожи на те, что несут посланцы земли ханаанской на полотне – не помню какого художника.» Я тоже не могла вспомнить имя, но полотно это знала. Действительно – похоже. У Марины – зоркие близорукие глаза. А вот виноград похож на розовый град – *barbarovos*. Марина смеялась над озорными названиями «в стиле Рабле». Ей же больше нравились звучные названия «аликанте», «изабелла», «мускат»... «Как это хорошо, – говорила Марина, – аликанте!» И у нее уже пели звонкие стихотворные строчки. «Давно люди возделывают виноградники, с библейских времен, и здесь, конечно, тоже. Сколько прошло поколений, событий, сколько было перемен, а вот так же сверкают янтарем на солнце ‘аликанте’ и темная бархатная ‘изабелла’. Какое равнодушие природы! Знаете, оно мне иногда кажется жутким, иногда раздражает и часто импонирует. Что бы ни происходило, она, природа, всегда равнодушна. Случается – ее разрушают, а она опять восстанавливается. Что еще произойдет, какие события промчатся, а эти виноградники, как в далекие рыцарские времена, да еще и задолго до рыцарей, будут сверкать и зеленить среди приморских сосен.»

(Да, действительно, потом была война, была жуткая фашистская оккупация, сколько разрушений... Исчез русский поселок *city Russe*, как не бывало его, нет Марины, а виноградники у подножия прибрежных холмов сверкают красками, плоды их претворяют в вино, вспоминаются, глядя на них, библейские сцены и мифы. «Равнодушные, неизменные, прекрасные!»)

Наша беседа опять вернулась к стихам – таким разным по настроенности: «Увидите, они напечатают мои стихи – и те и другие. Напечатает Милюков». И он действительно напечатал в своей газете «Последние новости». Милюков печатал различных авторов – и непонятную Цветаеву, и скучного Вишняка, и эрудированного Фондаминского, и монархиста князя Барятинского, – было бы только интересно, хорошо, талантливо написано. Творчество Марины вполне соответствовало этим условиям. Правда, у нее бывали частые стычки с редакторами и газеты, и «Современных записок». Однажды один из них сказал ей: «Пишите понятнее для среднего читателя. Вас нелегко воспринимать!» «Я не знаю, – ответила Марина, – что такое ‘средний читатель’, не видела, а вот среднего редактора я вижу перед собой.» Редактор очень рассердился, но стихи напечатал.

«А как же им не напечатать! – смеялась Марина, рассказывая мне об этом, сидя на чердачной лестнице и распаковывая новый синий пакет крепчайших солдатских *gouloises* (иногда она курила большие неуклюжие самокрутки с самосадом). – Они же знают: если есть в сборнике мое, он непременно разойдется». И хотя не всех

устраивали трудные ритмы Цветаевой, не все симпатизировали ей лично; и левые и правые бывали на нее в большой и постоянной обиде, но читали ее всегда с интересом. И Марина знала это, знала, что талантлива, что пишет настоящие и хорошие стихи и интересные статьи. Скромной она не была, да и не хотела быть скромной. О своих неполадках в редакциях она рассказывала мне по ночам, выкуривая за ночь пакет сигарет. Уже бледнело небо, исчезали звезды на нем, и только сияла голубым светом звезда, которую так просто и красиво называют французы «Etoile du Berger» (Звезда пастыря). Марине нравилось это название...

Пора расходиться! Давно ее сын Мур спит крепким сном на своем топчане. Очень крупный, ширококостный, кудрявый – не похож на Марину – и несколько малоподвижный. Марина не просто его любила, она его обожала трогательным глубоким обожанием. Объектом всех забот и волнений ее такой трудной жизни был Мур. У него была хорошая черта: был тактичен, молчалив и не мешал нашим беседам на пляже, во время длительных экскурсий тоже молчал, думал, очевидно, о чем-то своем, сопровождал нас тоже в большой шляпе и с посохом.

Приезжала в Фавьер и дочь Марины Алечка. Почему-то казалось – может быть, и не совсем так, – что Марина относилась к ней не с такой нежностью, как к Муру. Ведь дочь была старше. Алечка в трудные зимы в Париже, когда не мог работать большой отец, вязала на продажу шарфы, шапочки, варежки и тем помогала кое-как сводить концы с концами более чем скромного бюджета. А Аля была прелестной девушкой, сверкающая свежестью, вся какая-то чистая, как новая куколка, и очень естественная. Она отличалась от своих сверстниц тем, что не гримировалась, носила простое светлое платье с очень короткими рукавами. Белые красивые девичьи руки. Ходила в Фавьере босиком. Это босоножье очень ей шло: такая вот сказочная, светлая «принцесса-босоножка», она и по лесу пыталась ходить босиком, и по каменистым тропам. Аля вскоре уехала в Советский Союз.

Марина несколько раз говорила мне, что собирается в Советский Союз, ведь туда поехал Сергей Яковлевич⁸. Мне всегда казалось, что Марина любит Сергея Эфрона большой и верной любовью. Когда она узнала (от Эренбурга), что Эфрон в Праге, она помчалась туда, потом вместе они приехали в Париж, а теперь этот «шатун», «белый лебедь», пересмотрел свои позиции – и уехал в Советский Союз. Женским чутьем я чувствовала, что со стороны Сергея Яковлевича не было к Марине такого же чувства, хотя он относился к ней всегда очень заботливо и нежно. В Фавьере он поселился не с Мариной – в другом месте, к ней только «заходил».

Теперь он уехал в Союз – и Марине вдруг непременно захотелось поехать туда же. Я ее спрашивала: «Почему вам так хочется туда?» Она мне отвечала, что ей надоело жить en marge (на полях)

жизни и литературы, ей неприятно видеть: «Смотрите, какой-то мальчик ест персики, а я не могу дать их Муру. И костюм у него... Мур носит то, что нам присылает Красный Крест». И еще: «Мне хочется иметь настоящих читателей – большую, чуткую аудиторию, а не эмигрантскую элиту, с ней у меня нет ничего общего».

Описываемые мной события происходили накануне войны. Вскоре и началась война. Я узнала, что Марина уехала в Союз. Я занималась парижскими делами и надолго была оторвана от всех и вся. Выполняла партийные задания, была в тюрьме-одиночке и т.п. Смерть прошла мимо... После войны вернулась – уже советской гражданкой – в Советский Союз. И уже здесь узнала о трагической гибели Марины.
(1969 г.)

1. Гречанинов Александр Тихонович (1864–1956, Нью-Йорк) – композитор, до революции преподавал в школе Гнесиных в Москве. В эмиграции с 1925-го, жил в Париже. Выступал с концертами в качестве дирижера и пианиста. В 1939 г. переехал в США.

2. Позию Цветаевой в то время пока ещё мало кто знал и тем более ценил, особенно среди «буржуазного» населения Фавьера, где ее вообще старались обходить стороной из-за репутации мужа – сотрудника ГПУ (что ни для кого секретом не было). «Нас русские явно бойкотируют. Никто (а много – знакомых, напр. вся семья кн. Оболенских) за 2 недели нас ни разу не позвал к себе – хотя бы на террасу, не говоря о том, что – не зашел.» (М. Цветаева, из письма А. Тесковой, 12 июля 1935 года). Л.С. Врангель не была знакома с М.Ц. до весны 1935-го: баронесса Врангель «оказалась моей троюродной сестрой <...> Но я больше взволновалась этим открытием, чем она.»

3. Эта ситуация описана в фельетоне Тэффи «Разговор», в котором беседуют некие Иван Петрович с Николаем Сергеевичем, не понимая друг друга, т.к. оба используют кальку с немецкого и французского языков. У Тэффи был также скетч «Разговор двух дам по телефону», возможно, отсюда и неточность. Здесь – «кальки» французских слов *avion, accident, pates, coudre* (самолет, авария, макаронные изделия, шить).

4. М.Цветаева никогда не жила в «конюшнях» пансиона Богдановой. «Чердак баронессы Врангель» был оплачен заранее. Уточним, что во Франции сезоны сменяются по астрономическим датам, то есть лето официально кончается в день осеннего равноденствия, 21 сентября. Публика из Фавьера обычно разъезжалась в конце сентября, сразу после уборки винограда (общий праздник с щедрыми возлияниями). Думается, этот срок («всё лето») и был оговорен с Врангель еще весной. Но 21 сентября 1935 г. – среда, логичнее «догулять неделю» до 25-го: «Я здесь до 25-го сентября» (14 августа 1935 г. Villa Wrangel); «Я, как видите, еще на Юге – приблизительно до 25-го» (2 сентября 1935 г. Villa Wrangel).

5. «Купаюсь, но мало: я мало люблю воду: плохо плаваю и сразу замерзаю.» (Письмо А. Тесковой, 12 июля 1935) «Море – блаженное, но после Океана – по чести сказать – скучное. Чуть плещется, – никакого морского зрелища. Голубая неподвижность – без событий.» (Из письма А. Тесковой, 2 июля 1935)

6. «...целый день должна сидеть или лежать у моря: на него (море) глядеть: ничего не делать, ибо писать на воле никогда не могла...» «Ведь весь день <...>

бессмысленно переливала песок из ладони в ладонь.» (из письма А. Тесковой, 12 июля 1935)

7. Труды Нострадамуса переиздавались почти каждый год, книги продавались в любой книжной лавке, стояли гроши; публика охотно их раскупала.

8. С.Я. Эфрон тайно сбежит в СССР лишь два года спустя – в октябре 1937 года. А той «постфавьерской» осенью (октябрь 1935-го) М.Цветаева писала Борису Пастернаку: «Про отъезд (приезд) [в СССР] ничего не знаю... Поеду – механически, пассивно, волей вещей».

ПЕРЕПИСКА Г.С. РОДИОНОВОЙ С А.С. ЭФРОН (1969–1972)*

8 ноября 1969 г.

Уважаемая Ариадна Сергеевна,

Странно мне писать такое обращение Вам, Вы для меня остались светловолосой «принцессой босоножкой», Алечкой – дочерью Марии Ивановны. Я хорошо помню Вас – особенно мне запомнился день, когда Вы сидели – и я – на «задней» террасе домика у мамы в Фавьере. Мы пили чай, и Вы мне говорили, что не то ходили, не то пойдете, в пелеринаж¹ в Борм к Мадонне «Constance». Я немного этому удивилась, очевидно Вас привлекала пестрота, шум, движение этого средневекового – Вагнеровского – пелеринажа.

А Ваша мама любила Средние века, мы часто говорили с ней о них и о многом другом, просиживая ночами на лоджии чердака, который я ей нашла у товарищей виноградарей Blanc, когда ей захотелось уехать из «конюшен» Софии Павловны Богдановой². Одно лето она жила и у нас³. Мы с ней постоянно встречались и о многом беседовали. Она щедро дарила мне своё время и свои мысли. Встречались, вернее, вместе ходили в Cabasson, в Vormes, в Lavandou.

Я не была близка к эмиграции, М.И. тоже, и это, очевидно, нас сблизило. По паспорту я была француженкой. Русским – различного толка «милюковцам» – говорила, что я – «правая», а была французской коммунисткой, о чем знали только товарищи фермеры.

О Вашей маме – вернее, о беседах с ней – я написала небольшую работу. Я и знала М.И. только в ее французский – провансальский – период. Прованс ей нравился, а я просто очень люблю Прованс.

Вы уехали потом. Белокопытова рассказывала о Вас жуткие истории о том, как Вас где-то в шахте «порубили большевики», устроив аварию. Оказалось всё досужими вымыслами эмигрантов! Очень рада, Аля, что Вы живы, здоровы, заняты таким чудесным делом – изданием трудов и писем незабываемой М.И. О ее трагической гибели первым рассказал мне писатель Рощин (секретарь Бунина, приехавший в ССР). Я не очень удивилась, когда узнала «сопутствующие обстоятельства»...

* РГАЛИ, ф. 1190, оп. 2, ед.хр. 196 л. 21-26, 27-40; оп. 3, ед.хр. 444.

М.И. уехала, а вскоре началась война, оккупация. Я была активной <...>, «заслужила» советский паспорт⁴ (очень трудно было отделаться от французского – не отпускали!) и приехала в ССР, где 20 лет провела с молодежью – работала преподавателем в техникумах и институтах. Сейчас на пенсии, предполагаю заняться мемуарами, написать о «фавьерцах», среди которых было немало выдающихся людей, творческой интеллигенции. А мне уже идет восьмой (!) десяток.

Примите мой дружеский привет от женщины уже *vieille femme*⁵, знавшей и любившей Вашу маму и Вас... когда-то.

Родионова Галина Семеновна.

P.S. Возможно, Вы чуть меня помните как Швецову – такая была фамилия матери моей.

1. От фр. *pèlerinage* – паломничество.

2. «Маршрут в Lavandou. Спуститься до римского колодца и – мимо куч сухого тростника – тропинка виноградником – глубиной тростников. – Мост. – По тропинке мимо домика – полем до проволоки – направо.» (Из тетради 1935 года) Это путь от дачи Врангелей.

3. М. Цветаева была в Фавьере только один раз и у Швецовых никогда не жила (хотя виделись они практически ежедневно – поселок маленький).

4. Из письма А.А. Швецовой (декабрь 1946 г.): «Галя, которая никогда им [своим сыном от второго брака] раньше не интересовалась, решила его увезти в Советскую Россию <...> силой с помощью своего начальства ГПУ, где она служит (секретный сотрудник)». «После войны Галина вошла в контакт в советским агентом, посланным во Францию с целью вылавливать невозвращенцев. В эмигрантской среде все про это знали, ее стали сторониться, и она довольно скоро исчезла.» (А.Л. Оболенский) Здесь и далее приводятся комментарии Алексея Львовича Оболенского, родившегося в Фавьере и хорошо знавшего фавьерские «истории».

5. Пожилая женщина, старушка (фр.)

6 декабря 1969 г.

Уважаемая и дорогая Ариадна Сергеевна.

Не знала я тогда, что Ваше имя Ариадна, называли Вас Аля, я предполагала: Алла.

Ваше письмо¹ доставило мне целую гамму эмоций <...> – огорчилась и удивилась! Вы и не помните меня, и моя фамилия Вам абсолютно ничего не говорит. Я не удивляюсь – ведь прошли десятки лет с тех пор, как я встретила Вас в Провансе, и Вы за это время так много пережили, так много видели, что другие яркие, радостные, горестные впечатления стерли из архивов Вашей памяти многое, оно из них исчезло.

Постараюсь дать Вам ориентиры – может быть, вспомните! А возможно – и нет... Не помните же Вы Белокопытову, а она принимала большое участие в фавьерской жизни Вашей мамы, и Вы у нее бывали, у Мечниковой. Она первая рассказала мне, что Вы погибли в шахте вследствие аварии – не вовремя сняли маску или кто-то нароч-

но ее снял с Вас... Кто она? Это belle-sœur вдовы Ильи Мечникова. И.И. Мечников был женат на О.Н. Белокопытовой, а женой брата О.Н. и была Лидия Карловна Белокопытова. Они – вдовы Мечникова и Белокопытова – и жили вместе недалеко от «конюшен» С.П. Богдановой. О.Н. была очень авторитетна среди фавьерцев и дружила с Мме Wrangel, которая устраивала чтения М.И. и первая пригласила ее к себе² – до того, как М.И. поселилась сначала в «конюшнях», а потом на «том» чердаке.

Когда умерла Мечникова, Белокопытова оказалась владелицей всех бумаг, рукописей и пр. и пр. Мечникова. Она весь этот материал передала Сов. Союзу, и за это ей предложили приехать и поселиться у нас задолго до того, как начались массовые отъезды эмигрантов на родину. Жила где-то в доме отдыха в Сокольниках и, наверное, умерла уже. Ваша мама ее знавала и бывала у них, ее интересовала Ольга Ник. Мечникова.

Теперь о Villa Wrangel. Эта Villa, маленький домишко, принадлежала, действительно, Врангель: «непопулярная фамилия», говорила сама «Врангельша», хотя с «тем» Врангелем они имели какие-то очень отдаленные родственные связи – «младшая ветвь младшей ветви». Она, Врангельша, урожденная Елпатьевская, человек передовых взглядов, экспрессивная. Она очень интересовалась творчеством и судьбой Марины Цветаевой³, и это она устраивала ее чтения на террасе маминой виллы. У них никакого чердака над домом, кажется, и не было⁴, а М.И. просто просила адресовать свои письма по адресу Villa Wrangel – нужно было дать адрес, а М.И. и сама не знала, где и как она устроится⁵. Возможно, какое-то время и жила у Врангелей.

Но тот большой чердак – у Blanc. Я хорошо помню, я сама и подыскала его для М.Ив. Часто там бывала, ночами посиживали с ней на лестнице, ведущей на этот чердак. И бонбон красного пинара нам туда водрузил этот товарищ из своих виноградников (очень за дешево!).

У меня хорошая память, «стенографичная», говорят приятели. Я в точности могу описать этот чердак и сейчас вижу большой стол, за которым работала Марина Ивановна.

Нет, она была два лета в Фавьере и зимой⁶, а я познакомилась с ней летом в Фавьере. Она писала мне, писала о своей трудной жизни, о том, что Вы вяжете на продажу moufles⁷ и еще что-то... и просила опять (!) найти ей «крышу». До нашего знакомства она не могла бы мне писать, я ведь с ней в Фавьере познакомилась, на чтениях, организованных Белокопытовой и Wrangel.

Моя мама ей предложила поселиться у нее в доме, в том самом, где жили Оболенские, и М.И. жила там, я хорошо помню эту ее комнату. Вход был «с другой стороны». В этой комнате был зеркальный шифоньер – как сейчас помню, как М.И. бегло оглядывала в зеркале свою всё еще юную фигурку в синих шортах, прежде чем выйти на прогулку. В этой комнате бывал и Сергей Яковлевич Ефрон.

Напротив этого большого дома была маленькая вилла с террасами, где тогда жила моя мать. И на одной из этих террас, на задней, кухонной, мы и пили с Вами чай, которым угощала нас та самая няня, всеобщая «тетя Катя» – была она маминной «няней» и дружила с Оболенскими. И там Вы мне говорили о пелеринаже – но ходили ли к Мадонне или нет, не помню, не знаю. Я это запомнила, ведь это так оригинально, необычно, и так тогда, в тот момент, увязывалось с Вашим обликом – вся такая юная, такая «новая», ненамазанная, вопреки моде и обычаю, – оголенные Ваши свежие девичьи руки, светлые волосы, босые ноги. Такая юная принцесса-босоножка из сказки. Вы просто забыли об этом разговоре «в тревоге мирской суеты».

А что Вы не были в Sabassone, я знаю – я хорошо помню наши экскурсии туда, но Вас не помню, Вас не было и когда мы ходили в Vogmes. Очевидно, Вы бывали там вдвоем с Вашей мамой без меня.

Жену Унбегауна – языковеда, славяниста – я хорошо помню, мы с ней тоже были приятельницами. Да, мне кажется, что одно время она и жила в «большом доме» (так называли дом матери). Была она ярая «милюковка» и так смешно горевала, когда их «лидер» их всех «skonфузил» – женился вторым браком «на несусветной дуре», да еще и в церкви венчался. Очень она на него сердилась!

Может быть, Вы помните кафе-ресторанчик на обрыве, над морем, где хозяйничала такая вот «красавица Дагмара»⁸ – «Бастидун» его называли. Там я иногда встречала С.Я. Ефрон[а], когда он ненадолго приезжал в Фавьер.

Мура помню хорошо. Ему делали операцию – аппендицит – и он после нее стал таким малоподвижным и несколько ожиревшим, кудрявый, большой такой, молчаливый. М.И. относилась к нему очень заботливо, очень нежно и считала его очень умным (возможно, так оно и было).

А теперь, наверное, пришло время и обо мне сказать несколько слов. В Фавьере меня знали и сторонились. Я мало интересовалась «их» (эмигрантской) политикой, а чтобы ко мне «не лезли» со всякими неудобными разговорами, говорила, что я «правая», ни с чем несогласная (была же в компартии, что было тогда трудно и небезопасно⁹).

Я тогда была молодой – говорили, *charmante*¹⁰ – женщиной. Была женой летчика, и в Фавьере рассказывали обо мне всякие небылицы – что будущий муж подлетел где-то к моему окну, что я села в самолет (!) и уехала, т.е. улетела, внезапно и вдруг. Был у меня сын 4-х лет, известный тем, что ходил всегда голый на пляже, и его прозвали «самовар». Я тогда переживала неприятные эпизоды своей жизни – только что разошлась с мужем и действительно уехала из Китая, где он был военным атташе (Франции). М.б. вспомните такую молодую женщину с сыном на руках? Правда, видела я Вас очень мало – когда к М.И. кто-нибудь приезжал, я к ней не ходила, а на пляже, как обычно, мы не встречались, хотя обычно встречались ежедневно. Возможно,

там в записных книжках где-нибудь найдется адрес мой (раз она мне писала, значит был у нее мой адрес): Bormes, La Faviere, Madame Schertzer или Schvetzoff или Rodionoff.

А стихи, которые она писала на пляже? Она регулярно работала по утрам, но бывало вдруг на пляже или во время прогулки ее что-то «осеняло», и она писала на листках маленького блокнота. Как-то стихотворение – «Большим не увижу» – я слышала от нее, а прочитала уже здесь их в несколько другом варианте. А про рябину («я в смерти рядной пребуду») вообще здесь не нашла¹¹.

Меня очень удивило, что в своих письмах она так отозвалась о Поплавском¹². А я помню, как она жалела его, как гневно (!) говорила об эмиграции, обвиняя ее в смерти Бориса¹³. А стихи ее со словами «чтоб не выли нам попы»¹⁴ я читала в *Annales Contemporaines* – «Современные записки». И стихи Бориса «Город спал на больших якорях...» я нигде не видела напечатанными и помню их «с голоса» М.И., может быть, и, наверное, не совсем точно. И всё, что я знала о Поплавском, знала только от нее. Очевидно, потом уже «докопались», что он был наркоманом, и она стала по-другому относиться к нему. Он дружил, помнится, с советской девушкой по имени Наташа [Столярова].

В Фавьере жили многие «интересные» эмигранты – Саша Черный и его знаменитая жена Маша Черная, Гречанинов с ершистой и неприятной женой. Иван Билибин с талантливой женой Потоцкой. Приезжали Куприн, Эренбург, Тэффи, Дон-Аминадо, Бенуа, Черепнин, Ларионов и Гончарова (ее я не видела, но всех остальных знала и видела). И еще милая артистка *Comedie Francaise* Таня Балашова, о ней и сейчас пишут в *Humanité*. Приезжал и Бунин. Из ученых – профессор Мечников и Савич, Унбегаун. Кто только не бывал в нашем лукоморье! Пишу «мемуарную» работу «Фавьерцы»¹⁵.

О смерти Вашей мамы впервые я услышала от писателя Роцина – очень талантливый писатель, был когда-то секретарем Бунина, писал языком его школы, т.е. чудесным. Но был он «зубр», «возрожденец» (сотрудник газеты «Возрождение»), а потом «пересмотрел» свои позиции и приехал на Родину, к сожалению, не успев ни написать новое, ни дописать начатое. Он знал Вашу маму. Он, впрочем, знал всех выдающихся эмигрантов. Здесь он узнал и рассказал мне о смерти М.И. Потом и другие рассказывали – в различных вариациях. Я же поняла только, что она была очень одинока – пусть Пастернак, пусть Эренбург... Но я знаю, как тогда «чурались», боялись людей «оттуда» даже самые близкие родственники и друзья. По себе знаю. О том, что и Вы «тоже», я не знала. И, значит, она была совсем одна.

Дорогая Алечка, простите, что называю Вас так, как называла иногда в Фавьере – мне ведь 75 лет, и мне *mon grand age*¹⁶ позволяет Вас так называть.

А как я попала в Союз? Впрочем, я Вам, кажется, писала о том,

что была я француженкой, что «заслужила» советский паспорт и право вернуться, и как французы не выпускали меня из подданства (не было подобных прецедентов!), но я все-таки добилась, с огромным трудом – дали они мне нансеновский паспорт, а по этому паспорту уже получила советский.

Алечка, приезжайте как-нибудь во Владимир, ко мне. Правда, он «фабричен», особенно наш район, но есть и прелестные еще уголки и улочки. Недалеко и Суздаль, туда приезжают много людей любоваться стариной. Можно и в Суздаль съездить. А я Вам покажу фото Фавьера, Борма, Lavandou, расскажу, что помню о М.И., того, что не написано в работе.

О Вас, что Вы живы и работаете, мне сказал один молодой приятель – сотрудник нашей областной газеты. Я тоже даю туда *articles de temps en temps*¹⁷. Он мне обещал найти Вас в Москве, но увы – с ним случилась беда, и он исчез из Владимира, должен был уехать и куда-то пропал. Я же догадалась о том, что Вы живы, прочитав уже давно в журнале перевод стихотворений Элюара. Так перевести их мог только человек, прекрасно знающий французский язык и в совершенстве владеющий русским (увы, не все переводчики...), а также чувствующий стихотворные ритмы, мелодию и структуру стиха. Подпись переводчика была А. Эфрон. Я сразу же подумала о Вас, и тогда же написала Вам письмо через «Иностранную литературу». Очевидно, Вы его не получили – не знаю уж, в какой ящик его опустили. Хорошо, что дошло это!

Я буду в Москве проездом в первой декаде мая, м.б. придется на несколько дней приехать и раньше. Будете ли Вы в Москве, можно ли мне будет видеть Вас?

О Вас и Вашей маме, о ее смерти, о желании друзей положить камень в ее память мне рассказывали друзья в Москве. Ирина – фотокорреспондент, встречает много людей <...>.

Разрешите обнять Вас, поблагодарить за пожелания – постараюсь быть на уровне.

Ваша Родионова (Schertzer, Швецова).

А Ваш почерк не похож на почерк М.И. – совершенно другой характер!

1. Письмо не сохранилось.

2. Судя по письмам М.И., инициатива принадлежала ей, а не Л.С. Врангель, которая отличалась известной нетерпимостью ко всему «советскому», а симпатии С.Я. Эфрона были хорошо известны русской эмиграции во Франции.

3. Л.С. Врангель впервые встретила с М. Цветаевой весной 1935 года.

4. В своем следующем письме Г.С. пишет: «...помню хорошо и отчетливо... чердак баронессы, где, действительно, было очень темно и тесно...»

5. Цветаева знала, где остановится, ибо комната была оплачена заранее и сроки оговорены. Это же касается и остальных бытовых деталей ее жизни в Фавьере.

6. Цветаева была в Фавьере один раз, в июле-сентябре 1935 года.

7. Варезки (*фр.*)
8. Жена С.С. Крыма.
9. В предвоенные годы французская коммунистическая партия была не только совершенно легальной, но и одной из самых массовых во Франции – 1,5 млн голосов на парламентских выборах 1936 года и 15% голосов в Национальной Ассамблее. Это был период т.н. Народного Фронта – левого (социалистического) правительства. Но в предвоенные годы Г.С. Родионова «увлекалась» ультранационализмом. В компартию она вступила во время войны, когда та, в самом деле, уже находилась под запретом.
10. Очаровательная, миленькая (*фр.*)
11. Оба стихотворения написаны в 1921 г.оду
12. «Даровитый поэт [Поплавский], но путаный (беспутный) человек». (Из письма Тесковой, 1929 г.). «Самолубуются все молодые парижские поэты: бездари; самолюбуется нап. Поплавский – предельный пошляк. Самолюбуются – когда нечем.» (Из письма Ю. Иваску, 8 марта 1935 года).
13. Разговаривать в Фавьере о смерти Поплавского М.Ц. никак не могла – Борис Поплавский отравился в Париже 9 октября 1935 г., т.е. две недели спустя после отъезда М.Ц. из Фавьера.
14. «Не ты – не ты – не ты – не ты. / Что бы ни пели нам попы, / Что смерть есть жизнь и жизнь есть смерть, – / Бог – слишком Бог, червь – слишком червь.» – из цикла стихов «Надгробие» на смерть Н. Гронского (5-7 января 1935 года). Никакого отношения к Поплавскому эти строки не имеют.
15. «Галина грозит нас, 'буржуев-капиталистов, описать, как нужно'...» (Из письма А.А. Швецовой, 29 апреля 1954 года)
16. Мой преклонный возраст (*фр.*)
17. Статьи время от времени (*фр.*)

ЧЕРНОВИК ОТВЕТНОГО ПИСЬМА А.С. ЭФРОН

Без даты

Милая¹ Галина Семеновна,

Простите, ради Бога, что так долго не отвечала Вам. Навалились всякие дела, всякие хвори свои и чужие и т.п. Когда же я наконец собралась со временем и с духом, чтобы сесть писать Вам, комиссия по литературному наследию М.Ц. доставила мне Ваши о ней воспоминания, пересланные из «Вопросов литературы» (оттуда Вы должны были уже получить ответ).

Обычно все материалы о М.Ц., предназначенные для опубликования, направляются нам для проверки фактической стороны, так как часто сами авторы не имеют на это возможности. Как, очевидно, получилось и с Вами. По-видимому, Вы не ознакомились с Цветаевскими (советскими) изданиями и, в частности, с томом ее произведений в Большой серии «Библиотеки поэта» (изд. Советский писатель, М. 1965), иначе хотя бы только примечания к одному этому тому позволили бы Вам избежать многих и многих ошибок и неточностей. Я позволю себе указать Вам на них, т.к. без исправления их не может быть и речи о публикации Вашей рукописи в каком бы то ни было печатном органе.

Итак:

стр. 1

«...я встретилась с ней, когда мы обе прошли половину нашего... пути, полдороги... жизни Марины». – М.Ц. родилась в 1892 г., умерла в 1941, таким образом, 1935 год никак нельзя считать «половиной пройденного пути» – она умерла шесть лет спустя.

«Марина поселилась в 'конюшнях'...» – В одной из цветаевских тетрадей фавьерского периода есть запись о приезде в Фавьер, где сказано буквально следующее: «приехали в Lavandou (песчаный полустанок), встретила Оболенская в штанах; на машине (слышала 15 франков!) добрались до Фавьера, устроились на чудной верхотуре villa Wrangel, снятой у Оболенских». Все дальнейшие пометки под стихами, вплоть до отъезда из Фавьера содержат дату написания и место: villa Wrangel.

стр. 2

«...услышала ее глуховатый негромкий голос...» – Голос М.Ц. был высокий, звонкий, очень молодого тембра, и стихи свои она читала громко, отчетливо.

«Девический дагерротип души моей...» – Это не название и не начальная строка стихотворения, и посвящено оно не «девичьей комнате». Это – конец стихотворения «Дом», написанного в 1931 г. и опубликованного в 1933. Также «Я и в смерти последней пребуду...» – отнюдь не название стихотворения.

«Она просто была очень близорука, очень, ничего не видела, натыкалась на предметы, не видела, что подавали ей на тарелке...» – М.Ц. действительно была близорука, но не до такой степени убожества и инвалидности, физического уродства, которую описываете Вы. Кстати, дальше Вы же сами пишете о дальних прогулках, о том, как МЦ любовалась видами; как это могло быть, если она «ничего не видела»? Какие же прогулки в горы для человека, «натыкающегося на предметы»!

«У нее была привычка морищить лоб...» – Такой привычки у нее не было, она часто сдвигала брови, что не одно и то же.

«Легкая провансальская большая шляпа...» – Шляп М.Ц. не носила никогда, иногда от солнца повязывала маленькую косынку (узлом sur la nuque²).

стр. 3

«Она не любила одеваться, ей было безразлично, что на ней надето...» – Это неверно. Как и всякая женщина, она любила быть одетой к лицу, но средств на такую одежду у нее не было. Об этом нельзя забывать.

«Не носила ни брошек, ни бус, ни клипсов...» – Клипсов не носила, но свои серебряные браслет с бирюзой и серебряные перстни не снимала даже на ночь. Почти всегда носила бусы из янтаря, лапислазури, круглых кораллов и старинные серебряные броши. Всегда, всю жизнь, в любом возрасте.

«Была в ней надломленность и испуганность...» – Надломлен-

ности не было до последнего дня жизни. Исступлённости – тоже. Она была человеком, великолепно владевшим собой, чрезвычайно хорошо воспитанным. Сильная духом, крепкая, выносливая физически. Людей, знавших ее, всегда поражала ее сдержанность, но уж никак не испуганность!

«Как и я, Марина не находила общих с эмигрантами слов, не по душе было их чванство...» – Неверно, у М.Ц. было немало друзей среди эмигрантов, и «общий язык» она находила с любым, который того заслуживал, независимо от национальности и пр. Чванство же, мешанство, верхоглядство, пошлость и глупость были для нее неприемлемы в любом обличии. И уж, во всяком случае, среда русской интеллигенции с ее прекрасным качеством терпимости к инакомыслящим была для М.Ц. приемлемее и ближе, нежели, скажем, французская *grand ou petite bourgeoisie*³ с ее кастовыми предрассудками.

«Что особенно возмущало Марину, так это язык эмигрантов...» – И не только эмигрантов, ее также возмущал советский бюрократический жаргон и жаргон французский. Она любила настоящий язык, без вульгарных примесей. Но надо сказать, что многие эмигранты старшего поколения до сих пор сохранили великолепный, чистый русский язык, без штампов и вульгаризмов, чего нельзя сказать о многих и многих представителях советской интеллигенции!

стр. 4

«Марина, которая недолюбливала Тэффи...» – Ну откуда Вы это взяли! Надежда Александровна и мама были в очень хороших отношениях и очень ценили друг друга.

«Она не пыталась создать даже видности грошевого уюта... ни любимых гравюр, ни эстампов... два топчана, покрытых темным одеялом, без пестрых подушек и подушечек...» – Вы знаете, одно дело, когда люди живут летом в своем доме со своей собственной обстановкой, другое, когда едут «на дачу», где снимают какой-то уголок, художественно меблированный хозяевами; и по сей день дачники, особенно стесненные в средствах, возят с собой лишь самое необходимое, а отнюдь не «гравюры и подушечки». Что до Цветаевой, то не забудем, что она – все же! – была поэтом, и помимо одежды, обуви, посуды и примуса возила с собой (несла – на носильщика денег не было!) в чемодане и корзине – книги и тетради вместо «эстампов и подушечек...»

1. Стандартное обращение в письмах А.С. Эфрон.

2. На затылке (*фр.*)

3. Крупная или мелкая буржуазия (*фр.*)

29 декабря 1969 г.

Милая Аля,

Хорошо, что сразу не ответила на Ваше письмо – не собралась

просто по разным причинам, оно меня очень обрадовало, а вчера получила другое Ваше письмо – и оно меня совсем не обрадовало!

Нет, Аленька, память у меня хорошая, я и сейчас читаю лекции по искусству и международные, и о французском Сопротивлении, наизусть рассказывая все, не заглядывая в шпаргалки. Слушателям это очень нравится. Единственное, что мне приходится подзубривать – это даты. Хронология всегда была для меня самым трудным предметом, и если бы меня спросили, в каком году встречала я Вашу маму в Фавьере, я бы долго думала и высчитывала, опираясь на какие-нибудь ориентиры: война, возраст Жоржа – того малыша, которого Вы видели и запомнили на пляже.

Но пребывание Марины Цветаевой в Фавьере, события, связанные с ним, ее облик, разговоры с ней я очень хорошо помню, как помню Билибина, Черного, Унбегаун...

Что она была в Фавьере только одно лето – против этого спорить, конечно, не приходится. Только из-за ее переездов с места на место, из-за того огромного богатства, которое я получила от нее, мне и казалось, что я видела ее дольше, чем лишь одно лето.

Что же касается письма с просьбой найти пристанище, она мне написала после знакомства.

Общих знакомых у нас не могло быть – я в течение ряда лет не была в Европе и приехала в Фавьер через Марсель, «прямо» из Китая. Просто, вероятно, у М.И. были намерения еще раз приехать в Фавьер, но потом, очевидно, были другие события и планы, она стала собираться в СССР и т.д., и не приехала.

Помню, что она еще о чем-то просила меня в своих письмах, связанное с Фавьером. Писала и о Вас – а Вас-то я узнала только в Фавьере. Писала, что Вы вьжете на продажу разные вещи и т.д. Эти ее письма, написанные мелким, но четким почерком, потерялись у меня, когда из Фавьера, по велению оккупировавших его немцев, жители были «выдворены» в 24 часа. Всё побросали, а после ухода немцев, когда вернулись, то вообще ничего не нашли – даже электролампочек и дверных задвижек. Местные жители сваливали на немцев, но говорят, что и многие из Lavandou и Vormes ходили по домам и прибирали что можно к рукам. Во всяком случае, мои чемоданы исчезли, а с ними много ценных, во всяком случае, дорогих мне «архивов». Меня тогда в Фавьере не было – я участвовала в Сопротивлении и по заданию ездила по городам на Роне. А то бы были у меня и эти письма.

А вот о переездах Марины я помню хорошо и отчетливо. Помню, как с чердака баронессы (где, действительно, было очень темно и тесно, голубой кувшин с тазом...) перебирались в «конюшню». Было так темно, что я стукнулась о какой-то стоявший там ящик и больно ушибла ногу.

В «конюшнях» М.И. пробыла очень недолго, ее там многое раздражало, и вот тогда-то и перебралась на большой чердак к Blanc. Вы

же сами мне писали, что ее помещение в villa Wrangel было очень тесное, и кроме топчанов и кувшина с тазом ничего не могло поместиться, даже стол. А М.И. пишет об очень «просторном» чердаке, но жарком (пекло). Чердак на villa Wrangel – вернее, не чердак, а *vacuum* между крышей и потолком, не мог быть жарким – дом каменный, в лесу, среди сосен¹. А у Blanc – большой чердак, деревянный, над хозяйственной постройкой среди виноградников, был, действительно, пекло.

Вы пишете, что у Вас есть фото чердачной лестницы. Пошлите, я посмотрю и напишу, какой это чердак. Перешлю обратно. Кто фотографировал? Возможно, мой старший сын² или Борис Унбегаун.

Я хорошо помню, как мы, М.И. и я, с помощью Мура втаскивали большой бонбон на этот чердак. М.И. любила медленно потягивать самодельный фермерский пинар из больших стаканов.

Затем срок найма кончился, М.И. не собиралась еще долго проживать в Фавьере, но ей нужно было остаться зачем-то (получить почту), и моя мама ее пригласила в «большой» дом, где она и прожила очень недолго, несколько дней – туда и Борис приходил иногда, жил в том же доме (Унбегаун).

Я всё это помню очень хорошо. Помню цвет пуговиц на светлых блузках Марины, ее синие шорты, ее фигуру – и как она стояла перед шифоньером, собираясь на экскурсию или в Lavandou. Даже написать картину могла бы!

Марина Ив. не совсем права, предполагая, что ее не приглашали «из-за бедности». Бедностью никого в Фавьере не удивишь. Многие, например Богдановы, едва сводили концы с концами. Все жили скромно, денег у всех было мало. Лучше других жили Врангель и Гречаниновы. Билибин, несмотря на известность, тоже жил бедно, по-богемски. Нет, просто Марина Ивановна сама не шла навстречу людям, она была несколько замкнута, <...> и плохо «ладила» с эмигрантами. Никто не знал толком ее политических убеждений – она не терпела эмигрантской политики, и так как ее стихотворения бывали разной настроенности, то левые считали ее «правой», а правые «обзывали» большевичкой. Я сама слышала эти эмигрантские суждения и пересуды.

Марина была очень прямой человек, говорила людям правду в глаза, как некий князь Мышкин, но без мышкинской мягкости и, конечно, «идиотизма». Была несколько «ершистой» в своих суждениях, и ее просто побаивались.

Как случилось, что она пошла навстречу мне? Вероятно, я была очень юной³, я так искренне любила ее стихи. Как и она, я не находила общих слов с эмигрантами. Как и ее, меня смущал и приводил в ужас их язык (*аксиданы, кампоны, паты* и т.д.). М.И. говорила – «варварство». Вы м.б. помните, Тэффи написала фельетон о встрече двух женщин – одна из Берлина, другая из Парижа, и как они не могли понять друг друга. Одна говорила об *арондисмане*, а другая о

бецирке... А когда берлинка рассердилась, что ее собеседница ее не понимает, а ведь она говорит на *echtrussische*⁴, другая ответила, тоже сердито, что не учила *этрусского*. Фельетон был остроумный. Обо всем этом я пишу подробно в своей работе.

Удивляюсь, что среди ее бумаг, архивов все-таки нет моего адреса. Впрочем, нечего было и записывать. «Bormes, Le Favière, мне (фамилия матери), без всяких «villa».

Возможно, что многие листки, блокноты просто потерялись. Многое, не очень нужное (ценное), она, наверное, уничтожила перед отъездом в СССР. Ну, и здесь, вероятно, тоже многое уничтожила – приходилось уничтожать «связи» с тем миром.

А я ведь, собственно, была француженкой – муж был француз, атташе посольства в Китае.

Вот жаль, что потерялись стихи «Лира – обет бедности». Это было не заглавие, а конец, довольно неожиданный, длинного стихотворения⁵, которое М.И. написала на пляже.

Писала она и про «аликанте» (виноград, ей нравились названия), и про мистраль, и про Понан (ветер с запада) в одном стихотворении. Где же они? И как жаль, что я не запомнила их!

Я Вам пошлю то, что я написала о М.И. Кое-что, Вам, конечно, будет знакомо – ну, хотя бы, что ее интересовал Бергсон, хотя она и не всегда с ним соглашалась, а немецких философов – Ницше, Шопенгауэра – не любила и говорила об их «туповатом примитивизме», несмотря на все глубокомыслие.

А поэтов – Гёте, например, любила. И Рильке. Любила Блока и Анну Ахматову. Я не цитирую стихов Блока, Гете, Рильке и др. – их можно всегда прочитать, а вот обращение к Ахматовой я не видела напечатанным и запомнила с голоса Марины Ив. последние слова: «твой Ленинград, моя Москва!»

Стихи Аминадо, Поплавского я знаю только «с голоса» М.Ив. Иногда она вспоминала Гумилева, но об этом много писать не стоит⁶, хотя одну строчку из его стихов «И пахнет звездами и морем...» я помню тоже с голоса М.И. Я не знаю, из какого сборника это стихотворение, как оно называется.

М.б. Вы вспомните, что ее волновало Средневековье и его романтика? И эти самые коды-шифры Нострадамуса? Вопрос о «свободной воле» ее очень интересовал и даже мучил.

Все эти наши разговоры я помню хорошо – я увлекалась тогда Цветаевой и как поэтом, и как человеком.

Вы пишете об Оболенских – даже и дом их считаете ИХ домом. Оболенский Лёва (Лев Влад.) был агроном и работал на наших (маминых) небольших виноградниках. Конечно, он и жил в ее доме. Мама предложила и его сестре с мужем поселиться у нее (они уже были не Оболенские, а Грудинские). Все их знали потому, что они оборудовали в доме небольшой ларек, где торговали сахаром, мукой,

консервами и прочей мурой. Было удобно – не ходить из-за нее в Lavandou. Они и на пляже соорудили ларек и успешно торговали там всякой всячиной. Грудинский погиб там трагически и неожиданно.

«Тетя Катя», конечно, часто заходила к ним (она вела хозяйство), но няней у них не была. Не была она и крепостной – не только потому, что хронология против этого, а потому, что она, как и мама, сибирячка, а в Сибири никогда не было крепостного права – это единственная страна в мире, где не было никакого рабства, земля принадлежала или «короне», или крестьянам, или станицам. Можно было у них снимать [в аренду] землю (имения в Сибири так и назывались – «заимки») на 99 лет. Так было и в семье бабушки. Снимали землю, а когда кончалась аренда, то дети и внуки возобновляли контракт. Помещиков не было, не было и крепостных. Т. Катя была в услужении (платном) у бабушки много лет, а когда та умерла, «перешла» к маме. По собственному желанию, конечно. Так что тут тоже вышла «перепутаница» – крепостной она не была. В Фавьере не было крепостных, пусть даже бывших. Это так же верно, как и то, что большой чердак – не чердак баронессы.

Того товарища Blanc нет уже в живых, наверное. Но, возможно, ферма перешла сыновьям, и кто-нибудь из них помнит о русской *femme de lettres*, жившей у них. Попробую написать им и еще кое-кому в Борн и Фавьер.

А та молодая худенькая, и как тогда говорили, очень привлекательная (теперь, когда мне 73, могу сказать об этом) женщина с озорным мальчишкой была, действительно, я. И, судя по Вашему описанию, малыш тот был моим сыном. Он очень нравился Марине. Он умел говорить, но разговаривал неохотно, а она как-то умела его «разговорить».

Унбегауна я помню хорошо – его голубые всегда свежие рубашки, светлые волосы, светлые брюки. Жена его была очень забавная. Ей очень хотелось быть умной, она даже лоб себе преобразила [зачесав волосы] высоко, делала «умный лоб», интересовалась политикой, была яркой «милюковкой» и очень огорчилась, когда их лидер «skon-fузил» их своим церковным браком с «несусветной дурой». Она очень любила флиртовать, и, пока занималась покорением мужских сердец, мы «уводили» Бориса на пляж или на террасу «Бастидуна».

Возможно, Вы помните это кафе на самом мысу, над морем? Хозяйками там были какие-то предприимчивые дамы из Одессы (Феодосии?)⁷, одна из них, настоящая вульгарная, размалеванная, типичная *grue*⁸ невысокого полета, говорила, что она *fille du minister*⁹, чем поражала французов (ее дед был членом правительства-однодневки где-то на юге¹⁰). У нее были претензии на культуру, и она с ее напарницей по *business* пригласила Вашу маму, угостила хорошим кофе и вкусным *tarte maison*¹¹ (ради рекламы). Попыталась даже устроить чтения М.Ив. у нее на террасе кафе, но М.И., несмотря на то, что деньги были бы ей нужны, отказалась читать «в кабаке».

А с Борисом Унбегаун[ом] они встретились там за чашкой кофе, с террасы был такой необычно красивый вид на море и острова. Унбегаун был языковед, славист, его интересовали обороты и рифмы в стихах Цветаевой, и он тоже делился своими знаниями, доказывал, что слова «начало» и «конец», «женщина» и «корова» одного корня, произошла законная по законам фонетики перестановка и замена согласных и гласных, вот и сейчас в славянских языках дитя – <...>. М.И. это интересовало. Самое важное, говорил он, это «умение извлекать корни! корни – всё!». М.И. смеялась. Если Вы переписываетесь с Борисом, напомните ему это, думаю, он и меня вспомнит, «молодую женщину с голым малышом». Да и мой малыш дружил с его дочуркой, были ровесниками. Я помню, как дочурка эта, сидя на горшке, говорила: «Папа, я еще не уже!» Видите – память не очень уж у меня потускнела.

Между прочим, на террасе этого кафе я встречала и Сергея Яковлевича, встречала его и в кафе в Лаванду – он, очевидно, любовался морем и наблюдал за жизнью курортников. На него обращали внимание, он был очень красив. Вы пишете, что Мур [со временем] стал очень красивым, значит [был] – похож на него. Но С.Я. был темный, смуглый, с синими глазами в нарядных ресницах. А у Мура, хотя и кудрявые, но светлые волосы, и глаза были не синие, а светлые. Марину Ивановну и Сергея Як. вместе я почти не видела. Когда к М.И. приезжал или приходил кто-нибудь из близких ей людей, понятно, я не бывала у нее. Унбегаун не в счет – Борис был «свои-ским», общий, фавьерский. Хотя и «фон Унбегаун», но настоящий русский, с большой душой, чуткостью, с большим и хорошим сердцем. Если знаете адрес – махните, я им напишу.

Я долго переписывалась в США с Гречаниновым, до самой его смерти.

Ах, Алечка, вот бы нам встретиться! Так Вы и не ответили, можно ли повидать Вас в Москве. Я повидала бы Вас с удовольствием и здесь, во Владимире, но боюсь, Вам не будет очень удобно. Я живу вместе с одной дружественной мне семьей, мне предлагали и отдельную квартиру, но ввиду моего большого возраста и плохого сердца я опасуюсь жить одна, всё равно нужно было бы нанимать человека, на это уходило бы полпенсии, как у моих кузин в Москве. Комната у меня небольшая, но места хватит, ванна с постоянной горячей водой. Минус – это 5-й этаж, хотя ступеньки очень легкие и дом малогабаритный. Ну, и, конечно, «сожители»... Впрочем, они не очень мешают, дети учатся, а взрослые – на работе. Большую часть дня я одна. Надумаете – приезжайте, когда будет посветлее и потеплее, сейчас город неинтересен: темно и холодно. А если можно навестить Вас в Москве – было бы мне очень приятно вспомнить Прованс и Париж – покажу Вам свои фото, а Вы – Ваши.

Большое спасибо за открытку Борма, такой у меня нет. А Лаванду – есть.

Большое спасибо и за то, что все-таки вспомнили меня, несмотря на насыщенную людьми и судьбами Вашу жизнь и недолгое пребывание в Фавьере. А я Вас хорошо запомнила и даже могла бы написать картину, когда Вы, как светлая Мадонна, спускались на темную террасу, где потом и пили чай со мной и Катей (Катюша умерла в Фавьере во время оккупации, хоронили ее Оболенские, я приезжала из Тулона на похороны ее).

А то лето, когда я знала Марину Ив., было очень для меня тяжелым, я поссорилась с мужем и уехала во Францию. А он тоже «рассердился», перестал писать, и я осталась с ребенком на руках, в неведении судьбы своей, жила у матери. Она, несмотря на всю свою прогрессивность (ее брат был женат на сестре Леонида Красина), была избалована, эгоистична¹². Одна из первых фавьерок, она еще до войны купила там участок. Она тоже мало с кем общалась¹³, а вот чтения Цветаевой, по просьбе Врангельши (Елпатьевской), она устраивала на своих террасах. Я там ее и увидела в первый раз. Помню ее платье, их было не так и много у Марины Ив. – белое с коричневыми разводами. Вот оно и было на ней, когда впервые увидела ее. И цвет свитеров Мура помню, и Ваше светлое платье с короткими рукавами, вернее, без рукавов.

Наташу Столярову я вспомнила в связи с Поплавским. Она очень горевала. Я помню, как она плакала в мамином studio, когда говорила о нем¹⁴. Она, мне кажется, и не была эмигранткой, а советской, с советским паспортом, что многих отпугивало, и вероятно, потому мама и пригласила ее – вопреки всем, вернее, в пику всем. Какие-то две советские девушки, почему они были в Фавьере, уж и не знаю¹⁵. У них не было денег, питались одними фигами – болели, и мы, т. Катя и я, подкармливали их горячим супом. Я помню Наташу, не так отчетливо, как М.И., конечно, но помню, и ее темную зеленую кофточку, и ее слезы. Если знаете ее адрес – сообщите, пожалуйста.

Советской была и внучка Милюкова¹⁶, она приезжала к нему в Фавьер, удивляя тем, что была хорошо, со вкусом одета и отлично «фокстротила» – подумать, так и не советская.

Были и инженеры, и молодые ученые, проходившие стаж в Пастеровском институте.

Эренбург приезжал в Фавьер, но меня тогда там еще не было. Я видела его раньше, в Берлине, в кафе сменовеховцев (были и такие) вместе с А. Тандким¹⁷.

Простите за длинное письмо, но Ваше подняло в памяти такой вихрь воспоминаний, что я и разболталась, как положено по возрасту. Если Вам интересно, что было потом со мной и как я попала на родину, – напишу.

P.S. Непременно пошлите фото чердака! Перешлю как только налюбуюсь. Еще раз привет. На днях напишу.

1. «Ни черепица, ни каменные стены не спасали нас от летнего палящего

- солнца – под крышей фавьерских домиков жара всегда стояла страшная.» (А.Л. Оболенский). «Жара на чердаке тропическая... La Favière, Villa Wrangel» (из письма А. Тесковой, 2 июля 1935 г.).
2. Владимир Иннокентьевич Швецов.
 3. На момент их встречи Г.С. было 39 лет, М.Ц. – 43.
 4. Чистый русский (язык) (*нем.*)
 5. «Лири – обет бедности» – середина короткого, в восемь строк, стихотворения «Небо – синей знамени».
 6. В 1969 г. имя поэта Н. Гумилёва (1886–1921), расстрелянного по обвинению в контрреволюционном заговоре, в СССР всё еще было под запретом.
 7. Имеются в виду жена и приемная дочь С.С. Крыма. Незадолго до отъезда во Францию С.С. Крым женился на француженке Люси Клари (Lucie Clary) из Феодосии. «Своих детей у них не было, но были двое приемных – сын Рюрик и дочь Дагмара (такова официальная версия, на самом деле Рюрик был сыном Дагмары). Еще в 1924 г. С.С. Крым купил у художника Песке дом ‘Бастидун’ на м. Гурон, где Люси и Дагмара содержали летнее кафе. Люси была неизменно хороша собой, с роскошной шевелюрой цвета темной меди... Дагмара тоже была эффектна наружностью, но ум и юмор ее брали верх над красотой. Мои родители с ней очень дружили. Она умерла в середине 70-х годов.» (А.Л. Оболенский)
 8. Проститутка (*вульг. фр.*)
 9. Дочь министра (*иск. фр.*)
 10. Не «дед», но приемный отец Дагмары – С.С. Крым был премьер-министром Крымского краевого правительства в 1919 г.
 11. Домашний сладкий пирог (*фр.*)
 12. Еще до начала войны А.А. Швецова оформила всё свое имущество на дочерей и внуков.
 13. А.А. Швецова была «душой Русского холма» (по воспоминаниям Л.С. Врангель), а ее дом был своего рода местным «клубом» – книгами из ее богатой библиотеки пользовались все отдыхающие, профессора Пастеровского Института читали здесь свои лекции, по инициативе А.А. ежегодно устраивался карнавал и любительские спектакли.
 14. Н. Столярова уехала в СССР в 1934 году, за полтора года до гибели Б.Поплавского.
 15. Имеются в виду сестры Наташа и Катя Столяровы, удочеренные К.В. Шилловским и проводившие летние каникулы в Фавьере, где Шилловский снимал дачу.
 16. Виктория (Туся) Николаевна Милюкова – дочь младшего сына П.Н. Милюкова.
 17. Неизвестное лицо.

Г.С. РОДИОНОВА – Л.В. ОБОЛЕНСКОМУ

5 января 1970,
Фавьер

Поздравляю
с 70! Юбилейным!
Многообещающим!¹

Пишу же я Вам, граждане, вот по какому поводу. Сейчас у нас

очень интересуются творчеством и жизнью Марины Ивановны Цветаевой. Восстанавливают ее биографию, но довольно трудно из-за ее кочевой жизни. Не хватает данных и о фавьерском периоде ее жизни. Я помню, что она жила там летом 1937 года, сначала у «Врангельши» на чердаке, вернее – мансарде, а затем я ей сняла чердак большой у Блан (Blanc). Два чердака, и выходит «перепутаница». Хотела узнать у Blanc, спросить, когда именно М.И. жила у него. Он ей еще продал большую bonbonne своего собственного вина – пинара².

Написала Blanc, но я совсем не уверена, что мое письмо дойдет до них. Очень будем Вам благодарны, если Вы сообщите мне, живут ли Blanc всё еще на своей ферме в Фавьере, а если нет, м.б. кто-либо знает об их³ (sic!). Я писала Лиле, сестре, – живет в Борме, но она часто не отвечает, подолгу не писала, болеет всё и в своем последнем письме писала, что скоро умрет от своей какой-то очень мудреной и неизлечимой болезни.

Обратилась и к бывшим товарищам. Пишу и Вам – м.б. Вы сами помните о пребывании М.И. на чердаке Blanc?⁴ Она в своих письмах из Фавьера писала, что познакомилась в Фавьере с Оболенскими (и Убенгаун[ом]). Ариадна, ее дочь, говорит, что она вспоминала Вашу няню старую, еще крепостную, которую знали все русские Фавьера. Вероятно – тетю Катю? Но крепостной она как сибирячка не могла быть, да и хронология, и няней у Вас тоже не была. Но, во всяком случае, Вас она знавала и, возможно, Вы помните, что она жила у Blanc, а перед самым отъездом – в мамином большом доме, где жили Грудинские, кажется, в то же время. Это, вероятно, о них вспоминала Марина.

Если вспомните, напишите, мы все здесь будем Вам очень благодарны – всё, что Вы помните о Марине Цветаевой. У меня хорошая память, но иные факты время замазывает беспощадно, не щадит архивов ее. Для ориентации некоторых событий сообщите пожалуйста о дате – хотя бы месяц и год – смерти Б.Г. Грудинского. Тоже буду благодарна.

Наилучшие пожелания в Новом году, здоровья, успехов в работе, большого личного счастья.

Rodionova G.S.

1. В оригинале приветствие написано именно так – с разбивкой и восклицаниями. Столетний юбилей со дня рождения В.И. Ленина в 1970 году широко отмечался в СССР, как «наиважнейшее событие современной мировой истории». Здесь используются лозунги, в течение многих месяцев не сходявшие с полос газет и журналов, звучавшие по радио и телевидению.

2. Речь идет о «событии» – 35 лет назад крестьянин продал бутылку вина одной из заезжих дачниц.

3. «Не знаю, были ли Blanc коммунистами. Они были из тех крестьян, кто рано понял, что на земле больше заработаешь, продавая ее под дачи, чем обрабатывая ее. Marie, дочь старика («товарища») Blanc, имела среди местных крестьян очень скверную репутацию, а крестьяне в карман за словом не лезут. Помню ее

немыслимые наряды – вплоть до шубы! Она родила от неизвестного отца мальчика, которого все жалели, – рос он как-то сам по себе, гуляющая мать его бросила на бабушку, суровую бессловесную старуху Blanc. Брат же Marie слегка опьянел от вдруг образовавшихся от продажи земли денег. Закутил. Ставил на лошадей. Пропал. Затем появился вновь – с женой, похожей на актрису. При этом он оставался грубым и неотесанным. Поменял *bleu de travail* (рабочий комбинезон) на костюм в полоску, остроконечные двухцветные ботинки... Местные жители подтрунивали над этим ‘*parvenu*’ – выскочкой.» (А.Л. Оболенский)

4. Тем летом Л.В. Оболенского в Фавьере не было: «В 1935 г. папа работал шофером при доме отдыха под Тулоном.» (А.Л. Оболенский).

25 января 1970 г.

Дорогая и милая Аля,

Что-то нет от Вас весточки. Поздравили с Н.Г. и все. А я так жду от Вас письма, написанного Вашим четким, крупным, нарядным – таким не похожим на «бисер» Вашей мамы почерком. Обидела я Вас чем-нибудь? Какие-нибудь слова о М.Ив. Вам не пришлось по душе? Напишите прямо и откровенно, я учту все Ваши замечания. Может быть, я напугала Вас тем, что вспомнила в связи с Медведевым (журналистом) одного поэта – но я думаю, что и «времена не те», и опасаться особенно нечего. А возможно, Вы больны? Сейчас много больных гриппом, у меня есть друзья – болеют все в семье, и родители, и дети, и бабушки. Болеют и у соседей. Тяжело. Напишите скорее, что здоровы Вы и благополучны. И пошлите мне фото *de ce fameux чердак*¹, я Вам его верну, возможно – привезу. Числа 12-го я собираюсь ехать к своим внукам, несколько выйти из своего стиля <...> В Москве пробуду несколько дней – там у меня родственники и друзья.

Свои воспоминания, вернее, впечатления памяти сердца, послала Озерову, которому меня рекомендовал редактор нашей областной газеты и критик Эйзильман (его статьи читают в «Литературной газете»). Ответа пока нет. Пишу «Фавьерцы» и рассказы их эмигрантско-французской жизни.

Прочитала в «Звезде» Вадима Андреева «Возвращение в жизнь»². Прочла с интересом, пишет о некоторых знакомых, упоминает, но как-то вскользь, Цветаеву. Но в чем с ним не согласна, так, например, в том, что «Современные Записки» были эсеровские, – по-моему, «никакие», там и Цветаеву часто печатали, и Макса Волошина – какие же они эсеры! Язык великолепный, пишет писатель настоящий!

Алинька, если есть у Вас стихи «Я в смерти народной...» – пошлите! Я их очень люблю и не помню. И, пожалуйста, пишите! Буду очень беспокоиться о Вас, дорогая. Вы стали мне очень близки и дороги из-за М.И. и из-за Ваших хороших писем.

Родионова Г.С.

1. Здесь: этого самого чердака (*фр.*)

2. Андреев Вадим Леонидович (1902–1976, Женева) – поэт и прозаик. Сын Леонида Андреева. В 1921 г. эвакуировался в Константинополь, учился в русском лицее в Софии. Один из организаторов «Союза молодых поэтов и писателей» в Париже. Участник французского Сопротивления, был арестован. С 1945 г. – член Союза советских патриотов, за что был исключен из Парижского Союза русских писателей и журналистов. Приняв советское гражданство в 1948 г., в СССР не поехал. Последние годы жил в США, где работал в ООН. Скончался в Женеве, откуда его прах был перенесен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем.

1 февраля 1970 г.

Уважаемая Ариадна Сергеевна¹,

Пишу то, что пришло в голову после Вашего письма.

«*Не цветаяевская речь...*» Ведь и великие люди говорили и писали иногда не по-своему. Читали ли Вы дневники и письма Пушкина в старых изданиях? В новых это выпущено, о том, как и что он пишет о своем свидании с Керн – такие слова не пушкинские, а слова моего соседа слесаря, когда выпьет «чекушку». И это после «Я помню чудное мгновенье». Я очень жалею, что читала ТЕ письма, теперь все как-то накладывается одно на другое. Вот и «чудное мгновенье», вот вам и Пушкин! А характер у М.Ц. был действительно очень своеобразный, и она сама говорила, что она везде – stranger heart², что душевных друзей у нее очень немного, по ее же словам и письмам, которые Вы [цитируете].

Когда я узнала о ее гибели, то, зная ее, я была даже убеждена, что погибла она из-за своей непреклонности, что-нибудь сказала или написала... словом, не нашла общих слов. То же самое подумала и о Билибине, тоже была уверена, что сказал что-то резкое, неприемлемое – это было в его характере. И оба раза я ошиблась! Билибин не смог выстоять холодной ужасной ленинградской зимы после жаркого Египетского и Фавьерского солнца³. А причину ухода М.Ц. из жизни я даже не знаю... Объясняю это ее одиночеством – Вас не было с ней, муж тоже был далеко⁴. «А друзья? – спрашивают меня некоторые, – Пастернак, Эренбург?...» Друзья сами-то были на грани, и, вероятно, просто опасались за себя. Но во всяком случае в том доме (м.б. опять неточные сообщения) она оказалась все-таки одинокой, никого не было с ней, чтобы удержать ее... Никого... А ведь там в Елабуге их было немало. Но судить мне трудно, я только слышала о ее смерти. Не могу себе представить, чтобы только разлука с С.Я. так на нее подействовала – она была очень сильной, очень... Нет, не надо об этом, мало ли что...

Еще раз вспоминаю и утверждаю, что были стихи о Поплавском и о библейском боге, и о [неразб.] – я читала их. Про октябрьский ветер, раскидавший нечисть, я не читала нигде, говорила мне, смеясь, об этом сама М.Ц. Может быть, в стихах это звучит несколько иначе.

Всё думаю – где бы достать те сборники *Les Annales Contemporaines*⁵ – фавьерцы перед немецкой оккупацией так все быстро покинули Фавьер, что успели взять только самое необходимое, всё оставили – библиотеки, архивы... а когда вернулись после победы, ничего и не нашли. А то бы были в Фавьере эти сборники. Где-нибудь да есть же в Париже. Подумаю, где и как их заполучить. Я бы доказала, что я не трепло! Да и разве можно выдумать такие... такие стихи и т.д., особенно мне, заурядной женщине, не какому-то там Андрееву или еще кому... (у Андреева в воспоминаниях тоже есть небольшие неточности). Я не поэт. Стихов Поплавского, Дон-Аминадо, Цветаевой – тех, кого только слышала, которые про Ахматову, – я не сочиняла, где уж мне, таланта бы не хватило на это!

А то, что С.Я. *de facto* не был мужем М.Ц. – она мне сама сказала, да и это было достаточно заметно, несмотря на всю их учтивость друг к другу, а м.б. благодаря ей. Возможно, жалея Вашу молодость, она Вам об этом не говорила, щадила Вас, а знали все.

Да, очень я переживаю и не знаю, что делать теперь с «Фавьерцами»? Послать их Вам для выяснения опечаток или еще что? В «В[опросы] Лит[ературы]» уже послать теперь я их не могу.

Я Вам позвоню, когда буду в Москве.

1. Очевидно, это ответ на критическое письмо А.С. Эфрон, черновик которого представлен в данной публикации.

2. Чужая душа (*англ.*)

3. И.Я. Билибин умер от истощения 7 февраля 1942 г., работая над серией открыток на тему Великой Отечественной войны, наотрез отказавшись эвакуироваться из блокадного Ленинграда.

4. С.Я. Эфрон был арестован 10 ноября 1939 г. и расстрелян в Москве 16 октября 1941 г. М.И. Цветаева покончила с собой 31 августа 1941 г.

5. «Современные записки» (*фр.*)

7 февраля 1970 г.

Большое Вам спасибо, дорогая Ариадна Сергеевна, за фото¹. Спешно высылаю обратно, впрочем, не совсем «спешно» – чуть задержала. Так была огорчена Вашим письмом², что болела – я ведь «сердечница», да и скоро мне 75, у меня уже было два злейших приступа, теперь <...>.

К сожалению, я точно никак не смогла определить, какой это чердак – фото очень нерезкое, очевидно увеличение, и разобраться не очень легко. М.Ив. я бы не узнала – разве только поворот головы и стрижка волос «бубби копф»³, а Мур на фотографии кажется младше, чем тот Мур, которого я помню.

Строение, как будто, и не вилла. На вилле Wrangel был портал – колонны и терраска рядом (внизу) с лестницей. На фотографии их нет, и вообще похоже на хозяйственное строение. Но лестница на

чердак Blanc была, как будто, и шире, и выше, ступени – чаще, но расположена она на фотографии с «правильной» стороны, так как у Wrangel лестница была «с другой стороны дома». Сказать поэтому точно – какой чердак – я точно не могу.

Я написала в Vormes сестре, чтобы она спросила у Blanc о М.Ив., но сестра ответила, что хотя она сама и помнит проживание М.Ив. у Blanc, но Blanc продали участок, там началось строительство вилл (какой ужас!). Написала и Blanc (найдут, надеюсь, его где-нибудь), и в мэрию. А также Оболенским.

Вы пишете, что Оболенский Лев (ему-то я и писала) – в Москве. Интересно, что он может там делать, приехал как турист, вероятно. Работать ему у нас трудно – языковой барьер, русский он знает постольку-поскольку, да и во французском по-настоящему не шибко грамотный⁴. Интересно бы было повидаться. Особенно, если он поедет обратно – послать с ним кое-что во Францию, посылки что-то стали совсем плохо ходить, да и без хлопот. Если знаете, где и через кого его найти, – напишите, постараюсь непременно.

Сестра пишет, что она помнит, как Марина Ивановна – не уточняет где – спорила с Унбегауном и Франком (был такой философ)⁵ и Родзевичем⁶ – кто этот Р., я не помню и не знала, вероятно. О чем спорила – уже не пишет. Сестра не очень [культурная]. Спрошу ее все-таки об этом. Помнит, что Мур в это время играл с моим сыном.

Если бы не было стихов про «еврейского Бога и русских поэтов», как бы могла Марина Ив. рассказывать про редакторов – она частенько рассказывала мне про них, о том, что ей сказали, что одними стихами она обидит верующих редакции, которых много, а другими – то было раньше – евреев, которых тоже было много. Она рассказала мне эту шутку-анекдот про своих редакторов. А она им ответила: «Напечатаете!» «И напечатали!» – говорила она, смеясь. Если бы не было стихов, не было бы и этого разговора.

А в архивах многое стало не сохраняться, потерялось или было просто уничтожено автором. Ведь и сейчас вдруг находятся какие-то забытые, потерянные рукописи Пушкина и др., и опусы композиторов, их не обнаружили в свое время, а времена-то были беспокойные, *bien plus*⁷ <...>, чем наше. Придется, очевидно, самой ехать в Париж, докапываться. Здесь меня вряд ли пустят в раздел эмигрантской литературы. А блата у меня в библиотеках нет; говорят, попасть туда очень трудно.

Вчера была у своих друзей – он критик, очень культурный и т.д. и т.п. Было приятно, что назвал М.Ц. одним из самых крупных поэтов времени, а потом, когда говорили о литературе «вообще», сказал: «У нас складывается уже своя, советская классика – Шолохов, Блок, Цветаева, Пастернак...» Мне было очень приятно.

Большое спасибо за стихи. Я их очень любила когда-то, и сейчас они меня взволновали. Только вот не помнила их...

Странный фактор – память! Застревает там надолго всякая мура

еще с детства – «шел дрожащий от холода малышка», потом Бальмонт – «веет тлеющий апрель...», «красный зверь из тигровой семьи...»⁸ (в 15 лет воображала себя таким зверем) и белиберда «гения» Северянина, имевшего такой «громоподобный» шумноприбойный пенный успех, и, как пена, исчезнувшего, а осталось – «Весенний день горяч и золот...» Впрочем, эти стихи и сейчас мне нравятся. Ну, а прочих «королев и служанок», «эстетных» красавиц можно бы было забыть, освободить место на чердаке (головном) другому, стоящему. Ведь сколько там накопилось и хорошего, и хлама... Рада, что осталось «Анна Болейн» Андреева и Ахматовское «Мне голос был... чтоб этой речью недостойной не осквернился скорбный дух».

Конечно, Вы знаете Вашу маму – что же об этом говорить! Я и другом ее себя считать не могу – так, *confidente*⁹, добровольная слушательница и гид по Провансу. М.И. сама пишет в письмах, что друзей у нее нет, есть дамы-приятельницы, вот и я была такой «дамой-приятельницей», случайно встретившись на ее пути.

Очень жаль, что мы не встретились – так хотелось посмотреть, какая Вы теперь. Ваш тогдашний облик я помню! Как писала М.Ив. Теффи – к себе Вас не звала бы (но по другой причине), я не у себя, хозяев уйти попросить неудобно.

P.S. У меня есть стихи – последние, неизданные еще и не напечатанные нигде, Ахматовой, которые она передала перед смертью своему другу (женщине) – я плакала над ними! Стихи о сыне, который был тогда в заключении. Не могу послать – дала слово никому не посылать и никому, но показать Вам – конечно бы показала, т.е. дала бы прочитать – изумительные стихи! Если встретимся, непременно покажу.

А пока привет.

А наши разговоры слушать «им» тоже не к чему, сговорились бы встретиться на нейтральной почве – в Москве много мест, где можно встретиться и поговорить спокойно¹⁰. Как была бы рада повидать Вас – тепло бы стало старому сердцу. Да и кое-каких советов попросила бы у Вас, как у умной и искушенной в писательских делах женщины (сужу по письмам) – нет, не о М.Ив., а, как говорит соседская девочка, «вообще».

Еще раз спасибо за фотографию и особенно за стихи! Теперь я их больше не забуду!

Привет. Родионова

Ведь и мне, как и Вам, многое пришлось пережить¹¹, и под расстрелом стояла и т.п. Долго потом после Победы не могла опомниться.

1. Известная фотография М.Ц., сидящей с сыном на «скворешной лестнице» дачи Л.С. Врангель.

2. Ариадна Эфрон отличалась прямым характером и всегда называла вещи своими именами. Видимо, здесь упоминается одно из писем с критикой воспоминаний Г.С.

3. *babi corpe* – модная в 1920-х годах женская короткая стрижка с перманентом (*англ.*)
4. «Папа был грамотен, интеллигентен, любовь к русской литературе прививал нам вполне сознательно – каждый день вечерами, между ужином и сном, он читал нам вслух Гоголя, Чехова, Лескова, Толстого...» (А.Л. Оболенский).
5. В 1935 г. С.Л. Франк жил в Берлине, в Фавьер приехал в марте 1938 года.
6. Константин Болеславович Родзевич (1895–1988), переводчик, скульптор, юрист. В эмиграции в Чехии и во Франции. Друг С.Я. Эфрона и, возможно, агент ГПУ. Короткое время его связывали с М.И. близкие отношения. Во время Второй мировой войны участвовал в Сопротивлении, попал в концлагерь Заксенхаузен, выжил. Скончался в Русском Доме престарелых под Парижем.
7. Много больше, чем... (*фр.*)
8. Неточная цитата из стихотворения К. Бальмонта «Слияние»: «Красивый зверь из тигровой семьи, / Жестокий облик чувственной пантеры, / С тобой я слит в истомном забытьи, / Тебя люблю, без разума, без мерь».
9. Наперсница, доверенное лицо (*фр.*)
10. Эта фраза «на посошок» более чем странная; трудно предположить, чтобы А. Эфрон в письме к постороннему (!) позволяла себе упоминания о тех, кто «слушает разговоры». Намек этот, безусловно, инициатива Г.С. (см. далее Папку №3).
11. Напомним, что, вернувшись на родину в 1937 г., А.С. Эфрон была арестована и осуждена «за шпионаж» на 8 лет лагерей, затем вторично арестована и приговорена к пожизненной ссылке в Сибири (реабилитирована «за отсутствием состава преступления» лишь в 1955 г.). Родионова Г.С. по прибытии в СССР получила от государства индивидуальное жилье, работу, право преподавать, учиться в московском ВУЗе, встречаться и переписываться с иностранцами и свободно передвигаться по стране.

16 февраля 1970 г.

Дорогая Ариадна Сергеевна,

Задержалась я во Владимире по разным делам (лекции).

Получила [письмо] из Le Lavandou от своих бывших товарищей cellule P.C.F. du Lavandou¹, которые пишут, что сын Blanc жив, но сарай с чердаком démol², и поэтому они не нашли écrits de la personne³, хотя я об этом их и не просила. Но если искали там эти écrits – значит, она там жила. Пишут, что помнят меня и её. Сестра пишет, что была у нее с Борисом Унбегаун[ом] и каким-то Родзевичем (не знаю такого). У них с Цветаевой был жаркий спор, но о чем – не пишет. Я попросила ее все уточнить, а также [попросила] и camarades написать все толково еще раз.

В Москве буду до 20-го.

Привет.

Родионова

-
1. Ячейка Французской компартии в Лаванду (*фр.*)
 2. Снесен (*фр.*)
 3. Рукописи данной персоны (*фр.*)

26 декабря 1970 г.

Уважаемая Ариадна Сергеевна,

Поздравляю Вас с Новым годом! Не зная Вас и не зная, что Вам пожелать лично, желаю, как всем, – крепкого здоровья, удачи во всех делах Ваших и много хороших дней. На несколько дней я в Москве. Была бы очень благодарна за сообщение, есть ли кто из фавьерцев здесь и как и где можно такого индивидуума увидеть, мне это интересно. И еще – я получила от бывших своих товарищей из Лаванду une carte, они сообщают, что Мне действительно проживала в чердаке у Blanc.

И еще узнала, что М.Ц. большую часть своего архива отправила перед отъездом в СССР в нейтральную страну (Швейцарию). Там, вероятно, и находятся те стихотворения, о которых я писала и которые тогда она не могла еще взять с собой, а писатель Марков С.Н.¹ сообщил, что доктор, который констатировал смерть М.И. и с которым она была в хороших отношениях, после ее смерти взял ее бумаги, письма и т.д. Он знал, кто она и что, и опасался, что в такое сумасшедшее время они могли бы затеряться. Фамилию доктора я боюсь перевернуть, С.Н. ее знает.

Если знаете что о фавьерцах, сообщите.

Еще раз всего хорошего.

Родионова Г.С.

1. Марков Сергей Николаевич (1906–1979), советский поэт, историк, географ.

17 января 1971 г.

Дорогая Ариадна Сергеевна,

Сердечно простите за запоздалое поздравление и добрые пожелания... Извините, что пишу на такой бумаге. Я очень мерзну, а погода – метель и самое для меня жуткое – гололед. Не выхожу никуда, и бумага кончилась, пойти же купить я не в состоянии, поэтому Вы меня извините, надеюсь. Французы говорят *tel papier telle maison*¹, ну что же! *Maison* действительно не аристократический, и короны на бумаге нет... Хотя у меня есть красивый герб моей прабабки – всадник с луком и стрелой – по прабабке Гантимуровой (Хан-Тимур)².

Вы написали очень дружественное, хотя и краткое, послание, поэтому и решаюсь обратиться к Вам со следующим: я несколько переработала, исправила – по Вашему письму – свои записки о Вашей маме, многое просто вычеркнула³. М.б. сейчас Вы бы не нашли возражений? М.б. послать их Вам для просмотра, м.б. Вы бы приехали во Владимир (дело-то не к спеху), или я бы приехала в Москву, и мы могли бы как-то столкнуться? Я тогда дала бы Вам

свои московские телефоны. Как жаль, я не знала Ваш телефон, когда была в Москве довольно долгое время, и Н.Г. встречала в Москве.

Все-таки, дорогая Ариадна Сергеевна, мне бы хотелось оставить что-то – пусть очень малое, о Вашей маме, несколько дружеских строк. Ведь критики, благодаря которым я и попала в эту комиссию, нашли, что в литературном отношении написаны они неплохо, понравились некоторые эпитеты, и, в частности, разговор наш о ветрах Прованса и о винограде (названиях). Кроме того, хотелось бы познакомить Вас со своими записями о Билибине, Черном, Гречанинове и мн. др. Попросить Ваших просвещенных советов, послушать Ваше мнение.

А сейчас есть кто-нибудь из фавьерцев в Москве? *Le chou-chou de ces dames de la Favier, le beau Leon*⁴ – уехал, или еще в Москве?

Обнимаю милый, светлый образ, что хранит память сердца.

Родионова

1. Какова (почтовая) бумага, таков и дом. (*фр.*)

2. По семейному преданию забайкальский род Кандинских (бабушка по материнской линии Г.С.) восходит к эвенкийскому князю Гантимуру, XVII век.

3. В частности, заголовок «Я знала Цветаеву» был заменен на более нейтральный «В Провансе в предвоенные годы», именно в таком виде он широко и разошелся в самиздате.

4. Любимчик фавьерских дам красавец Лев [Оболенский] (*фр.*). «Папа был красив, впрочем, как все дети Владимира Андреевича и Ольги Владимировны. Красив он был и лицом, и сложением, а, главное, был характера мягкого – сама доброта.» (А.Л. Оболенский)

20 сентября 1972 г.

Уважаемая Ариадна Сергеевна,

Как-то не подходит такое обращение к тому юному, светлому существу, что сохранила мне моя память. Нет, на свою память я никогда пожаловаться не могла, и сейчас мои друзья и сотрудники удивляются, что я «наизусть» провожу лекции и беседы (темы – по искусству и международные), без всяких шпаргалок. Все предпочитают слушать рассказ, а не чтение, заглядываю в шпаргалку, только когда дело касается цифр – с ними я с детских лет не в ладах, никогда не знала хронологии, и мои преподаватели, щадя «толковую», как говорили, ученицу, не задавали вопросов по хронологии, а предлагали рассказать, «какие события были в России, когда в Англии была Елизавета I-ая и т.д.». С этим-то я справлялась, а вот цифры – другое дело! Между прочим, № Вашего дома я написала неправильно не потому, что забыла, я его и не знала! А в моей адресной книжке номер записан небрежно, 2...3, и я решила, что 203. Винават почерк и небрежность. А факты, лица, события, слова я помню хорошо и даже обычно помню и одежды – так, я помню Ваше светлое платье с

короткими рукавами и белое с коричневым рисунком платье М.И., ее блузки и полотняные синие шорты и большую соломенную шляпу, провансальскую, ее вещи и [подушки].

Я Вам очень благодарна за желание помочь мне, и свою ответственность я понимаю, мне ведь идет, шутка ли сказать, 8-ой десяток! Чувство же ответственности всегда было до некоторой степени [моей натурой], иной я не могла бы быть ни коммунисткой среди капиталистического окружения, ни участницей Сопротивления, можно сказать, в стане почти врагов – эмигранты ведь были всяко настроены. Вытерпеть пришлось много, но что-то помогло мне молчать, возможно – ответственность!

Я неправильно выразилась, назвав М.И. женщиной «спорной» – действительно, неподходящий эпитет для человека! Я хотела сказать – очень сложной и порой противоречивой. «Слишком» глубокой. Хотя можно ли быть слишком глубокой... Творчество же ее для меня бесспорно – я считаю, что она замечательный поэт порядка Блока, многие со мной согласны, но есть и такие, женщины главным образом, которые ее творчество не любят и не понимают. Но это, мне кажется, не значит «спорное» творчество, а спорный индивидуальный подход читателя.

Я Вам буду очень благодарна за все указания Ваши, я знаю, как они ценны, и, конечно, Вы лучше знаете Вашу маму, чем я, ее недолгая, но преданная спутница. И Ваши указания «вообще». Но вот странно – я ведь уже «печаталась» (не о Марине), и отзывы критиков были всегда благожелательны, «неожиданно хорошие эпитеты» – говорили они, а я удивлялась, я не думала об эпитетах, когда писала! Например, понравился «синий Прованс», а в очерке о Даниель Казанова¹ – описание Корсики, и то, что она, Даниель, «любила солнце, море и ветер», понравился «ветер», любите ветер? В очерке о милой нашей Вики² – Вы, вероятно, ее знали – «потрясенный и притихший Париж» и т.д. Иногда слышу отзыв о лекциях: «и хорошо говорит по-русски». Меня это даже обижает – что же я, иностранка разве? «Знает прекрасно русский язык», но ведь я – языковед, к чему же такие слова!

Возможно, есть и неточности, я их учту! У всех нас это бывает. Я читала недавно воспоминания об отце Кисы Куприной. Вернее – воспоминания о ней самой. Я просто возмущалась «неточностями». Рассказывает историю La Favière очень неточно, описывает смерть Саша Черного неточно – сестра Лиля и я были свидетелями его смерти. А главное, мне было обидно за наш пляж! Киса пишет, что она редко бывала на этом пляже, а ходила в Lavandou, т.к. в Фавьере не было интересных людей – все «серости» какие-то... А по-моему, наоборот – именно в Фавьере было много интересных людей: Гречанинов, Билибин, Саша Черный, художник Середин, художница Околова, Таня Балашова (милая Таня! кумир Парижа в те сезоны), ваша мама. Из французов: писатель <...> председатель Pen club в

Париже, художник Pissabia. Приезжали Ларионов и Гончарова, философ Франк и многие другие. А в Лаванду стилижали какие-то малоинтересные девицы и парни, выражаясь нашим языком. А вот написала же такое эта Киса.

Да и сам А.Ив. [Куприн] тоже не всё точно описал. Например, об именах – русских именах у провансальских фермеров. А всего мне забавнее, что описывая одного сибиряка, кот. мне несколько сродни³, он пишет, что тот «угощал всех шампанским», а сам ничего не пил! А этот милый человек был алкоголик и сгорел от пьянства, умер. Если Лев Оболенский читал эти строки, тоже посмеялся. Вот и Куприн... а ведь какой писатель! Мне было обидно, что ни он, ни Киса ни разу не вспомнили, говоря о творческой русской интеллигенции, такого творца, как Марину Цветаеву. Ведь Саша Черный, при всем своем даровании, – не Марина! И других забыли... Или хотели забыть?⁴

Кстати, видели Вы Леву Оболенского? Он ли был в Москве или сын его и долго ли был? М.б. он Вам рассказал, что М.И. жила в нашем доме? Я получила письмо от сестры, она описывает [одно] посещение Марины, в «большом доме» у нас была с Борисом Унбегаун[ом]. А мои товарищи по ячейке в Lavandou сообщили, что la femme de letter russe⁵ жила у Blanc на чердаке, они меня не поняли, решили, что я прошу послать ее рассказы, и написали, извинились, что сделать этого не могут, т.к. Blanc снес свой ангар, где был этот чердак, чтобы построить виллу.

Что же касается того, что некоторые ее стихотворения не обнаружены: 1) она могла их уничтожить перед поездкой; 2) их мог оставить у себя тот доктор в Елабуге, который констатировал ее смерть и «многое унес с собой»; 3) наконец, она могла их переправить в Швейцарию – пишет Эренбург, что она перед отъездом переправила свой архив в Швейцарию, там, наверное, много ее стихотворений, в том числе и «Лира – обет бедности», строчки из которого я случайно запомнила, писала она их при мне, на пляже. Но Вы ведь их тоже не нашли, однако знаете, что оно существует.

Знаете, дорогая, а я немного и рада, что не видела Вас! Пусть память хранит образ юной, светлой «принцессы-босоножки», а Вы, как писали, припоминаете «юную молодую стройную женщину», а вдруг бы увидели старую обезьяну. Я намеревалась Вам позвонить, но я неважно себя чувствовала – устала после возни с тремя чертенятами чингизидами (внуками). Да много приходилось разговаривать со своим редактором, а Вы знаете, что это такое, по поводу очерков о Билибине и Гречанинове. Кстати, «они понравились своей искренностью, каким-то личным теплым отношением к людям, и написаны литературно». Будут печататься в начале года.

Да, о прямой речи М.И. Ведь она говорила только со мной – без слушателей. Говорила, не думая о литературе. Но я заменяю прямую речь косвенной. И вообще поработаю основательно и пришлю Вам.

Да, нужно ли писать «преамбулу», т.е. описание Фавьера? Мне кажется, что описание *ambiance*⁶ писателя существенно, но м.б. я опять ошибаюсь.

Извините, письмо получилось длинное, может быть очень громоздкое, в частной переписке не очень следишь за стилем – стараюсь писать поразборчивее! А то с большими писателями у меня одно сходство – нечеткий почерк.

Желаю Вам успеха во всех делах Ваших. Буду ждать Ваш ответ с большим нетерпением, ответы на мои вопросы. Желаю Вам главное – здоровья, и еще раз здоровья, тогда и дела пойдут веселее и успешнее.

Привет.

Родионова-ГанТимурова

-
1. Danielle Casanova (1909–1943) родилась на Корсике, фр. коммунистка, участница Сопротивления, председатель Союза молодых коммунистов и основатель Союза девушек Франции.
 2. Оболенская Вера Аполлоновна, Вики (Vicky, 1911–1944), героиня Французского Сопротивления.
 3. И.А. Швецов – первый муж Г.С. Родионовой.
 4. Куприн отдыхал в Фавьере (и написал свой очерк) в 1929 г. – этим же летом в Фавьере поселился Саша Черный. М.Ц. гостила в Фавьере летом 1935 г., т.е. шесть лет спустя.
 5. Русская писательница (фр.)
 6. Здесь: атмосфера (фр.)

25 апреля 1972(?)

Дорогая, вернее, уважаемая Ариадна Сергеевна,

С большим интересом прочла я Ваши заметки – воспоминания о Марине Ивановне, Вашей маме. Вновь как будто увидела ее. Описание ее внешности совпадает с моим виденьем. О приблизительно такой же (но, конечно, гораздо бледнее в литературном отношении) писала и я о ней. А Вы пишете замечательно. Выразительная Ваша лаконичность, необычайные метафоры напоминают, как иногда пишут журналы, «перо» Вашей матери. Многое я узнала о ней, многое стало мне понятнее и ближе. Большое удовольствие от чтения Вас получила я, желаю Вам и дальше таких же удач и успехов.

В небольшом предисловии упоминаются «не совсем точные» о ней воспоминания. Надеюсь, что это не о моей писанине, хотя бы потому, что ее никто, кроме Вас и лиц, приславших ее Вам, не читал, ведь эти «воспоминания» опубликованы не были, и вряд ли с ними кто-то знаком.

Я, конечно, допускаю, что у меня были «неточности», но главное я помню хорошо, очень хорошо, а неточности – кто их не допускает, <...> кое-что я могла и забыть, но не спутать, нет! Вы, конечно, хорошо знаете Вашу маму и ее сложный характер, но Вы, хотя и не по

возрасту разумная, развитая, просто умная девочка, всё же были еще так молоды, дорогая. А к родным у нас не может быть беспристрастного отношения, и чем они ближе, чем дороже, тем менее оно возможно. Это естественно. <...>

Нет, ничего такого я, конечно, не сочиняла. М.б. где-нибудь что-то не так поняла, м.б. время размыло кое-что, но... не буду об этом. Еще раз поздравляю Вас, крепко целую благодарно за Вашу статью, а главное, восхищаюсь Вашим подлинным Цветаевским талантом писать увлекательно, просто, «оригинально».

Желаю еще успехов!

Привет.

Галина Родионова

ИЗ ПИСЬМА А.С. ЭФРОН – И.В. КУДРОВОЙ¹

1 октября 1970 г.

...Воспоминаний людей, знавших МЦ, у меня вот такая папка; достоверного, толкового – мало до чрезвычайности. Очень много вольного или невольного вранья – очевидно, свойственного человеческой натуре вообще и памяти – в частности. Беда в том, что знавшие ее в зрелые годы жизни и таланта – по ту сторону границы, до них не доберешься. Самые из них одаренные и правдивые (из еще оставшихся в живых) – «молчат» – не умеют или не осмеливаются; бездари же и всяческие политические подонки из эмигрантов «вспоминают» так, что лучше бы им помолчать...

Тетка моя, Анастасия, написала книгу воспоминаний О СЕБЕ и о МЦ (вначале задумала наоборот, но не справилась со своим «Я») (Подчеркнуто дважды. – М.М.), – книгу далеко не бесталанную, но в которой всё (Подчеркнуто дважды. – М.М.) смещено этим самым большим «Я»... Две сестры, из которых одна всегда оставалась подголоском, а теперь «заголосила» что есть мочи, по принципу «живая собака лучше мертвого льва»... Простите мне этот всплеск, но Анастасия – законченная психопатка, – воистину тяжелый, свинцовый случай! (Это всё – абсолютно между нами!) Книга эта, кстати, через год-два должна выйти, тогда, м.б., даст Бог, поймете, о чем я – если не «проведётесь» на мякине.

1. И. Кудрова. Из писем Ариадны Эфрон (1970–1975) / «Нева». № 3, 2011.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ А.Л. ОБОЛЕНСКОГО

Ницца, Франция

В 1969 году я преподавал французскую литературу в МГУ, и мы

с женой решили съездить во Владимир. С собой я вез довольно много книг – такова была тогда политика французского консульства. Передал я эти книги двум педагогам местного пединститута, познакомились, пообщались, и вдруг они заговорили о «нашей чудесной учительнице французского языка, подруге Марины Цветаевой, героине Французского Сопротивления, чудом спасенной из гестаповских застенков, и т.д. и т.п. – Галине Семеновне Родионовой». Когда мы вернулись во Францию и рассказали об этом родной сестре Г.С. – Елизавете Семеновне, с которой дружили мои родители, на нее эта фантастическая история произвела самое ужасное впечатление...

* * *

Отчего же так – «ужасное впечатление»? Чтобы лучше понять реакцию родной сестры Галины, предоставим слово их матери – Аполлинару Алексеевне Швецовой.

Папка № 3

СЛОВО МАТЕРИ

(Фрагменты писем А.А. Швецовой – Г.Д. Гребеницкову)¹

Февраль-май 1935 г.

<...> Галя живет у меня. Спит до 10-11 часов, мечтает, что-то всё пишет, ничего не делает и не желает физической работы, она аристократична духом, поэтому предпочитает жизнь паразитную, но поэтичную. Ее сынишка Жоржик почти весь на моем попечении, т.е. обшиваю его, мою его и т.д.

15 февраля 1940 г.

<...> Галочка живет в Тулоне, дает уроки во французских семьях, репетирует детей, занимается по-английски. Живет небогато, даже бедно, но энергию проявила долгожданную, и теперь, я думаю, будет улучшение. Конечно, я ей помогаю.

24 июля 1945 г.

<...> Галя служит в советской военной миссии в Марселе. Она там переводчик при полковнике П., заведующем военными делами на юге Франции, и ездит с ним по делам. Она великолепно говорит и делает рапорты на английском, немецком, французском языках, понимает и по-итальянски. Работает и во французской коммунистической партии. Обожает Россию, верит в нее, и, я думаю, у нее уже и паспорт советский есть, так как она всегда [мне] пишет «у нас». Ей по душе в штабе, где они и живут, – в каком-то замке, где чудный парк, русская музыка, «чудные русские Верочки, Шуры и т.д.». Декламируют вече-

рами Пушкина, Байрона, Блока и др., все любят литературу, много читают – словом, живут «по-русски» коллективно. Галя чувствует себя уже «дома». Если наша русская «тройка» разбежится и дальше², то работы и здесь будет много, хотя ей хочется побывать в Москве.

Она неугомонная. Прошное лето провела в окопах, служила в штабе связи красных партизан с французскими партизанами³. Была невестой красного артиллерийского офицера, которого расстреляли немцы. Побывала в Авиньонской тюрьме и даже в камере смертников (была ошибка), лежала ночью в виноградниках Арля, укрываясь от преследования немцев. Жили в землянках на берегу Роны. Много сказочного в ее жизни. <...> материал для жизни русской боевой женщины. Динамичная, храбрая, не шкурница, с горением и по-прежнему верующая, всегда в церкви молится за своего замученного Павлика.

22 декабря 1945 г.

<...> Галя вообще не способна быть заботливой, она странная. Дети ее выросли на чужих руках. Живет как цыганка, без угла, одета во что попало. Зачем я ей? Она – коммунистическая богема.

13 марта 1946 г.

<...> Сейчас у меня гостит Галя. Она большая идеалистка, в этом ее счастье. Насколько продолжительно ее увлечение⁴, не знаю, но такой она мне больше по душе, чем та, <...> в 20-х годах. Благодаря ей стало и мне как-то лучше на душе, помолодела от ее огня и веры.

8 апреля 1946 г.

<...> Моя Галина работает в своей ячейке и приятельница-sa-ma-grade с мэром [коммунистом]

11 апреля 1946 г.

<...> Моя «товарищ» Галина – язык хороший, но на работу физическую к станку не годится. Она целые дни в «Патриоте». В восторге от Маркова⁵. Ей ее [коммунистическая] ячейка французская тоже дает работу (нагрузку). Присматриваюсь, слушаю и всё еще не могу поверить в серьезность ее увлечения. Хочет сдать экзамен при Сорбонне на докторат (экзамен очень серьезный) профессора русского языка и уже тогда ехать в Москву. Ее и сейчас зовут, но не хочет без диплома быть только переводчиком, как она была при Советской военной миссии. Делала недавно доклад на тему о положении частной (разве возможно?) собственности в USSR, конечно, по иностранным источникам. И по Конституции Сталина, которая у нас теперь всегда на столе.

17 мая 1946 г.

<...> Как думает Галя? Она талантлива, начитанна, обладает даром

речи, но без дисциплины. От души ей желаю поехать на родину, где умеют работать и заставят работать и где она будет полезным членом государства. Время говорильни прошло. Что ее губит и может погубить, так это ее кошмарная хлестаковщина. В жизни же это невыносимая женщина – неопрятная, грязная, оборванная, в дырявых чулках, косматая до неприличия. Спит днем до 12, день в бегах и разговорах. За собой не убирает, электричество не тушит, газ [выключить] забывает. Словом, нужна прислуга прибираться за ней. <...>

Чекистка Галя в своих ячейках, в Советской военной миссии (полиции), в консульстве. Я не спрашиваю о ее нагрузках. Ее манера разговора: «прошу без замечаний», «прошу не учить», «к чертовой матери» и т.д. – всё это так чуждо моему воспитанию, что я умолкаю и замыкаюсь глубже в себя, только сердце бьется от ужаса таких выражений. Я старомодна, новое плохо усваиваю. А жизнь тоже теперь другая.

6 июня 1946 г.

<...> У стариков ведь много вредных микробов, как говорит моя советская дочь (Галина): «Я буду скорее есть с тарелки моей собаки, чем после старухи». Конечно, «старуха» – это я. Молчу, несу свой крест. У «советских» нет уважения просто к старости.

23 июня 1946 г.

<...> Галя в советских клубах. Очень резкая и выражается, если что не по ней, по-советски. Читает газеты, говорит речи, как в клубе якобинцев. Очень нетерпимая к чужому мнению, везде громит кого-нибудь: «шумим, шумим!» А в комнате ералаш, электричество горит всю ночь, выключить забывает, без прислуги ей нельзя.

Позавчера вечером моя дочь Галина примчалась из клуба из Парижа с декретом Сталина⁶ и, конечно, его портретом чуть ни в натуральную величину, со всеми орденами и с извещением о разрешении нам стать советскими подданными. День знаменательный. Конечно, Галина, захлебываясь словами, и своими, и чужими, была в полном экстазе. Я по старости лет не могла вторить ей, но была рада за русских. Событие для них большое. «Мама, ты знаешь, люди плачут, рыдают, даже мужчины, особенно шофёры. Одинец⁷ не читал лекций, такое оживление, что не до лекций, был консул...»

Была у нас тут в Париже грандиозная манифестация (500 тысяч). Конечно, коммунистическая. Требовали увеличить жалование работникам на 25% и увеличения пенсии. Это угроза. Думаю, что теперь социалисты примирятся с коммунистами (они были против), и дело не дойдет до рукопашной. Манифестация, к чести коммунистов сказать, была хорошо организована и охранялась собственными силами. Конечно, Галина была в своей ячейке. Сейчас занята со своей политической партией, выбирают президента.

24 июля 1946 г.

<...> Галина уже давно на юге, купается в море и ораторствует в своей ячейке. С ней ее семилетняя дочка, которая воспитывается ее знакомыми.

7 октября 1946 г.

<...> Галя сейчас в La Favière, что-то продают, сдают из своей земли.

<...> Галине место в России – для пропаганды. Лишь бы говорить. А спать может и в землянке и будет весела.*

3 декабря 1946 г.

<...> Очередное переживание за младшего внука, Жоржа. Как Вы знаете, это сын Гали и Шерцера (французский офицер). Родился на юге, был без отца семь лет и, конечно, на моем попечении. Отец женился после развода с Галей и забрал сына. В это время у нее родилась дочь от Х⁸. Она согласилась отдать сына до его совершеннолетия отцу, и по этому поводу был юридический акт. Отец убит [на войне].

Так теперь она хочет отобрать мальчика от его belle-mère⁹, которая его воспитывает. А ему 16 лет, он ни слова не говорит по-русски, любит свою belle-mère и уже в последнем классе лицея, в июле будет башо¹⁰. И вдруг Галя, которая никогда им раньше не интересовалась, решила его увезти в Советскую Россию и не дать ему даже кончить школу. Мальчик в ужасе, не хочет ехать. Но Галя решила его увезти силой с помощью своего начальства ГПУ, где она служит (секретный сотрудник).

Подумайте только, что переживает мальчик от страха, и мы с ним. Конечно, belle-mère обратится к правительственной защите. Жорж по отцу – француз. Belle-mère Жоржа сумела его привязать к себе, других детей у нее не было, вот она и жила вся этим мальчиком. Женщина неглупая, со средствами и хорошо его воспитывает.

Я убеждаю Галю, что ведь и здесь он может быть коммунистом, по крайней мере с языком. Зачем его тащить в Советскую Россию, он не сможет там даже закончить среднюю школу. Будет озлоблен и пропадет мальчик, натворит что-нибудь. Характер у него сильный и капризный.

Сумасшедшая мамаша! Трудно с ней (с Галей) говорить. Теперь и там, и здесь все кричат о Христе, о вере, прицепили его к Марксу и Энгельсу – Христос первый марксист! Как это вам нравится? Такой

* «...Завтра будем крестить моего внука Алешу. Выписали тулонского батюшку, который не у дел, т.к. прихожане под водительством Гали б[ывшей] Швецово, нацепившей себе на грудь серп и молот и занимающейся коммунистической агитацией, выгнали его за неподчинение Московской Церкви. В результате Тулон остался без священника.» (Из письма В.А. Оболенского – С.Л. Франку. 30 декабря 1946, La Favière)

сумбур в голове у моей дочки! М.б. там и нужен им стал Христос с его учением о непротивлении злу, смиреннии и т.д.

Галина еще здесь. Читает доклады в «Советском патриоте». Ее выпустят в Советскую Россию в конце, сейчас она им нужна здесь, всегда занята. Но по паспорту [она] француженка и коммунистка, знакома с большими людьми, как Марти¹¹ и др. В России, конечно, будет на месте. Языки знает на пять, говорит хорошо. На днях и ей 50 лет. Худенькая, но здоровая.

1 февраля 1947 г.

<...> У меня радость – товарищ Галина отказалась везти сына в Советскую Россию. Мальчик обратился к правительственной защите, и под давлением властей она отказалась его везти силой, против его желания. На душе у меня стало легче. Зачем насилие, придет время, захочет и сам поедет.

3 апреля 1947 г.

<...> Галина езжает в июле, получила визу на въезд в Москву. Дальше будет зависеть от Москвы. При знании в совершенстве французского языка, хорошего английского и удовлетворительного немецкого найдут, куда ее определить. Едет со своей дочкой 9 лет.

Недавно она готовила доклад о политических течениях после 25-го года¹², как в Европе, так и в России. Тема большая, история богатая событиями. И как я ни га-га¹³, а пригодилась ей (мы сейчас живем без лишних споров). Она слаба в исторических событиях. Один 1848 год – бесконечная тема в западной жизни, да и в России (процесс Петрашевского). Даже вспомнила отрывок из произведения Полонского на Веру Засулич¹⁴. Еще память сохранила, сама себя утешаю. Но, к счастью, публика у Галины не очень-то на этот счет знающая. Литературные темы ей много легче. Или чисто партийные, как программа Сталина или его конституция.

27 мая 1947 г.

<...> Галина работает языком – «политграмота». Она в Париже.

29 июля 1947 г.

<...> Галина скоро прикатит в La Favière с лагерем советских детей. И будет делать здесь доклады о разных поэтах и писателях Советской России. Литература у них там нынче однобокая и язык слабоват, но что симпатично – это отсутствие всякого намека на порнографию. Этим грешат французские писатели (такова жизнь) и их новомодный философ Сартр. Бергсон в свое время поднимал человека, а г-н Сартр – это не философия, а сплошная порнография.

16 октября 1947 г.

Галичка уехала в Москву.

24 октября 1947 г.

<...> Моя Галина продала часть имения в La Favière и купила себе всё получше и помоднее. Но у нее если и отберут, она не заплачет: «Душка Сталин знает, что делает!» Она-то там как раз будет на месте. Она уже в Москве. Думаю, ее пошлют на пропаганду в Пруссию, которую заселяют русскими, а немцев высылают в Россию¹⁵ – та же система Гитлера.

9 апреля 1948 г.

<...> Галина мне не пишет, но знаю, что писала в феврале здешним советским, что очень довольна работой (она учительница) и от всего в восторге – вся истерично вдохновленная, уверовала в марксизм, как в христианскую миссию.

31 июля 1948 г.

<...> Получила от Гали письмо восторженное от Москвы, рынков, магазинов. Пишет о чудесных детских школах и т.д. Очень довольна работой во Владимире (учительница), учит девочек. Конечно, судит нас, что мы не в России. Слава Богу, что жива. Всё до поры до времени. Ей, коммунистке, м.б. и хорошо.

26 января 1949 г.

<...> Радостью мне было письмо от Гали. Она такая оптимистичная, так преданна своей работе. Чувствуется, что ей живется неплохо. Городок маленький, уютный, квартира в две комнаты с кухней, топят жарко. Зима мягкая, снежит. В воздухе плывет колокольный звон, много церквей. Есть театр, рынок рядом. Работы много, но работу любит. Словом, она счастлива.

23 февраля 1949 г.

<...> Завалена любимой работой (переводы с иностранных языков, но переводы для авиатехникума, значит научные, технические – весело). Мечтает купить квартиру в собственность, очевидно, не заглохло чувство собственности. «Красивой жизни, как ты пишешь, у нас нет. Мы живем в планах коллектива, и в этом красота нашей жизни и творчества» – это ее слова. Но что такое «коллектив»? Это ведь сумма разных «я». А она пишет: «Мы живем не для себя или других, мы живем для коллектива». Работать с утра до ночи для коллектива без своих духовных желаний, своего духовного «я», думаю, невесело, нет и часа для себя, все перегружены работой. Галя здесь бы не нашла дороги. Она очень способная, но безвольная, истеричная, ей нужна дисциплина, чужая воля. Здесь среди расшатанной эмиграции дошла бы до дна по кафе и клубам. А там ее взяли в оборот, и сама собой довольна. Вопрос – надолго ли?»

5 апреля 1950 г.

<...> Письма от Гали. Чувствуется истеричность, искусственный подъем. Обожаение к Сталину, к Родине. Может быть, временно, ведь не так глупа, чтоб не очнуться. А споткнешься на пустяке, и исчезнет весь мираж жизни. Не шутка быть на службе по политграмоте. N.K.V.D. зорко следит. Поворота нет. Жутко. Письмам не очень доверяю, чересчур много славословия.

Обе [мои дочки] потеряли Бога в душе. За обеих молюсь и страдаю. Моя вина. Не умела воспитать, удержать, и сама несу за это тяжелое наказание. Галичка пишет, что на последней лекции ей попало слово «ангел», а студенты (мальчики 16-17 лет) не знают, что такое ангел – «да я и сама забыла». Помогли стихи Лермонтова, он часто его упоминает. Это Галя-то, которая ни одного Воскресенья не жила без церкви до отъезда в Советскую Россию.

12 апреля 1950 г.

<...> Галина читает в Университете лекции о «централизации политического аппарата». Это что? Неясно.

23 апреля 1950 г.

<...> Думаю часто и тревожно о Гале. Спадёт ее очарование, истерия, что тогда? Жутко. Какой ужас быть игрушкой в руках N.K.V.D. Возврата отсюда нет. Галочка, уезжая, мне говорила со слезами на глазах: «Если партия потребует, чтоб я убила тебя, я это сделаю во имя идеи...» На что я ей ответила: «Это дело твоей совести, я заранее тебя жалею и прощаю». Вот таких, как Галя, много было чекисток. Кошмар! Как мать, болею за нее – пусть дольше остается очарованной.

5 мая 1950 г.

<...> Получила письмо от Галины. Насчет их техники преподавания: «Во всем дисциплина ума». Кошмар! Напоминает Аракчеевские военные поселки. «Есть еще студенты с психологией старых пережитков. Им слово, они тебе двадцать в ответ. Приходится их убеждать, направлять на партийную линию». Студентам ее по 16-20 лет, какие же это пережитки прошлого? Родились в 30-м году, дети нового режима. Очевидно, это головы у них заработали не по режиму.

Много, конечно, у нее выпадов о пустой жизни нашего поколения: «не делали революцию, молодежь была безыдейная и пр.». Да, их вожди-то, кто революцию делал, тоже ведь все из нашего поколения – подумала бы поглубже!

Уехала туда уже 50-летней, а ведь еще в 38 году была в Croix-de-Feu – в кагулярах¹⁶. Это позднее, уже в 39-40 годах, перевернулась на советскую. А теперь – «мы пахали», мол, «Вы в прошлом вели пустую жизнь...», «Милюков мерзавец...» и т.д. Кошмар и ужас! И ведь нельзя ничего против сказать, иначе погубишь ее. Несчастливая женщина. Жаль

ее, бедную, и не знаю, как помочь – пусть лучше дальше верит, не просыпается.

Почему эта злоба? И именно на моих друзей? Отчего, не пойму. А когда нужно, так меня на сцену: «Мама была дружна с Горьким». Ничего подобного! Была я у них редко. С женой Горького¹⁷ (он уже не жил с ней) – да, была очень дружна, но она не была коммунисткой, а помогала в работе Союза городов.

2 ноября 1950 г.

<...> Из-за отъезда Галины нас от времени до времени беспокоят, особенно ученого внука¹⁸, не дают спокойно работать. Какое-то помешательство – всюду ищут шпионов.

6 декабря 1950 г.

<...> А моя Галина оказалась практичной, не растерялась в новой обстановке – нужно было свидетельство двух лиц, что она окончила гимназию. Написала жене Горького, моему старому другу, прося подтверждения, и та мило ей ответила, еще помнит меня. И Обручева использовала, как моя дочь. Большое место на моей душе. Я рада, что никому не мешаю, и уйду из жизни спокойно, одинокая, но с Богом в душе.

2 апреля 1951 г.

<...> Галина все профессорствует¹⁹ и сама сдает какие-то экзамены, попала на свою дорогу. Идейная коммунистка, хотя многого, я думаю, просто не знает. Письма ее интересные, но всё ли так? Патриотка до мозга костей, не хочет и думать о Франции. Мы для нее – «прогневившие люди материализма».

14 августа 1951 г.

<...> Получаю часто письма от Гали. Опять едет в Москву, пригласили ее мои старые друзья Обручевы, и мне это не очень нравится – не испортила бы она им жизнь, ведь кроме стариков там есть и молодые. Вообще, Галина пользуется тем, что она моя дочь, теперь и мои друзья ей вдруг стали интересны, раньше-то ими не интересовалась и даже была враждебна. Что она им там поет? Боюсь за них.

6 декабря 1951 г.

<...> Галя посылает письма-тетради, всё учит меня, как жить. Вижу, что она на всё смотрит по верхам. Учитесь в университете, но не пишет чему, хотя я догадываюсь. По-прежнему преподает в Авиационном техникуме, читает лекции в клубе офицеров. И Европу и нас ругает одинаково, капиталистическое прошлое ненавидит, но все-таки пишет и просит ей писать (что очень трудно, пишу о погоде, о море... и только). Из всего этого вывожу, что она тоскует по Европе, ненавидит и тоскует. Раскололась душа. Жаль. Злобно пишет мне: «У

тебя чтица, а сколько людей без чтиц. Ты, капиталистка, сидишь у окна и философствуешь, примиряешься с жизнью. Нужно ломать всё, что на пути мешает свету...» Я полуслепая. Я не обижаюсь. Конечно, это моя вина, не сумела воспитать. Многое в прошлом хотела бы вычеркнуть, в этом трагедия старости. Но в старые годы ко всему другой подход, по крайней мере у меня. Явилась какая-то широкая любовь к человеку, сама растворяюсь в этой любви. Если бы Галя даже и плюху дала, я бы не обиделась, только ее же больше бы еще пожалела.

В молодые годы я была более горячая. Помню, как я в Москве говорила своей приятельнице Е.П. (жена Горького): «Сколько злобы в людях, не люблю их!» А она мне в ответ: «А я всё больше и больше люблю людей, мне жаль их». Теперь я ее понимаю. Она кроткая, добрая, горела помощью людям всю свою жизнь, много прощала. И до сих пор осталась той же, как была. А я только у последней черты это поняла.

26 июля 1952 г.

<...> Дочь Галя пишет, получила ее приговор: «Вся твоя прошлая жизнь – жизнь белогвардейки». Поставила меня на нужные ей рельсы. Всё это мне уже не страшно. Угроза, ложь, грубость – не признак истины. Живу в своем духовном мире и знаю, что жизнь кончается, а отчет о ней у меня будет перед Богом, а не перед N.K.V.D.

12 октября 1952 г.

<...> Галя перестала писать, еще не выпрямила свою новую линию – жить в мире со [мною], капиталисткой.

29 июня 1953 г.

<...> Вижу, что всё у нее благополучно, но рассержена на меня, что я.. не выслала ей модных журналов. Она и правда просила их, а я не обратила на это внимания и попала теперь в «эгоистки». Всего курьезнее, что Галина в письме к своему приятелю обращается к нему с просьбой выслать модные журналы для мужчин, так как те интересуются модами не меньше, чем женщины. До чего дошли! Новая демократия.

Август 1953 г.

<...> Моя Галина убирать за собой по-прежнему ничего не желает, есть [у нее] для этого приходящая прислуга. Какое хамство, сказала бы я, распушенность, барство. Привилегия [у нее] – «голова»! Вспомнила слова Алексея Максимовича: «У нашей интеллигенции голова чересчур распухла, больно умны стали» (это, конечно, сказано было в партийной вражде с кадетами, я тогда обиделась за своих друзей). <...> Моя Галина носится с патриотизмом, как когда-то славянофилы. «Роялист плю кё руа» (написала французскую фразу по-русски – годы

после 1815 года, после Наполеона, после Венского Конгресса)²⁰.
«Ленинисты больше Ленина!»

6 октября 1953 г.

<...> Галина пишет часто. Новая политика всех их оживила. Как всегда, там всё туманно, но «отец народа» уже забыт и вспоминать бояться (это я так думаю, она об этом не пишет).

29 апреля 1954 г.

<...> Галина грозит нас «буржуев-капиталистов описать, как нужно...» – [описать] годы, когда она жила у нас, а я воспитывала брошенных ею детей. Даже Жоржика взяла с двух лет, а от Юли уже отказалась, Б.А. был болен. Этого она и не может мне простить, пришлось тогда работать самой. Но на Юлю я ей давала деньги 1000 фр. в месяц. Муж Гали, брат Б.А.²¹, написал мне перед смертью хорошее письмо, умоляя не бросать и не отдавать его мальчиков матери-истеричке, что он сделает всё, что требуется юридически, чтобы передать сыновей мне и Б.А.

24 марта 1955 г.

<...> От Галины письма стали другого тона – похоже, затосковала, но приехать невозможно. Она любит Францию, хотя и идеология другая. Вчера 23 (10-го) день Св. Гали. Написала ей и от нее же вчера получила письмо. Хорошая у нее девочка, ей уже 17 лет, написала хорошую работу по истории, всё время первая ученица. На будущий год будет студенткой.

28 февраля 1956 г.

<...> Я получаю часто [письма] от Гали и вижу по письмам, как во многом всё меняется, подходит к тому, что было. Обидно, что столько лет, столько жертв, человеческих жизней – и ни с места... Просит выслать Юле, дочери (18 л.), бальное платье, туфли... Рассчитаться землей, которая у нее здесь. Быть одетой лучше других, элегантнее – желание и матери, и дочери. Кажется, это не в духе коллективизма? Все любят хорошие вина, все стремятся к люксу, покупают *biжoux*, что доступно. У дочери пикники, танцы, увлечения. Но учится хорошо и весной будет студенткой. Живут они во Владимире, по крайней мере, сытно. И город неузнаваем, красив. Где правда, где мишура? А как же лагерь? Не знаю...

23 апреля 1956 г.

<...> Галя всегда резко говорит о Борисе Алексеевиче²². Я написала ей, что всем мы обязаны ему, и если она получила в подарок от меня землю и имущество, так ведь это всё от него. А она: «Он должен был нам заплатить за украденную маму, какой бы дрянью он ни был». Это ведь надо сказать! Молчу. Простит ее Господь.

15 мая 1956 г.

<...> Галина пишет много, но не о политике, а вообще об их жизни «новой и счастливой». Дочь уже кончила 10-летку, студентка. 18 лет. Серьезная девица и самостоятельная. Конечно, продукт воспитания. Столкнется с жизненной правдой, во многом разочаруется, она умная, разберется. А моя дочь, как была истеричкой, так, вероятно, и останется до конца жизни, но это не мешает ей быть красноречивой и всё легко схватывать на лету, никогда не потеряется, всех заговорит.

4 февраля 1957 г.

<...> Мне писала Галина: «Не забывай, у нас три течения: партия, правительство и народ». Первые два я понимаю, а кто такой «народ» и где он с его голосом? – не слышу, не знаю.

31 августа 1957 г.

<...> Никому я [здесь] не нужна и не интересна. Так, [приходят навестить] pour passer le temps²³, а душой далекие... совсем не родные. Несмотря на истеричность и лживость дочери Гали, она ближе других. Хоть и ругает меня, оскорбляет (иногда и за дело) и даже ненавидит, а все-таки тянется ко мне. Галию понимаю. Жалею, зачем я не уехала тогда с нею! Мужества не хватило.

* * *

Такие вот документы.

No comment.

То было время ломки: время отказа и время приспособления, время восторгов и время неприятия, одним словом, то было – время ВЫБОРА. Впрочем, почему «было»?..

«Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете.» (Лука: 6, 37)

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Архив Univ. of Minnesota (USA) IHRC809 S3 SS4 B37 F1-7.
2. Эта отсылка к Гоголю («Мертвые души») – аллюзия, связанная с опасением прихода к власти во Франции коммунистов, поддерживаемых СССР, и с угрозой расширения советской зоны влияния в Европе, – опасения, весьма распространенные среди русской эмиграции в послевоенные годы.
3. Движение Сопrotивления – общее название отдельных национально-политических движений сопротивления за освобождение Франции от немецких оккупантов. Единый Французский комитет национального освобождения был создан лишь в 1943 году. В Движение входили коммунистические фронтирёры (подпольщики) и макиреры (партизаны), военные деголевской «Свободной Франции» (при поддержке Англии), вишисты, выступавшие за освобождение страны. Из бывших советских военнопленных было создано порядка 35 партизанских отрядов с собственным руководством.

4. После окончания войны Г.С. Родионова вступила в Союз Советских патриотов (1943-1948) – просоветскую организацию русских эмигрантов, живущих во Франции, деятельность которой официально контролировалась генконсульством СССР в Париже.
5. Марков Александр Прокофьевич (1886–1972) окончил духовную семинарию, затем юридический фак-т Харьковского и экономический фак-т Московского ун-в. Февральскую революцию поддержал, но Октябрьский переворот не принял, в 1922 г. был арестован и выслан из страны. Жил в Берлине, с 1925 г. в Париже, преподавал экономическую географию в Русском коммерческом институте. Во время войны участвовал в движении Сопротивления. С 1944 г. занял активную просоветскую позицию, за что в 1947 г. был выслан из Франции. Жил в Болгарии, в 1950 г. уехал в СССР, где был арестован как «резидент английской, французской и японской разведок» и приговорен к 25 годам лагерей. После амнистии в 1954 г. преподавал в Харькове.
6. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 14 июня 1946 г. «О восстановлении в гражданстве СССР подданных бывшей Российской империи, проживающих на территории Франции».
7. Одинец Дмитрий Михайлович (1883–1950) – общественный и политический деятель, профессор истории и права. Член правления ЦКСоюза Советских патриотов (С.С.П.), зав. юридическим отделом и редактор газеты «Советский патриот». По Указу от 14 июня 1946 г. получил советское гражданство. В 1948 г. все члены центрального правления С.С.П. были арестованы и депортированы в советскую зону оккупации. После репатриации был направлен в Казань, где преподавал на историческом факультете Казанского университета.
8. Имеется в виду процедура, предусмотренная французским законодательством: *Accouchement sous X* (роды от X): беременная женщина может родить анонимно, для чего должна официально уведомить медицинское учреждение о своем решении. Родившийся «от X» ребенок передается в службу социального обеспечения для возможного усыновления. В течение 2 месяцев после родов мать имеет право изменить решение и забрать ребенка.
9. Мачеха (*фр.*)
10. Выпускные экзамены (бакалавр)
11. Андре Марти (1886–1956) – французский коммунистический деятель, член парламента, секретарь Коминтерна, руководивший Интернациональными бригадами в Испании.
12. Речь идет о восстании декабристов 1825 года.
13. *gaga* – пожилой человек, «впавший в детство». (*фр. разг.*)
14. Стихотворение Я. Полонского (1819–1898) «Узница» посвящено народнице Вере Засулич.
15. По решению Потсдамской конференции 1945 г. северная часть немецкой провинции Восточная Пруссия, вместе со столицей Кёнигсбергом, была передана СССР. К концу 1947 г. коренное немецкое население было депортировано в Германию (из 370 тыс. жителей осталось 20 тыс.), а вместо них в город были переселены советские граждане.
16. *Les Croix de Feu* – французская националистическая организация «Боевые кресты». «Кагуляры» (от фр. *cajoulards*) – члены французской профашистской организации «Секретный комитет революционного действия», активной в предвоенные годы.

17. Пешкова Екатерина Павловна (Урожд. Волжина, 1876–1965) – правозащитница и общественный деятель. Жена Максима Горького, после разрыва официально брак расторгнут не был.
18. Имеется в виду Владимир Иннокентьевич Швецов – старший сын Галины от первого брака, ученый-физик.
19. Здесь: «учительствует», от фр. Professeur – учитель.
20. «Быть большим роялистом, чем сам король.» (Шатобриан «Монархия согласно Хартии», 1816) (*фр.*)
21. Иннокентий Алексеевич Швецов (1893–1934), первый муж Г.С. Родионовой.
22. Борис Алексеевич Швецов (1873–1939), второй муж А.А. Швецовой.
23. Провести время (*фр.*)

Публикация, комментарий – М. Макаров

Лариса Вульфина

«Мы все идем одним путем — к вечности...»*

Продолжая начатый на страницах «Нового Журнала» обзор документов семейного архива Ф.С. Рожанковского (1891–1970)¹, нельзя обойти вниманием имя еще одного корреспондента художника – С.М. Зёрновой (1899–1972). Общественная деятельница, спасшая жизни сотни соотечественников, оказавшихся в эмиграции в бедственном положении, была известна и как основательница детского дома в пригороде Парижа (Монжероне), где до сих пор сохранились фрески, выполненные художником по просьбе Софьи Михайловны в начале 1960-х годов. Письма Зёрновой к Рожанковским удачно дополняют документы, хранящиеся в Центре русской культуры Амхерст Колледжа в США. Исследование этих свидетельств позволило сделать «прыжок» в события прошлого, приблизить имена, ставшие сегодня уже далекими, услышать прорвавшиеся сквозь десятилетия «живые голоса» ярких фигур в истории Русского Зарубежья, без которых Россия, однажды потеряв, не возродилась...

О С.М. Зёрновой говорили – родилась с природным даром творить добро. О том, как формировались черты ее характера в юности – требовательность к себе и другим, смелость, жертвенность, – описано в книге «На переломе», изданной в Париже в 1970 году². В настоящей публикации оттолкнемся от 1917 года, который, по выражению отца Софьи, известного московского врача М.С. Зёрнова³, явился «гранью между прежней свободой и новым насилием». События той роковой осени заставили их семью спешно выехать на Кавказ. Девятнадцатилетняя Софья тогда только закончила частную женскую гимназию Хвостовой⁴. Старший брат Николай в тот год поступил на медицинский факультет Московского Университета, младшие сестра Маша и брат Владимир были еще гимназистами. В Эссенуках у родителей Софьи было собственное имение, там они надеялись переждать смутные времена и вскоре вернуться в Москву, но планам не суждено было сбыться.

В 1920 году семью врача Добровольческой армии М.С. Зёрнова эвакуировали в Грузию, еще через год они эмигрировали сначала в

* Статья основана на материалах семейного архива художника Ф. Рожанковского и архива Amherst College (шт. Массачусетс, США).

Константинополь, затем в Королевство сербов, хорватов и словенцев. Высшее образование четверо детей Зёрновых получили уже в Белградском университете. Николай и Маша закончили богословский факультет, Владимир – медицинский, Софья – философский⁵. В 1925 году Софья с братом Николаем уехали в Париж. Поселились они в Латинском квартале. Через год к ним перебрались родители, а вскоре и Мария с Владимиром. Все члены семьи Зёрновых получили в эмиграции широкую известность. Позднее Николай переехал с женой в Англию, стал почетным профессором в Оксфорде⁶. Владимир лечил многих своих соотечественников, был личным врачом Ивана Бунина⁷. Зёрнов-старший продолжал заниматься медицинской практикой, состоял в Обществе русских врачей в Париже, создал шестнадцать именных стипендий для нуждающихся эмигрантов. Софья, помогая отцу во всех общественных и благотворительных делах, с 1932 года трудилась в Центре по поиску работы для русских эмигрантов. Представить обязанности сотрудников Центра помогут сохранившиеся отчеты С. Зёрновой о работе в Русском Бесплатном Информационном Бюро:

«Уже 16 месяцев (С июня 1932-го по сентябрь 1933-го. – Л.В.) Бюро неустанно трудится, отыскивая русским безработным места. За это время в Бюро записалось: 1589 безработных. Из них мужчин 974, женщин 615. Мест было найдено за 16 месяцев: 906 (включая временные). Из них мужских 347, женских 559. Среди безработных есть всевозможные профессии. Бюро может рекомендовать как прислугу, так и рабочих, и интеллигентных людей. Все записанные в Бюро безработные рекомендованы представителями видных русских общественных организаций, таким образом удастся более или менее гарантировать честность рекомендованных лиц. За 16 месяцев работы не было ни одной жалобы, что человек, рекомендованный Бюро, был бы нечестным. В Бюро записаны специалисты по самым разнообразным профессиям, все они искренне стремятся работать и, несмотря на это, иногда не знаешь, что легче – найти ли какое-нибудь место или заполнить его каким-нибудь подходящим человеком. Весь труд можно разделить сейчас на три категории: 1) интеллигентные 2) рабочие, шоферы, портнихи и 3) прислуга. За 16 месяцев было найдено мест: интеллигентных – 63, полуинтеллигентных – 307, прислуги – 536. Просматривая работу Бюро за эти месяцы, невольно задаешь себе 2 вопроса: 1) может ли пропасть без работы русский человек? 2) опустилась ли русская эмиграция? И без малейшего колебания отвечаешь на оба вопроса «нет». Русский человек не может пропасть без работы. Всё зависит от него самого. Хороших русских работников ценят во Франции. Если он не боится никакого труда, если он готов идти на любую работу и за невысокое вознаграждение – он всегда выбьется в люди. Исключение представляют старики и больные. Их положение

часто совсем безвыходное. Почти все старики записываются по одной, совсем безнадежной специальности, – сторожами. Некоторые из них также могут давать уроки по всем предметам. Но ни в уроках, ни в сторожах никто не нуждается, а если и нуждаются, то хотят молодых.

Большинство же русских готовы идти на всякую работу; бывшие офицеры, генералы, помещики работают на заводах, шоферами, поварами, плонжерами* и делают это мужественно и просто. Русская женщина, особенно если она мать, м.б. еще самоотверженнее и безропотнее готова нести любой труд, но у нее почти всегда одно неперемное условие – быть приходящей, вечером, после рабочего дня, вернуться к себе домой, большую часть к мужу, к детям. Поэтому так трудно найти русскую *bonne à tout faire***, и Бюро старается заменить их так называемыми *hommes à tout faire* – мужчинами, одинокими, готовыми на всякий труд, делать менаж***, готовить, стирать и даже штопать. Вышеприведенные цифры показывают, насколько меньше русские женщины нуждаются в подыскании труда и насколько больше спрос на женский труд.

Можно признать, что Русская Эмиграция не опустилась, что она состоит в большинстве своем из честных и мужественных тружеников, но, с другой стороны, жизнь в эмиграции способствовала развитию у русских профессиональных, эмигрантских недостатков. Самый большой из них – русское непостоянство. Ничто так не любит русский эмигрант, как менять места. Раньше русские стремились переезжать из страны в страну, теперь это затруднено невозможностью получить визы, и эмигрант довольствуется тем, что при всяком удобном случае старается переменить место. Особенно это заметно среди людей, ищущих места прислуги. Можно почти наверное сказать, что гарсон из ресторана успел поработать почти во всех русских ресторанах и отовсюду имеет хорошие рекомендации. Не намного более постоянны русские повара, плонжеры и лакеи. Так, часто спрашивая русского «валета» (как они себя большую часть называют)****, отчего он ушел с последнего места, слышишь привычный ответ: ‘да я там восемь месяцев служил’. Ему кажется, что это срок, дающий право искать себе чего-нибудь лучшего, и он тянется, сам не зная куда, часто променявая хорошее место на плохое. В смысле работы русские женщины обладают большим постоянством, чем мужчины. Есть и другие, характерные для русских эмигрантов недостатки и достоинства. Хочется привести здесь несколько случаев: однажды француз, нанявший русского лакея, застал его утром, убирающим комнаты. Одной рукой он водил щеткой, подметая пол, в другой держал книгу стихов Верлена и с увлечением декламировал стихи.

* посудомойщик (фр.)

** прислуга, домашняя работница (фр.)

*** уборка (фр.)

**** Le valet – лакей, прислужник (фр.)

Был другой случай, когда русский лакей в одном очень чопорном английском доме, принеся дочери хозяев завтрак, заявил: 'Какой у Вас чудный рояль'. И на вопрос, играет ли он, сыграл ей вальс Шопена. Напрасно отец барышни ожидал внизу своего завтрака, русский лакей забыл свою непривычную должность.

Один *home à tout faire**, готовя обед, срезал с кожей почти половину картофеля, т.к. одновременно с чисткой картофеля читал книгу, прислонив ее к подставке, сооруженной из кастрюль. Подобных случаев было немало, но большею частью это случилось с теми, кто впервые поступал на место прислуги.

Но были и другие отзывы. Вообще, русских работников ценят за то, что они умеют работать, не считая часов, забывая о своей усталости, способны увлекаться работой и вкладывать в дело живой интерес. И иностранцы умеют это ценить. Как часто звонят по телефону, чтобы сказать: '... мужчина, которого Вы прислали – настоящая жемчужина', или же: 'теперь я хотел бы иметь только русских в моем доме', или же: 'могли бы Вы мне найти мужчину, похожего на того, которого Вы рекомендовали моей подруге? Он – идеальный', или же: 'но кто был этот мужчина до того, как он прибыл во Францию? Он так хорош!' Тогда хочется от лица всех русских поблагодарить этих скромных тружеников, оказывающих великую услугу всей русской эмиграции, потому что как по одному плохому судят плохо о всех русских, так и по одному хорошему составляют себе мнение о всех. София Зёрнова. 2 октября 1933 года»⁸.

Цифры следующего годового отчета показывают, как увеличилось число обратившихся в Центр Помощи с мая 1934-го по май 1935-го (всего было подано 2109 заявок, для 1252 были найдены места). Большинство предоставленных мест – это служащие в домах, что легко объяснить: ограничений в иностранном труде в этой области не было; кроме того, во Франции трудно было найти честную и хорошую прислугу. Далее шли консьержи, садовники, секретарши, прачки, портнихи, репетиторы, шоферы и даже актеры. Эмигранты брались за любую работу, т.к. на семь франков в день «шوماжных» денег можно было едва пропитаться. Если подходящих кандидатур не было – людей готовили, за них потом были в ответе, ими гордились. «Например, – писала в отчете Зёрнова, – есть один калмык, которого мы постоянно ставим всем в пример. Он человек честный, чистоплотный, всегда вежливый и основательный. Через наше Бюро он окончил курсы поварского искусства, прекрасно готовит, подает на стол, убирает, стирает, как первоклассная прачка, хорошо управляет автомобилем и понимает садоводство. Кроме того, он человек совсем не пьющий, всегда готовый всё сделать и обладающий большой трудо-

* разнорабочий (*фр.*)

способностью.»⁹ Далее приводится много схожих примеров о тех, кто был на грани опустившихся на дно, но, получив работу, люди возродились. Оба этих документа – подлинные свидетельства того, как сложно было оказывать помощь в подыскании труда сотням людей и сколько сил отдавалось сотрудниками для успешного развития Центра.

Параллельно с этим велась и работа, ставшая жизненным предназначением Софьи Михайловны. Не имея семьи, весь запас доброты она до конца своих дней отдавала чужим детям. В середине 1930-х годов в хронике русских газет стали появляться маленькие заметки с извещением – Центр отправляет на бесплатные каникулы русских детей из нуждающихся семей. Поначалу с большим трудом удалось найти лишь двадцать шесть детишек, решившихся поехать в неизвестные семьи в Швейцарию. На сообщение о вторичной отправке откликнулось уже более двухсот кандидатов. Отправляли детей на два, три, пять месяцев, некоторых оставляли на год. В этой гигантской работе, основанной на доверии двух сторон, вере в человеческое добро и порядочность, Софье помогала ее младшая сестра Мария, вместе с мужем она жила тогда в Женеве¹⁰. Софья составляла списки малоимущих родителей, а Мария договаривалась с семьями, готовыми принять детей, которые никогда не выезжали дальше Парижа. Многие простые и небогатые швейцарские семьи охотно отзывались на призыв поделиться с ребенком тем немногим, что у них было.

«Я знаю, что слова не могут выразить всю мою благодарность Вам и всем тем, кто столько сделал для моих детей, – писала одна из родительниц-эмигранток. – Я благословляю день, когда я решила послать моих мальчиков в Швейцарию. С этого момента они были перенесены в другой мир, от зла и страданий – в мир любви и добра. Мои дети со дня их рождения не знали ничего, кроме лишений и горя. Как горячо молилась я Богу, прося Его спасти моих детей, и Господь услышал мою молитву. Это Рождество было первым радостным праздником в их жизни. Они никогда еще не получали столько сладостей, как в этом году. Я потеряла счет посылкам, шоколаду и деньгам, которые они получили. Уже два месяца, как у меня нет никакой работы, нет и шوماжа, т.к. нет разрешения на работу во Франции. Но, как видите, Господь не оставляет нас. В первый день нашего Рождества мне принесли из Центра Помощи целый чемодан, полный провизии, там было 2 полотенца, 2 платка и лекарства для детей. Детей нельзя больше узнать – такие они стали веселые и жизнерадостные. А письма, которые они получают из Швейцарии, – полные материнской заботы! Я совсем потеряна, я не привыкла к такому вниманию. О, вы, неизвестные друзья, бескорыстные, не ожидающие благодарности, знаете ли вы, какая горячая молитва обращена к Господу Богу за всех вас? Знаете ли вы, сколько благодарных слез пролито перед Ним? Я хотела бы встать перед вами на колени и земно

вам поклониться за всё, что вы сделали для моих детей. Меня упрекают, что я отдала их в хорошую школу. Но я обожаю мою несчастную Родину. Только для нее я воспитываю моих детей. И все унижения, которые я принуждена переносить, кажутся мне теперь ничтожными рядом с той радостью, которую вы принесли в мою жизнь.»¹¹

Среди документов Центра Помощи сохранились и письма детей, получивших во время каникул не только друзей, но и любовь, и даже семью, которой у многих не было. Мальчик по имени Олег пишет родным в 1937 году из Швейцарии: «...Кормила madam Hargardner как в ресторане, и я ее водил на базар. Дурного сказать не могу – хорошая дама, и я там работал, масло бил. Теперь я знаю, как делают швейцарский сыр. За рыбой ходил ловить карпов. Она мне удочку купила. Вот что хорошо, что там много всяких фруктов, и дама пирожных мне покупала, когда я хотел»¹². Таких писем было большинство, хотя случалось разное. Так, например, в одном простом небогатом доме с волнением ждали дня прибытия детей и уже приготовили комнату ребенку. Но восьмилетний мальчик, которого к ним привезли, оказавшись в доме, вдруг начал плакать и протестовать, т.к. хотел жить в семье, где обязательно есть собственный автомобиль. Вероятно, это была вина родителей, рассказавших ребенку о «швейцарских замках». Чаще всего жалобы детей сводились к одному – им приходилось работать. Бывали случаи, когда детей просили убрать со стола или вытереть посуду, но они отвечали на это: «Я вам не прислуга» или «Я приехала отдыхать, а не работать». Каждый подобный инцидент Зёрнова считала непроситительным и рассматривала, не скрывая беспокойства, с особым вниманием. Она хорошо знала положение своих соотечественников в эмиграции и глубоко уважала тех родителей, которые не стыдились браться за любую работу, поэтому ей было так важно подготовить детей к трудовой жизни. Наблюдать, как дети презирали труд, ей было невыносимо больно. Но, к счастью, случаи отказа в помощи со стороны прибывших детей являлись исключениями. Большинство с готовностью помогали чем могли своим патронам на ферме, по хозяйству, в продаже фруктов на рынке. В ежегодном отчетном докладе Центра Помощи упоминается мальчик, которого поместили в небольшой пансион, и вскоре он получил прозвище «Le Petit Prince». Хозяйка пансиона рассказала Зёрновой: ребенок был так хорошо воспитан, так благодарен за все услуги и так стремился помочь всем и во всем, что в представлении швейцарцев так вести себя мог лишь маленький принц¹³.

В 1939 году сотрудникам Центра удалось определить на летний отдых еще шестьсот ребятишек. Но началась война. Из воспоминаний С. Зёрновой о событиях тех дней:

«Война объявлена. Не хочется останавливаться на этой мысли.

Война – безумие и ужас. Но теперь отступления нет. Все дни проходят в хлопотах и в заботах о детях. Париж ждет газовой атаки. Всем французам выдают противогазовые маски. Для русских их не хватило. В нашем Бюро мы решили мастерить их сами. Это и бессмысленно, и смешно, но русские довольны. Достаем марлю, какой-то уголь, шьем, раздаем. С утра до вечера приходят люди, выслушиваю повести о человеческом горе. Каждому хочется пожаловаться, рассказать о своих несчастьях, и он ждет, чтобы его выслушали и помогли. Но больше всего меня заботят дети. Издан приказ – эвакуировать всех детей из парижской зоны. В мэриях и коммунальных школах устроены центры эвакуации. Ко мне приходят матери. Их мужей берут во французскую армию, а для детей места нет. В Париже паника. Все стараются покинуть город. К вокзалам невозможно подойти. Люди ночуют на улице в ожидании поезда. Детские приюты Земгора и Красного Креста закрылись, они не хотят нести ответственность за детей во время войны. Все дети, а их было шестьсот, которых я послала в Швейцарию, спешно возвращаются. Их всех привозят к нам в Бюро. Швейцарцы боятся, что дети будут оторваны от родителей, многие из которых уехали в отпуск. Мы с Катей Меньшиковой звонили кн. Мещерской в ее старческий дом¹⁴. Она согласна уплотнить стариков и освободить для детей дом в Вильмуасоне*. Послали записку в газеты ‘Возрождение’ и ‘Последние новости’, просим русских шоферов такси помочь нам вывезти детей. Перед Бюро длинный ряд машин. Погружаем туда детей и отправляемся в Вильмуасон. Так приятно видеть лица русских шоферов и знать, что они сразу откликнулись на наш зов. А в эти дни они могли бы заработать тысячи. Это все офицеры Белой Армии. В Вильмуасоне разместили детей на полу на матрасах (кроватей нет), но родители счастливы, что ‘спасли детей от газовой атаки’. Кн. Мещерская присылает еду из старческого дома. <...> Просыпаюсь утром с тоскою и холодом в сердце. Потом всё до конца отдаю Богу. Произносишь уставную молитву, а где-то в глубине другой голос просит молиться о тех, кого любишь»¹⁵.

Вскоре после начала войны Бюро было закрыто, но без работы Зёрнова не оставалась ни одного дня. В 1940-е она помогала укрываться евреям, в послевоенное время, когда деятельность Центра снова возобновилась, – занималась русскими беженцами во Франции, вывезенными немцами во время войны на принудительные работы, а также бывшими военнопленными. Вместе с сестрой Марией спасала тех, кто по постановлению Совнаркома 1944 года должны были быть возвращены в СССР. Для только что приехавших во Францию беженцев, не знающих языка и не имеющих права жить и работать в стране, она добивалась разрешения остаться во Франции, устраивала на работу,

* Пригород Парижа.

находила средства для изучения французского. Во время поездки в Америку в 1946 году Зёрновой удалось собрать и привезти деньги для Детского православного дома, создание которого задумывалось ею еще в предвоенные годы¹⁶. Прошло семь лет с той поры, когда детей поселили в Вильмуасоне, но они по-прежнему ютились в этом мало-пригодном месте. И тогда она начала энергично действовать, не останавливаясь ни перед какими препятствиями. В русскоязычных газетах были опубликованы воззвания о сборе денег для приюта. Пожертвования присылались отовсюду, но их всё же было недостаточно. Иногда источники финансовой помощи были самыми неожиданными. Так, однажды к ним в Бюро пришел бедно одетый старик и принес 5000 франков. Тогда же они услышали и его историю. Николай Алексеевич Лебедев в прошлой жизни в России был учителем. Оказавшись во Франции, он был вынужден зарабатывать на жизнь сбором макулатуры, добывая бумагу в мусорных ящиках. Прочитав однажды объявление в газете, он стал откладывать «на деток» каждый свободный франк. Подключив по-дружески к сбору денег французских клошаров, Лебедев вскоре принес в Бюро еще 5000 франков. Воодушевленная таким почином, Софья Михайловна решила обратиться к одной богатой графине, супруге французского алюминиева короля, и попросить ее стать почетной представительницей Комитета по сбору денег. Но последовал отказ. И только после того, как графиня узнала историю про вклад нищего русского, она прислала чек на 100000 франков. В письме к чеку говорилось: «Если клошары дали вам 5 тысяч, то я должна дать вам 100000». После этого Зёрнова обратилась к другой состоятельной даме, рассказав ей ту же историю. Виконтесса была настолько впечатлена, что легко рассталась с золотым браслетом с изумрудами, предложив продать его в лотерее. Так никому не известный и скромный Николай Алексеевич Лебедев помогал собирать деньги для детей. Сумма мало-помалу увеличивалась, но мечта о покупке дома всё еще оставалась несбыточной. К тому же, согласно французским законам, необходимо было учитывать ряд обязательных требований – наличие двух отдельных помещений (для мальчиков и для девочек), школы и лица поблизости. Наконец, в 1953 году подходящее здание удалось найти. Сильно запущенное строение, напоминающее своими архитектурными формами средневековый замок (с башней, гербом на воротах и крепостной зубчатой стеной с проемами бойниц, парком, рекой и прудом), находилось в юго-восточном предместье Парижа Мулен де Санлис (Moulin de Senlis).

История Мулен де Санлис связана с именем французской королевы Анны Ярославны (дочери Великого киевского князя Ярослава Мудрого), ставшей в 1053 году супругой короля Генриха I. В 1060-х Анна Ярославна основала аббатство Санлис (Senlis) в Северной Франции. У этого аббатства были земли и в других частях Франции, в т.ч. и в Монжероне. Поэтому построенная в средние века мельница

была названа Мулен де Санлис. В 19-м веке этот живописный уголок любили посещать художники-импрессионисты¹⁷. Имение, которое поначалу оценивалось в 12 миллионов франков, было продано детскому дому в 1953 году за полцены, и работа закипела¹⁸. Ответшавшие помещения нуждались в капитальном ремонте, не было электричества и канализации. Благодаря энергии С.М. Зёрновой и ее ближайших помощников – А.Т. Шмеман¹⁹, электротехника К.П. Турчанинова, инженера В. Юргенса, А.П. Щеблякова – была проведена вода, построено центральное отопление, куплена мебель, и уже в 1955 году в ворота Мулен де Санлис заехали несколько грузовиков, нагруженных багажом, сотней детишек и их воспитателями.

«Началась иная жизнь. Замок очаровал всех. Комнаты были свежеекрашены, всюду было тепло, светло, прекрасные ванны и души помогали держать детей в чистоте. В кухне была плита, самая дорогая, но и самая экономная, пожертвованная супругами Д'Агиар. Но многого еще не хватало, не было линолеума на полу, недоставало столов, стульев, кроватей, матрасов, одеял, постельного белья, посуды. Дом мальчиков тоже не был еще перестроен. Но мы не унывали: главное было достигнуто, у нас был чудесный замок, достаточно большой, чтобы поместить всех детей. Их мы записали в соседние школы, и они скоро втянулись в учебу», – вспоминала Софья Михайловна через два десятилетия²⁰.

Дети школьного возраста посещали французские школы и, одновременно, в стенах Детского дома воспитывались в духе православия, изучали Закон Божий, участвовали в богослужениях в церкви святого Серафима Саровского. Эта небольшая церковь в византийском стиле была заложена в 1957 году стараниями Зёрновой²¹. Приблизить молодежь к Церкви, объяснить смысл церковных служб было для нее архиважной задачей. Вскоре удалось прикупить землю и для спортивной площадки. Всё это стало возможным благодаря жертвенности неравнодушных людей. В летописи Монжерона навсегда останутся имена семьи Гаргановых²², Марии и Густава Кульманов, Даниила Скобцова²³, Нины Кандинской²⁴, Сергея Джанумова²⁵, князя Игоря Трубецкого²⁶, композитора Сергея Рахманинова и его дочери Татьяны Колюс²⁷, Бориса Бахметева²⁸, графини Софьи Лопухиной²⁹, Владимира и Александры Айзových³⁰.

В летопись детского дома в Монжероне, так точно названную в воспоминаниях Софьи Зёрновой «историей человеческого добра», вписано и имя Федора Рожанковского. В 1960 году художник после двадцати лет жизни в Америке переехал с семьей во Францию³¹ (пришло время дать двенадцатилетней дочери Татьяне европейское образование). Жили они в Париже в съемной квартире, а лето проводили на Лазурном Берегу в «русском поселке» Ла Фавьер в недавно

построенном собственном небольшом доме. Где и когда С. Зёрнова впервые познакомилась с Рожанковским – неизвестно, но семью его жены Нины Федотовой она хорошо знала еще по довоенному Парижу³². Узнав, что художник вернулся во Францию, Софья Михайловна обратилась к нему с просьбой расписать стены монжеронской башни на мотивы русских народных сказок. Рожанковский ответил согласием трудиться на добровольных началах и весной 1961-го уже приступил к работе. В течение полутора лет голое пространство холодных стен башни постепенно превращалось в захватывающую многоплановую круговую панораму, сотканную из калейдоскопа самых разных сценок деревенской были и сказок. И все эти сюжеты – зимний пейзаж с пушистыми белками и красногрудыми снегирями, согретье июльским солнцем спелые гроздья рябины, «танцующие» фигуры косарей в ярких свободных рубахах, сельская детвора, бегущая «гигантскими шагами» вокруг столба с веревочными петлями (давно забытая народная забава), трехъярусный густой еловый лес, цветной веселый хоровод, сцены охоты и рыбалки – были залиты лучами гигантского солнца и наполнены безмятежностью и покоем. «Зиму» и «Лето» разделяла специально построенная голландская печь, в центре которой в фигурной рамке было выложено цветное панно с портретом Пушкина. В остальное пространство (так называемое «зеркало печи»), состоящее из керамических плиток, выполненных в стиле традиционных бело-голубых голландских изразцов, художник тонко вписал образы героев пушкинских сказок. Из письма Ф.С. Рожанковского другу осенью 1961 года:

«Я расписываю Круглую башню в старом имении, где помещается русский приют для покинутых детей (в принципе, от русских или смешанных браков, но в последнее время исключений не делают для местных жителей). Один из них в почтенном возрасте (80 лет) отдаст в этот пансион уже восьмого своего ребенка. По профессии он философ и материально не обеспечен и посему и детей обеспечить ничем не может. Я вряд ли доживу до момента, когда он перестанет производить детей. Но в общем дети его не плохи, и я ничего не имею против его перепроизводства. Так – в башне – я панорамно посылаю привет Родине. Пишу Рассею, бывшую и будущую. Все приходят и любят. Разные индифферентные и даже ранее неприятно настроенные личности под влиянием моего высокого искусства изменили ко мне отношение. Конечно, мне это нравится. Я Вам вскоре пришлю фотоснимки этой башни. В ней мне нравится окно, которое я расписал особыми прозрачными красками под витраж. Тема: моя любовь к природе. Оно хуже, чем витражи Шагала, но ‘не плёхо’, как говорит одна моя знакомая француженка, желая блеснуть знанием русского языка»³³.

Летом 1965 года Рожанковские вернулись в Америку, купили

новый дом в Бронксвилле, дочка продолжила образование во французском лицее в Нью-Йорке. С Зёрновой они больше не виделись. Осенью 1970 года после продолжительной болезни Ф. Рожанковский скончался. Софья Зёрнова пережила его на два года. Одиннадцать писем Зёрновой, сохранившихся в архиве художника, были написаны ею в период тяжелых физических страданий, которые она переносила с редким мужеством (с 1961-го и до кончины Федора Степановича)³⁴. Еще в конце 1950-х ей диагностировали рак, была сделана операция. В 1966-м она сильно пострадала в автокатастрофе, после чего пришлось заново учиться ходить. Затем случился инсульт, сначала отказала левая рука, потом вся правая сторона. В 1969 г. Софья Михайловна по состоянию здоровья была вынуждена передать свои обязанности княгине Наталье Александровне Андрониковой³⁵. 18 января 1972 года жизненный путь С.М. Зёрновой завершился. Последние месяцы она провела в парижском госпитале Кошен (Cochin) и была похоронена в Медоне. Среди нескольких сотен собравшихся проститься были и воспитанники приюта. «Я всегда сознавал, что в моей жизни Софья Михайловна сыграла очень важную роль, ‘приобшив’ меня к тому миру, который и стал моим», – напишет после смерти Зёрновой один из ее подопечных, ставший священником³⁶.

После кончины Зёрновой детский дом существовал недолго. Дети выросли и разъехались. К середине 1970-х приют опустел, замок стал разрушаться. Какое-то время в нем устраивались выставки нонконформистского искусства³⁷, позже помещения сдавались беженцам из восточноевропейских стран. В 1998 году Татьяне Рожанковской-Коли удалось побывать в Монжероне. По воспоминаниям Татьяны Федоровны, башня очаровала всех, кому вместе с ней довелось в тот год приехать в Монжерон и увидеть «фрески» отца; однако отсутствие отопления и сырость уже тогда сказывались на росписях³⁸. Последующие два десятилетия фрески находились в критическом состоянии, под угрозой исчезновения. Надежда на реставрацию появилась в 2018 году, когда Мулен де Сенлис был включен мэрией Монжерона в реестр исторических памятников. Но с тех пор пока всё по-прежнему остается в подвешенном состоянии. А так хотелось бы, чтобы это удивительное место продолжало хранить историю о человеческой доброте и, конечно же, память о Софье Зёрновой и Федоре Рожанковском, родившихся по странному совпадению в один день – 24 декабря, с одинаковым врожденным даром – зажигать сердца детей.

Стиль и орфография авторов писем сохранены. Примечания сделаны публикатором. Автор выражает большую благодарность Татьяне Федоровне Рожанковской-Коли и Беатрис Михельсон (Béatrice Michielsén) за ценные дополнения и уточнения.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. *Вульфина, Л. Ф.* С. Рожанковский и В. Б. Сосинский. Переписка 1957–1967 гг. «Новый Журнал», 2019, № 294; *Вульфина, Л.* «И нет ничего приятнее, чем спать под открытым Небом». Письма Ю. Бобрицкого к Ф. Рожанковскому. НЖ, 2020, № 298.; *Вульфина, Л.* Глобусные человечки. Переписка А. Ремизова и Н. Кондрянской с Ф. Рожанковским. НЖ, 2021, № 302.
2. На Переломе. Три поколения одной московской семьи. Семейная хроника Зёрновых. 1812–1921. Под ред. Н.М. Зёрнова. Париж, 1970. См. рецензию *Н. Андреева* на эту книгу в «Новом Журнале», 1973. № 111. С. 248–250. Через три года в Париже была издана вторая книга, в которой собраны мемуары Зёриных семьи Зёрновых за полвека жизни в эмиграции: «За Рубежом. Белград. Париж. Оксфорд. Хроника семьи Зёрновых. 1922–1972». Париж, 1973.
3. Михаил Степанович Зёрнов (1857–1938), врач-терапевт, бальнеолог, создатель первой курортной лечебницы в Эссентуках. Зёрнов был известен и как физиотерапевт, ученик и последователь французского профессора Жана-Мартена Шарко. Именно М.С. Зёрнов впервые привез в Россию из парижской командировки так называемый «душ Шарко». Супруга – Софья Александровна Кеслер (1865–1942), педагог, помощница мужа во всех его благотворительных и общественных делах.
4. Гимназия Н.Д. Хвостовой находилась в Кривоарбатском переулке и отличалась строгой дисциплиной. Воспитанниц гимназии готовили к поступлению в высшие учебные заведения; девушкам преподавали латынь, иностранные языки, особое внимание уделялось Закону Божьему и истории Русской Церкви.
5. Все четверо детей Зёрновых входили в группу Русского Студенческого Христианского Движения (РСХД). Николай Зёрнов был секретарем этой организации (1925–1932) и первым редактором журнала «Вестник РСХД». Софья Зёрнова пребывала в должности генерального секретаря РСХД (1926–1931).
6. В 1927 году Николай Зёрнов женился на Милице Владимировне Лавровой (1899–1994). М. Лаврова была доктором медицины, иконописцем, автором статей на богословские темы и активной участницей РСХД.
7. В.М. Зёрнов лечил И.А. Бунина в течение пяти лет, с осени 1948-го до дня смерти писателя 8 ноября 1953 года. Из воспоминаний В.М. Зёрнова: «Хотя болезнь его была хронической и длительной, но я чувствовал, что он ждал каждого моего посещения, ждал, что доктор принесет ему что-то, что поможет ему жить, вернуться к той жизни, которую он так любил. В этом ожидании было нетерпение, и почти каждый раз, когда я приходил к нему, он брал свою палку, всегда лежавшую около его кровати, стучал ею в стену, разделявшую его комнату и комнату его жены, чтобы этим позвать ее. ‘Вера, Вера, иди скорей, слушай, что будет говорить доктор’. Но как только торопливо прибегала уже плохо слышавшая и плохо видевшая Вера Николаевна, готовая исполнить всё что угодно для своего Яна, он нетерпеливо говорил: ‘Ну что ты пришла, оставь нас вдвоем с доктором и приходи потом’. *Зёрнов, В.М.* Воспоминания врача. // *Иван Бунин*. Книга вторая. Литературное наследство. М., 1973. Т. 84. С. 361–362.
8. Amherst Center for Russian Culture. Sofia Zernov. Materials for the Center of Help Russian refugees. Box 1. Folder 1 (1933–1939).
9. Там же.

10. Кульман Мария Михайловна (урожд. Зёрнова, 1909–1965), основательница и председатель Пушкинского клуба в Лондоне (1954–1964), муж – Густав Густавович Кульман (1884–1961), швейцарский юрист, до войны работал в Лиге Наций, занимался вопросами беженцев.
11. Amherst Center for Russian Culture. Sofia Zernov. Papers. Materials for the Center of Help Russian refugees. Box 1. Folder 1. (1933–1939). Письмо неизвестного автора, без даты.
12. Там же.
13. Имя мальчика в письме не названо. Известно лишь, что из пансиона он вскоре попал в состоятельную английскую семью, где его окружили еще большим вниманием и любовью. Но среди документов Центра Помощи сохранились письма юноши по имени Юрий Хлопов. В них подробно, очень грамотно, изящным каллиграфическим почерком описывается пребывание в Англии, куда он приезжал не меньше двенадцати раз. Возможно, это был тот самый «Le Petit Prince», только уже повзрослевший.
14. Княгиня Вера Кирилловна Мещерская (1876–1949), в 1927 году основала в пригородах Парижа дом престарелых для эмигрантов из России.
15. За рубежом: Белград. Париж. Оксфорд: Хроника семьи Зёрновых, 1921–1972. Под ред. Н.М. и М.В. Зёрновых. Париж, 1973. С. 274-275. Далее: За рубежом...
16. Впервые С. Зёрнова побывала в США в 1929 году по приглашению Американского Союза Молодых Женщин, посетив конференции и университеты в десяти городах. Об этой поездке она рассказала на страницах «Вестника РСХД», 1929, №№ 1-4.
17. В частности, здесь летом 1876 года Клод Моне написал для своего друга Эрнеста Ошеде картины «Уголок сада в Монжероне» и «Пруд в Монжероне» (Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург).
18. Лицо, у которого было выкуплено имение для детского дома, не установлено. В книге Бориса Носика «Русский XX век на кладбище под Парижем» называется имя Надежды Петровны Нобель. В воспоминаниях Зёрновой имя бывшей владелицы имения не называется.
19. Анна Тихоновна Шмеман (1895–1981) работала вместе с С. М. Зёрновой в Центре Помощи беженцам почти четверть века, принимала активное участие в организации Рождественских базаров в пользу приюта в Монжероне. В «Вестнике РСХД» в 1972 году опубликован некролог, написанный А. Шмеман, «Памяти Софии Михайловны Зёрновой», №103. С. 290-291.
20. За Рубежом... С. 389.
21. Церковь построил бывший подпоручик Корниловского полка А.П. Щербляков, освоивший ремесло каменщика. Освящение состоялось в январе 1961 года. Иконостас в храме расписал известный иконописец монах Григорий Круг (1918–1969).
22. Лев Сергеевич Гарганов (Léon Garganoff, 1881–1947), дворянин армянского происхождения, инженер, коллекционер, помогал русским художникам. В эмиграции с 1920 года. Основал в пригороде Парижа общество «Lianofilm» и кинофотостудию. Супруга – Людмила Александровна Гарганова (1895–1957, урожд. Сыромятникова), дочь – Людмила Львовна Гарганова (1920–1978), в замуж. Дагьяр (D'Aguir).
23. Даниил Ермолаевич Скобцов (псевдоним Кондратьев, 1884–1969), писатель, общественный деятель. В 1920 году эмигрировал из России в

Константинополь, позже в Белград. С 1924 года жил в Париже. Муж монахини Марии (в миру Елизавета Юрьевна Скобцова (1991–1945), в девичестве Пиленко, казнена в лагере Равенсбрюк весной 1945 года).

24. Нина Николаевна Кандинская (1896–1980), вторая жена художника Василия Кандинского.

25. Сергей Николаевич Джанумов (? – 1972), музыкант, член Центра Помощи русским в эмиграции.

26. Игорь Николаевич Трубецкой (1912–2008), эмигрант из рода князей Трубецких, французский автогонщик, коллекционер живописи, меценат.

27. Татьяна Сергеевна Конюс (Рахманинова, 1907–1961).

28. Борис Александрович Бахметев (1880–1951), ученый, крупный политический и общественный деятель; посол Временного правительства в США. В эмиграции – в США.

29. Софья Михайловна Лопухина (1915–1975), урожд. Толстая.

30. Владимир Карлович Айзов (1900–1989) многие годы заведовал хозяйством в Монжероне, был организатором и декоратором Рождественских елок; жена – Александра Константиновна Айзова (? – 1997) работала в приюте Монжерона медсестрой.

31. Эмигрантская полоса жизни Ф. Рожанковского в Париже длилась с 1925-го по 1941 год. За это время Рожан (так художник подписывал свои работы в этот период) стал одним из самых известных детских иллюстраторов во Франции. Осенью 1941 года он отправился работать по контракту в Соединенные Штаты, трудился в крупнейших издательствах Америки и так же стремительно завоевал себе новую славу. В 1946-м Рожанковский женился на Нине Георгиевне Федотовой, дочери русского философа Г.П. Федотова; через два года у них родилась дочка Таня. В 1956 году художник получил престижную награду среди иллюстраторов детских книг в США – медаль Рандольфа Кальдекотта. Несмотря на благополучие и большой успех в Америке, эта страна не стала родным домом для Рожанковского. В 1961 году Ф. Рожанковский принял решение переехать на несколько лет во Францию.

32. Г.П. Федотов был хорошо знаком с семьей Зёрновых, часто публиковался в «Вестнике РСХД», первым редактором которого был Николай Зёрнов. В 1930-е гг. Г.П. Федотов и его жена Е.Н. Нечаева не раз бывали в квартире на улице Вожирар (фр. Rue de Vaugirard), в которой София Зёрнова прожила почти сорок пять лет.

33. Семейный архив Рожанковского (далее сокр. САР), собрание Т. Рожанковской-Коли (США). Письмо Ф.С. Рожанковского В.Б. Сосинскому (15 ноября 1961 г., Париж).

34. Представить образ Зёрновой середины шестидесятых помогают воспоминания В. Солоухина. Впечатления первой встречи писателя с С.М. в Париже в 1965 году описаны в романе «Чаша»: «Софья Михайловна – высокая, худощавая, седая, с очень зачесанными, как бы прилизанными, волосами женщина к семидесяти годам. На руке массивный платиновый браслет, который она никогда не снимает. Правая рука постоянно, уже машинально, потирает левое плечо, которое ноет, болит. Тонкое, некогда, должно быть, прекрасное лицо, голубые глаза...». *Солоухин, В.* Чаша. М., Роман-газета, 1998. № 6 (1324), С. 9.

35. Наталья Александровна Андроникова (1924–1983), урожд. Курис, врач, педагог, детская писательница, первая жена князя К.Я. Андроникова, французского дипломата, богослова, переводчика (1916–1997).

36. *Шмеман, Анна*. Памяти Софии Михайловны Зёрновой. Париж-Нью-Йорк, «Вестник РСХД», № 103 (I), 1972. С. 290.

37. В январе 1976 года Александр Глезер (1934–2016, поэт, коллекционер и издатель, один из организаторов «Бульдозерной выставки» в Москве (15 сентября 1974), открыл в Монжероне Музей современного русского искусства в изгнании. Здесь же находилось и помещение издательства Глезера «Третья волна», выпускавшего одноименный альманах.

38. Увидеть росписи Рожанковского (состояния 1998 года) можно в документальном фильме российского режиссера А. Гурьянова «Ни дня без линии» (2013) и в статье французской исследовательницы Беатрис Михельсон: *Béatrice Michielsens. L'art mural de Fiodor Rojankovsky. Printemps/Été. №49. 2021. С.14-20.*

ПИСЬМА СОФИИ ЗЁРНОВОЙ К НИНЕ И ФЕДОРУ РОЖАНКОВСКИМ

27 июля 1961

Монжерон – Ла Фавьер

Дорогие Федор Степанович и Нина. Надеюсь, что вы хорошо отдыхаете. Мы вас постоянно вспоминаем и будем вспоминать до конца наших дней... Недавно мне сознались наши служащие, что за моей спиной они издевались надо мной из-за моих фантазий и из-за башни, которую я всё обещала показать в красоте. Теперь же они все этой башней гордятся и показывают всем посетителям Монжерона. Таким образом, я должна еще специально благодарить Федора Степановича за защиту моей репутации перед служащими Монжерона!!! А то мой авторитет рисковал быть совсем уничтоженным! 6-го собираемся покинуть Париж и 12-го из Венеции пуститься в дальнее плавание. Боюсь даже думать, что это осуществится! Но визы пока все получили¹. Надеюсь, что и ваша поездка удастся. Желая вам всего самого лучшего и надеюсь увидеть вас в сентябре².

Искренно Ваша

София Зернова.

1. В августе 1961 года С. Зёрнова и ее брат Владимир с женой и сыном совершили поездку в СССР. С пристани в Венеции они отправились на теплоходе «Литва» (с остановками в Албании, Одессе и Ялте) и прибыли в Сочи, чтобы разрыть бывшее имение, купленное отцом Софии в 1897 году. До революции семья приезжала сюда каждую осень. На участке в сорок десятин там был возделан огромный сад, получивший в семье Зёрновых название «Саднаш», в нем росли экзотические тропические растения, фруктовые деревья и плантации в несколько десятков тысяч роз. «Мне хотелось увидеть 'Саднаш', который в дни нашей молодости казался нам райским садом, а также узнать, насколько вера в Бога сохранилась на нашей родине», – вспоминала об этой поездке София Михайловна («За рубежом: Белград. Париж.

Оксфорд: Хроника семьи Зерновых, 1921–1972»). Под ред. Н.М. и М.В. Зерновых. – Paris: YMCA-Press, 1973. С. 424). Бывшее имение оказалось в полном запустении – в доме проживали несколько семей; земля, которую никто не обрабатывал, принадлежала совхозу; фруктовые деревья вырублены, розы погибли. Во время поездки в разных городах им довелось увидеть церкви со сломанными крестами, обращенные в клубы, услышать от самых смелых монахинь, как уничтожалась вера и разгонялись монастыри. Во время прощания в Одессе С.М. пожелала одной из монашек: «Веру только не потеряйте!» – и услышала в ответ: «Веру-то не потеряем, Господь помогает, но последние времена пришли...» (Там же. С. 427).

2. В сентябре 1961 года Рожанковские во второй раз посетили Советский Союз (первая поездка была в 1959 г.). Побывав в Москве и Ленинграде, Ф.Рожанковский встретился с сестрой и посетил могилу отца в Таллинне.

18 января 1966

[Открытое письмо с изображением на карточке водяной мельницы в Монжероне (Le Moulin de Senlis)]

Дорогой Федор Степанович, благодарю за письмо, очень рада была его получить – как будто проехала с Вами на моем автомобиле – до Монжерона¹. Может быть эта открытка Вам что-нибудь напомнит. Очень рада, что Вы хорошо устроились, но надеюсь, что Вы не будете забывать Францию – La douce France...² Кланяюсь Нине, Тане, Вам и часто всех Вас вспоминаю.

Искренно Ваша.

С. Зернова.

1. Во время работы художника в Детском доме Зёрнова забирала его каждый день из парижской квартиры и везла на своем автомобиле в Монжерон.

2. Милую Францию. (фр.)

12 февраля 1966.

Zernoff 395 rue de Vangirard Paris XV

To mme Nina Rojankovsky 91 Cassilis Ave. Bronxville 8. NY 10708

Дорогие Нина и Федор Степанович, пишу Вам, чтобы спросить Вас, как и где Вы будете проводить лето и нет ли у Вас возможности и желания выписать к Вам Катю Фламан?¹ Я стараюсь послать в Америку в какой-нибудь «working camp» Ваню Корнилова – одного из наших мальчишек (ему 18 лет), и было бы очень хорошо, чтобы могла поехать и Катя. Мне сказали, что есть студенческие транспорты и билет aller-retour² стоит \$200 – мы могли бы заплатить и собрать эту сумму. Хорошо было бы послать ее в какой-нибудь лагерь, где м[ожет]б[ыть]она могла бы работать, или поместить в семью – помогать по хозяйству на месяц или полтора, и если бы на остальное время

она была бы с Вами – она была бы очень счастлива. Так хочется поставить ее на ноги и помочь с английским языком, хотя она по-английски объясняется – я говорила с ней. Если это невозможно, буду устраивать ее в Англии. Жду Вашего ответа. Надеюсь, что у Вас все хорошо. У нас «приближается» весна. Целую Нину и Таню и кланяюсь низко Федору Степановичу.

Ваша С. Зёрнова.

1. Катерина Фламан (Catherine Flamant) – одна из воспитанниц приюта в Монжероне. В период 1961–1964 гг. девочка проводила летние каникулы в семье Рожанковских в Ла Фавьере и встречала Рождество в их парижской квартире. Нина Георгиевна Рожанковская была ее крестной матерью. Крестили девочку в церкви Серафима Саровского в Монжероне. Дальнейшая ее судьба неизвестна. В архиве Рожанковского найдено два упоминания о Кате Фламан: «...Тут гостит Катя у Тани, и они украшают новогоднюю елку» (Из письма Ф. Рожанковского к В. Сосинскому. 24 декабря 1962, Париж.); «Мои дамы ушли причесывать Катю – стричь ей волосы к парикмахеру. Катя – сиротка из приюта для покинутых детей, где я заканчиваю роспись башни, куда будут водить примерных детишек и где в рундучках с крышками (они же и скамейки) будет насыпан овес, в который им будут класть подарочки за хорошее поведение и ученье. На стенах этой башни моя роспись вроде панорамы Рубо, которая восстановлена в Москве (и тоже в круглой башне). Моя тема, понятно, не батальная, труднее всего дать представление о росписи окна. Оно расписано особыми прозрачными красками, имитирующими витраж». (Из письма Рожанковского внучатой племяннице Наталье Папчинской. Париж–Ленинград, 29 декабря 1962).

2. Билет в оба конца. (*фр.*)

15 апреля 1966

Zernoff 395 rue de Vangirard Paris XV

To T. Rojankovsky 91 Cassilis Ave. Bronxville 8. NY 10708

Дорогие Нина и Федор Степанович, получила сегодня Ваше письмо. Спасибо. Поздравляю Вас с праздником Пасхи. Очень люблю письма Федора Степановича – ему, конечно, надо кроме художника стать писателем. Готова заранее подписаться на его первую книжку, всё равно какую, – мемуары или рассуждения о превратностях судьбы... Благодарю за вырезку из газеты о Вознесенском, он был здесь и читал свои стихи, я не совсем его поклонница, и стихи замысловатые, и читает их как-то манерно, у них считается новшеством, а здесь это уже устарело. Сегодня ровно месяц как я лежу, еще один месяц придется лежать также, а потом м[может]б[ыть] будут перемены. Смотрю в окно, вижу кусочек неба и радуюсь этому. Ко мне часто приходят друзья – это меня очень трогает, из-за их внимания и щедрости лежу как в цветущем саду. Катю мы не сможем послать к Вам летом, у нас были большие неприятности с нею, и я не

знаю еще, какие решения мы примем (ей об этом не пишите). Желаю всем Вам здоровья и веселия сердца и еще раз благодарю за письмо.

Ваша Софiя Зёрнова.

Очень ценю нашу дружбу.

17 июня 1966

Zernoff 395 rue de Vangirard Paris XV

To mme Nina Rojankovsky 91 Cassilis Ave. Bronxville 8. NY 10708

Дорогие Нина и Федор Степанович, благодарю Вас за письмо. Я вышла из клиники и начинаю учиться ходить, это довольно мучительно, т.к. очень болит колено, но говорят, что это нормально, поэтому терплю и только верю и надеюсь, что к концу июля смогу ходить нормально. Мой брат едет на медицинский конгресс в Москву 23 июля и записал и меня¹. Вы спрашиваете про Катю. Мы ей даем закончить год, а потом она переходит в лицей, где только девочки, в лицее «mixte» ей быть нельзя. Она, вероятно, Вам не пишет, т.к. опасается, что мы Вам про нее всё написали. Ее поведение меня глубоко огорчило, не хочу писать Вам все подробности, но всё это очень серьезно, вероятно, имеет значение и наследственность от матери.

Очень огорчена, что вы пока не собираетесь посетить «la belle la douce France». Я тоже в Америку не собираюсь, хотя во многом ее очень ценю, но сравнить с жизнью во Франции не могу. Вероятно, у нас всё по-иному, чем в Америке, у нас дом и сад, много дел и всё полно красок и вдохновения. Эти краски и вдохновение вносит всюду и всегда Федор Степанович, очень жалею, что не могу прочитать его автобиографию, где и когда она будет напечатана? Надеюсь, что вы мне сообщите и пришлете. Вы пишете, что Таня «зарабатывает» на поездку во Францию. Когда и куда? Сейчас большой Club Méditerranée устраивает Croisières в Россию, у них свой пароход, набирают молодых переводчиц. Вот было бы интересно поехать Тане! Из России часто получаем сведения. Всё, что касается церкви и религии, – очень грустно и трагично, но литература исключительно интересная и есть очень интересные люди. Иногда приезжают сюда – жаль, что вы так далеко...

Целую всех вас и всегда радуюсь вашим письмам. Ваша Зёрнова.

1. В июле 1966 года С. Зёрнова, почти через полвека после отъезда в эмиграцию, впервые оказалась в Москве – городе, в котором она родилась. «Москва в 17-том году была темная, мучительная, напряженная, больная, а теперь? Я смотрю на длинный ряд плакатов вдоль дороги: КПСС несет вам счастье, КПСС несет свободу, КПСС несет мир... как ненужно звучат все эти повторяющиеся слова и как ясно видишь через них просвечивающееся одно властное слово – ‘ЛОЖЬ’» («За рубежом: Белград. Париж. Оксфорд: Хроника

семьи Зёрновых, 1921–1972». С. 437). После Москвы Зёрновы улетели на Северный Кавказ, побывали в Пятигорске, потом в Ессентуках, где был их дом, в котором семья провела самые страшные годы войны. По воспоминаниям Софьи Михайловны, дом невозможно было узнать – срезанные балконы, уничтоженные террасы, на месте сада – асфальтовая площадь с указателем «здесь будет в будущем стоять памятник Ленину». Незабываемые тайные встречи с подлинно верующими позволили ей увидеть целостно трагическую картину современной жизни, в которой смелость и честность одних сплетались с малодушием других. «Упустили Россию, промотали ее, а теперь, снявши голову, по волосам не плачут...» – с такими мыслями С. Зёрнова покидала родную землю. («За рубежом: Белград. Париж. Оксфорд: Хроника семьи Зёрновых, 1921–1972». С. 438.). В отличие от Рожанковского, она никогда не была ослеплена просоветскими иллюзиями.

4 ноября 1966

Zernoff 395 rue de Vangirard Paris XV

To mme Nina Rojankovsky. 91 Cassilis Ave. Bronxville 8. NY 10708

Дорогая Нина, хочу выразить Вам мое горячее сочувствие. Я знаю, как тяжело потерять мать, и так потерять, когда Вы далеко и когда Вам может казаться, что Вы могли бы продлить ей жизнь, если бы она была с Вами¹... Думаю о Вас и молюсь за Вас. Смерть – такая тайна, и надо просить всё, всё до конца, предать в волю Божию. Милосердию Божию нет границ, и Бог всё принимает, всех утешает, потому что все мы нуждающиеся и обремененные. Дай Бог Вам крепкой веры и мира душевного. Ваша Софья Зёрнова.

1. Мать Нины Рожанковской, Елена Николаевна Федотова (жена философа Г.П. Федотова, урожд. Нечаева, 1885–1966), жила в Америке с 1941-го по 1945 год. После войны она вернулась во Францию, последние годы жизни провела в старческом доме под Парижем. Е.Н. Федотова скончалась 30 сентября 1966 года. Похоронена на кладбище в Розе-ан-Бри (Rozaу-en-Brie).

25 декабря 1966

Zernoff 395 rue de Vangirard Paris XV

To m. F. Rojankovsky 91 Cassilis Ave. Bronxville 8. NY 10708

Дорогая Нина, благодарю Вас за письмо, за чек на подарок Кате¹. Поздравляю всех Вас с наступающим праздником Рождества Христова и с Новым Годом. Дай Бог Вам всем здоровья, бодрости, счастья. Всегда Вас вспоминаю, всегда благодарна Федору Степановичу за «Памятник нерукотворный» в нашей Башне. 8-го у нас будет праздник. Жаль, что Вас не будет с нами. Базар прошел очень хорошо и дети могут спокойно жить еще год².

Моя нога совсем срослась, слава богу. Хожу не хромяя. В августе были с братом в Москве и на Северном Кавказе. Для нас эта поездка

была очень значительной. Встретили замечательных людей и наших друзей на всю жизнь. Теперь всё раздумываем – что для них сделать, как послать им подарки.

1. Екатерина Фламан.

2. Традиционно в канун Рождественских праздников стараниями С. Зёрновой и Комитета устраивался ежегодный благотворительный базар, на котором собирались средства на нужды Детского дома. Первый Рождественский базар был организован в 1954 году. Тогда удалось заработать 600 000 франков. Из них было решено отправить 50 000 франков в подарок от детей электрику К.П. Турчанинову. Жил он на скромную пенсию, но целый год трудился в Монжероне добровольно без оплаты. По воспоминаниям С. Зёрновой, подарок Турчанинов принял с благодарностью, но когда детей со слабыми легкими отправляли на лечение в горы, вернул конверт обратно.

11 февраля 1969

Дорогой Федор Степанович. Надеюсь, что у Вас всё благополучно, что все вы здоровы и, как всегда, полны энергии, веселья и динамизма! У меня к Вам большая просьба: не забудьте ли Вы адрес того стекольщика, который делает артистические стекла разных цветов? Я помню, он жил где-то около метро Duroc, Вы мне давали его адрес, и я не могу его найти. Конечно, едва ли Вы увозите с собой в Америку все французские адреса, но вдруг... Спасибо заранее! У нас стоят холода. Думаю, что это прислала нам Америка, тем более, что, кажется, Франция начинает вновь коллаборировать с Америкой!!! Целую Нину и Таню, кланяюсь Вам и надеюсь, что вы скоро опять приедете к нам!

Искренно ваша.

С. Зёрнова.

P.S. Краски на окне в башне осыпаются. Что делать?

[Рукотворная открытка без конверта и без даты.]

Дорогой Федор Степанович. Спасибо за письмо. Получили ли книгу?! Часто вспоминаю Вас и Нину. Напишите, пожалуйста, когда-нибудь. У нас буря, и ветер, и дождь. Жаль, что вы все так далеко, что не приедете на нашу елку в воскресенье 9 января. Но через Ваши таланты память о Вас всегда жива в нашем доме. Адрес Ваш получила от Кати. Она сияла, получив Ваше письмо. Поздравляю с наступающим праздником. Посылаю произведение искусства «Вашего конкурента»². Целую Нину и Таню.

Ваша С. Зёрнова.

1. Вероятно, речь идет о трилогии «На переломе. Три поколения одной мос-

ковской семьи. Семейная хроника Зёрновых. 1812–1921», Париж, 1970 год.
2. Открытка с рождественским рисунком выполнена, вероятно, одним из воспитанников приюта.

15 ноября 1970

395 rue de Vaugirard Paris XV

To mme N. Rojankovsky. 91 Cassilis Ave. Bronxville 8. NY 10708

Дорогая Нина, прочла в русской газете о смерти Федора Степановича. Выражаю Вам и Тане мое глубокое сочувствие. Вспоминаю, как мы ездили с ним в Детский дом, как он рисовал там, как своим рисунком увековечил свое имя. Я тоже болею и, верно, встречаюсь с Вашим мужем раньше, чем Вы! Мы все идем одним путем. Идем к вечности.

Ваша София Зернова.

29 апреля 1971

Дорогая Нина, благодарю Вас за письмо. Всё вспоминаю Федора Степановича и собираюсь к нему! Такая тайна – смерть, но все идем одним путем. У меня рак и иногда чувствую себя совсем плохо. Такова жизнь. Целую Вас.

Ваша С. Зёрнова.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Андреев, Н. О семейной хронике Зёрновых. «Новый Журнал», 1973, № 111. С. 248-250.
2. Зёрнов, В.М. Воспоминания врача. / Иван Бунин. Книга вторая. Литературное наследство. М, 1973. Т. 84. С. 361.
3. Носик, Борис. Русский XX век на кладбище под Парижем. Litres, 2022.
4. Солоухин, В. Чаша. Роман-газета. № 6 (1324), М., 1998. С. 9.
5. Шмеман, А. Памяти Софии Михайловны Зёрновой. Вестник РСХД. Париж. № 103. 1972. С. 290-291.
6. Энден, М.Н. Памяти ушедших. С.М. Зёрнова. «Новый Журнал», 1972, № 106. С. 288-290.
7. На Переломе. Три поколения одной московской семьи. Семейная хроника Зёрновых. 1812–1921 / Под ред. Н.М. Зёрнова. Париж, 1970.
8. Вестник РСХД. Париж. 1929. № 1-2. С. 34; № 3. С. 16-19; № 4. С. 19.
9. За Рубежом. Белград. Париж. Оксфорд. Хроника семьи Зёрновых. 1922–1972. Париж, 1973.
10. Michielsen, Béatrice. L'art mural de Fiodor Rojankovsky. Printemps. Été, 2021, № 49. С. 14-20.

Публикация, комментарий – Л. Вульфина

КУЛЬТУРА. ИСТОРИЯ

Елена Кулен

Федор Степун

Опыт биографии

6 (19) февраля 2024 года исполнилось 140 лет со дня рождения Федора Августовича Степуна, известного философа эмиграции, публициста, общественного деятеля. На судьбу его поколения выпало две мировых войны, две революции в России и долгие годы изгнания в Германии: Берлин, Дрезден, Мюнхен. Анализ пережитого представляется нам сегодня как никогда актуальным, когда сотни русских граждан покидают Россию из-за развязанной войны в Украине и пытаются обрести дом в новом языковом и интеллектуальном пространстве. Судьба Федора Степуна может служить для многих примером осмысления драмы изгнанничества и проблем свободы и тирании.

Ощущая себя «своим» как в немецком, так и в русском языковых и культурных пространствах, русский философ-эмигрант пронес через всю жизнь любовь к родине, желая ей свободы, открытости и толерантности во взаимоотношениях со странами-соседями. Став активным пацифистом после двух мировых войн, Степун верил в идеи гуманизма и в возможность разумного, рационального начала в выстраивании мирового сообщества. До конца своих дней он оставался неисправимым оптимистом.

Мало кому из русских изгнанников, будь то эмигранты «первой волны» или представители послевоенной «второй волны» («перемещенные лица», дипийцы), удалось достичь такого общественного признания на чужбине, как Федору Степуну в Германии. Его работа в двух немецких университетах – в 1926–1937 гг. в Дрездене и в 1946–1951 гг. в Мюнхене – яркая иллюстрация его интеграции в немецкое интеллектуальное сообщество.

К моменту его высылки из Советской России 22 ноября 1922 года¹ ему исполнилось 38 лет. Он выезжал не на печально известном «Философском пароходе», а отдельно, с женой Натальей Николаевной Степун (урожд. Никольской), поездом Москва – Рига – Берлин. Берлин и Прага стали для супругов первыми «станциями ожидания» в поиске вариантов дальнейшего существования на чужбине.

Позади остались его родные Пенаты в родительском имении в Кондрово, Калужской губернии; осталась его любимая Москва, университет, Петербург, место его политической деятельности в Военном министерстве Временного Правительства; позади осталась подмосковная Ивановка, имение семьи его второй жены, где они с 1918-го по

1922-й скрывались от большевистских бесчинств в деревенской тиши, преподавали в местной школе и даже организовали молодежный театр.

Жизнь целых поколений Степунов, как и большинства русских семей, была разрушена большевиками. Федор Степун уезжал, оставляя мать, братьев, сестер, родственников в неизвестности. Лишь через четыре года, в 1926-м, стал возможным выезд в Дрезден его матери Марии Федоровны (1861–1941) и младшей сестры Маргариты (Марга, 1895–1971). Остальные остались в СССР: братья Оскар (1885–1964), ученый-биолог, и Владимир (1898–1974), актер МХАТа.

Подробно о своей жизни, о роде Степунов, о семье Федор Августович рассказал в книге воспоминаний «Бывшее и несбывшееся». Книга писалась в период вынужденного бездействия – отстранения от преподавания в университете Дрездена в сентябре 1937 года; мемуарист обращался за уточнениями к жившей в его доме матери, а потому мы с уверенностью можем говорить, что воспоминания довольно точно отражают события далеких лет. Кратко остановимся на некоторых фактах, чтобы понять природу космополитизма философа.

Федор Степун родился 6 (19) февраля 1884 г. в Москве в немецко-литовской семье директора бумажной фабрики, получив при рождении имя Фридрих Август Степун (Friedrich August Steppuhn). Видоизмененное правописание «Steppuhn»² сохранялось им вплоть до 1917 года. «Мой отец, умерший в самом начале Великой войны, был выходцем из Восточной Пруссии, где Степуны (исконное начертание этой старолитовской фамилии Степунесы, т.е. Степановы) с незапамятных времен владели большими земельными угодьями между Тильзитом и Мемелем. Несмотря на свое происхождение, мой отец отнюдь не был ‘пруссакom’ в общепринятом понимании в России этого слова. По целому ряду своих свойств – по своей мягкости, скромности, душевной беспечности и неделовитости, по своему поэтическому мироощущению, по своей вспыльчивости и отходчивости он был, скорее, славянином, чем германцем... Хотя юность отца совпала с величайшим триумфом Германии (в 1871 г. ему было 17 лет), в нем никогда не чувствовалось замороженности образом ‘Железного канцлера’. Минутами в нем как будто бы пробуждалась тоска по родине своих предков, но к немецкому государству он, странным образом, не тяготел. За всю свою жизнь он только два раза ездил в Германию лечиться...»³ И далее: «С матерью отец познакомился в Москве. Шведо-финский род Аргеландеров переселился из-под Або в Пруссию в начале 17 века... Мать была старшим ребенком, вышла замуж, пытаясь ‘поскорее освободиться от гнета отчего дома’. Мать отстранялась от всего немецкого, от которого она освободилась только к старости. Это отталкивание могло бы, конечно, и не превратиться в полное приобщение к русской стихии, если бы мать на шестом году своей жизни не попала бы под влияние того таинственного и

запретного для нее мира, которым жил подвальный этаж. Здесь, среди прислуги и артельщиков, которые укрывали барышню-сиротку от 'сатаны'-мачехи и 'чудака' барина, она впервые почувствовала и обрела народную Россию».

Федор Степун был старшим из четырех детей⁴, крестили его по лютеранскому обряду, но в одиннадцатилетнем возрасте он по воле матери был крещен в храме Спаса Нерукотворного в Кондрово⁵ уже по православному обряду. О своем переходе в православие он сообщает следующее: «Вернувшись на очень сложных путях и не без участия той критической философии, основы которой во мне заложил Брюшвейлер (Учитель Закона Божьего в немецком Реальном училище в Москве. – *Е.К.*), я почувствовал необходимость перехода в православие. Я знаю, к нему меня вела не только его бóльшая мистическая и догматическая глубина, но и вся прожитая мною в России и с Россией жизнь».

Продолжая размышлять о «русскости» молодого Федора Степуна, стоит вспомнить также, что языком общения в семье его родителей всегда был русский язык. Всё свое сознательное детство до поступления в немецкое Реальное училище Св. Михаила в Москве Федор Степун говорил и писал преимущественно по-русски. Впрочем, систематическое изучение иностранных языков, в том числе и немецкого, началось на дому, для чего были приглашены два учителя – «Красный Иван Васильевич и буржуазно-снобистическая англо-германка Штраус, в своей молодости изучавшая педагогику в Швейцарии».

Поступление в немецкое Реальное училище стало первым «окошечком» в мир большого города и в немецкоязычную среду в нем. «Отец против воли русофильски настроенной матери настоял на том, чтобы нас (С братом Оскаром. – *Е.К.*) отдали в Михайловское училище⁶, отличавшееся от казенных реальных тем, что в нем всеобщая история преподавалась на немецком языке. Очевидно, отец рассчитывал на то, что в Михайловском мы выучим язык его родины и сдружимся с детьми настоящих немцев. Все эти расчеты оказались ошибочными, так как 'национальный вопрос' решался не в 'немецкой' школе, а в том же духе бытового и культурного самоопределения, в каком его решала вся передовая интеллигентская Россия».

После успешной сдачи вступительного экзамена в училище в 1893 году у девятилетнего Федора и восьмилетнего Оскара начался новый период – вне Кондрово и вне деревенской жизни. Это интереснейшая страница не только биографии Федора Степуна, но и истории немецкой общины в Москве. Училище было создано для лютеран-евангелистов, включая детей из отдаленных регионов огромной Российской империи. Центром архитектурного ансамбля была церковь Michael-Kirche⁷, которую московская молва окрестила «Старой обедней». Кирка была подлинным культурно-религиозным центром

протестантов-лютеран в Москве, «численность которых к 1904 г. достигала 4500 прихожан разных национальностей (4360 немцев, 120 финнов, 20 шведов, датчан, выходцев из Прибалтики)»⁸. Здесь, в училище, Степун ближе познакомился с традициями немецкой культуры и лучше освоил язык своих предков, хотя языком общения со сверстниками оставался русский язык. На протяжении семи лет учебы, с 1893 по 1900 гг., «Немецкая слобода» в Москве была для Степуна важным топомосом в освоении городского пространства.

Весь архитектурный комплекс Немецкой слободы занимал два гектара земли. В годы учебы братьев Степун территория Слободы была покрыта ухоженными садами; там, среди этого гармоничного ландшафта, размещались немецкий лазарет, часовня, богадельня для неимущих стариков и приют для сирот лютеранского вероисповедания. «Мужское Реальное училище Св. Михаила⁹ к началу XX века имело шесть основных классов, три параллельных, седьмой класс как подготовительный к университету, а также подготовительные классы с двумя отделениями (младшим и старшим). Имелось 26 учителей на 400 учеников. При училище имелась т.н. 'ученическая квартира', попросту интернат, который содержался на средства Церковного Совета и Фонда уплаты церковных налогов членами немецкой общины; средства предоставлялись прежде всего для неимущих учеников-протестантов из отдаленных регионов Российской империи.»

Лютеранская община была крайне толерантна по отношению к ученикам-«конвертитам», каковым и был Федор Степун. Просматривая Указатель предметов училища¹⁰, мы видим предмет «Закон Божий» с обязательным посещением для всех учеников. «Когда, выросший если и не в Православной Церкви, то всё же в ее ограде и быту, я пятнадцатилетним реалистом зашел в канцелярию реформатской кирки, чтобы записаться на конфирмационные уроки, я почувствовал себя в совершенно чужом мире. Благодаря пастору Брюшвейлеру, искреннему и горячему проповеднику, этот новый мир не оттолкнул меня, а наоборот, привлек к себе», – вспоминал Степун.

В немецком Реальном училище преподаванию русского языка также уделялось много внимания. Степун пишет: «Русский язык здесь преподавали лучшие педагоги Москвы: председатель 'Общества любителей русской словесности' Грузинский, Сливичкий, Вертоградский и только что оставленный при университете по кафедре Западноевропейской литературы Лютер. Привлечение молодых, талантливых сил было вообще одною из забот 'деда' (пастор фон Ковальциг, действительный статский советник, выпускник Дерптского университета)».

Описывая Реальное училище, Степун, однако, не упоминает ни одного имени его немецких друзей-школьников. Возможно, это объясняется тем, что в училище он находился вместе с братом, оба жили

в московской ведомственной квартире отца, а не в интернате при училище, – в подростковом возрасте дружбы определяются не школьным ритмом, но прежде всего внеурочным времяпровождением.

После окончания училища Федор Степун мечтал поступить в Московский университет на историко-филологический факультет, однако этому мешало то, что «с аттестатом реального училища в университет не принимают. Древние языки можно было бы, конечно, осилить, но на это надо время, мне же не терпится как можно скорее надеть форменную фуражку и гулять студентом». К тому же в характере молодого Степуна боролись самые различные влечения: «Мои мучительные колебания между университетом, Училищем живописи и ваяния и Сценой привели меня неожиданно к решению прежде всего отбыть воинскую повинность». Год спустя после окончания Реального училища, в 1901-м, Федор Степун поступил на военную службу.¹¹ Интересно отметить, что для этого Степуну нужно было сменить гражданство с немецкого на русское, т.к. он всё еще являлся немецким подданным.¹² Таким образом, Федор Степун был гражданином Российской империи с 1901-го по 1918-й и гражданином Советской России с 1918-го по 1922-й годы.

Один год Степун провел в Артиллерийском дивизионе, расквартированном в Коломне и в местечке Клементьево, где он еще лучше узнал провинциальную Россию, атмосферу которой с большой теплотой описал в своих воспоминаниях. Опыт резервиста Степун получил позднее, во время университетских каникул, приезжая из Германии: он был на лагерных сборах резервистов в 1901-м, 1904-м и 1911-м годах. «Первый сбор остался у меня в памяти беспечным пикником, второй – тяжелым кошмаром, третий – началом возрождения Русской армии», – вспоминал Степун.

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ПЕРИОД. МОСКВА – ГЕЙДЕЛЬБЕРГ, 1901–1911

В мемуарах Степун так описывает решение уехать учиться в Германию: «Впервые побывавшая за границей мать вернулась в восторге от Европы и решила, что философию правильнее всего изучать в Германии. Посоветовавшись с доцентом университета Борисом Петровичем Вышеславцевым, я остановил свой выбор на Гейдельберге и, недолго думая, решил запросить ректора, не могу ли я в порядке исключения быть немедленно принятым на философский факультет с аттестатом Реального училища. Очевидно, моя твердая уверенность в своем праве на изучение философии произвела на чье-то чуткое ухо должное впечатление. Секретариат ответил согласием исполнить мою просьбу с условием, что я перед докторским экзаменом представлю дополнительное свидетельство о сдаче экзамена по латыни. <...> В том, что я за четыре года университета с легкостью выучу латынь и, если понадобится, то и греческий, у меня не было никаких сомнений».

Достоинно выдержав вступительные экзамены в Московский университет осенью 1901 года и получив рекомендацию от проф. Александра Введенского для университета в Гейдельберге, Федор Степун уезжает в Германию в 1902 году. «Только у открытого окна гейдельбергской гостиницы я впервые ощутил мир не как текущую сквозь меня жизнь, а как стоящую передо мной историю». Выбор предметов был согласован на три года учебы с проф. Генрихом Тоде, деканом философского университета.

«В ближайший приемный день я отправился к проф. Виндельбанду. (Куно Фишер, из-за которого я остановил свой выбор на Гейдельберге, был болен.)»; «Виндельбанда я слушал на протяжении пяти лет и за это время так вжился в его философский пафос, так хорошо изучил его манеру чтения, привычку шарить правой рукой по животу в поисках висевшего на длинной тесемке пенснэ... Перед самым докторским экзаменом в моей жизни случилось несчастье, которое, казалось, должно было бы по-человечески сблизить Виндельбанда и меня. От моих друзей, у которых в то время гостила моя жена, на его имя пришла телеграмма с извещением о ее трагической смерти. Друзья просили подготовить меня к этому страшному удару. Попав, вероятно, в первый раз в жизни в такое неестественно трудное положение, В. немедленно же написал мне очень сочувственное, душевное письмо и лично снес его моей хозяйке; предупредив ее о содержании письма, он попросил, чтобы она по возможности осторожно передала его мне. Большого он сделать не мог, и я до сих пор храню благодарную память об этом человеческом порыве его души сквозь его величественную 'персону'. Понятно, что, вернувшись после похорон в Гейдельберг, я вошел в кабинет своего учителя в предчувствии дружеской встречи с тем новым В., который приоткрылся мне в его письме. Мои ожидания не сбылись: из-за письменного стола привычно приподнялся давно знакомый мне действительный тайный советник проф. В., сквозь маститую персону которого уже не светила открывшаяся мне в его письме душа».

Для Федора Степуна начинается новый, восьмилетний, период в Гейдельберге, когда немецкая языковая среда становится для него доминантной – однако не единственной. Здесь училось много русских студентов. Русскую студенческую среду в университете прекрасно описал немецкий исследователь Бриан Пооль¹³, упомянув, в частности, что либеральная политика университета позволяла принимать без квот евреев и женщин, желающих получить высшее образование. Так что наплыв молодежи из России был особенно велик.

В мемуарах Федор Степун подробно описал свои университетские годы. Связь Степуна-студента с родиной формально поддерживалась и через Российское консульство в Карлсруэ, о чем сообщает сам Степун. Так, например, оповещение на обязательные военные сборы резервистов в университетские каникулы он получал через

консульство. Русскоязычный круг Федора Степуна расширился через год, когда приехал младший брат Оскар, – изучать в университете медицину и биологию.

В мемуарах Степун так описывает свой круг общения в Гейдельберге в 1902–1910 гг.: «Центром русского партийного студенчества была знаменитая гейдельбергская читальня, помещавшаяся под крышей темноватого, трех- или четырехэтажного дома на Мерцштрассе. Признаюсь, что от первого посещения этого русского культурного очага у меня осталось малоприятное ощущение. <...> Первый же взгляд в ‘читальный зал’ сразу разрушил мои радостные ожидания. В небольшой комнате, небрежно увешанной портретами русских писателей и ‘борцов за свободу’, сидели, осторожно шурша тонкою бумагою конспиративных изданий, какие-то сплошь хмурые люди. Никакого привета себе как русскому в быстрых, исподлобья брошенных на меня взорах я не почувствовал <...> С течением времени мы с братом и вся наша компания беспартийных москвичей сблизилась с такою чуждой поначалу средой западнорусского социалистического еврейства, но совсем своими мы в этой среде так до конца и не стали <...> Мы все без малейшего даже раздумья над правильностью нашего поведения и при гробовом молчании ‘классового сознания’ помогали читалке добывать нужные ей для революции деньги: из года в год наша компания ставила благотворительные спектакли с балом в пользу эсеров, эсдеков и Бунда. И не только в Гейдельберге, но также в Дармштадте и Карслруэ».

В 1904 г. 22-летний Степун познакомился со своей первой женой Анной Александровной Серебрянниковой. В автобиографическом романе «Николай Переслегин» Федор Степун дал ей псевдоним «Оловянникова». «Немногое в своей жизни я помню так живо, как первую встречу с моею первой женой. Было начало летнего семестра 1904-го года. Догнавший меня на улице Бунзена Саша Поляков, не только талантливый певец, но и веселый Дон-Жуан, таинственно объявил: ‘Знаешь, в Зоологическом институте уже две недели как появилась новая курсистка, настоящая москвичка. Говорят, изящная, под “знатную соотечественницу”, но недотрога. Много знает, работает прекрасно, была на Высших курсах. К сожалению, партийная и, как все зоологи, – социал-демократка’.» Они пробыли в браке лишь два года, Анна трагически погибла: утонула, пытаясь спасти попавшего в стремнину младшего брата ее первого мужа Аркадия. «Тела обоих погибших были перевезены в Вильну и похоронены рядом с Аркадием. Как непостижимо страшно, что десятилетний Вася должен был погибнуть, чтоб вернуть брату его невесту. Внезапно обрушившаяся на меня смерть жены перевернула всю мою жизнь, как мне тогда по молодости лет казалось, лишь от меня зависящую жизнь. В трагичности внезапной Аниной смерти я не мог не услышать осуждения свыше того доброго дела, каким мне представлялась моя женитьба.»

В этот период Степун, студент философии, отходит от увлечения неокантианством и увлекается немецким идеализмом. Возможно, этот поворот был связан со смертью жены, близостью его душевного состояния в этот период к учению о Провидении Фридриха Шлегеля. Лирика Райнера Марии Рильке стала спасением и утешением для молодого философа в этот сложный период.

В гейдельбергский период Степун был дружен с Евгением Юльевичем Левиным (Eugen Leviné, 1883–1919), который в 1903 году поступил на юридический факультет. В университете Степун изучал философию у Куно Фишера (Kuno Fischer), но не только. Вот что сообщает сам философ о своих студенческих интересах в обнаруженных нами архивных материалах – в автобиографии, написанной по случаю подачи прошения о преподавании в университете Мюнхена после Второй мировой войны (март 1946): «Наряду с философией я изучал ‘Учение о государстве’ у проф. Елинека (Jelinek), ‘Учение о народной экономике’ у проф. Готхайна (Gothein) и проф. Ратгена (Ratgen), немецкую историю у профессоров Маркса и Онкена (Marx, Oncken), немецкую литературу у проф. Эрхарда фон Вальдберга (Erhard von Waldberg), историю искусства у проф. Тодде (Thode)»¹⁴.

В 1907 году Федор Степун окончил Гейдельбергский университет, в 1910 г. получил докторскую степень. «Я защитил свой диплом в 1910 г. у проф. Виндельбанда, Елинека, Вальдберга на соискание докторской степени ‘доктор философии’ по теме ‘История философии русского мыслителя Владимира Соловьева’»¹⁵. Написанная по-немецки работа Степуна была опубликована отдельной монографией в издательстве Фритца Екхардта (Fritz Eckhardt Verlag) в 1911 г. в Лейпциге. Это первая публикация Степуна в Германии.

Но к тому времени вкус к философии В. Соловьева у Степуна проходит: «Вместе с угасанием первой любви во мне началось – в душе всё друг с другом связано – и некоторое охлаждение к Владимиру Соловьеву, по крайней мере к его аскетической этике <...> Развенчание Соловьева произошло во мне не без влияния Розанова». Теперь молодой Степун увлечен философией истории.

Степуну кажется вычурным и фальшивым славянофильский постулат В. Соловьева об избранности пути России, об ее исключительности. Живя в Германии, Степун видит и чувствует глобальность европейского мира, взаимосвязь всех культур, без их противоборства между собой, их мирное сосуществование. Он усматривал в соловьевских постулатах замаскированные комплексы: «Почему мы, русские, сами не гордимся своей самобытностью и не чувствуем себя равными в общем ряду европейских народов, не кичась своей национальной исключительностью?! Славянофильская идея ‘Москвы как Третьего Рима’ соблазнительна и опасна, ведет в никуда, она отгородила нас от Европы и подготовила ту националистическую шаткую почву Первой мировой войны, которая сделала возможным удушливый пат-

риотизм Первой войны».¹⁶ Именно в славянофильских теориях, как и в движении панславизма, Степуну видится опасность изоляции России от Европы. Схожую атмосферу «исключительности» отметит русский философ-эмигрант и позднее, в Германии конца 1920-х – нач. 1930-х, приведшую к национальной немецкой катастрофе.

В 1911 году, через три года после трагической смерти первой жены, двадцатисемилетний Федор Степун женится на Наталье Николаевне Никольской (5.5.1886, Москва – 1961, Мюнхен). Для нее брак со Степуном тоже был вторым. В автобиографическом романе Степуна Наталья Никольская получила псевдоним «Никитина». С Натальей Николаевной Федор Августович проживет долгую совместную жизнь.

В «Бывшем и Несбывшемся» он описал их возвращение после Гейдельберга в Россию: «В 1912-м за всеми пожарами стоял 1905-й год: помещичье безденежье, крестьянское нежелание работать на дармоедов, предчувствие новых революционных вспышек. Да как было их не предчувствовать после знаменитого ‘Крестьянского съезда’ 1905-го года, на котором деревенские депутаты так прямо и заявили: ‘Не было ни одного случая насилия: били только помещиков и их управляющих, да и только в том случае, если они сопротивлялись.’».

В 1912 году Степуны вместе с родителями Натальи Николаевны совместно покупают небольшое имение Ивановка в Подмосковье.

Дом семьи Натальи Николаевны был по-чеховски полон – все многочисленные ее братья и сестры со своими семьями собирались под одной крышей. Мать и отец жены, Серафима Васильевна и Николай Сергеевич Никольские, благоволили молодоженам, но в большом семейном кругу Федор Степун мечтал о своем тихом уголке и часто утомлялся многолюдностью Ивановки. Молодожены планировали построить на территории имения дом для себя. «Наша московская квартира была уже с весны ликвидирована, мебель отправлена на склад. Это ли не доказательство, что в войну нам как-то не верилось. <...> Объяснение надо искать в традиционной незаинтересованности русской радикальной интеллигенции в вопросах внешней политики. <...> Отношение к Германии определялось ненавистью к Железному канцлеру за его борьбу с социалистами и преклонением перед Марксом и Бебелем. <...> В нашем непосредственном ощущении война надвигалась на нас, скорее, как природное, чем как историческое явление. Поэтому мы и гадали о ней как дачники о грозе, которым всё кажется, что она пройдет мимо, потому что им хочется гулять. Как всё большое и страшное в жизни, война вплотную подошла к нам неожиданно и незаметно.»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЕЖЕГОДНИК «ЛОГОС». 1910–1914

Студенческие годы закончились для Федора Степуна получением дипломов двух университетов – Гейдельбергского (1910, степень доктора философии) и Московского (1911, степень магистра).

Возвращение в Россию 1911 года и знакомство с Андреем Белым, Александром Блоком, Николаем Бердяевым, Семеном Франком, Вячеславом Ивановым открыли Степуну новую Россию. Степун становится активным членом Философских обществ в Москве и Санкт-Петербурге, благодаря чему расширился круг его знакомств: Борис Яковенко, Николай Лосский, Сергей Булгаков, Василий Зеньковский. С ними судьба сведет Степуна и позднее, в эмиграции, – в Берлине, Праге, Париже, Мюнхене.

Еще в период учебы в Гейдельберге Степун сблизился с Сергеем Осиповичем Гессеном¹⁷ и Николаем Николаевичем Бубновым¹⁸. В их русский круг общения вошли «два немецких товарища, будущие профессора Мелис и Кронер, вместе с ними мы решили основать выходящий на нескольких языках международный журнал по философии культуры». В 1910 году Степун со своими студенческими друзьями С. Гессеном, Н. Бубновым, Р. Кронером (Richard Kroner) и Г. Мелисом (Georg Mehlis) начал издавать в Москве международный ежегодник по философии культуры «Логос» (Издательство «Мусагет»¹⁹, позже – в «Товариществе Н.О. Вольфа»²⁰; в Германии – в Издательстве Зибек). Журнал следовал, главным образом, неокантианской традиции; для редакции была важна идея автономии философского знания; в журнале преобладали публикации по проблемам теории познания. Целью Федора Степуна и его друзей-философов было объединение молодого поколения европейских мыслителей; журнал должен был стать международным философско-культурологическим форумом. «Понимая философию как верховную науку, в последнем счете существенно единую во всех ее эпохальных и национальных разновидностях, мы естественно должны были с самого начала попасть в оппозицию к тому доминирующему в Москве течению мысли, которое, недолголюбивая сложные отвлеченно-методологические исследования, рассматривало философию как некое сверхнаучное, главным образом, религиозное исповедничество. Правильно ощущая убыль религиозной мысли на Западе, но и явно преувеличивая религиозность русской народной души, представители этого течения не могли не рассматривать наших замыслов как попытки отравить религиозную целостность русской мысли критическим ядом западного рационализма.» «Философствуя ‘от молодых ногтей’, мы были твердо намерены постричь волосы и ногти московским неославянофилам. Не скажу, чтобы мы были во всем неправы, но уж очень самоуверенно принялись мы за реформирование стиля русской философии.»

Важно было ознакомить российского читателя с современными философскими течениями в Европе; в русской версии «Логоса» принимали участие и европейские коллеги российских ученых.

Степун, говоря о рождении журнала «Логос» и о встрече с немецким издателем, вспоминает, как он с Сергеем Гессеном, узнав, что в Фрайбурге находились Дмитрий Сергеевич Мережковский и Зинаида

Николаевна Гиппиус, решили пригласить их на заседание на квартире профессора Риккерта: «Расчет наш оказался вполне правильным. Присутствие русских известных писателей сильно повысило наш престиж, а потому и шанс на заключение выгодного контракта».

«Логос» подробно описывает немецкий исследователь Рюдигер Крамме (Rüdiger Kramme²¹); от него мы узнаем о подробностях создания национальных редакций при первом «географическом треугольнике Фрайбург – Гейдельберг – Москва». Во время поездки Федора Степуна в Италию в 1910 году устанавливаются связи с итальянскими философами, которые позже входят в круг авторов-издателей журнала.

Российский «Логос» просуществовал с 1910-го по 1914-й и был закрыт с началом Первой мировой войны. С самого начала возникли большие трудности с переводами текстов для одновременного издания трех языковых вариантов журнала (на немецком, русском и итальянском). Но даже эти четыре года существования русской редакции «Логоса» стали ярким примером взаимосвязи отечественной и западной философий, их открытости друг другу. Всего русской редакцией было выпущено восемь книг.

Кроме Степуна, в состав русской редакции входили Сергей Иосифович Гессен (1887–1950), Эмилий Карлович Метнер (1872–1936), брат знаменитого композитора. Метнер не был подключен к разработке философской концепции русского варианта издания. «В 3–4 номерах за 1913 г. редакция русского ‘Логоса’ сообщила, что журнал будет издаваться не в издательстве ‘Мусагет’, а в издательстве ‘Товарищества Н.О. Вольфа’<...> Помимо охлаждения и, позднее, открытой враждебности Андрея Белого к журналу ‘Логос’, у него были также и другие, личные причины: с 1911 г. он всё ближе примыкал к сотрудникам «Пути»; борьба против неокантианцев, которых он уже с апреля 1912 г. рассматривал как ‘врагов символизма’, была направлена также и против основателя ‘Мусагета’ Метнера, который поддерживал ‘Логос’. Разрыв же между ‘Логосом’ и ‘Мусагетом’ объяснялся причинами, лежащими вне идеологии и личных отношений. Финансовые расходы на ‘Логос’ в первые два года существования выглядят скромно, но следует учитывать, что ‘Мусагет’ с самого начала своей деятельности в финансовых средствах был сильно ограничен. Ко всему прочему продавался журнал плохо. Были допущены существенные ошибки при рекламе, доставке и продаже. Самой главной причиной была высокая цена за номер. <...> В последнем номере ‘Логоса’, выпущенном в 1914 г., было сказано, что в магазинах Вольфа все номера за 1910–1913 гг. продаются с 10%-й скидкой для подписчиков»²².

Немецкая и русская версии журнала появились в апреле 1910 года во Фрайбурге и, одновременно, в Москве. Немецкой редакцией «Logos» руководили в 1915–1918 гг. Георг Мелис²³ и, начиная с 1919-го, Рихард Кронер²⁴. В немецком издании в № 4, 1913, указаны имена активных авторов-соиздателей: «Организация ‘Логоса’ осуществляется интер-

национальной комиссией, которая имеет национальные редакции. Наряду с немецкой редколлегией (Г. Мелис, Р. Кронер), имеется русская (С. Гессен, Б. Яковенко, Э. Метнер, Ф. Степун) и итальянская (D. Varisco, A. Bonucci).» Как было сказано выше, журнал издавался в издательстве «Мор Зибек» (Mohr & Siebeck Verlag)²⁵ в Тюбингене. Итальянская версия ежегодника вышла в 1913 году. Запланированы были национальные выпуски в Венгрии, Англии, Америке, Франции, но из-за Первой мировой войны они не состоялись.²⁶ С 1913 года все национальные выпуски журнала «Логос» издавались в едином графическом стиле и с одним и тем же титульным листом с портретом Гераклита Эфесского.

С началом Первой мировой войны в России поднимаются анти-немецкие настроения, поддерживаемые прессой.²⁷ Осенью 1914 года последовал полный запрет на немецкоязычные издания в России; журнал «Логос», акцентирующий свое внимание прежде всего на немецкой философии и имеющий параллельные выпуски на немецком, стал жертвой этого указа. После погрома немецкого посольства в Санкт-Петербурге последовали погромы немецких магазинов, фирм, предприятий по всей Российской империи. Началось повсеместное переименование немецких названий, а также имен и фамилий российских граждан немецкого происхождения.

Немецкому «Логосу» повезло больше: стартовав вместе с русским вариантом, он продолжал выходить в течение двадцати трех лет, с 1910-го по 1933 г., до прихода нацистов к власти. Просматривая сегодня подшивки издания периода Первой мировой войны, поражаешься толерантности немецких редакторов. Из немецких философов и социологов в журнале участвовали такие известные ученые, как Йонас Кон, Эдмунд Гуссерль, Эмиль Ласк, Генрих Риккерт, Георг Зиммель, Макс Вебер.

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

Война разрушила все жизненные планы. Великая война разделила Федора Степуна и его немецких друзей не только географически, друзья-философы встали по разные линии фронта.

Федор Степун был мобилизован и направлен в 12-ю Сибирскую стрелковую артиллерийскую бригаду – сначала на шесть недель сборов в Иркутск. Вместе с ним поехала Наталья Николаевна. В сентябре 1914 г. Степун направлен в Галицию.²⁸ 20 сентября 1915 г. он был произведен в подпоручики. Но уже в феврале 1916-го его отправляют по болезни в дивизионный лазарет в тыл, в Ригу. И хотя на фронте он пробыл всего два года, за боевые заслуги Федор Августович был награжден четырьмя орденами.

В этот период складывается его «метафизика смерти как внутренней формы жизни на войне и противостояние таковой»; «...я в лазарете почти никогда не слышал сознательных проклятий войне и

часу ранения. Скорее наоборот. Восхваления атак были ярким воспоминанием и словно оправданием случившемуся...», – вспоминал философ в мемуарах. Так продолжалась бойня, несмотря на «голый, унижительный страх», овладевающий человеком во время боя при бездейственности «души, лишенной возможности сопротивляться при надвигающейся смертельной опасности».

В конце июня 1916-го врачебная комиссия постановила отправить Степуна для полного восстановления в Эссентуки, где ему удалось встретиться с женой. После лечения он был переведен в Ригу.

С середины 1916 г. Степун занял активную антивоенную позицию. Свое отношение к войне он описал в автобиографическом романе «Из писем прапорщика артиллериста», вышедшем в 1917 г. в Петрограде, второе издание было выпущено уже в эмиграции в 1926 г. в Праге.

Размышления Федора Степуна о войне отражают эволюцию его личности: «Менялось всё потому, что война уже никем не ощущалась судьбою, от которой уйти нельзя и прятаться постыдно. <...> злые шепоты политиканствующего тыла со дня на день всё глубже разлагали ту подсознательную метафизику войны, которою живет как ее покорное приятие, так и ее героизм. <...> После газовой атаки в батарее все почувствовали, что война перешла последнюю черту, что отныне ей всё позволено и ничего не свято»; «В 1917-м г. уже никто на фронте не чувствовал в войне веяние Божьей благодати. Зато безумие ее ощущали все, открыто связывая к тому же это безумие с глупостью и бессилием власти. О вине правительства и придворных кругов у нас в бригаде впервые громко заговорили во время встречи Нового 1917 г.».

22 декабря 1916 г. Федор Степун был отправлен в тыл.

Немецкие друзья Степуна и соредакторы по «Логосу» Георг Мелис и Рихард Кронер также были призваны в армию. Военный опыт Мелиса ограничился четырьмя месяцами, до его ранения. Этого времени ему хватило, чтобы занять активную антивоенную позицию, открыто в прессе определяя войну «врагом цивилизации и культуры». Он начал преподавательскую деятельность в университете Фрайбурга. Однако своими антивоенными высказываниями он навлек на себя гнев университетского руководства, вынужден был оставить кафедру и в 1924 г. уехал из Германии в Италию²⁹. В поздние 1920-е годы политические взгляды Степуна и Мелиса кардинально разошлись: Мелис увлекся итальянским фашизмом и личностью Бенито Муссолини. С 1924-го по 1942-й, год его смерти, Георг Мелис занимался изучением феномена итальянского фашизма³⁰, публикуя статьи в националистическом журнале «Der Tag» («День»). Рихард Кронер (1884–1974) прошел четырехлетний путь боевого офицера. Он был награжден за храбрость Железным крестом I-й и II-й степени, вернулся к преподавательской деятельности лишь в 1919 году, получив

место профессора в Университете Марбурга у Мартина Хайдеггера. Рихард Кронер на протяжении всей своей жизни оставался большим другом Федора Степуна³¹; особенно ощутима была его поддержка в 1926 г., во время преподавательской деятельности Степуна в Высшей Технической школе Дрездена.

ДВЕ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА. ВЫЕЗД ИЗ РОССИИ В 1922 ГОДУ

Федор Степун был выдвинут делегатом Совета рабочих и солдатских депутатов от Сибирской дивизии в апреле 1917 года. «Совет рабочих и солдатских депутатов, каким я его застал в начале апреля, был по сравнению относительно упорядочным и организованным. Нестерпимый произвол отдельных членов его Центрального комитета был после появления Церетелли значительно ограничен. Прекратились самочинные аресты ‘врагов революции’ отдельными комитетчиками и анархические захваты помещичьей земли инициативными крестьянскими группами на основании неизвестно кем выданных и подписанных разрешений на комитетских бланках с печатью.» 1917 год стал для Степуна временем наблюдений за распадом российского общества в период демократической Февральской революции и до «красного террора» большевиков. «Страшные годы военного коммунизма мы пережили все вместе в нашей Ивановке, которая дала нам возможность не умереть с голоду и холоду, а мне лично написать роман ‘Николай Переслегин’ и книгу о театре.»

Степуно пришлось пережить голодные годы военного коммунизма, постоянных арестов, расстрелов, страха и развала большого города, – весь страшный процесс постепенного погружения во тьму и бездну жестокости целой страны и, как следствие, привыкание человека к террору, к бесчеловечности новой большевистской власти, поставившей своей задачей уничтожение всего гуманного, думающего, живого, демократического.

Известия об арестах и расстрелах знакомых и друзей после Октябрьского переворота 1917 года всё чаще доходили до Ивановки. Но новость о готовящейся принудительной высылке ученых застала семью врасплох. Федор Степун был вызван в ЧК; «после визита в Чека под утро решили, что как ни грустно покидать свое и своих, России и Ивановку, нам надо всё же искренне благодарить судьбу за то, что перед нами распахнулись двери тюрьмы, что мы уже дышим воздухом свободы, без которой жить нельзя». «Боль разлуки, конечно, была, но не очень сильная. В те годы можно было еще переписываться с оставшимися и посылать им пакеты; оптимисты надеялись, что мы скоро вернемся...»

В Европе уже жили многие из его друзей: «Как только мы с женою, высланные в 1922-м из России, поселились в Берлине, стали приходить письма из самых разных мест: из Чехословакии,

Югославии, Болгарии и Турции». Степун пишет: «Чудом перемахнув через бездну большевистской революции, мы очутились в Западной Европе <...> Что говорить, парижская эмиграция не горела тем чистым ярким пламенем, к которому ее обязывало страдание родины. Были и чад, и тоска, и злоба, и уныние. Но всё же нельзя отрицать, что в нищей, неприкаянной эмиграции совершался процесс покаяния и духовного отрешения. <...> вокруг представителей так называемого нового религиозного сознания уже начиналась творческая работа по осмыслению развернувшейся трагедии. В этой работе по-новому перегруппировывались люди и силы, вырастали новые религиозные, культурные и общественно-политические фронты».

Степуны, как и все русские эмигранты, столкнулись с проблемой легализации их статуса, получения соответствующих документов. В 1922 году в стране Советов, как ни странно, всё еще были действительны паспорта Российской империи образцов 1903 и 1912 годов³². С 1918 г. в РСФСР были введены т.н. «мандаты комиссаров», документы с подтверждением личности за подписью местного комиссара. После всеобщей переписи населения в 1920-м в Советской России были введены удостоверения об идентификации личности советского гражданина. Но Федор Степун, как и многие эмигранты, сохранял паспорт Российской империи до получения Нансенского паспорта. Этот документ беженца был официально принят 5 июля 1922 г., однако выдача паспортов началась лишь с января 1923 года³³. Предположительно, Федор Августович Степун и Наталья Николаевна Никольская-Степун смогли получить Нансенские паспорта в первой половине 1923-го, ибо их первая поездка в Париж состоялась уже в мае.

Нансенские паспорта выдавались в Германии в т.н. Полиции для иностранцев (Ausländerpolizei) с 1923–1933 гг.; с 1933 по 1945 гг. – в Полицейском президиуме (Polizeipräsidium) города /селения, где проживал беженец. «Нансенский паспорт указывал на статус 'лицо без гражданства', выдавался только при наличии документов, удостоверяющих личность и доказанный статус эмигранта, имел фото и подпись владельца для идентификации личности беженца. Паспорт обеспечивал легитимный юридический статус беженца, обеспечивал право на жилищную прописку, давал разрешение на работу, медицинскую страховку и возможность передвижения в Европе. Необходимо было вносить взносы размером 5 РМ (рейхских марок) один раз в год. Это продлевало документ, а также поддерживало фонд помощи для материально бедствующих 'нансенских беженцев' разных наций в разных странах.»³⁴ Интересно отметить, что выдача Нансенских паспортов для русских в Германии ускорилась еще и потому, что между Советской Россией и Веймарским правительством уже 16 апреля 1922 года во время Гёнуэзской конференции был подписан германо-советский Договор о дипломатических отношениях. Германия была пер-

вой европейской страной, признавшей легитимность Советской России.

Страны Антанты еще долго не признавали Советский Союз. Германия выступила посредником в урегулировании таких спорных вопросов, как довоенные кредиты Российской империи, сотрудничество в военной промышленности и т.д. В свою очередь, Веймарская республика рассматривала русских беженцев как потенциальную рабочую силу.

С самого начала жизни в Берлине Степун ищет возможности применения своих сил. Он сразу же начинает переписываться с Рихардом Кронером на предмет возрождения русского варианта журнала «Логос» в Берлине. Их первая встреча состоялась в декабре 1922 г. во Фрайбурге, куда профессор Кронер пригласил супругов Степуна на празднование Рождества и Нового года. В кругу немецких друзей обсуждалась возможность реконструкции международного формата журнала.³⁵ Профессор Кронер приложил все усилия для возрождения издания. Но ситуация в послевоенной Германии была неблагоприятной для такого проекта. После многочисленных дискуссий с издательством «Мор и Зибек» (Mohr & Siebeck), где выходила немецкая версия «Логоса» до 1933 г., в издании журнала по-русски было любезно отказано. Отклонено было также предложение Степуна о сотрудничестве этого немецкого издательства с русским эмигрантским издательством «Обелиск» в Берлине. Результатом всех усилий стало издание лишь одного-единственного – последнего – русского тома «Логоса» в конце 1923 г. в русском издательстве «Пламя» в Праге.

Этот опыт первых неудач в Германии столкнул Федора Степуна с жестокой реальностью, но он не сдавался, осознавая, что не публикации в русской эмигрантской прессе финансово спасут его, что прежде всего немецкоязычные статьи вернут его на дорогу признания в Германии. По сравнению со многими эмигрантами Степун имел явное преимущество: он владел в совершенстве немецким языком и имел диплом Гейдельбергского университета; он был окружен немецкими друзьями.

В 1923-м Степун предпринял попытку найти работу в городе его студенчества – в Гейдельберге. Из педагогов, у которых Степун учился, в университете остался только профессор Риккерт (Heinrich Rickert, 1863–1936). Надежда устроиться в Гейдельберге не увенчалась успехом.

После поездки в январе 1924 г. Степун публикует эссе «Два Гейдельберга»³⁶ в русской берлинской газете «Дни», в котором чувствуется не только ностальгия по студенческому прошлому, но и разочарование в общей послевоенной ситуации в городе и стране.

Не имея постоянной работы и заработка, Степун переиздает очерки и романы, которые частично были написаны или опубликованы в России; например, очерк «Основные проблемы театра» он пуб-

ликует в 1923 г. в эмигрантском издательстве «Слово» в Берлине, а свой первый антивоенный роман «Из писем прапорщика», изданный в 1917 г. в России, переиздает в 1926 г. в Праге.

Стремясь уехать из шумного Берлина, Степуны направляются во Фрайбург в мае 1923 года; там 39-летний философ записывается вольнослушателем на летний семестр на лекции основателя немецкой феноменологии Эдмунда Гуссерля (Edmund Husserl, 1859–1938) и на лекции неокантианца Йонаса Кона³⁷ (Jonas Cohn, 1869–1947). Это дает ему возможность продлить свой статус беженца и время пребывания в Германии.³⁸ То лето в Университете Фрайбурга стало для Федора Августовича не только восстановлением старых студенческих связей, но и приобретением новых. Так, он познакомился с Освальдом Шпенглером (Oswald Spengler, 1880–1936)³⁹. Степун писал: «Заостря Шпенглера до последнего предела, можно правомерно утверждать, что для каждой души всемирная история есть, в конце концов, не что иное, как история ее же собственной судьбы».⁴⁰

Это знакомство помогло Степуну начать печататься по-немецки: Шпенглер был постоянным автором известного католического журнала, освещающего вопросы культуры и религии – «Hochland»⁴¹. Журнал был основан в 1903 году Карлом Муттом (Carl Muth), немецким публицистом, «осознанным католическим модернистом», по определению современных исследователей. Журнал был толерантен к авторам любых конфессий, представлявших различные точки зрения на современное развитие общества и реформирование христианства.

Еще находясь в Университете Фрайбурга, Степуны предпринимают путешествие в Париж – и вновь не только для встречи с русскими друзьями, но и в поисках работы. В первый визит они провели в Париже десять дней, потом они регулярно посещают столицу Франции. Старый добрый друг по Москве, Илья Фондаминский-Бунаков (1880–1942) был тем человеком, который «ввел» Федора Степуна в круг русского Парижа 1920-х годов и помог ему установить контакт с «Современными записками». Задуманный как ежемесячное издание тиражом в две тысячи экземпляров, журнал был рассчитан на либерально-демократическую аудиторию. Из-за проблем финансирования журнал выходил нерегулярно, с 1920-го по 1940-й вышло 70 номеров. Руководство журнала осуществлялось членами партии эсеров, среди них – М.В. Вишняк, А.И. Гуковский, В.В. Руднев, Н.Д. Авксентьев, И.И. Фондаминский-Бунаков.

Несмотря на разницу политических взглядов Степуна и редакторов, со многими из них у него были дружеские отношения еще по дореволюционной Москве. Возможно поэтому он быстро получил в журнале должность консультанта по прозе, которую совмещал с лекторской деятельностью. В 1928 году И.И. Фондаминский создает при «Современных записках» одноименное издательство. Среди выпущенных книг – автобиографический роман Ф. Степуна «Николай

Переслегин» (1929)⁴². Роман сначала был опубликован по-немецки в 1928 году в Hanser-Verlag в Мюнхене. Именно с этого момента имя Федора Степуна становится знакомо широкому немецкому читателю.

Первым источником дохода для Степуна стало чтение лекций по-русски и по-немецки, которые Федор Августович начинает с весны 1924 года, путешествуя с докладами сначала по Германии (Берлин, Дрезден, Фрайбург, Гейдельберг); позднее география его поездок расширилась до Праги и Парижа. Так, свои первые лекции он читает в русских эмигрантских кругах, прежде всего в Религиозно-философской академии в Париже, в «Народном русском университете» в Берлине, созданном по инициативе Н. Бердяева при финансовой поддержке Министерства народного образования Германии (Deutsches Volksbildungsministerium). Зачастую эти лекции оплачивались весьма скромно, постоянных средств к существованию они дать не могли. Все переезды, связанные с лекторской деятельностью, были сопряжены с получением виз в каждую отдельную страну по статусу Нансенского беженца⁴³.

ПРЕПОДАВАНИЕ В ДРЕЗДЕНЕ. 1925–1937

Тридцатидевятилетний Федор Степун, имея немецкий диплом Гейдельберга, находился в лучшем положении, чем большинство русских изгнанников. Имели значение и его немецкие корни. Но и для самих немцев ситуация в межвоенной Германии была чрезвычайно сложной после проигранной войны с обязательной выплатой репараций по Версальскому договору; всюду царил безработица, росла инфляция, это влекло за собой массовые беспорядки и рост националистических настроений в обществе.

Ситуация для Федора Степуна начала меняться к лучшему лишь после того, как его друг Рихард Кронер, при содействии Виктора Клемперера (Viktor Klemperer, 1881–1960)⁴⁴, профессора романских языков и литературы, получил место профессора теоретической педагогики и философии в Высшей Технической школе в Дрездене в 1924 году. Высшая школа Дрездена была одной из старейших в Германии: она основана в 1828 году, а в 1961 году переименована в Технический университет Дрездена (Technische Universität Dresden). Несмотря на свою давнюю историю, «она, однако, считалась второразрядной в ряду известных немецких университетов и была своего рода 'местом ожидания' для профессоров-аутсайдеров в немецких академических кругах, особенно для ученых еврейской конфессии»⁴⁵.

Через год после начала работы в Дрездене профессор Кронер позаботился о том, чтобы помочь своему русскому другу. Мы можем с уверенностью утверждать, что именно благодаря его посредничеству у Степуна появилась надежда на преподавание в той же Высшей Технической школе. В 1925 г. Рихард Кронер предложил кандидатуру Степуна на место социолога на культурно-исследовательский

факультет на правах нештатного «почетного профессора» (Honoraryprofessor). Этот статус не предполагал постоянной зарплаты, как, скажем, статус «профессора на ставке», выплачивался лишь гонорар за прочитанные лекции; разрешалось иметь параллельный заработок в другом месте. Поддержку Степун получил не только от Рихарда Кронера; сыграло свою роль и сопроводительное письмо-рекомендация от Эдмунда Гуссерля, профессора философии Фрайбургского университета, вольным слушателем лекций которого Степун был в летний семестр 1923 года. На это решение, безусловно, повлияла также известность Степуна в немецких академических кругах как «эксперта по России»⁴⁶. То, что ему, иностранцу-эмигранту, удалось получить это место, казалось почти чудом.

«В конце октября 1925 г. Федор Степун получил предложение на место профессора по русской социологии в Высшей Технической школе Дрездена. 1 апреля 1926 г. последовало официальное назначение 'нештатным профессором' социологии и руководителем семинара». Работу в Высшей школе Дрездена для Федора Степуна можно разделить на два периода: с 1926-го по 1931-й он был «почетным профессором», а с 1931-го по 1937 год – «экстраординарным профессором», на ставке.

Осмыслению значения работы Степуна в Дрездене помогает его письмо к И. Фондаминскому-Бунакову от 30.11.1925, в котором он сообщает, что, находясь на кафедре, он будет иметь «пять свободных от работы месяцев в году с непрерывной выплатой ежемесячной зарплаты в 500 марок», что позволит ему и далее писать статьи для «Современных записок», а также параллельно заниматься лекторской деятельностью.

Положение русских эмигрантов и беженцев в Германии было юридически закреплено в §118 Веймарского законодательства 1919 года, в соответствии с принципам Версальского договора и созданной Лиги Наций. Параграф 118 закреплял социальные права на политическое убежище для преследуемых беженцев и эмигрантов разных национальностей. Однако этого статуса было недостаточно для получения ставки профессора в немецких университетах. В связи с изменением политической атмосферы в Германии конца 1920-х годов и ужесточением условий получения работы иностранцами в государственных университетах Германии Федор Степун подал в 1926 г. прошение на «натурализацию» как этнический немец, рожденный в Российской империи⁴⁷. Процесс рассмотрения его дела длился около четырех лет. Лишь в декабре 1930 года он получил документ, удостоверяющий его как «натурализованного рейхского немца» («Reichsdeutsche»). На этом основании в 1931 г. Степун смог получить от Министерства культуры и образования Саксонии новый статус профессора «a.o. Professor»⁴⁸, т.е. «экстраординарного профессора» на факультете культуры Высшей Технической школы. С 1931

года в его обязанности входило не только чтение лекций, но и прием экзаменов у студентов. Оклад давал Федору Степуну и его семье относительную финансовую стабильность и надежду на будущее.

Работая в Высшей школе, Федор Степун не прерывает, однако, своей связи с русскоязычной средой, он выступает и дальше с лекциями в русских обществах: «Даже и по получении в 1926-м г. кафедры социологии в Германии я отдавал немало сил русской публицистике. Такова уже судьба нашего поколения: когда тебя непрерывно бьют, можно или молиться, или отбиваться, хотя бы и журнальными статьями, но трудно спокойно исследовать или бесстрастно размышлять».

Вот что сам Федор Степун сообщает в автобиографии, написанной для Баварского Министерства образования и культуры от 2 марта 1946 г., приложенной к его запросу на получение места профессора в Университете Мюнхена: «Первый год моего пребывания в Германии я провел в Берлине, где я, как доцент, работал в Народном университете, созданном при участии группы наших русских эмигрантов при поддержке Министерства народного образования Германии. Также я читал лекции в Религиозно-философской академии, созданной русским религиозным философом Н. Бердяевым. Эта деятельность, сосредоточенная, однако, только на русской эмиграции, была для меня недостаточна. Я начал всё больше и больше читать немецкие лекции в различных исследовательских обществах и лекторских сообществах. В большинстве случаев это затрагивало тему русской культуры и русской революции. Включая Швейцарию, куда я был приглашен дважды для лекций, я делал доклады в 90 других городах. На основе этой лекторской деятельности и моих публикаций мне было предложено место социолога на культурно-исследовательском факультете Дрезденской Высшей Технической школы в 1926 году. С 1931–1937 гг. – ‘профессор на ставке’»⁴⁹. Здесь Степун не упоминает имени своего друга Рихарда Кронера как «добротного ангела», но формуляр и не предполагал этого.

Помощь профессора Кронера проявлялась не только в получении работы, но и в его дружеской заботе о жилье для супругов Степун. С их переездом в 1925 г. из Берлина в Дрезден они размещаются в небольшом переоборудованном домике кучера на территории виллы Рихарда Кронера с большим садом прямо на берегу Эльбы. «Это было для Степунов их первое импровизированное жильё. Они обустроили этот домик: самостоятельно провели электричество, устроили газовую плиту, отремонтировали всё собственноручно. Для проживания имелись две маленькие комнаты, меблированные вещами, предоставленными из главного здания виллы. Они разместились как в каюте парохода, тем самым реализовав свою мечту ‘первой квартиры в Германии без хозяйки’. Федор Степун получил официальную прописку, однако под другим именем, а именно как ‘лектор Йоханнес Белльман’».⁵⁰

Нам неизвестны причины, по которым Степун изменил имя при регистрации.

Именно сюда, в этот маленький домик с огромным садом, приезжают летом 1926 года после продолжительного изнурительного процесса оформления разрешения на выезд из СССР, после мучительных ожиданий немецкой визы 64-летняя мать Степуна Мария Федоровна и 31-летняя сестра Маргарита (Марга).

Мария Федоровна выехала из СССР после тяжелых лет. Решение эмигрировать ей далось нелегко, в Москве после смерти ее старшей дочери Наташи от тифа в 1920 году оставались еще два сына – Оскар и Владимир. С началом Большого террора «миры» разделились, визиты и выезд родственников в Германию стали совершенно невозможными. Страх за судьбу сыновей был одной из многих причин, повлиявших на ухудшение ее психического здоровья. Страх за оставшихся в Советской России родных сопровождал и жизнь жены Степуна. Во многом, очевидно, этим были вызваны ее нервные срывы в 1932 году.

Последняя встреча Федора Августовича с братом-биологом Оскаром состоялась в Дрездене в 1929 году. Нам известны лишь краткие сведения о дальнейшей судьбе родственников, оставшихся в Москве. Оскар и Владимир разделили судьбу с миллионами советских граждан в ГУЛАГе. Оскар Степун (1885–1964) еще до революции стал уважаемым биохимиком и научным сотрудником у известного на всю страну кардиолога Дмитрия Дмитриевича Плетнева (1871–1941). В 1937-м Д.Д. Плетнев был арестован по сфабрикованному обвинению, с 1937-го по 1941-й пробыл в тюрьме в Орле и был расстрелян осенью 1941 года. Оскар Степун был арестован в 1934 году по сфабрикованному делу о шпионаже в пользу Германии, сослан на 10 лет. Он был реабилитирован лишь в 1960-м, долго добивался разрешения вернуться в Москву, где и скончался в 1964 году. Владимир Степун стал актером; с 1921-го по 1924-й работал в Театре Вахтангова, в 1924–1938 гг. – во МХАТе. В 1940-м он был арестован и отправлен в ГУЛАГ. Освобожден в 1954 году. С большим трудом добился полной реабилитации. Прожил в Москве до 1974 года, перебиваясь случайными заработками.

Зная о трагическом развитии событий в СССР, Федор Степун искал возможность вывезти их в Германию, что не увенчалось успехом. Во время Всемирной выставки в Париже в 1937 году в культурной программе от СССР выступал МХАТ; Владимир Степун должен был играть в пьесе «Анна Каренина». Узнав о гастрольях МХАТа, Федор Степун приехал в Париж с женой. Но встреча братьев не состоялась. Неизвестно, что помешало этому: страх и перестраховка Владимира Августовича Степуна, у которого в СССР осталась семья, или ему запретило руководство МХАТа, но братья так никогда и не увиделись.

Зная о Большом терроре в СССР, Федор Степун, боясь навредить братьям, пользовался псевдонимами, публикуя свои критические статьи в русскоязычной прессе в 1930-е гг., особенно в «Современных записках». Боясь навредить родным в СССР, Степун не выступал открыто с критикой Советского Союза. Имея репутацию «эксперта по России», он занимался общим культурологическим и философским анализом русской интеллектуальной мысли, литературы и искусства.

Всё собравшееся в Германии семейство Степунов разместилось в домике при вилле проф. Рихарда Кронера, «в тесноте, да не в обиде», хотя любящий сын Федор, зная всепоглощающую любовь его матери к себе и ее ревность к его жене, настоял на скором отдельном жилье. «Мать Степуна жила на съемной квартире в Дрездене-Бюлау (Dresden-Bühlau), в пригороде, в районе вилл 'Белый олень' (Weißer Hirsch); всю оплату взял на себя старший сын после ареста Оскара Степуна, брата-биолога в Москве, который также помогал денежными переводами из Москвы с 1926-го по 1932 год. Мать Степуна была почтенной дамой, которая сопровождала своего горячо любимого сына Федора во всех путешествиях с лекциями еще во времена довоенной России, навещала его в Гейдельберге в его студенческие времена, а также охотно посещала лекции сына в Высшей Технической школе Дрездена. Там она сидела в качестве лоббистки своего сына рядом с его коллегами, с женами других профессоров и заинтересованными слушателями семинара, такими, как Ида Бинерт (Ida Bienert). Но и Степун рекомендовал свою мать Марию Степун как учительницу русского языка в немецких академических кругах. У нее был круг учеников, которым она отдавала свои знания с большой энергией.»⁵¹

С приездом матери Степуны начали чаще бывать в православной церкви Св. Симеона Дивногорца⁵², став постоянными членами прихода. С 1914-го по 1921 год церковь была закрыта, затем передана в собственность Синода Русской Зарубежной Церкви в 1921 году. В 1924 году при приходе было создано сестричество Святой Марфы, имелась библиотека и читальня. Именно здесь проходили регулярные лекции, одну из которых читал Ф. Степун. Кристиан Хуфен (Christian Hufen), биограф философа, сообщает следующее: «Осенью 1931 г. в подвале православной церкви в Дрездене было обустроено помещение для лекций и встреч. Очевидец событий Александр Еверс (A. Ewers) сообщает о лекции Степуна о расстрелянном поэте Николае Гумилеве».⁵³ С 1927–1930 гг. храм находился в юрисдикции Московского Патриархата в Западной Европе.

Через какое-то время была найдена недорогая квартира, которая была по карману Степуну; мать и сестра оказались на его иждивении. Сестра Марга начала обучаться оперному пению, в 1935 г. успешно завершила учебу и, получив контракт в оперном театре в городке Гёттингер в Нижней Саксонии, начала сама зарабатывать, помогая

матери. «Финансовое положение Степунов стабилизируется с началом преподавания Степуна, это позволяет им в 1927 г. оставить временное жилье у супругов Кронер, они переезжают в арендованную просторную квартиру в только что выстроенный дом на улице со звучным названием 'Парадисштрассе', т.е. райская улица (Paradiesstraße 6b) в районе главного железнодорожного вокзала Дрездена. Вероятно, он, как профессор на ставке, смог получить кредит, который позволил ему снять квартиру с выходом в сад, купить мебель и рояль для своей жены, профессиональной пианистки.»⁵⁴

Той далекой саксонской осенью 1925 года Федор и Наталья, очутившись в Дрездене и будучи гостеприимно принятыми супругами Кронер, наконец-то почувствовали надежду на будущее. Они были хорошо встречены в кругу академической немецкой элиты города, им протезировали Рихард Кронер и его жена Алиса. В их доме регулярно устраивались салоны, посетителями которых были представители культурной элиты Дрездена; там устраивались доклады и велись дискуссии на самые разные темы. Так прошли два года дружеских встреч супругов Степунов и Кронер.

Рихард Кронер получает в 1928 г. профессорскую позицию в университете города Киль, на севере Германии. К этому моменту профессор Кронер был уже признанным специалистом по Гегелю, в Гааге был избран председателем «Гегельянского Союза философов» на международном конгрессе философов, это почетное звание он сохраняет до 1934 года. Жизненные пути Степуна и Кронера расходятся с 1928 года, после переезда Кронера, но связь друг с другом они сохраняют до самой смерти Федора Степуна в 1965-м. Рихард Кронер скончается в 1974 году.

ПРИХОД ФАШИСТОВ К ВЛАСТИ

Период Веймарской республики в Германии закончился приходом к власти Гитлера в январе 1933 года. «Русско-немецкий публицист Степун осмысливал Гитлера и самоуничтожение парламентской системы в Германии. Он видел предназначение христианской политики как возможное противостояние насилию и защиту демократии. Осмысление политической ситуации в Германии <...> основывалось, без сомнения, на опыте Степуна периода Февральской революции»⁵⁵ и, одновременно, на его дискуссиях с Александром Керенским и Вальдемаром Гурьяном (Waldemar Gurian), одним из ведущих интерпретаторов политического католицизма того времени.

Степун пережил 12 лет нацистской диктатуры в Германии без больших потерь. Чтобы понять атмосферу того периода, нам хотелось бы сравнить судьбы Федора Степуна и его немецкого друга Рихарда Кронера на фоне стремительных изменений политической атмосферы в Германии. Уже в конце 1920-х гг. многое предвещало страшные перемены, но радикальные изменения начались с прихо-

дом партии национал-социалистов к власти в январе 1933 года. Рихард Кронер открыто выступал против фашизма как в Италии, так и в Германии, открыто критиковал и другую форму диктатуры – большевизм. Это привело к санкционированным протестам студентов против его лекций в университете в 1933 году. В 1934 г. он был переведен в Университет Франкфурта, где ему рекомендовали сложить с себя обязанности академического педагога. Степун с болью наблюдал за происходящим, испытывал на собственном опыте подобное давление тоталитарного государства на личность еще в Советской России. С 1934 г. для Рихарда Кронера начался период долгих скитаний в поиске работы в университетах. Оставив Франкфурт, проф. Кронер уехал с семьей в Берлин, но и там не нашел работы; во всех государственных структурах Германии уже начались чистки по расовым и идеологическим признакам. Кронеры были вынуждены эмигрировать в 1938 г. в Англию.⁵⁶ Он получил работу в Оксфорде. Немецкие бомбежки Лондона с началом Второй мировой войны повлияли на его решение переехать в 1940 г. в США. С 1941-го по 1952-й он преподает религиозную философию в Union Theological Seminary в Нью-Йорке. В 1952 году Кронеры вернулись в Европу и поселились в Швейцарии.

В тот сложный период спасением для Федора Степуна была его лекторская деятельность. Впрочем, его путешествия по Европе были возможны лишь до начала Второй мировой войны. После окончания зимнего семестра 1932–1933 гг. Степун начал большое путешествие как лектор и побывал в 10 городах, среди которых были Гамбург, Вена, Фрайбург, Базель и Берн. Степун с женой едут на французскую Ривьеру для празднования православной Пасхи (7 марта 1933) и отдыха в кругу Фондаминского-Бунакова на «Villa Mont Fleuri» и у Бунина в Грассе на «Villa Belvedere».⁵⁷

Создание журнала «Новый град» в Париже стало для Федора Степуна отдушиной и новым совместным проектом с Ильей Фондаминским-Бунаковым и Георгием Федотовым. Сотрудничество с журналом в 1931–1939 гг. дало возможность «выскочить» из душной атмосферы фашистской Германии. На страницах журнала печатались известные русские эмигранты – ученые, писатели, богословы, – Н.О. Лосский, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков.

Степуны провели два месяца в Грассе в гостях у Ивана Бунина и вернулись в Германию к началу летнего семестра 1933 года. Это время, проведенное у Бунина, было наполнено размышлениями о смене места жительства, они искали путь на новый старт во Франции. Согласно сообщению Кристиана Хуфена, друга Степунов, Амалия и Илья Фондаминские-Бунаковы, упоминают желание Степунов переехать на юго-запад Парижа в район Кламара (Clamart), где проживал Николай Бердяев. Но мечты останутся мечтами. Больная пожилая мать Федора Степуна делала невозможным их пере-

езд из Дрездена. Да и самому Федору Степуну было уже под 50 лет. Работа, друзья, быт – всё связывало с Германией.

ВЫНУЖДЕННАЯ ПЕНСИЯ. 1937 ГОД

Для Федора Степуна 1937 год стал годом больших перемен. Относительно стабильная жизнь профессора была разрушена указом Министерства образования Саксонии от 21 июня 1937 года, согласно которому он был принудительно отправлен на пенсию, получив при этом запрет на выступления и публикации. Основанием для этого послужил донос, в котором Степун был представлен как противник национал-социализма и русофил. Ему вменялась в вину неправильная интерпретация большевизма и непризнание расовых законов. Вот что говорилось в доносе в Министерство: «Степун видит в большевизме не деструктивное иноземное правление, навязанное русскому народу иудаизмом, а ложное направление русской религиозной тоски, явление отчасти исконно национально-русское... Степун не предпринимал никаких серьезных усилий для позитивного отношения к национал-социализму. Скорее, в своих лекциях он отвергает взгляды национал-социализма, особенно в отношении претензии на тотальность национал-социалистической идеи и важности расового вопроса, а также в отношении еврейского вопроса и, в частности, его значения при критике большевизма»⁵⁸.

А вот как сам Степун в 1946 году сформулировал факт вынужденной отставки: «В 1937 г. Министерством народного образования я был отправлен на пенсию. В качестве причин были названы: 1. Национально-русское самосознание, несмотря на немецкое происхождение; 2. Практикующее христианство (православие); 3. Семитфильское отношение в трактовке русской революции. В устном обсуждении первого пункта мне был сделан упрек в издании русских журналов, которые печатались в Париже, и сотрудничество со студентами в Англии и Франции. После увольнения с государственной службы последовал запрет на выступления и публикации»⁵⁹.

Несмотря на сложную ситуацию, Степуну помог статус «профессора на ставке» и документ «этнического немца»: ему полагалась пенсия за проработанные шесть лет. В документах Саксонского Министерства образования за 1937 год, обнаруженных Кристианом Хуфеном, чувствуется атмосфера доносительства в академической среде в Германии периода Третьего рейха.⁶⁰

Для Степуна принудительная пенсия означала сокращение его доходов до минимума, пенсия выплачивалась в размере ежемесячных 300 рейхских марок. На этот момент Федору Степуну 53 года, на его попечении были 52-летняя жена и больная 77-летняя мать с психическим расстройством, требующая постоянного медицинского ухода. В связи с этим Степуны пришли к решению съехаться с матерью и жить втроем в ее квартире из двух комнат по адресу Schorrstraße 80. Хуфен

пишет: «В этой квартире уже жила его мать, верующая в Гитлера и привыкшая жить на широкую ногу, к этому моменту психически неуравновешенная»⁶¹. Бремя ухода за матерью легло на Наталью Николаевну. Федор Степун взял на себя психологическую поддержку матери: «Кончив работать, я каждый вечер часа на два заходил к маме <..> выпить традиционную чашку чая и поговорить о самом для нее близком и дорогом: о нашем с ней далеком прошлом. <..> Но что я ни говорил, что ни делал – всё, скорее, раздражало ее, чем успокаивало...» Степун называет состояние его матери общебеженской болезнью: «Ведь в этом погружении в прошлое и состояла, личными маминими свойствами предельно обостренная, общебеженская болезнь – ностальгия, особенно опасная у активных политических эмигрантов, не понимающих, что мечтательный вальс ‘Невозвратное время’ непревратим в воинствующий марш ‘Счастливое будущее’».

Мария Степун (немецкое написание ее фамилии было Steppuhn, а не как у сына – «Stepp») чувствовала свое одиночество, нуждаясь в постоянной близости ее старшего сына. Начатая Гитлером война против России в первый раз в жизни разъединила их. «Я, вместе со своими парижскими друзьями, оказался в лагере убежденных оборонцев, мама – в противоположном, пораженческом лагере, правда ненадолго. Как только она поняла, что ‘погромщику’ Гитлеру, ‘фантазеру и истерику’, как она со временем стала называть его, никогда не освободит Россию, она со свойственной ей решительностью окончательно отвернулась от него и, навсегда похоронив свою мечту о возврате в Москву и о свидании с детьми, с горечью перешла на мои позиции». Мария Федоровна Степун умерла в ноябре 1941 года. В «Бывшем и Несбывшемся» Федор Степун подробно описывает последние месяцы и даже дни ее жизни. Степун сообщает: «Хотя мама умерла на 81-м году жизни, за четыре года до уничтожения Дрездена английскими бомбами (13-15 февраля 1945. – *Е.К.*) и захвата его большевиками (8 мая 1945. – *Е.К.*), то есть умерла, по человеческому разумению, – вовремя, ее смерть вечным мраком легла на мою душу. Пожилой человек, теряющий мать, сразу же вплотную приближается к смерти».

ЛЕКТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 1933–1937

С приходом к власти нацистов в Германии Федор Степун спасается в лекторской деятельности, разъезжая по Европе, пока это позволяла ситуация. Можно выделить два периода: 1932–1933 гг. и 1937 годы. Степун указывает, что число докладов в 1930-е гг. доходило до 90.⁶²

Возможность облегченного передвижения по Европе появилась для Степунов лишь с 1930 г., времени их «натурализации» в Саксонии. Кристиан Хуфен пишет: «Согласно имеющимся документам, Степун так и не получил полноценного немецкого гражданства ни в период Веймерской Республики, ни в период Третьего рейха, не

старался получить соответствующего равноправия в первые годы ФРГ»⁶³.

В 1932–1933 гг. Степун посещает с лекциями Францию, Швецию и Норвегию. Финансовые расходы на поездки брали на себя организаторы. Эти страны и приглашающие лица указаны Ф. Степуном в обнаруженном нами опроснике Американской Военной администрации 1946 года. В 1933 г. нам кажется интересным путешествие супругов Степун в Норвегию к Исаяе Александровичу Добровейну (1891–1953). С Добровейном, русским пианистом-эмигрантом, композитором и дирижером, Федора Степуна связывали добрые дружеские отношения еще по Москве. Добровейн окончил Московскую консерваторию, и там же прошли его первые успешные выступления в составе трио с Мишей Мишаковым и Григорием Пятигорским, он также дирижировал театральными оркестрами. Знакомство расширилось и углубилось в Дрездене, где Добровейн жил с 1923 года и работал в Дрезденской опере над «Борисом Годуновым» Модеста Мусоргского. Добровейн, выехав из Германии в 1928 г. в Норвегию, получил годом позже норвежское гражданство. Одновременно он руководил Филармоническим оркестром в Осло и оперой в Будапеште в 1928–1930 годах. Для него переезд в Норвегию был воистину избавлением от надвигающегося на Европу Холокоста. А переезд в Америку в 1931 году спас ему жизнь. Он руководил оркестром в Сан-Франциско в 1931–1934 годах. В предвоенный период в Осло Добровейн смог организовать для Федора Степуна лекции о России.

Если в 1932–1933 гг. лекторская деятельность Ф. Степуна шла параллельно его академической работе в Дрездене, то в 1937 г., после отставки, это стало целенаправленным поиском заработка. Первой была поездка в Париж, где Степун с женой остановились по адресу Avenue de Versailles у Ильи Фондаминского-Бунакова⁶⁴. Приезд Степунов был приурочен к Всемирной выставке в июле 1937 года. Второе путешествие было осуществлено в Швейцарию, посредником и организатором, по сообщению Кристиана Хуфена, был Густав Густавович Кульманн (Gustav Kullmann, 1894–1961)⁶⁵. В 1936 г. Кульманн занимал ответственный пост в Комиссии по делам беженцев в Лиге Наций в Женеве; профессор Степун знал его по Парижу, был знаком с его женой М.М. Зерновой⁶⁶ еще по дореволюционной Москве. Г. Кульманн помог Ф. Степуну выйти на контакт с Артуром Роном (Arthur Rohn), президентом Швейцарского Школьного совета, в надежде получить работу в Высшей Технической школе в Цюрихе.

Думается, что во всех попытках Степуна найти новое место работы был не только страх оказаться без средств к существованию, но и потребность чувствовать свою профессиональную необходимость. Огромный багаж знаний о России, ее культуре, о русской революции ему хотелось передать новым поколениям европейских студентов. Он

видел себя исследователем-социологом и, одновременно, философом-христианином, приветствующим экуменизм как всехристианское единство.

Эти поездки не принесли желаемых практических результатов: предложений из Университета Цюриха не последовало, да и переезд в Париж и желание начать там жизнь свободного писателя и политического деятеля в кругах только русской диаспоры не представлялось Степуну выходом.

«БЫВШЕЕ И НЕСБЫВШЕЕСЯ»

Пользуясь вынужденной паузой в академической работе, Степун начинает в 1937 г. писать мемуары «Бывшее и несбывшееся». «Как странно и как таинственно-непостижимо, что где-то в далекой, иной раз, кажется, давно уже не существующей России и по сей час, быть может, живут те самые люди моего детского мира, о котором я пишу в Дрездене, смотря на спеющие яблоки за окном и минутами не вполне понимая, какой мне видится сад: наш ли подмосковный, <...> или культурный фруктовый, принадлежащий солидному немцу, свято верящему в то, что великий фюрер скоро и в России наведет образцовый немецкий порядок.»

В оригинале манускрипт «Бывшее и несбывшееся» написан порусски, запланированы были переводы на немецкий и французский. Мемуары увидели свет сначала по-немецки в издательстве Кёсель & Пустет (Kösel & Pustet)⁶⁷ в Мюнхене, немецкий вариант мемуаров вышел в трех томах в 1946–1950 годах. Русский вариант – в двух томах в 1956 г. в Нью-Йорке в Издательстве им. Чехова. Все переиздания мемуаров Ф.А. Степуна в постсоветской России основывались на этом варианте.

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

Начало Второй мировой войны стало для Федора Степуна тем неизбежным, что надвигалось с приходом Гитлера к власти. Вот что он пишет: «Война, конечно, когда-нибудь кончится, может быть через год, может быть через пять лет, когда – это сейчас никто не знает. Но восстановится ли для нас, эмигрантов, с ее окончанием свобода передвижения по Европе – еще неизвестно. Может быть, возьмут да и запретят нас, нищих и никому не нужных, по разным странам, как по железным клеткам. Так запретят, что уже никогда больше не увидишь Парижа, не посидишь перед отправкой в последний путь в кругу своих людей, помнящих то же, что помнишь и ты, и на то же, что и ты, уповающих. <...> Как знать, что сейчас делается в Париже, который через несколько дней, вероятно, займут нацисты?» Хочется процитировать еще: «За десять лет моего профессорства в Дрездене через мои аудитории прошло около двух тысяч слушателей. Война не оборвала моих связей с учениками: многие из них, приезжая с фронта

на побывку, заходят ко мне, многие пишут. Общее впечатление от всех разговоров и писем то, что Россия глубоко волнует немецкую душу и даже влечет к себе. Влечет своими просторами, своими закатами (недавно я просматривал пастельные рисунки одного немецкого врача-художника, сумевшего с изумительной музыкальностью запечатлеть вечерние русские зори), главным же образом, загадочною противоречивостью русских людей».

Все годы войны Федор Августович и Наталья Николаевна жили в Дрездене. Пенсия Степуна давала им возможность выживать. В анкете для Американского Военного Правительства в Баварии от 20 июля 1946 года Федор Августович указал, что получал с 1931-го по 1937 год ежегодно от 8 до 10 тыс. рейхсмарок, а с 1937 г. по апрель 1945-го – 4320 рейхсмарок (Bayerisches Hauptstaatsarchiv, МК 44395).

О жизни Степунов в Дрездене в этот период известно лишь, что они чудом пережили бомбардировку города 13-15 февраля 1945 года, совершенную совместной авиацией Royal Air Force и United States Army Air Forces. В эти дни от бомбежки погибли 25 тысяч человек, город был разрушен. То, что семья Степунов выжила, казалось чудом – бомбардировке подвергся железнодорожный вокзал и весь прилегающий район, где они жили. Из воспоминаний Александра Бахраха: «Всё же судьба оказалась к Степуну жестокой: во время бомбардировки Дрездена, перед самым завершением войны, он потерял всё свое имущество, остался с семьей в чем был, а главное – сторели рукописи и книги, а свою библиотеку он затем кое-как восстанавливал, переселившись в Мюнхен, куда по окончании войны был приглашен тамошним университетом»⁶⁸. 18 февраля 1945 года Федору Степуну исполнился 61 год.

Здесь следует поправить А. Бахраха: Степун не был приглашен Университетом Мюнхена, семья самостоятельно пробиралась по разрушенной Германии из Дрездена в Мюнхен. Выбор места был связан прежде всего с их довоенными связями и знакомствами, одним из старых друзей был издатель Карл Ханзер (Carl Hanser). Нам неизвестно, как и каким транспортом добирались Степуны до Мюнхена. Можно лишь предполагать, с какими трудностями они встретились на пути в 460 км между этими городами – при ковровых бомбежках и толпах немецких и иностранных беженцев из разрушенных районов Германии.

Для Степунов вопрос, уезжать или оставаться в Дрездене, в направлении которого активно продвигалась Красная армия, не стоял. Слишком хорошо они помнили военный коммунизм. О зверствах СМЕРШа над русскими эмигрантами, о насильственной депортации в СССР люди начнут узнавать лишь после 1945 года. Переезд из разрушенного Дрездена в Мюнхен состоялся, вероятней всего, в марте 1945-го, а 8 мая в Дрезден вступили части Красной армии и начался период советской оккупации Восточной Германии.

Сравнивая судьбу Степунов с судьбами других русских эмигрантов первой волны, можно сказать, что она представляется более легкой. Прежде всего потому, что Федор Августович был этническим немцем. Как писал сам Степун, он был «натурализован», получив статус «рейхснемца»⁶⁹. Запрос на этот статус он сделал для того, чтобы получить профессорское место в Высшей Технической школе Дрездена. Имела ли его жена тот же статус, нам неизвестно. В Третьем Рейхе для всех граждан был введен новый документ – «кеннкarte» (Kennkarte), аналог внутреннего немецкого паспорта. Указ был внесен в законодательство RGBI vom 22.07.1938S.913, закон вступил в силу 1.10.1938, с января 1939 г. все граждане Германии, достигшие 18 лет, были обязаны иметь кеннкarte.⁷⁰ Документ был действителен пять лет. Согласно обнаруженным нами материалам, Федор Степун на июль 1946 года уже имел «кеннкарту» – что и указал как основной документ, удостоверяющий его личность, в анкете Американской Военной Администрации в Баварии⁷¹. С этими документами Степуны прибыли в Мюнхен.

Их первым пристанищем стал дом Карла Ханзера на Мауэркирхерштрассе 52 в тихом, не разрушенном войной районе вилл и парков в Мюнхене-Богенхаузене. Пребывание там было кратковременным. В марте-апреле 1945 г. начались ковровые бомбардировки Мюнхена, столицы нацистского движения, усилившиеся перед вступлением частей Американской армии. Именно в этот период многие жители Мюнхена, преимущественно старики и семьи с детьми, были эвакуированы в пригороды и альпийские деревни (Landesverschickungsprogramm). Продвижение Седьмой и Третьей Американских армий в Баварии было неравномерным – так, например, Нюрнберг был взят американцами символично к дню рождения Гитлера, 20 апреля, после двухнедельных ожесточенных боев, больших потерь с обеих сторон и сильных разрушений. В Мюнхен американцы вошли без единого выстрела 30 апреля 1945 года (в день самоубийства Гитлера в Берлинском бункере).

Степуны, которые уже имели трагический опыт бомбардировок Дрездена, после недели пребывания в столице Баварии быстро эвакуировались в альпийский пригород. Местечко Роттах на озере Тегернзее (Rottach am Tegernsee) стало их приютом. В этом живописном тихом уголке, где во время войны размещались военные лазареты, санатории и виллы крупных нацистских партийных деятелей, Федор и Наталья Степуны нашли свой мирный приют после долгого пути по разрушенной Германии. Немецкими друзьями оказались Пауль и Ирменгард Мильднер (Paul & Irmengard Mildner)⁷². Были ли они знакомы до встречи в марте 1945 года, нам неизвестно. Их дом находился по адресу Wittgensteinstraße 120 ½ в Rottach am Tegernsee. По иронии судьбы, улица, где поселился русский философ Федор Степун, носила имя известного австрийско-еврейского философа XX столетия

Людвига Иосифа Виттгенштейна (1889–1951). Здесь Степуны встретили конец войны и прожили почти полтора года, с марта 1945-го по октябрь 1946-го, до их переезда в Мюнхен после получения Федором Августовичем места профессора в университете.

Кристиан Хуфен, немецкий биограф Ф. Степуна, сообщает, что супруги Степуны были гостями у состоятельного немецкого предпринимателя из Вупперталя Карла Нойманна (Carl Neumann, 1896–1966), у него они и поселились в Rottach am Tegernsee.⁷³ Этому подтверждение не найдено, а обнаруженные нами документы опровергают данную информацию.

Если в Мюнхене после вступления американцев в город смолкли орудия 30 апреля 1945 года, то в Rottach am Tegernsee сопротивление немецких СС-дивизий продолжалось до 4-5 мая, когда были высланы мирные парламентарии для переговоров о прекращении огня при условии новой бомбардировки в случае отказа сдаваться. В 6 часов утра 5 мая 1945 г. условие американцев было принято, части 141-й дивизии (141 Infantry Regiment) Третьей Американской армии вступили в регион Тегернзее, благодаря чему красивые селения Роттах-Егерн, Бад Висзее (Rottach-Egern, Bad Wiessee) остались неразрушенными.

Для Степунов, как и для всех жителей, эти дни были наполнены страхом за жизнь и неуверенностью в завтрашнем дне. Никто не мог знать, как отнесутся американцы к старой русской эмиграции в Германии, будут ли они насильно отправлены в СССР, как того требовало Ялтинское соглашение между союзниками. Атмосфера была наполнена слухами. Вплоть до апреля 1946 года Степун выжидал. Такая модель поведения – «ниже травы, тише воды» – была характерна для многих русских, как «старых» эмигрантов, так и «новых», «советских», спешно готовящих поддельные документы их мнимого гражданства. Такова была стратегия выживания в надежде избежать репатриации на родину.

С мая 1945-го по декабрь 1946-го по всей Баварии проходила массовая насильственная репатриация советских военнопленных, остовцев и гражданских беженцев. Лицам, имеющим Нансенские паспорта и этническим немцам из СССР, получившим статус «рейхский немец», как Федор Степун, не грозили выдачи, но ошибки – невольные или сознательные – случались часто. В Мюнхене с разрешения Американской Военной Администрации вплоть до конца 1946 года «рыскали» в гражданской одежде офицеры СМЕРШа. Нередко бывали случаи, когда тех беженцев, кто жил не в лагерях Ди-Пи, а на частных квартирах, смершевцы опознавали как русских, хватали прямо на улице и увозили в неизвестном направлении. Получить защиту от немецкой полиции или от Американской Военной полиции было невозможно. Русское «сарафанное» радио распространяло эту информацию быстро, сея страх среди людей. Думается, именно этим объ-

ясняется, что Федор Степун лишь спустя год после вступления американцев в Мюнхен начал искать легальную работу и выезжать в город.

ПРЕПОДАВАНИЕ В УНИВЕРСИТЕТЕ МЮНХЕНА. 1946–1951

Степун отсылает письменную заявку в Баварское Министерство культуры и образования (Bayerisches Staatsministerium für Kultur und Bildung, kurz: Kultusministerium) 2 марта 1946 г., напрямую к министру образования Францу Фендту (Franz Fendt)⁷⁴. Нами обнаружена переписка между Ф.А. Степуном и Баварским Министерством от первого письма Федора Августовича с предложением своих услуг в качестве специалиста по России и до его назначения на профессорское место в университете, включая продление договора о работе, – и до его выхода на пенсию. В этот архивный фонд входит также межведомственная переписка между министерством и философским факультетом Университета Мюнхена.

К письму Ф. Степуна приложены биография на трех страницах и внушительный список его немецких довоенных публикаций, напечатанные на пишущей машинке. В обращении к министру Степун пишет: «Как видно из моей биографии и списка моих публикаций, я как ученый, публицист, писатель всю свою жизнь занимался Россией. Сегодня, когда эта страна находится в центре мирового внимания, я чувствую обязанность и даже призвание все мои силы посвятить этой, возможно самой сложной и самой всесторонней, проблеме нашего времени. На мой взгляд, необходимо противостоять слепой ненависти ко всему русскому, чтобы каждый мог сопротивляться соблазнам большевистской агитации не только во имя религиозных и культурных ценностей, но также и во имя политико-экономических реалий. Это возможно только с помощью глубоких научных исследований и беспристрастной справедливости. Поскольку Мюнхенский университет, как заявил ректор в ‘Зюддойче цайтунг’⁷⁵, считает особенно важным изучение Востока (Имеется в виду Восточная Европа. – *Е.К.*), я беру на себя смелость предложить свою кандидатуру по теме ‘история русской духовной культуры’ в рамках планируемого Института по изучению России или в какой-либо другой форме. С деканом философского факультета профессором др. Шарфф (Scharff) я уже беседовал по этому поводу. Профессор др. Кошмидер (Koschmieder), к которому меня послал профессор Шарфф, обещал поддержать мою кандидатуру. Тайный советник Фосслер (Fossler) также обещал засвидетельствовать свою поддержку»⁷⁶.

Письмо Степуна было смелой попыткой начать в 62 года карьеру профессора на новом месте; он был еще полон сил, а главное, уверенности в своем профессионализме и нужности своих знаний эксперта по России. Степун пишет всё новые и новые письма в министерство, регулярно напоминая о себе; иногда навещается в министерство в Мюнхен, до города – 60 км, преодолеть которые в первый послевоен-

ный год по разрушенной железной дороге, при частых пересадках и переполненных поездах, довольно сложно.

Анализируя ведомственную переписку между Баварским Министерством культуры и Университетом Мюнхена по поводу кандидатуры Степуна, можно сказать, что положительное решение было принято довольно быстро – с момента письма Степуна до документа о его назначении прошло всего два месяца: после первого письма Степуна от 2 марта 1946 года колесо бюрократической машины Баварского Министерства закрутилось; запрос от Министерства в Университет Мюнхена поступил 8 апреля, а 11 мая 1946-го профессор А. Шарфф сообщает о заседании администрации университета 15 апреля, где обсуждалась кандидатура Степуна: были высказаны сомнения по поводу предложенной кандидатуры в связи с его деятельностью во Временном правительстве А. Керенского. Шарфф пишет: «По этой причине он, несомненно, вызовет большие подозрения у нынешней русской власти. Таким образом, факультет, исходя из обоснованных аргументов, не смог принять окончательное решение об удовлетворении просьбы проф. Степуна, при всей готовности это сделать. Проф. Степун сам сообщил о предложении ему профессорской должности во вновь созданном Университете г. Майнца во французской зоне оккупации, из чего мы исходим, что он будет обеспечен местом»⁷⁷.

20 мая 1946 г. министр образования посылает краткую записку др. Зюссу, директору Министерства, с настоятельной просьбой: «Просим срочно найти применение профессору Степуна в Университете Мюнхена, иначе он уедет в Майнц»⁷⁸. В этом желании заполучить профессора Степуна на философский факультет в Мюнхене чувствуется большая заинтересованность политиков Баварского правительства при либеральном Кабинете министров под управлением социал-демократа Вильгельма Хёгнера; по всей вероятности, здесь имела место и рекомендация Американской администрации Баварии. Стоит упомянуть, что в 1946 г. принимаемые решение во всех структурах власти в Баварии, подвергшейся идеологической проверке на принадлежность к нацистской партии и последовавшей за этим отставкой многих профессоров из-за их принадлежности к НСДАП, согласовывались с американцами. Сотрудничество с Федором Степуном рассматривалось Баварским Министерством образования как наиболее подходящий либеральный вариант.

Настоятельная просьба из Министерства возымела свое действие на декана философского факультета, хоть и с некоторым сопротивлением с его стороны. Ответ гласил: «Философский факультет с большой заинтересованностью готов дать возможность преподавать проф. Степуна и предусматривает составить заявку на профессорскую должность для преподавания курса 'История русской духовной культуры'. Однако такую ставку, какую он имел в Лейпциге»⁷⁹ и какая

запрашивается, факультет предложить не может. Мюнхен не имеет подобной кафедры, она не востребована в данный момент по причине того, что славистика уже дважды представлена в университете. Против профессорской ставки Степуна высказался госсекретарь Граф, указывая на связи Степуна с Керенским; по этой причине заявка Степуна не была направлена далее. 2.05.1946 я созвонился с г-ном Шарфф с просьбой получения ставки 'профессора на гонораре' для Степуна и ускорения всех формальностей»⁸⁰.

Славистика в Университете Мюнхена действительно была «представлена дважды». Дело в том, что в довоенный период в университете усиленное внимание уделялось изучению СССР как потенциального врага и подготовке соответствующих специалистов по Советской России. После войны была проведена лишь идеологическая «чистка» персонала, были уволены члены нацистской партии, однако сама академическая структура не менялась.

Следует отметить, что в Мюнхене к 1950 году американцы создали «Институт по изучению истории и культуры СССР»⁸¹; финансирование негласно осуществлялось США. Обнародование сведений о причастности ЦРУ к финансированию института в 1972 году стало настоящим общественным скандалом в Западной Германии, приведшим к закрытию института. Степун следил за работой института, но не стал принимать участия в его работе, считая, что настоящая наука должна оставаться нейтральной, вне идеологии.

Итак, в Университете Мюнхена в этот период работали две аналогичные кафедры – славистики и Восточной Европы. Создавать новый институт по изучению Советского Союза было нецелесообразно. Поэтому администрация приняла компромиссное решение: на философском факультете с зимнего семестра 1946–1947 гг. объявить отдельный спецсеминар Степуна о России. Финансирование этого проекта осуществлялось Баварским Министерством образования. Профессор Степун был оформлен в качестве «профессора на гонораре» с оплатой ниже «профессора на ставке», которую он имел в Дрездене до войны. 11 июня 1946 года др. Зюсс сообщает Степуноу о возможности получения им должности в университете. Как указывает сам Степун в письме от 19 августа 1946 г., ему был обещан годовой гонорар профессора в размере от 8 до 9 тысяч рейхсмарок. В сложной послевоенной ситуации инфляции и разрухи этот оклад представлялся весьма скромным, если сравнить, что в 1946 г. проезд на пригородном поезде для Степуна стоил в один конец 76 РМ. Получение работы в университете стало для Степуна большим счастьем: многие немецкие профессора после войны вообще не имели работы. В процессе дальнейшего оформления договора ему сообщили, что обещанный гонорар будет сокращен до 4800 рейхсмарок, так как Степун уже получал пенсию от Высшей Технической школы Дрездена с момента его увольнения (с 1937 года вплоть до мая 1945-го). Последующая

ведомственная переписка отражает замедление процесса оформления Степуна на работу со стороны философского факультета.

Кандидатура Степуна была окончательно утверждена Баварским Министерством через пять месяцев, к концу июля 1946-го. Учитывая, что Степун в академической среде Мюнхена был почти неизвестен, решение было принято быстро – чему во многом способствовал его довоенный издатель Карл Ханзер. В официальном документе от 4 октября 1946 г. о назначении проф. Ф. Степуна на должность говорится: «Назначение Ф. Степуна на философский факультет университета Мюнхена не гарантирует постоянную позицию [в университете], не дает также права предъявлять государству требования перевода на данную кафедру. Проф. др. Степун имеет право проводить лекции и семинары в области исследований, относящихся к его компетенции. Лекторская деятельность рассчитана на два года; [кандидату] выдается годовой гонорар в размере 4800 рейхсмарок с гарантией предоставления субсидии на жилье. Данное назначение не входит в статус ‘государственный служащий’»⁸². Первоначальный договор предполагал работу с октября 1946-го по 30 сентября 1948-го, он был продлен еще на один год, до сентября 1949-го, после чего последовало новое продление – до 30 сентября 1951 года. В 1951-м Федору Августовичу исполнилось 67 лет – пенсионный возраст для профессуры в ФРГ. Договор не был продлен, и Степун вышел на пенсию к осени 1951 года.

Интересно в этом отношении письмо от Баварского Министерства культуры от 26.04.1951 о невозможности выделить Степуноу как «профессору на гонораре» пенсии согласно закону о пенсиях для преподавателей в высших учебных заведениях ФРГ: «Оснований для выделения пенсии Федору Степуноу, профессору на гонораре в Университете Мюнхена, согласно закону ФРГ об обеспечении преподавателей высших учебных заведений от 12.07. 1951, не имеется. Он не имеет немецкого гражданства. Для него производится перерасчет зарплаты...»⁸³. Здесь нужно уточнить ситуацию с гражданством Ф.А. Степуна. Новый закон о немецком гражданстве немцев, родившихся за границей, был принят после провозглашения ФРГ в 1949 году. Процесс оформления соответствующих документов предусматривал много формальностей; в частности, для русских немцев требовалось официальное подтверждение из СССР. Поэтому Степун оставался с довоенным статусом «этнического немца», что не давало ему, кстати, возможности свободного перемещения по Европе и в США. Вероятно, у Федора Августовича просто не хватило сил на оформление гражданства ФРГ.

С июля 1946 года, после утверждения кандидатуры Федора Степуна на место «профессора на гонораре» на философском факультете Университета Мюнхена, начался довольно длительный процесс дополнительных формальностей, обязательных для всего населения

в американской зоне оккупации в Баварии. Так, например, получение справки о принадлежности к нацистской партии и подтверждение денацификации от т.н. Апелляционной Палаты (Spruchkammer⁸⁴) было одним из обязательных условий для получения работы и продовольственных карточек.⁸⁵ Эта процедура предполагала устный опрос с заполнением формуляра. Закон «Об освобождении от национал-социализма и милитаризма»⁸⁶ в американской зоне оккупации был принят 5 марта 1946 года. В процессе устного опроса Степуна большим плюсом для него стал факт его вынужденной пенсии, санкционированной Саксонским Министерством культуры в 1937 г., а также запрет Степуна на устные высказывания и публикации в период национал-социализма в Германии. То, что в 1937-м повергло Федора Августовича в депрессию, сыграло ему на руку в новой послевоенной Германии. Американцы рассматривали его как жертву нацистского режима, пострадавшего на профессиональном поприще. На этом основании профессор Степун получил от американцев легитимное право на преподавание в государственном университете.

Именно этот обнаруженный нами документ – опросный формуляр по денацификации, датированный 20 июля 1946 г., – раскрывает дополнительные данные о предвоенном и военном периоде жизни и деятельности Федора Степуна. Так, мы узнаем о гражданстве Степуна: «рейхский немец» с наличием «кеннкарты» (Kennkarte) Nr. 59269, не имеющий по возрасту ни военного билета (Wehrpass), ни загранпаспорта (Reisepaß). «Кеннкарта» была действительна и после войны в зонах западных союзников, из документа были лишь убраны дискриминационные знаки – «J» для евреев и свастика. С мая 1949 г., времени провозглашения ФРГ, был введен закон о внутреннем немецком паспорте; в массовое обращение он поступил в 1951 году.

Для русских эмигрантов изменились многие формальности и документы еще в 1946 году. Так, с окончанием деятельности Лиги Наций (январь 1919 – 20 апреля 1946)⁸⁷ был упразднен Нансенский паспорт; в западных зонах Германии были введены т.н. «дипийские карты» (DP Identity Card). Однако для Федора Степуна, этнического немца, и его жены, вероятней всего имеющей Нансенский паспорт, ситуация в целом не изменилась. Их права были хорошо защищены этими документами в американской зоне Германии. Никаких проблем по оформлению новых документов, с которыми столкнулось большинство русских беженцев, Степуны не имели.

ДРУЖБА ФЕДОРА СТЕПУНА И КАРЛА ХАНЗЕРА

Дружба между философом и мюнхенским издателем Карлом Ханзером началась с момента публикации первого романа Степуна «Die Liebe des Nikolai Pereslegin» («Любовь Николая Переслегина») в 1928 году (русский вариант романа с названием «Николай Переслегин» вышел в 1929 г. в Париже).

Для издательства «Ханзер» это была первая книга, с которой началась жизнь издательства. Книга имела успех у немецкой публики, поэтому через год был выпущен второй роман Степуна по-немецки «*Wie war es möglich. Briefe eines russischen Offiziers*» («Как это было возможно. Письма русского офицера») Русский вариант этого антивоенного романа с названием «Из писем прапорщика артиллериста» был первоначально издан в 1917 г. в издательстве «Задруга»⁸⁸ в Москве.

Федор Степун был старше своего мюнхенского друга-издателя всего на семь лет; их объединяла любовь к философии и сходство образования – оба окончили философские факультеты, Ф. Степун – в Гейдельбергском университете в 1910 году, Карл Ханзер – во Фрайбурге (Freiburg) в 1928 году. Сразу же после окончания университета Карл Ханзер основал свое издательство Carl Hanser Verlag München. Первоначально «Ханзер Издательство» сконцентрировалось на публицистике и профессиональной технической литературе. С приходом к власти нацистов издательство «выживало» за счет переводной технической литературы, прежде всего из области машиностроения, обработки металлов, зубной техники, электротехники, биотехнологий. После Второй мировой войны издательство было одним из первых, получивших лицензию на публикации от Американской Военной Администрации в октябре 1945 года. С этого момента оно стало специализироваться на отечественной и зарубежной беллетристике. В том же году Карл Ханзер, не обремененный нацистским прошлым, основал Баварский Союз издателей, стал вхож в баварские правительственные круги, имел дружеские контакты с Американской Военной Администрацией.

Довоенная многолетняя дружба русского философа и немецкого издателя позволила создать доверительные отношения и после войны. Карл Ханзер рекомендовал друга-писателя немецким коллегам, использовал свои связи в протектировании проф. Степуна Баварскому Министерству культуры. Вольфганг Брайслер (Wolfgang Breisler), один из сыновей Карла Ханзера и многолетний руководитель семейного издательства, сообщает: «Мои родители и супруги Степуны сдружились домами еще до войны, в 1920-е гг.; после войны родители помогли им с жильем в послевоенном Мюнхене, предоставив одну из небольших квартир в нижнем этаже после получения Степуном места профессора на философском факультете в Университете Мюнхена. В свободное от лекций время Федор Степун нередко навещал моих родителей, с отцом играл в шахматы, мать даже учила какое-то время русский язык у супруги Степуна, но особенно любимыми были часы, когда Степун рассказывал о России за чаем или кофе. Он был одаренным рассказчиком. Примечательны были скромность и такт Степунов, они всегда соблюдали уважительную дистанцию благодарного гостя и никогда не являлись без приглашения»⁸⁹.

Важно отметить чрезвычайно сложную ситуацию с жильем в разрушенном Мюнхене. Так, например, были введены жесткий контроль на неразрушенную жилплощадь, квоты на расселение немецко-беженцев из восточных регионов-протекторатов (из Чехословакии, Румынии, Польши и т.д.) и немцев, эвакуированных из ближайших разрушенных городов. Всем этим занималось Жилищное городское ведомство. Степуну как профессору полагалось жилье от университета, но эта процедура шла также через Жилищное ведомство. С началом зимнего семестра 1946–1947 гг. ездить из пригорода Роттаха в Мюнхен на лекции было бы для Степуна тяжелым и дорогостоящим занятием. Карл Ханзер, проживая в Мюнхене во вместительной двухэтажной вилле, где были размещены его издательство и частная квартира, а также дополнительная жилплощадь для сдачи в аренду, предложил профессору Степуну разместиться в квартире на нижнем этаже, с выходом в сад. В октябре 1946 г. супруги Степуны переехали в Мюнхен. Ни мебели, ни библиотеки, ни крупных вещей у них после бомбардировки Дрездена не осталось. Они переехали «налегке» в дом на Мауеркирхерштрассе 52, где коротко уже останавливались в марте 1945 г. после приезда из Дрездена.

Стоит отметить, что в первые послевоенные годы получить разрешение на жилплощадь было сложно даже в том случае, если владелец дома был готов предоставить квартиру. Карл Ханзер, как владелец, обязан был сообщить в Жилищное ведомство, на каком основании он предложил жилплощадь именно профессору Степуну. Так, в письме от 16 мая 1947 г. Дитер Саттлер (Dieter Sattler)⁹⁰, госсекретарь Баварского Министерства культуры, друг Карла Ханзера, обращается к Макс Герстлю (Max Gerstl), главе городского Ведомства, с просьбой помочь Степунам: «Жилищные условия проф. Степуна, чья деятельность в университете по разным причинам, в особенности государственно-политическим, имеет чрезвычайно важную, всё еще не до конца урегулированы. На основании его профессорского назначения в университет ему и его жене 31.10.1946 предназначались две проходные комнаты в квартире с кухней и ванной по адресу Мауеркирхерштрассе 52, в которых проживала до этого г-жа Менде, с определенным политическим прошлым. По недоразумению документы из университета в Жилищное ведомство не были направлены вовремя, а потому после выселения г-жи Менде в одну из комнат Жилищное ведомство вселило 15.11.1946 молодую г-жу Коетинскую, певицу оперетты. Вследствие того, что ведомство не выдало проф. Степуну ожидаемого и своевременного разрешения на вселение в эти комнаты, мы обращаемся 3 января 1947 г. с просьбой о выселении г-жи Коетинской и передаче этой комнаты супругам Степун. Г-жа Коетинская имеет контракт с Театром оперетты в Мюнхене, репетирует свои номера громко и в разное время дня и ночи, возвращается с работы очень поздно. Вследствие того, что обе комнаты смежные,

это мешает профессору для его занятий и приема студентов. Просим исправить ошибку Жилищного ведомства и предоставить обещанные две комнаты проф. Степуну, как это было первоначально предусмотрено и как это предполагает уровень известности проф. Степуна»⁹¹. В ведомственной переписке указано, что ситуация оставалась прежней вплоть до 29 августа 1947 г., пока решением Жилищной комиссии Федор Степун не был официально утвержден как главный съемщик двухкомнатной квартиры. В доме Карла Ханзера супруги Степун прожили неполные шесть лет, с октября 1946 г. по август 1952 г., пока не нашли небольшую квартиру в районе Шваббинг на Аймиллерштрассе 30 (Aimillerstr. 30). Сегодня на фасаде этого дома висит мемориальная доска, напоминающая о жизни там русского философа.

ФЕДОР СТЕПУН И ДОМ МИЛОСЕРДНОГО САМАРЯНИНА

В районе Богенхаузен Федор Августович и Наталья Николаевна нашли душевный покой. Эта часть Мюнхена необыкновенно красива. Но главную роль сыграла близость квартиры Степунов с Домом Милосердного самарянина, ставшим с осени 1945 г. островком спасения для русских беженцев.

В августе 1945 г. священник из Прибалтики о. Александр Киселев, яркий деятель РСХД, организовал в доме № 5 по Мауеркирхерштрассе школу для русских детей, амбулаторию, зубоврачебные курсы, домовую церковь, библиотеку и маленькое ротаторное издательство для учебников, духовных книг и светской литературы. Это место стало воистину Ноевым Ковчегом для русских эмигрантов – как «старых», так и «подсоветских», выехавших во время Второй мировой войны на Запад.

Сюда приходили на церковную службу Федор Августович с Натальей Николаевной; они были постоянными членами православной общины в храме Св. Серафима Саровского до момента закрытия Дома Милосердного самарянина в 1955 году. Даже после переезда Степунов в 1952 г. в район Шваббинг их связь с Домом не ослабла. Федора Степуна приглашали туда для внеклассных лекций ученикам старших классов и взрослой аудитории.

Л.С. Флам, приехав с родителями из Риги в Мюнхен в 1945, вспоминая о послевоенном городе и своих гимназических годах в Доме Милосердного самарянина, сделала интересное дополнение к данной статье: «Степун был большим другом Объединения Российских студентов (ОРС), при его содействии Мюнхенский университет принял большую группу русских студентов на свой медицинский факультет. Он также часто выступал в ОРС со своими лекциями, был он чем-то вроде покровителя русского послевоенного студенчества»⁹². Одним из таких русских студентов был Николай Зарудский, вот что он вспоминает: «Часто выступал у нас с лекциями блестящий ученый, профессор Мюнхенского университета Федор

Августович Степун, который, помню, с особым азартом любил говорить о западниках и славянофилах. Он был большой наш друг. Это он пошел со мной в немецкую приемную комиссию и представил меня человеку, который посоветовал обратиться в американское командование... Самый активный период ОРС пришелся на период 1949–1951 гг. После этого люди начали потихоньку исчезать – уезжать из Германии, преимущественно в США»⁹³.

В первые послевоенные годы Федор Степун познакомился со многими «подсоветскими» людьми, он анализировал этот опыт во вступлении к своим мемуарам «Бывшее и несбывшееся», работать над которыми закончил перед Рождеством 1948 года: «За последние годы из этого [советского] мрака вышли нам навстречу новые, возвращенные уже Советской Россией люди. Будем надеяться, что они, если мы только не оттолкнем их от себя и поможем им преодолеть свою ‘окопную’ психологию, помогут нам разгадать страшный облик породившей и воспитавшей их России. Каюсь, иногда от постоянного всматривания в тайну России, от постоянного занятия большевизмом в душе подымается непреодолимая тоска и возникает соблазн ухода в искусство, философию, науку. Но соблазн быстро отступает. Уйти нам нельзя и некуда».

ЛЕКТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ИНСТИТУТЕ КИНО

Федор Степун проработал «профессором на гонораре» в Университете Мюнхена без малого пять лет. Выйдя на пенсию, он не прекратил деятельности. За время работы у него появились немецкие друзья из академической среды, а также своя студенческая аудитория, у которой он имел заслуженный успех как талантливый лектор и специалист по России. Так, Федор Степун в своем письме к советнику Баварского Министерства культуры от 21 декабря 1953 года⁹⁴, сообщает, что на каждом из его двух семинаров «О Достоевском» и «О театре и кино» присутствует до трехсот слушателей. Он пишет также о желании к своему 70-летию в феврале 1954 года окончательно завершить лекторскую деятельность. В этом же письме он предлагает обсудить вопрос преподавания русского языка и литературы в Университете Мюнхена и о новой кафедре славистики: «Не должно быть такого, что только в Восточной зоне Германии русский язык является обязательным предметом и что там русская история и литература углубленно преподаются, а юношество Запада, когда настанет время воссоединения (Германии. – Е.К.), беспомощно будет стоять друг против друга. Об этом мои тяжелые думы»⁹⁵. Это предложение профессора обсуждалось на министерском уровне в течение 1954 года, но окончательное решение так и не было принято.

В 1950-е Степун знакомится с поколением немецких студентов в Институте кино. Среди его студентов были будущие режиссеры, кинодокументалисты и кинокритики, которые в 1954 году в Университете

Мюнхена организовали «Студенческое общество друзей кино», реорганизованное в Институт кино (Institut für Filmwesen)⁹⁶. В отчете за 1954–1956 гг.⁹⁷ в списке доцентов и лекторов института мы находим имя Федора Степуна и его курс «Двойное лицо большого города в кино на примерах русских фильмов 1920-х гг.». В предложенном списке фильмов указаны «Последние дни Санкт-Петербурга» В. Пудовкина (1927), «Шторм над Азией» В. Пудовкина (1928), «Живой труп» Федора Оцепа (1928), совместный русско-немецкий фильм. К списку приложены также названия экзаменационных работ студентов, которые курировал Ф. Степун: «С. Эйзенштейн, жизнь и творчество», «Анализ фильма С. Эйзенштейна ‘Броненосец Потемкин’», «Фильм ‘Мать’ В.Пудовкина». Свой интерес к русскому и советскому театру и кино Степун выразил еще в послереволюционные годы в России, а в 1932 г. опубликовал по-немецки монографию «Театр и кино» (Theater und Kino. Bühnenvolksbundverlag) в «Издательстве Сценического народного союза» в Берлине. Уже в послевоенный период в 1953 г. вышла его работа «Театр и фильм» (Theater und Film) в издательстве его друга Карла Ханзера в Мюнхене.

Федор Степун сумел привлечь внимание студентов Института кино в Мюнхене в 1954–1956 гг. к талантливым кинопроизведениям Эйзенштейна и Пудовкина, акцентируя внимание не только на высокой художественности, но и на использовании кино как средства пропаганды в условиях диктатуры. Пристальное внимание к советскому кино у мюнхенских студентов объяснялось ожидаемым процессом либерализации СССР после смерти Сталина в 1953 году. Сказались также и политические изменения в самой Западной Германии в 1960-х годах, студенческие волнения в Мюнхене и Берлине.

В конце 1950-х начинается один из интереснейших периодов активности студентов; «поколение детей» начало задавать «отцам» назревшие вопросы о преступлениях немецкого фашизма в Европе и об ответственности за них; призывы к покаянию немецкой нации за содеянное зло становились всё громче. Во время визита Вилли Брандта в Польшу 7 декабря 1970 года федеральный канцлер преклонил колено перед монументом жертвам нацизма в Варшавском гетто. Студенческие волнения в ФРГ, несомненно, повлияли на улучшение отношений между ФРГ и странами Восточной Европы. Новое поколение немцев хотело больше знать и об СССР за «железным занавесом».

Одним из центров студенческих волнений был Институт кино в Мюнхене. Степун с большим интересом наблюдает развивающееся общественное движение, изменение настроений в немецком студенчестве, когда молодые люди всё больше ратовали за демократизацию университетских структур и самоуправление. Но Степун отрицательно относился к чрезмерному увлечению коммунизмом среди молодого поколения немцев, ничего не знающего о репрессиях советской системы. В разъяснении сущности коммунизма и разрушительности

этой идеологии он видел свою миссию перед молодыми немцами. Был ли он услышан, это уже другой вопрос.

В это время 70-летний Степун знакомится с Эберхартом Хауффом (Eberhard Hauff, 1932–2021)⁹⁸, режиссером, продюсером, основателем Института кино. Так, в обнаруженных нами документах имеется сообщение о том, что профессор Степун выбран студентами Высшей школы кино в качестве посредника в диалоге между студентами и госсекретарем Баварского Министерства образования и культуры Карлом Букхардом (Karl Burkhardt⁹⁹). Студенты протестовали против устаревшей программы преподавания Института кино, в которой видели попытки превращения института в псевдоакадемию; протестовали против увольнения по политическим мотивам либеральных доцентов. 28 марта 1958 года Федор Степун выступил на Баварском радио не только посредником, но в какой-то степени и защитником прав студентов. Кандидатура Ф. Степуна обсуждалась студентами как возможная на место директора Института кино. Баварское Министерство образования и культуры отклонило ее, мотивировав отказ преклонным возрастом русско-немецкого профессора-эмигранта. Ф.А. Степуно было 74 года.

Начиная с лета 1958-го имя Ф.А. Степуна уже не значится в списках преподавателей Института кино. К этому времени он сложил и все свои волонтерские и лекторские обязанности в Университете Мюнхена.

КНИГИ Ф.А. СТЕПУНА НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Послевоенный список изданных книг и статей Федора Степуна на немецком говорит о его удивительной работоспособности и полной включенности в послевоенное немецкое интеллектуальное сообщество. Назовем лишь отдельные, самые значимые из них, в хронологическом порядке:

1946: Роман «Die Wandlung des Nikolaj Perelsegin» («Преображение Николая Переслегина»), издательство Carl Hanser Verlag, Мюнхен. Это была первая послевоенная немецкая публикация Ф. Степуна, несколько измененный текст романа 1928 года. Интерес к этой книге был отмечен в немецкой прессе; возможно, это стало дополнительным стимулом для третьего издания в 1951 году.

1947: «Vergangenes und Unvergängliches» («Бывшее и несбывшее»). 1-й том), издательство «Кёсель», Мюнхен¹⁰⁰. Издательство – одно из старейших в Баварии, основано как книгопечатание христианских трудов в 1593 году в баварском городке Кемптен. Следует отметить, что перед публикацией Степун отдал текст на прочтение Карлу Ханзеру,¹⁰¹ который похвалил мемуары, но посчитал их несвоевременными в послевоенной Германии. В течение 1948–1950 гг. были опубликованы три тома воспоминаний, написанные изначально по-русски (2 тома). В первом томе есть указание на разрешение

Американской Военной Администрации на публикацию: «Опубликовано под номером лицензии Управления информацией Военного правительства US-E141.6870 Командование по контролю за информационными службами округа, Армия США».¹⁰² Такие разрешения требовались до конца 1948 года. Второй том мемуаров «Бывшее и несбывшее» вышел в 1949 г., этот том имел успех и был издан дважды, второй раз – в 1950 году большим тиражом, три тысячи экземпляров. Третий том вышел в 1951 году.

1948: «Vergangenes und Unvergängliches», 2-й том: О времени 1914–1917), издательство «Кёсель», Мюнхен.

1950: «Vergangenes und Unvergängliches» 3-й том, издательство «Кёсель», Мюнхен. В 1950 г. выходит работа Степуна «Dostojewskij. Weltschau und Weltanschauung» («Достоевский. Взгляд на мир и мировоззрение»), издательство «С. Pfeffer», Гейдельберг.

1953: «Theater und Film» («Театр и фильм»), издательство «Ханзер». Первая публикация на русском языке в эмигрантском издательстве «Слово» в 1923-м в Берлине. Вторая публикация – по-немецки, в 1932 г., в немецком издательстве «Сцена Фольксбунда», в Берлине.

1956: Первое русское издание воспоминаний «Бывшее и несбывшее», в 2-х томах, Изд-во им. Чехова, НЙ.

1959: «Bolschewismus und Christliche Existenz» («Большевизм и христианская экзистенция»), Мюнхен.

1961: «Dostojewski und Tolstoj. Christentum und soziale Revolution» (Достоевский и Толстой. Христианство и социальная революция), сборник; три лекции, прочитанные в Мюнхенском университете; издательство «Ханзер».

1963: Роман «Als ich russischer Offizier war» («Когда я был русским офицером»), издательство «Кёсель». Новый вариант первого антивоенного романа Ф.А. Степуна «Письма русского офицера» (впервые – 1929 г., издательство «Ханзер»). Перед публикацией Федор Степун написал письмо Карлу Ханзеру, спрашивая его разрешения на новую публикацию¹⁰³.

1964: «Mystische Weltschau. Fünf Gestalten des russischen Symbolismus» («Мистическое мировоззрение. Пять образов русского символизма»), Мюнхен.

Публицистика Федора Степуна по-немецки в 1946–1964 гг. обширна, затрагивает темы христианства, социализма, большевизма, свободы личности и народов при диктатурах, роли Православной Церкви в СССР и за границей, темы кино и его влияния на массы, а также анализ творчества А.Блока, В.Иванова, И.Бунина, Б.Пастернака, Н.Бердяева, В.Соловьева, С.Франка, А.Керенского; статьи, посвященные памяти друзей – Сергея Гессена и Николая фон Бубнова. Опубликовано 56 статей в видных немецких изданиях, таких как газеты «Зюддойче Цайтунг» (Мюнхен), «Нойе Цайтунг» (Мюнхен),

«Меркур» (Мюнхен), «Цайт» (Гамбург), «Рундшау» (Цюрих), «Ди Вельт» (Берлин); христианские и политические журналы «Хохланд», «Евангельская теология», «Цайтвенде», «Нойе Орднунг», «Кельнский журнал по социологии», «Дер Ойропейше Остен», «Социология и социальная психология», «Ди Вельт дер славен»; журналы по искусству, кино, архитектуре «Кунстверк», «Штандпункт», «Архитект», «Парламент»; журналы в университетах Эрланген (Бавария), Гёттинген, Мюнхен.

Представленный список немецкой публицистики Федора Степуна является ярким примером плодотворной деятельности русского философа, который был полноправным участником общественного и интеллектуального процесса послевоенной демократизации Германии.

ЧЕСТВОВАНИЕ ФЕДОРА СТЕПУНА В МЮНХЕНЕ

Благодаря архиву издательства «Ханзер» в Мюнхене мы имеем информацию о праздновании двух юбилеев Федора Степуна: 70-летия в 1954 году и 80-летия в 1964 году. Поздравление Ф.А. Степун получил от баварского министра культуры Августа Рюккерта (August Rucker): «К Вашему 70-летию позвольте поздравить Вас от лица Баварского правительства и пожелать Вам счастья и благополучия, выразить благодарность и признание Ваших значительных успехов, которых Вы добились в преподавании и исследованиях по истории русского духа и культуры в Университете Мюнхена, а также в выходящих за его рамки. Ваш голос слышен в сегодняшней Европе. В разных областях знаний о современной духовной культуре, будь то искусство или наука, Вы, вразумляя, предостерегая и исследуя, воздвигли памятник ценностям человеческой и Господней справедливости. За что Вам будут благодарны современники и потомки. Пусть будет даровано Вам много лет жизни для того, чтобы Вы и дальше служили на поприще интеллектуального труда с творческой силой и благополучием»¹⁰⁴.

Всегда пунктуально обязательный Федор Степун смог ответить баварскому министру на это поздравление лишь спустя два месяца, 19 апреля; в письме указан обратный адрес: клиника в Бад Висзее. Из этого можно предположить, что философ находился на лечении. «Сердечно благодарен Вам за Ваше письмо к юбилею, тон которого настолько дружеский и теплый, что позволяет мне быть уверенным в том, что Министерство понимает важность предмета, который я имел честь преподавать в университете как 'внештатный профессор'. Для меня будет самым большим подарком, который я принял бы как признание своей деятельности, если профессорская должность, созданная специально для меня, могла бы быть преобразована в плановую дополнительную ставку. Мне кажется, что ситуация, в который мы все в данный момент находимся, требует углубленного изучения России, пренебре-

жение этим может привести к опасным последствиям для будущего Германии. Позвольте надеяться, многоуважаемый г-н Министр, что этими мыслями я смогу вскоре поделиться с Вами.» Специальная кафедра для изучения России не была создана по причине недостатка финансирования. Однако сам факт письма министра и признание заслуг Федора Августовича Степуна говорит о значимости его интеллектуального вклада в академическую мысль послевоенной Германии.

Оба юбилея были организованы усилиями двух мюнхенских издательств, «Кёсель» и «Карл Ханзер». В архивных документах издательства «Ханзер» мы обнаружили документы об их совместной подготовке этих праздников. Среди архивных материалов – списки приглашенных лиц, в их числе – видные политики Баварии, представители культуры и Университета Мюнхена, а также лица из русской эмигрантской общественности, среди них – профессор Д.И. Чижевский. Юбилейные чествования были устроены в Академии изящных искусств в Мюнхене.

По случаю 70-летия Федору Степуно была вручена награда от культурного сообщества Баварии – медаль Виллибальда Пиркгеймера (Willibald Pirckheimer), учрежденная в честь баварского гуманиста времен Ренессанса, советника баварского короля Максимилиана Первого. Эта медаль является общественным признанием заслуг в области культуры и литературы, она учреждена в 1955 году нюрнбергским книготорговцем, издателем, писателем Карлом Борромеусом Глоком (Karl Borromäus Glock, 1905–1985),¹⁰⁵ с которым Ф.А. Степун был знаком лично по немецкому журналу «Хохланд» (Hochland), где он печатался в начале 1930-х.

23 февраля 1959 года, к 75-летию, Федору Степуно президентом ФРГ была вручена награда «Федеральный Большой крест за заслуги перед ФРГ». Орден учрежден в 1951 г. и по сей день является наивысшим ежегодным знаком отличия, выдаваемым за особые заслуги на политическом, экономическом, культурном, религиозном или волонтерском поприщах.

Эти две награды являются огромным признанием заслуг русского философа перед ФРГ в деле сближения двух культур, немецкой и русской. Это было признание активной гражданской миссии Степуна – свидетеля эпохи. Анализируя пути равно близких ему стран – России и Германии, прошедших путь национальных диктатур, – он верил в их демократическое будущее. Степун видел свою миссию в том, чтобы объяснить немцам разницу между двумя Россиями: дореволюционной и советской, – при этом неустанно веря в восстановление истинной России, без коммунизма. Эту миссию он пронес через всю свою жизнь.

ПОСЛЕДНИЙ ПЕРИОД ЖИЗНИ Ф. СТЕПУНА

Большой утратой для философа стала смерть жены 23 июня 1961 года. Наталья Николаевна умерла в тот же год, что и Вера Николаевна

Муромцева-Бунина. Долголетняя дружба двух этих женщин началась еще в Москве в 1910-е годы. Несмотря на разногласия Ивана Бунина и Федора Степуна, их жены сохранили дружбу до смерти. Земной путь двух терпеливых талантливых русских женщин, посвятивших себя мужьям в их служении, завершился у Веры Буниной 3 апреля, а у Натальи Степун 23 июня 1961 года, словно единым уходом они «закрывали эту главу» дружбы и ссоры их мужей, не сделав при их жизни достойным сплетен историю отчуждения Бунина и Степуна из-за Галины Кузнецовой.

Незадолго до кончины Федора Августовича в Мюнхен переезжает его сестра Марга (1895–1971) со своей спутницей и подругой Галиной Кузнецовой. Знакомство двух женщин началось в 1933 г., когда Бунин, Вера Николаевна и Галина Кузнецова, новая муза Ивана Алексеевича, проездом, после получения И.А. Буниным Нобелевской премии, побывали в Дрездене в гостях у Степунов. Тогда же начался бурный роман Марги с Кузнецовой. В 1934 году Галина переехала к Марге в Германию. Это привело к охлаждению в отношениях между Иваном Буниным и Федором Степуном, который встал на защиту сестры и ее сексуальной ориентации. Письменная связь семейств Бунина и Степуна поддерживалась лишь через их жен.

С началом Второй мировой войны Марга и Галина, спасаясь, переехали в Грасс к Буниным. Обе женщины прожили в Грассе не больше года. После войны Галина Кузнецова и Марга Степун, благодаря знанию нескольких иностранных языков (русский, французский, английский, немецкий), смогли получить работу в организациях для беженцев при ООН – сначала во Франции, позднее в Мюнхене. «Марга Степун и Галина Кузнецова поддерживали из-за войны прерванную связь между Федором Степуном (Германией) и русским Парижем. Несколько раз во время войны они приезжали в Дрезден. Марга Степун во время налетов на Дрезден 13 и 14 февраля 1945 была в городе, выжила и выехала из Дрездена перед вступлением Красной армии. После войны обе женщины приехали в Мюнхен, но оставались там лишь до 1949 года, сумели выехать как ‘старые’ русские эмигранты в США, где получили работу в русском отделе ООН в Нью-Йорке. Имеются подтверждения их регулярных визитов в Мюнхен, где Наташа и Федор Степуны жили с 1946-го.»¹⁰⁶

После десяти лет работы в США Марга и Галина как сотрудницы ООН были переведены в 1959 году в Женеву. Близость Женевы к Парижу позволяла регулярно навещать Ивана и Веру Буниных, близость к Мюнхену – состарившегося брата.¹⁰⁷ После смерти Натальи Степун Галина и Марга, к тому времени уже немолодые женщины (Галине – 61 год, Марге – 66 лет), решились на переезд из Швейцарии в Мюнхен, чтобы ухаживать за больным Федором Августовичем. Они и стали для него опорой. Им удалось арендовать квартиру в том же доме, где проживали супруги Степун, на Аймиллерштрассе 30.

После смерти жены Федор Степун сохранил активность и востребованность в качестве лектора в академических кругах Мюнхена и в культурном центре русской эмиграции – в Библиотеке им. Стивенса, которая с 1956 года стала называться Толстовской библиотекой. В быту в тихом семейном кругу Федор Августович целиком полагался на сестру Маргу. Галина Кузнецова и Марга Степун оставались с ним до самого конца.

Внезапная смерть настигла Федора Степуна вне дома, когда он возвращался с лекции в сопровождении одного из друзей. Это случилось прямо перед входом в дом, 23 февраля 1965 года, через пять дней после празднования его 81-летия. Вот что пишет об этом А. Бахрах: «Впрочем, несмотря на внешнее благоустройство жизни Ф. Степуна, несмотря на частое хождение в театры, которых в баварской столице было вдоволь, и едва ли хоть одна премьера обходилась без его присутствия, какой-то червь, видимо, не переставал подтачивать его до того дня, когда он замертво упал у подъезда своего дома на Аймиллеровой улице».

Ирина Сергеевна фон Шлиппе¹⁰⁸ так описывает новость о смерти Ф. Степуна: «Я со своей молодой семьей и только что родившейся дочерью Наташей была в это время на Тайване, куда мы переехали по работе моего мужа Ю.Б. фон Шлиппе на ‘Радио Свободы’. Мне звонил отец, ровесник Степуна, они родились в один год, в один месяц, в феврале, с разницей в 10 дней. Отец сообщил о смерти Степуна, о том, что это было полной неожиданностью, ведь все его знали здоровым и бодрым, всегда он был увлечен новыми идеями. Возвращаясь с одной из лекций, он шел по улице, где жил, и внезапно словно присел от усталости, упал в сугроб и в одиночасье скончался. Для всех членов нашей семьи это была неожиданность, шок и большое несчастье. Профессора Степуна я знала еще студенткой; мы собирались на семинары прямо в его квартире в Швабинге. Мне вспоминаются такие живые сцены наших семинаров: было 5-6 человек из русской эмигрантской молодежи. Дверь в квартиру всегда открывала добродушная Наталья Николаевна; к нам она относилась с большим почтением, усаживала за большой круглый стол, на котором были уже накрыты чай, пироги или сладости. Чувствовалось, что нас ждали, а она готовилась к нашему приходу. От этого становилось сразу как-то по-домашнему тепло и уютно. Обязательной процедурой Натальи Николаевны было положить на телефон подушку, чтобы звонки не мешали семинару. Когда всё было готово, она дипломатично уходила, а в комнату, как на сцену, входил профессор Степун, и мы словно исчезали из этой комнаты, слушая его с большим вниманием, а часто и с восхищением его величественной, но доступной персоне. У него был прекрасно поставлен голос. Он был актером в лучшем смысле этого слова: красивая дикция, осанка; он знал, что имел успех, но это было не высокомерие, а внутренняя свобода и обаяние.

Мы полностью попадали под его обаяние. Но это не был лишь его монолог; после его лекции мы дискутировали, он много спрашивал нас, желая понять нас, молодое русское эмигрантское поколение. Помню, как однажды мы засиделись у него дома за разговором о человеческой свободе; спорили долго, расстались все при своем мнении, что истинной свободы от государства человек найти не сможет. Получив известие о смерти профессора Степуна, я не могла поверить, что что-то кончилось там, в русском Мюнхене, с его уходом»¹⁰⁹.

Похороны Федора Степуна организовали Марга и Галина. Предсмертной просьбой Федора Степуна было его погребение по русской православной традиции. Нам неизвестно, кто служил панихиду. Круг приглашенных лиц был немногочисленным, на погребение на кладбище Вальдфридхоф (Waldfriedhof) в районе Хадерн пришло не более 20 человек, только самые близкие люди. Среди них не было ни немецкой общественности, ни представителей из мюнхенских издательств и университетов, словно в свой последний путь он уходил русским по духу.

ЧТО СТАЛО С АРХИВОМ ФЕДОРА СТЕПУНА

Поскольку у Ф.А. Степуна не было прямых наследников, все права на дальнейшие издания книг философа перешли к его сестре Марге Степун. В 1965 году, год смерти Федора Степуна, ей исполнилось 70 лет. Она пережила брата на шесть лет, скончавшись раньше своей подруги Галины Кузнецовой.

Всю жизнь Федор Степун с немецкой аккуратостью относился к своему архиву. Архив, собранный им за годы жизни с 1922-го по 1945-й в Дрездене, сгорел во время бомбежки в феврале 1945 года. Как ни тяжела была потеря, Федор Степун начал собирать книги и письма снова. В Мюнхене им был создан послевоенный архив, включающий материалы за двадцатилетний период, с 1945-го по 1965 год. Двадцать послевоенных лет он систематизировал материалы скрупулезно, боясь отдать архив с манускриптами, письмами, фотографиями на произвол чужих решений. В последние годы жизни заниматься архивом Степуну помогали его сестра Марга и Галина Кузнецова. Так, ими были составлены списки всех документов по темам, систематизирована вся корреспонденция по именам, адресам, странам. За год до смерти Федора Степуна, в 1964 году его навестил сотрудник Йельского университета Алексис Раннит (Alexis Rannit), куратор Славянского собрания Йельского университета. Вероятно, в этот визит была согласована возможная продажа архива Федора Степуна в Йельский университет.

В 1965 г., после смерти Федора Августовича, весь его архив (частная переписка, манускрипты, дневники, фотографии), созданный с марта 1945 по февраль 1965 гг., был продан Маргой Степун в Йельский университет. Архив Ф. Степуна находится сегодня в

Beinecke Rare Book & Manuscript Library (Yale University Library, New Haven) и представляет собой обширный фонд, состоящий из 73 ящиков. Архив был обработан американскими исследователями Nicole Bouche, Robert Bird, Christopher Lemelin и состоит из шести тематических разделов. По предположению исследователей, в архиве имеется небольшая часть материалов довоенного периода, которая или была передана Федору Степуну уже после войны третьим лицом, или же сохранилась в доме в местечке Ротгах ам Тегернзее в Баварии, куда супруги Степуны прибыли в марте 1945 года. Обработанный архив открыт для общего пользования с января 1998 года. Домашняя библиотека, собранная Ф.А. Степуном после войны, была продана в Исследовательскую библиотеку Института по изучению Восточной Европы в Регенсбурге, Бавария.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Точная дата отъезда указана самим Степуном в 3-й части «Бывшее и несбывшее», что расходится с информацией немецкого биографа Кристиана Хуфера (Christian Hufer) *Fedor Stepun. Ein politischer intellektueller aus Russland in Europa. Die Jahre 1884–1945*, Lukas Verlag, Berlin, 2001.
2. Под этим именем печатались все публикации в немецком варианте журнала «Логос».
3. *Степун, Федор*. Бывшее и несбывшее. Т. 1, Изд-во им. Чехова, НИИ, 1956. Далее все отрывки из воспоминаний Ф. Степуна приводятся по этому изданию.
4. Братья и сестры Степуны: Федор, философ (1884–1965, Мюнхен), Оскар, биохимик (1885–1964, Москва), Маргарита, оперная певица (Марга, 1895–1971, Мюнхен), Владимир, актер МХАТ (1898–1974, Москва).
5. Церковь построена в 1820 г. владельцем бумажной фабрики П.Г. Щепочкиным; в 1860 г. был освящен придел Феодора Стратилата. Возможно, выбор имени для Феодора Степуна связан с этим святым, которого почитала мать.
6. Точное название «Реальное училище при евангелическо-лютеранской церкви Св. Михаила в Москве», основано в 1602 году.
7. Лютеранская церковь Св. Михаила была одной из старейших в России, протестантская община создана в 1558 г. изначально для пленных лифляндцев после Ливонской войны (1558–1583); община росла, деревянная церковь сменилась в 1764 г. каменным зданием на Гороховом Поле (позднее известна как ул. Вознесенская, ул. Радио, д. 17). Прилегающая рядом улица была названа Ново-Кирочной в честь немецкой кирхи. В конце мая 1915 г. по Москве прокатилась волна антинемецких погромов, кирхе был нанесен большой материальный ущерб. В 1928 г. церковь была снесена, все ценности национализированы, часть их была передана в Реформатскую церковь евангелистов-баптистов (Малый Вузовский – Малый Трехсвятительский переулок). В 1933 г. большинство членов лютеранской общины были репрессированы.
8. *Dönninghaus, Victor*. Die Deutsche in der Moskauer Gesellschaft. Symbiose und Konflikte. 1494–1941, Band 18, Reihe Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Gesellschaft der Deutschen im östlichen Europa, Oldenburg Verlag, München 2002, S. 27–35.
9. Информация взята из альбома «Московское реальное училище Св. Михаила». 1910–1911, Париж, J. David & E. Vallois, 1911.

10. «Указатель предметов преподавания в реальном училище Св. Михаила в Москве». Типография Т. Рис, Москва, 1877. www.search.rsl.ru
11. Краткосрочные воинские сборы в течение его учебы в Гейдельбергском университете были в 1904 и в 1911 годах.
12. Утверждение о немецком подданстве Ф. Степуна основывается на материалах, хранящихся в архиве Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale-University. New Haven.
13. *Pool, Brian*. Nikolai von Bubnoff. Sein kulturphilosophischer Blick auf die russische Emigration, in: *Russische Emigration in Deutschland 1918 bis 1941*, Hrsgb. Karl Schlögel, Akademie Verlag, 1995, S. 279-295.
14. Bayer. Staatsarchiv, Akten Staatsministerium für Unterricht und Kultus, МК, 44395. Русский перевод Е. Кулен.
15. Там же.
16. Лекция Ф. Степуна в Доме Милосердного самарянина, декабрь 1946 г., записана священником А. Киселевым, пересказана С. Вороницыным автору статьи в 2018 г. в Мюнхене.
17. Сергей Иосифович Гессен (1887–1950), русский философ-неокантианец, педагог, правовед, публицист, соредактор журнала «Логос». Сын Иосифа Владимировича Гессена (до крещения – Иосиф Саулович, 1865–1943, Нью-Йорк), известного государственного деятеля, юриста, публициста. Сын Сергея Гессена Евгений (1910–1945), поэт, член содружества молодых поэтов «Скит»; погиб в Освенциме. Другой сын – Дмитрий (1916–2001), участник Второй мировой войны, составитель «Большого польско-русского словаря» (М., 1979) и посмертного собрания литературного наследия Соломона Барта (совместно с Лазарем Флейшманом. М., 2008).
18. Николай Николаевич Бубнов (1880–1962), философ. С 1932 г. – профессор славистики Гейдельбергского университета, директор основанного им при университете Славянского института.
19. Издательство «Musaget» было создано музыкальным и литературным критиком Э.К. Метнером (1872–1936), работало с 1909 по 1917 гг.; издавало в основном стихи поэтов-символистов, труды философов религиозно-мистического направления.
20. «Товарищество Н.О. Вольф» было создано в 1853 г. (с 1882 г. – «Торгово-промышленное товарищество»), издавало иностранную литературу (Ф.Купер, Ж. Верн, В. Скотт и др). Работало до декабря 1918 года, выпустило около 4 тысяч книг.
21. *Kramme, Rüdiger*. Philosophische Kultur als Programm. Die Konstituierung-sphase des LOGOS. In: *Treiber Hubert, Karol Sauerland* (Hrsg.). Heidelberg im Schnittpunkt intellektueller Kreise. Westdeutscher Verlag. Opladen. 1995. S. 119-150.
22. *Bezrodny, Michail*. Die russ.Ausgabe der internationalen Zeitschrift für Kulturphilosophie «Logos». 1910–1914. In: *Treiber Hubert, Karol Sauerland* (Hrsg.). Heidelberg im Schnittpunkt intellektueller Kreise. Westdeutscher Verlag. Opladen. 1995, S. 161-162.
23. Георг Мелис (Georg Mehli. 1878–1942), нем. философ некантианской философской школы.
24. Richard Kroner (1884–1974), нем. философ, теолог, сын раввина из силезского Глатца, учился в Гейдельберге вместе с Ф. Степуном.
25. Это издательство – одно из старейших в Германии. Было создано Августом Германном (August Hermann) в 1801 г. во Франкфурте-на-Майне на основе книжного магазина, с 1804 г. изд-во переходит во владение Якоба

Кристана Мора (Jakob Christian Mohr), переезжает в Гейдельберг. Изд-во считалось одним из самых признанных по теологии, иудаизму, юриспруденции, философии, социологии и экономике. С 1880 г. называлось «Академическим издательством Мора и Зибек». Зибек был сыном одного из совладельцев. С 1899 г. изд-во обосновалось в Тюбингене. С приходом фашистов к власти в 1933 г. сократило деятельность; в 1939–1945 гг. книги почти не издавались. После войны находилось во французской зоне оккупации, получило лицензию на возобновление деятельности в 1945 году.

26. *Kramme, Rüdiger*. Philosophische Kultur als Programm. Die Konstituierungsphase des LOGOS. In: *Treiber Hubert, Karol Sauerland (Hrsg.)*. Heidelberg im Schnittpunkt intellektueller Kreise... S. 120.

27. По переписи населения 1897 г. в России проживало 1.790489 человек (1,4%), назвавших родным языком немецкий, в Москве и Петербурге – 68497; немецкое гражданство было у 11,5 тысяч человек. Большую часть представляли остзейские немцы, традиционно жившие в прибалтийских губерниях, а также немцы-колонисты в Поволжье и Украине. К 1914 г. в Русской армии 20,5% генералитета (324 генерала из 1567) были немцы, в офицерском составе – 20%, в гвардии – треть. Все они выступили на стороне России в войне.

28. Из Иркутска Степун ехал вместе с женой до Москвы. Семья Наташи проживала на Тверской, родители Степуна в Штатском переулке. Отец Степуна скончался от рака желудка через 5 дней после встречи с сыном, в октябре 1914 года. Жена Степуна сопровождала его до Галиции. Через неделю она вернулась в Россию.

29. Вынужденный выезд из Германии был вызван не только его антивоенной позицией, но и возбуждением против него Дела по статье №175 Законодательства Германии «за гомосексуализм» (предусматривалось лишение свободы). Т.н. §175 в разных вариантах применялся в Германии с 1872 года по 11 июня 1994 года).

30. *Mehlis, Georg*. Die Idee Mussolinis und der Sinn des Faschismus. Verlag Haberland, Leipzig, 1928; Der Staat Mussolinis, Verlag Haberland, Leipzig, 1929; *Mehlis, Georg*. Freiheit und Faschismus, Verlag Lindner, Leipzig, 1934; Führer und Volksgemeinschaft, Junker & Dönhaut, Berlin, 1941.

31. Связь с Р. Кронером Степун поддерживал и после его отстранения нацистами от преподавания и принудительного перевода в университет во Франкфурт.

32. Устав о паспортах Российской империи от 1903 г. не предполагал обязательного наличия документа; жены и дети вносились в документ мужчины. После революции учет населения осуществлялся через трудовые книжки (Декрет РСФСР о трудовых книжках от 5.10.1918). Паспорта Российской империи были объявлены недействительными в 1921 г., в 1923-м они окончательно были упразднены.

33. В 53 странах были созданы Нансеновские Комитеты русских беженцев (Office International Nansen pour les réfugiés russes) для выдачи паспортов Нансена. В документах имеется два правописания «Нансеновский» и «Нансенский» паспорт. Правописание «Нансенский» использовалось в официальных, переведенных на русский язык документах Лиги Наций до 1946 г., до упразднения паспорта. В разговорном русском языке закрепилось «Нансеновский». Филолог-эмигрант Дм. Чижевский объяснял это так: «‘Нансенский’ происходит от собственного имени Нансен (имя политика-полярника), производное от него – ‘Нансенский’». Сегодня в Википедии введено как разговорная форма. Автор статьи оставляет за собой право исполь-

зования «Нансенский паспорт». Около 450 тысяч человек разных национальностей получили Нансенский паспорт в период между войнами.

34. *Kollmeier, Kathrin*. Das Nansen-Zertifikat., Heft 2. 2019, Zeithistorische Forschungen.

35. *Hufen, Christian*. Fedor Stepun. Ein politischer Intellektuelle aus Russland in Europa. Die Jahre 1884–1945, Lukas Verlag, Berlin, 2000, S. 120.

36. Газета «Дни», 6.01.1924, С. 2 и 10.01.1924. С. 2.

37. С 1933 г. начинается травля нацистами немецких профессоров еврейского происхождения Эдмунда Гуссерля и Йонаса Кона в Фрайбургском университете. В этой кампании активно выступал философ Мартин Хайдеггер, ученик Гуссерля, ректор университета. Хайдеггер был членом НСДАП. Гуссерль и Кон были отстранены от преподавания в 1933 году; с принятием «Нюрнбергских расовых законов» 15.09.1935 они как евреи были лишены немецкого гражданства. Оба получили запрет на участие в философских конгрессах 1933 и 1937 годов. Эдмунд Гуссерль не пожелал выехать из Германии, страну покинули его дети; он скончался в 1938 г. от плеврита в Фрейбурге. Кон сумел эмигрировать в 1939 г. в Великобританию, в 1946 г. ему вернули статус профессора в ФРГ; через год он скончался.

38. *Hufen, Christian*. Fedor Stepun. Ein politischer Intellektuelle aus Russland in Europa. S. 130-133.

39. Освальд Шпенглер жил с 1911 г. в Мюнхене, имел консервативно-националистические взгляды, встречался с Гитлером, но был в нем разочарован и предрек падение нацистской Германии через 10 лет. С приходом к власти нацистов в 1933 г. получил запрет на издания, умер от сердечного приступа.

40. *Степун, Федор*. Освальд Шпенглер и Закат Европы. Москва: «Берег», 1922. С. 10.

41. С приходом к власти нацистов журнал активно противодействовал фашистской идеологии. В 1941 г. он был окончательно запрещен. В ноябре 1946 г. восстановлен, с 1971 года назывался «Новое высокогорье», в 1974-м закрылся.

42. Роман «Николай Переслегин» имел три издания, последнее было издано в 1963 г. в «Кёсель» (Kösel) в Мюнхене, но уже с другим названием - «Als ich russischer Offizier war» («Когда я был русским офицером») и несколько измененным текстом. Публикация в другом мюнхенском издательства романа, уже изданного в «Ханзер», привела к ухудшению отношений между Федором Степуном и Карлом Ханзером в 1963 году.

43. Нам неизвестно, имел ли Федор Степун и его жена Нансенские паспорта на момент переезда из Берлина в Дрезден.

44. Виктор Клемперер (1881–1960), известный немецко-еврейский философ, литературный публицист. Окончил университет в Мюнхене, факультет философии. В 1912 принял протестанство. Воевал в Первой мировой войне. С 1920 г. начал преподавать в Высшей Технической школе Дрездена, был отстранен от преподавания в апреле 1935 г. после закона о «Рейхсбюргерах», не позволяющем евреям работать в государственных учреждениях Германии. Избежал концлагеря благодаря браку с немкой. После войны остался в советской зоне оккупации, вместе с женой вступил в компартию ГДР, стал активным политиком. С 1945-го вернулся в Высшую Техническую школу Дрездена, преподавал также в университетах в Грайфсвальде, Галле-Виттенберге, в Берлинском университете им. Гумбольдта.

45. *Hufen, Christian*. Fedor Stepun... S. 154.
46. *Ibid.* S. 202-206.
47. Получение немецкого гражданства во времена Веймарской Республики было основано на законодательстве 1913 г. (Reichs und Staatsangehörigkeitsgesetz – RuStAG), в 1919-м закон был изменен, гражданство предоставлялось следующим категориям иностранцев: минимум проживания в Германии – пять лет, финансовая самостоятельность, отказ от прежнего гражданства.
48. а.о. Professor – Außerordentlicher Professor, «экстраординарный профессор», профессор без кафедры, однако со всеми правами «полного профессора» (зарплата в соотв. с принятой в стране шкалой оплаты, работа с докторскими диссертациями, участие во всех проектах, заседаниях и пр.).
49. Запрос Ф. Степуна от 2.03.1946. Bayerisches Hauptstaatsarchiv, МК 44395. Написан по-немецки, здесь и далее – перевод автора статьи. Bayerisches Hauptstaatsarchiv, МК 44395.
50. *Hufen, Christian*. Fedor Stepun... S. 197.
51. *Ibid.* S. 424.
52. Церковь Св. Симеона Дивногорца в Дрездене была освящена 24 мая (5 июня) 1874 г. протоиереем Михаилом Раевским. 23.02.1874 года Саксонское правительство даровало Русской Православной Церкви права и преимущества, предоставленные местным церквям. Но 1.01.1876 года статус храма поменялся: Дрезденский храм был приписан к Миссии. С 5 мая 1939 г. – в составе Русской Православной Церкви за границей. См.: Антонов В. В., Кобак А. В. Русские храмы и обители в Европе. СПб.: «Лики России», 2005. С. 84-87.
53. *Hufen, Christian*. Fedor Stepun... S. 214.
54. Адрес виллы в Дрездене: Weberhaus, Schillerstraße 26 (сегодня другое название и нумерация домов: Bautznerstr 94), См.: *Hufen, Christian*. Fedor Stepun... S. 197.
55. *Hufen, Christian*. Fedor Stepun... S. 406.
56. Во времена национал-социализма в семье Рихарда Кронера были потери. Так, например, жена его брата, известного скульптора, Элла Кронер (Ella Kroner, 1885–1942), скульптор, была депортирована в Освенцим, погибла.
57. *Hufen, Christian*. Fedor Stepun... S. 413.
58. *Ibid.* S. 494.
59. Письмо в Министерство культуры и образования от 2.3.1946. ВНСТА, МК 44395.
60. Hufen Christian объясняет отсутствие отдельных документов из «Дела» профессора Федора Степуна (например, 10 страниц ответа Степуна на донос) в фондах Саксонского министерства народного образования тем, что все документы, относящиеся к русским эмигрантам, были изъяты после войны советской оккупационной властью и переданы в СССР.
61. *Hufen, Christian*. Fedor Stepun... S. 506, 497, 506.
62. Нами обнаружена заявка Степуна в Баварское Министерство культуры и образования от 2 марта 1946 г. с вопросом о возможности преподавать в университете в Мюнхене, в которой он указывает 400 лекций в 1930-е годы. Bayerisches Hauptstaatsarchiv, МК 44395.
63. Согласно Hufen Christian, матери Степуна как русско-советской гражданке, после нападения Германии на СССР угрожало интернирование, что удалось уладить с помощью Ellen van den Bergh. *Hufen, Christian*. Fedor Stepun... S. 213.
64. Илья Исидорович Фондаминский (Бунаков, 1880–1942, Освенцим), рели-

гиозный деятель, масон. В 1907–1917 гг. жил во Франции, после Февральской революции уехал в Россию, был назначен комиссаром Черноморского флота. В 1918-м был одним из организаторов «Союза возрождения России», с лета 1918 г. в Одессе, с 1919 г. в эмиграции в Париже. В 1920–1940 гг. – соредактор «Современных записок», с 1931–1939 гг. – «Нового Града». В 1941 г. принял православие, погиб в Освенциме. В 2004 году канонизирован Константинопольской Православной Церковью.

65. Густав Кулльманн (1894–1961) был активным членом РСХД, его силами был организован съезд РСХД в местечке Пшеров в Чехославакии в 1923 году. Под влиянием жены М.М. Зерновой перешел в православие. Был секретарем американского отдела ИМКА (УМСА), одним из основателей издательства УМСА-Press и Религиозно-философской академии вместе с Н. Бердяевым, сначала в Берлине в 1922-м, с 1925 г. – в Париже. Вместе с Н. Бердяевым он издавал журнал «Путь» в Париже в 1925–1940 годы.

66. Мария Михайловна Зёрнова – одна из дочерей М.С. Зёрнова, известного московского врача и гласного Московской Городской Думы в течение 15 лет, председателя Арбатского попечительства о бедных.

67. Журнал «Hochland» издавался в Мюнхене «Kёсел Пустет», в 1938 г. Степуна навестил Франц Иосиф Шёнинг (Franz Josef Schöningh). См.: *Hufen, Christian: Fedor Stepun...* S. 521.

68. *Бахрах, А.* По памяти, по записям. Литературные портреты. Париж: La Presse Libre. 1980. С. 337.

69. «Reichsdeutsche» – «рейхский немец». Эта категория была введена для обозначения лиц с немецким гражданством, проживающих на территории Германии. Введено Бисмарком в период формирования рейха в 1871 г. из разрозненных курфюрстовских земель по языковому принципу. В 1913 г. было введено право общенемецкого гражданства. После прихода нацистов к власти был изменен процесс получения немецкого гражданства. Рейхскими немцами считались те, кто проживал в пределах рейха. В Третьем рейхе использовалась аббревиатура RD (Reichsdeutsch). После провозглашения «Нюрнбергских расовых законов» в 1935 г. различались две категории граждан: Reichsbürger, имеющие все привилегии и политические права, и RD, в которую были включены и немецкие евреи. После войны эти категории исчезли из языка немецких ведомств. С 1949 г. в ФРГ используется понятие «Бундесбюргер» (Bundesbürger).

70. У евреев в кеннкарте штамповалась буква «J» в 5 см, красным цветом.

71. Bayerisches Hauptstaatsarchiv, 23559 МК 44395.

72. Пауль Мильднер (1901–1957), художник-график, несколько его работ с изображением ландшафта на Тегернзее находятся в знаменитом музее Ленбаххауз в Мюнхене.

73. Ausstellungskatalog. Die Gelehrtenbibliothek von Fedor Stepun (1884–1965) in der Universitätsbibliothek Regensbrug. Band I. Vergangenes und Unvergängliches – Die Privatbibliothek Fedor Stepun. Kuratoren Dr. Christian Hufen, Dr. Angelika Steinmaus-Pollak, Uni Regensburg 2016, S. 51-53.

74. Franz Fendt (1892–1982), после войны – политик в кабинете демократов 1945–1946 годов. Преподавал в университете в Эрланген. В 1950–1954 гг. ректор Высшей Школы политических наук в Мюнхене.

75. Süddeutsche Zeitung, либеральная ежедневная газета, получила лицензию в октябре 1945 года.

76. Bayerisches Hauptstaatsarchiv, München, МК 44395. Alexander Scharff, был

деканом философского факультета в университете им. Максимилиана Людвиг в Мюнхене в 1946–1948.

77. Там же.

78. Там же.

79. Здесь ошибка: Степун имел статус «профессора на ставке» в Дрездене, а не в Лейпциге.

80. Bayerisches Hauptstaatsarchiv, München, 23559, МК 44395.

81. Институт по изучению истории и культуры СССР был антикоммунистическим информационно-аналитическим центром, главная задача которого – «исследовать теорию и практику государственного и социального порядка в СССР... и налаживание научных связей с немецкими и иностранными научными организациями... способствовать взаимному пониманию в среде антикоммунистической эмиграции народов СССР, ее взаимопониманию с демократическими странами». Институт проработал до 1972 года. Именно этот институт стал первым в Германии, кто нес правду об истинном положении дел в Советском Союзе, а также собрал большой фактический материал о ГУЛАГе. Нам неизвестны контакты Ф. Степуна с Институтом.

82. Bayerisches Hauptstaatsarchiv, 23559, МК 44395

83. Там же.

84. После войны денацификация членов нацистской партии проводилась сначала американцами; с марта 1946 г. для этой цели были созданы немецкие ведомства «Spruchkammer» в трех зонах западных союзников в Германии. Процедура «Spruchkammerverfahren» проводилась согласно закону об «Освобождении от национал-социализма и милитаризма» от 5.03.1946. Было проверено в американской зоне около 13 миллионов человек.

85. *Molitor, Stephan*. Spruchkammerverfahrensakten. Überlieferung zur Entnazifizierung als Quelle für die NS-Zeit. In: *Unterlagen der Nahkriegszeit als Quellen zur Geschichte des Dritten Reichs. Vorträge eines quellenkundlichen Kolloquiums im Rahmen der Heimattage Baden-Württemberg am 13.10.2001 in Bad Rappenau*, Verlag W. Kohlhammer. Stuttgart. 2004. S. 7-14.

86. «Gesetz zur Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus», 5.03.1946, в народе назван как «закон освобождения» (Befreiungsgesetzt).

87. Уже с июня 1945 г. был создан устав для новой международной организации – ООН, утвержден 24.10.1945. В ООН вошли 193 страны-члена. Штаб-квартира в Нью-Йорке, офисы в Вене, Женеве, Найроби. Международный суд в Гааге.

88. Изд-во «Задруга» было создано в 1911 г. С. П. Мельгуновым в Крестовоздвиженском пер. 9 в Москве; просуществовало 12 лет, до 1923 г., было закрыто большевиками.

89. Интервью с В. Брайслером провел автор статьи в августе 2023.

90. Dieter Sattler (1906–1968), архитектор, после Второй мировой войны был назначен руководителем Центра по выявлению трофейного искусства, в 1966–1968 гг. был посланником ФРГ в Ватикане, госсекретарем в Баварском Министерстве культуры, руководил Баварским радио.

91. Bayerisches Hauptstaatsarchiv, 23559, МК 44395.

92. Л.С. Флам, электронное письмо автору статьи от 28.02.2024. Автор сердечно благодарит Ф.С. Флам за дополнение к статье.

93. Сб. «Судьбы поколений 1920–1930х гг. в эмиграции. Под ред. Л. Флам., М.: «Русский путь», 2006. С. 181-183.

94. Bayerisches Hauptstaatsarchiv, 23559, МК 44395.

95. Там же.

96. В 1955 г. из него была преобразована Высшая школа кино и телевидения (Hochschule für Fernsehgen und Film München), 1955–1968.

97. Lehr und Forschungsinstituts für Film und Fernsehen in der Bundesrepublik Deutschland, München 2, Lotstr. 62.

98. Эберхарт Хауфф был назначен руководителем дел при проф. Отто Ройтер (Otto Reuther), директоре Института кино, но по политическим разногласиям с ним был уволен. Благодаря студенческому противостоянию в 1957 году Э.Хауфф был назначен ректором Института кино, с осени 1968 г. – деканом факультета литературы.

99. Karl Burkhardt (1910–1997) в период 1957–1958 гг. был госсекретарем в Баварском Министерстве культуры. Во время войны – в танковой дивизии СС. Студенты, зная о его прошлом, активно протестовали против этого назначения.

100. Издательство – одно из старейших в Баварии, основано как книгопечатание христианских трудов в 1593 году в баварском городке Кемптен. С 1805 г. владелец Иосиф Кёсель, позднее – семья Хубер и Вильд. С 1927 г. – в Мюнхене, с 2005 г. издательство входит в книжный концерн-конгломерат Penguin Random House Verlagsgruppe.

101. Письмо Ф. Степуна Карлу Ханзер от 26.8.1962, архив изд-ва Ханзер (Hanser Verlag).

102. Published under Military Government Information Control License Number US-E141.6870th District Information Services Control Command U.S. Army».

103. Письмо Ф. Степуна Карлу Ханзер от 21.8.1962, архив изд-ва Ханзер (Hanser Verlag).

104. Bayerisches Hauptstaatsarchiv, 23559, МК 44395.

105. После прихода нацистов к власти в Германии, Глок издавал «Каталог немецкой литературы», в который внес книги, преданазначенные к сожжению, за что был осужден на один год в 1935-м. Он тайно печатал у себя в подвале противников фашизма Альфреда Дельпа, Теодора Штайнбюхеля, сонеты Райнхольда Шнайдера. В 1939 г. был призван в ряды вермахта, отправлен в Норвегию, где получил тяжелое ранение в ногу и освобожден от службы. После войны активно сотрудничал с американцами по распространению пацифистской литературы.

106. *Hufen, Christian*. Fedor Stepun... S. 454.

107. Информация по материалам книги «Когда переписываются близкие люди»: Письма И.А. Бунина, В.Н. Буниной, Л.Ф. Зурова к Г.Н. Кузнецовой и М.А. Степун. 1934–1961. Сост., подгот. текста, науч. аппарат Е.Р. Пономарева и Р.Дэвиса. М., 2014, Т. 3.

108. И.С. фон Шлиппе, дочь Сергея Бернгардовича Фрëлиха, видного деятеля русской эмиграции в Мюнхене. Был связным офицером в РОА. Его отец – балтийский немец из Эстляндии, мать происходила из силезского рода фон Зиберт (де Зиберт). Фрëлих – придуманная фамилия. Дед Сергея Фрëлиха, из знатного рода балтийских баронов, чтобы жениться на эстонке, был записан в церковной книге под вымышленной фамилией «Фрëлих», что по-русски означает «радостный».

109. Беседы автора статьи с Ириной фон Шлиппе в декабре 2023, в январе 2024 года.

Игорь Мандель, Михаил Эпштейн

Что в имени тебе моем?

Русские писатели в статистике интернета

В статье проанализированы частоты ссылок на русских писателей за разные годы, отражающие уровень их известности в русскоязычном и англоязычном сегментах интернета. Популярность каждого писателя (список из 41 имени) оценивалась как его относительная значимость внутри всего множества ссылок («вселенной культуры») и как количество ссылок на одного пользователя интернета («интенсивность знакомства»). Мы также сравнивали свои наблюдения с оценками значимости выдающихся исторических личностей у Чарльза Мюррея¹. Наши наблюдения позволяют откорректировать некоторые устоявшиеся стереотипы восприятия знаковых писателей и размер их символического «капитала» в двух языках. В статье опущены многие технические подробности, но проведен культурологический анализ полученных результатов и сделан общий обзор ситуации за последние 70 лет. Мы учли и результаты активного обсуждения данного исследовательского материала на презентации в апреле 2024 года². Проведенное исследование может послужить примером для дальнейшего более глубокого статистического исследования «мыслей в числах» и «жизни людей в интернете» – того, что называется у философа М. Эпштейна гуманетикой (humanetics)³.

В 2006 году М. Эпштейн в статье «Мысли в числах. Россия и Запад в зеркалах интернета» ввел понятие «гуманетики» как науки об изучении электронной сети Internet с позиции извлечения гуманитарных знаний. В ней он привел множество примеров того, как по-разному воспринимается мир с точки зрения «условного Запада» и России, если судить по количеству ссылок Google на различные запрашиваемые слова. С тех пор, конечно, многое изменилось, да и сам Google создал такие продвинутые системы, как Google trends и Google ngrams, позволяющие обрабатывать ссылки под разными углами зрения. Но тот далекий уже эксперимент с интернетом на ранней стадии его развития представляет собой некий «слепок времени», с которым интересно сравнить некоторые современные данные. В частности, в работе Эпштейна проводилось сравнение русских писателей в русскоязычном (Рунет) и англоязычном (Ангнет) сегментах сети, что позволило сделать достаточно любопытные выводы. В 2010 году И. Мандель

провел анализ более широкого круга писателей, но не касался вопроса разницы рейтингов в разноязычных сегментах⁴.

В данной статье мы попробовали сделать более широкий анализ поставленных ранее задач, концентрируясь только на русской литературе (Эпштейн рассматривал и философию, и политику, и пр.). Очевидна насущность такой проблематики. Два года идет жестокая война в Украине, радикально изменившая образ России для мира. Страна, заслуженно гордившаяся своими цивилизационными достижениями, среди которых литература, безусловно, занимала первое место в общественном сознании, стремительно и, возможно, необратимо теряет престиж фактически во всех областях, включая, безусловно, и сферу культуры. Идут жаркие споры относительно репутации русских писателей, судеб русского языка и вообще всего русского. Авторитарная система правления, установившаяся в Российской Федерации (так называемый шизофашизм, по определению М. Эпштейна)⁵, именно в силу своей природы постоянно подпитывает эти споры, создавая симулякр «русский мир» со свойствами антимира, антисистемы и нагнетая апокалиптическую угрозу всему человечеству. В таких условиях сделать еще один «слепок времени» нам представляется целесообразным – кто знает, что останется от всей этой культуры через несколько десятков лет..

Сравнивать популярность какого-либо феномена в разных культурах можно как минимум двояким образом. Предположим, в культуре-1 и в культуре-2 «присутствуют» писатели А и Б. Присутствие может измеряться по-разному: количеством выпущенных книг; количеством людей, знающих об этих писателях, количеством ссылок на них в интернете и др. При первом подходе мы можем посчитать *суммарный интерес* к обоим писателям в каждой из культур и установить относительную значимость писателей внутри данной культуры (определить доли $A1/(A1+B1)$ и $A2/(A2+B2)$ и сравнить их между собой). При таком подходе сумма $A+B$ характеризует «общий интерес» к данному феномену в соответствующей культуре, или, иными словами, «размер культурной вселенной», а дробь показывает долю данного автора в ней, его влияние. Например, А составляет 70% общего интереса в культуре-1 и всего лишь 40% в культуре-2.

Ярким примером очень значимого явления в одной культуре и практически «неприсутствия» в другой является феномен Владимира Высоцкого. В России он до сих пор, через полвека после пика своей невероятной карьеры и более чем сорока лет после смерти, широко известен даже среди молодежи. В Америке его известность несопоставимо ниже. Количество упоминаний его имени в русскоязычном интернете (2.8 миллиона) уступает только упоминаниям Льва Толстого, опережает Пушкина (2.7), Достоевского (1.1) и других, тогда как в английском интернете скромные 0.3 миллиона не идут в сравнение с 8.3 млн у Гоголя, 7.1 млн у Достоевского и 4.7 млн у

Чехова... Если эти цифры пересчитать в проценты общего интереса к русской культуре в двух сегментах (когда сегмент заполнен только писателями и поэтами), то доля Высоцкого в русскоязычном культурном пространстве будет выше его доли в культурном пространстве англоязычного мира в 11 раз. И это еще не самая яркая диспропорция – скажем, у Василия Аксенова разница равна 28! Однако такое положение существует далеко не для всех авторов.

Особенностью описанного подхода является то, что он никак не зависит от «размера» культур, т.е. A_1 и B_1 не сравниваются непосредственно с A_2 и B_2 , хотя одна из анализируемых культур может быть заведомо масштабнее другой.

Второй подход, наоборот, рассматривает эти «культурные размеры» и, соответственно, отвечает уже на другой вопрос. Возьмем, к примеру, культуры N_1 и N_2 . Как и ранее, масштаб каждой из них может измеряться по-разному: числом носителей данной культуры, распространенностью языка, общим количеством всех произведений внутри данной культуры и т.п. Тогда можно посчитать величины A_1/N_1 , A_2/N_2 и сравнить эти удельные показатели между собой. Каждая такая дробь будет показывать «интенсивность присутствия писателя». Если, скажем, N – это общее количество говорящих на данном языке, A – количество выпущенных писателем книг, то A/N характеризует знакомую статистику «количество книг писателя на душу населения». Если A – количество ссылок в интернете, а N – размер языкового сегмента интернета, то A/N отражает частоту упоминаний писателя на данном языке.

Например, Эпштейном в указанной статье оценки делались следующим образом. После измерения количества употребления писательских фамилий на английском и русском просчитывалась их доля относительно общих объемов Англнета и Рунета, которые определялись исходя из числа самых частотных слов в двух языках (артикле «the» и предлог «в») в наиболее мощной поисковой системе Google. Объем Англнета тогда примерно в 25 раз превышал объем Рунета, сейчас это соотношение близко к 10:1. В анализе мы использовали на этот раз статистику обоих типов. Начнем с первого.

Данные рассчитывались следующим образом. В поисковое окно Google вводилось слово и записывалось, сколько раз оно встречается. Слово вводилось в кавычках, то есть учитывалась только буквальная встречаемость (что особенно важно, когда запрашиваются два или несколько слов – например, имя с фамилией). Проверялись только фамилии, без имен. В английской версии могли быть разночтения в написании – например, Dostoevsky или Dostoyevsky; проверялись подобные варианты, а затем частоты складывались. Например, для Пушкина его доля в русском интернете равна 2,682,000/36,614,545, т.е. 7.3%, а в английском «Pushkin» – 3.2%. Для сохранения преемственности с исследованием 2006 года сравнивалось всего двена-

дцать писателей и количество упоминаний оценивалось только по фамилии (без имени): Толстой, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский, Чехов, Булгаков, Мандельштам, Пастернак, Ахматова, Цветаева, Маяковский.

В 2006 году половина всех рассматриваемых авторов была более значима в Англете. Безусловный лидер (здесь и во всех других сравнениях далее), Лев Толстой, занимал около 24% (!) в англоязычном сегменте интернета против 17% в русскоязычном; Достоевский – 16% против 7%. Особенно отличался Мандельштам: 13% против 3%. Аналогично, но с более близкими долями, ведут себя Чехов, Гоголь и Пастернак. Всё это формирует группу, скажем так, «западных любимцев».

Кого же любят в России? Больше всего Пушкина – 8% в Англете против 23% в Рунете, а также знаменитых поэтов: Ахматову, Цветаеву, Лермонтова, Маяковского. Но поскольку доли поэтов в двух языках не так велики (от 3 до 7%), то и расхождения несильно заметны. Единственный прозаик в группе «российских любимцев» – Михаил Булгаков, занимающий всего 2% в Англете и 7% в Рунете.

В целом, такое распределение как-то отвечает интуитивному представлению о том, кого знают и кого не знают на Западе. «Толстоевский» уверенно лидирует; Чехов и Гоголь любимы в англоязычном мире уже более сотни лет; Пастернак, безусловно, известен там, в первую очередь, после скандала с Нобелевской премией и нашумевшего фильма – мирового бестселлера. Некую загадку представляет собой очень высокая доля Мандельштама: он почти равен по популярности Чехову, намного опережая Гоголя и всех остальных. Но тут срабатывает, скорее всего, эффект неточности измерения: если, по счастливой случайности, фамилии всех остальных писателей более-менее уникальны (особенно в английском мире), то оценка Мандельштама может быть завышена просто потому, что в Америке это весьма распространенная фамилия. Разница между оценками слов «Mandelstam» и «Osip Mandelstam» составляет примерно шесть раз, тогда как «Dostoevsky» и «Fyodor Dostoevsky» – всего 3 раза; «Tolstoy» и «Leo Tolstoy» – лишь полтора раза. То есть русские фамилии обычно куда сильнее идентифицируют конкретного человека (писателя), чем еврейско-немецкая фамилия Мандельштама. К относительной известности Осипа Мандельштама добавляются еще несколько факторов: его еврейская самоидентификация, гораздо более артикулированная, чем у Пастернака; его открытый вызов Сталину и история его преследований и гибели, драма поэтического мужества, а также воспоминания его вдовы, Надежды Мандельштам, создающие экспрессивный образ поэта в трагическом контексте времени.

В 2024-м Пушкин и особенно Толстой почти не изменили свои позиции по отношению к 2006 году; вся группа поэтов (вместе с прозаиком Булгаковым) тоже осталась практически там же, где была, в

интервале от 4% до 8% по двум языкам. Наиболее радикально поменяли положение Чехов (повысил свою долю в русском и понизил в английском), Гоголь (сильно повысил долю в английском), Мандельштам (резко понизил долю в английском), Пастернак (повысил в английском). Но самое неожиданно случилось с Достоевским: его доля в английском (около 16%) упала со второго места (после Толстого) до 7%, сохранив свое устойчивое положение в русской среде (тоже около 7%). В целом, вместо шести из двенадцати исследуемых имен в 2006 году только трое писателей по-прежнему заметно популярны в англоязычном мире: Толстой, Гоголь и Пастернак. Технически, Мандельштам тоже попадает в эту категорию, но он (как и Достоевский) находится в «нейтральной зоне», очень близко к уровню равного интереса в обоих сегментах.

Проведенный «блиц-анализ» по лекалам 2006 года уже дает представление о ситуации с некоторыми знаменитыми писателями, но у него есть вполне очевидные недостатки. Рассматривалось всего 12 человек; этого явно недостаточно. Использовались фамилии без имен, что порождает высокую вероятность ошибок в данных. Одних Толстых-писателей существует как минимум трое, не считая многих других людей с этой фамилией. Фамилия «Булгаков» весьма популярна в жизни, да и в русской культуре, где и Пушкиных немало. Кроме Осипа Мандельштама была его жена Надежда, мемуары которой широко известны на Западе. Словом, добавление первого имени, хотя сильно снижает частоту, повышает надежность идентификации личности. Опыт показывает, что измерения, проведенные даже примерно в те же часы или дни, могут выдавать весьма различные результаты (такие флуктуации, очевидно, свойственны всем поисковым машинам, которые постоянно меняют ракурс поиска – как направление прожектора, чтобы осветить всё сетевое пространство). Необходим какой-то анализ вариабельности и усреднение данных. Проводя свой расширенный анализ в 2024 году, мы старались минимизировать эти недостатки.

На первом этапе надо было составить список тех писателей, которые «адекватно» представляют русскую литературу. Это, конечно, нетривиальная задача, сама по себе требующая, в принципе, целого исследования. Но в какой-то мере такая работа уже была проделана: в 2004 году была опубликована замечательная книга Чарльза Мюррея⁶, в которой он собрал по определенной методике данные о 4002 «значительных личностях» (significant figures) мировой истории, разбивая данные на двадцать один «регистр»: астрономия, физика, медицина, наука в целом, западная философия, китайская литература и т.д.⁷ Интересующий нас регистр называется «западная литература» и содержит 835 имен, из которых 53 относятся к русской литературе. Временной точкой отбора для Мюррея был 1950 год: к тому времени либо кандидат для рассмотрения должен быть мертв, либо ему долж-

но было исполниться не менее 40 лет. По этой причине многие знаменитости более позднего времени не включены в списки.

Мы не будем подробно останавливаться на описании процедуры оценки, лишь заметим, что они основывались на том, как много пишут о человеке профессиональные исследователи в наиболее известных солидных изданиях разных стран, вроде «Энциклопедии математики». Внутри каждого регистра оценки менялись от 100 (наивысшая) до единицы. В западной литературе, например, Шекспир получил 100, Гёте (следующий в списке) – 81, а самые знаменитые русские писатели Толстой и Достоевский – 42 и 41. Писатели оценивались только по зарубежным источникам, чтобы избавиться от естественного искажения в пользу национальных предпочтений: в оценке Гёте не участвовали немецкие энциклопедии, а в оценке Пушкина – русские. Конечно, всё равно искажение в пользу «своих» будет в любом регистре, но только в литературе оно имеет радикальную природу, ибо сам ее предмет есть язык, который не может быть адекватно воспринят при переводе, особенно в случае поэзии.

Мюррей говорит о совершенно определенных лицах, у него нет проблемы с «ложной идентификацией», которая, к сожалению, возникает у нас и во всех других автоматизированных подходах, как отмечалось выше. Некоторым ограничением его подхода был, так сказать, «научный уклон» в оценках. Из того, что кому-то посвящено много страниц в серьезных научных справочниках, вовсе не следует, что его больше всего читают, любят и ценят. В любом случае, оценки в исследовании Мюррея являются наиболее надежным ориентиром для понимания «качества» того или иного персонажа. Мы взяли за основу его список, лишь отбросили некоторые имена, добавив другие (не включая, как и Мюррей, ныне живущих). Получился список из 41 персоналии. (В Приложении к данной статье мы приводим сокращенный список из 20 имен.)

Оценки среднего значения количества ссылок проводились за 8-10 дней в период с 7 до 22 февраля 2024 года – как вручную, так и с использованием специальной программы на языке Python (авторы благодарны др. А. Шошитайшвили за имплементацию). Как видно из Приложения, в целом оценки весьма стабильны, с коэффициентом вариации 10-20%. Это дает возможность относиться к ним с достаточно высокой степенью доверия. У троих – Гоголь, Евтушенко и Чернышевский – колебания существенно выше. Рационального объяснения высокой вариабельности именно у этих писателей не стоит искать; возможно, расширение периода наблюдения приведет к снижению ее уровня.

По сравнению с оценкой по одним фамилиям Толстой и Гоголь свои места радикально не поменяли, но Чехов и Достоевский «восстановили» свое интуитивно ощущаемое положение писателей, широко популярных на Западе: Достоевский занимает 14% общего

внимания в англоязычном мире (против всего лишь 3% в русскоязычном), а Чехов – 9% против 5%. У обоих авторов их англоязычные оценки примерно близки к таковым за 2006 год (по одним фамилиям), в то время как русскоязычные сильно понизились. Очень высокая популярность Бориса Пастернака (около 16%) в Аннгете (третья после Толстого и Гоголя!) к 2024 году сменилась на куда более скромную оценку – около 3%, при сохранении примерно такого же уровня (3%-4%) в Рунете. Но самое, наверное, существенное, что Пушкин уже выглядит не так значительно ни в русском, ни в английском сегментах, занимая, соответственно, около 7% и 3% общего интереса (против 20% и 15%, если судить только по фамилии, в 2024 году). Остальные писатели – очевидно, неплохо идентифицируемые только по фамилиям, – примерно сохранили свое положение.

Все остальные рассмотренные в 2024 году писатели имеют оценки ниже 5% в каждом языковом сегменте. Все поэты (ожидаемо) имеют более высокую долю на своем родном языке, чем на чужом; нобелевские лауреаты (Бунин, Пастернак, Шолохов, Солженицын, Бродский) – тоже. Кого же из этой группы англоговорящие люди любят больше, чем русскоговорящие? С определенностью можно сказать о трех писателях, из которых только один не вызывает удивления – Тургенев, традиционно воспринимаемый как западник; Лесков, наиболее виртуозный мастер русского языка, но и наименее ангажированный, пожалуй, из всех гигантов 19-го века, выглядит здесь не очень «уместно» (хотя и в оценке Мюррея его ранг сравнительно высок – 6%). Чернышевский, напротив, хотя эстетически весьма заурядный автор, но выдающийся идеолог и публицист революционного толка, всё еще почитается в широких кругах западной левой интеллигенции. Но все эти выводы вряд ли можно строго защитить в силу небольших значений оценок: у Тургенева – 2.7% в английском и 2% в русском; у Лескова – 1.6% и 1%; у Чернышевского – 1.4% и 0.2% (при высокой вариации оценок, напомним).. У остальных «любимцев» Запада (Замятин, Гроссман, Бабель) предпочтения также не очень выражены.

Представляет безусловный интерес ответ на вопрос о том, насколько вообще количество упоминаний корреспондирует с «золотым стандартом», предложенным Мюрреем. В обоих языках общие корреляции положительны и статистически значимы. Толстой задает тон, как и ранее, – он имеет максимальное значение и по Мюррею, и по количеству упоминаний на любом языке в нашем исследовании. Но есть некоторые знаменательные исключения. В русской версии, как уже отмечалось, очень заметно резкое падение статуса Достоевского: по Мюррею, он почти равен Толстому, но в интернете уступает многим другим писателям по встречаемости. В каком-то смысле это может отражать тот факт, что ученые обожают писать о Федоре Михайловиче, но люди читают его всё меньше, – хотя в англ-

лийском этот феномен выражен существенно слабее. Аналогично, по-русски мало читают Тургенева и, пожалуй, Гоголя, по сравнению с их очень высокими рангами по Мюррею.

В английской версии тоже есть сильный контраст между высокими рангами Пушкина и Тургенева и сравнительно низким их присутствием в интернете. Но самое интересно – очень высокая популярность Набокова, пятого среди всех, хотя его ранг у Мюррея очень низок. Звезда Набокова в английском мире неуклонно растет, тогда как звезда Достоевского (которого Набоков, как известно, мало ценил) в русском – закатывается. Гоголь выступает как более значимая фигура, чем Достоевский, в английском восприятии; Лесков и Чехов занимают большую долю в англоязычной «вселенной», чем в русской, и т.п.

В целом, если судить не по самым популярным писателям, а по всему списку, то корреляция оценок Мюррея с упоминаниями в русской версии равна 0.73, а в английской – 0.81. Однако в первом случае на корреляцию сильно влияет Лев Николаевич Толстой (нетипичное значение, outlier); если его убрать, корреляция оценок упадет до 0.64. В то время как в английском варианте нетипичным является Набоков; без него она вырастет до 0.86. Квадрат коэффициента корреляции является характеристикой качества аппроксимации одной переменной посредством другой. Если, например, корреляция между ростом и весом людей равна 0.9, то, зная рост, можно сказать что мы опишем 81% вариации веса ($0.9^2=0.81$). Это наиболее интуитивная величина, говорящая о том, хорошо или нет построена какая-то модель данных (если, скажем, рост стопроцентно описывал бы вес, то и весов не надо было бы). И выходит, что если отбросить нетипичные значения, то связь рангов Мюррея с оценками встречаемости в интернете существенно выше для английского сегмента: зная наблюдаемые значения, можно описать почти три четверти вариации индекса Мюррея ($0.89^2=73.7\%$), тогда как для русского – лишь 41%. Интересно отметить, что и в упомянутой уже работе Манделя корреляция между регрессионной оценкой тех лет (2010) и индексами Мюррея была примерно того же порядка (0.86). Однако не будем в это углубляться; в целом ясно, что два вида оценок отражают разные аспекты рассматриваемого феномена, но не так уж противоречат друг другу. Это весьма важное наблюдение, которое частично легитимизирует использование столь грубого инструмента, как подсчет частот для оценки такой трудноуловимой субстанции как «значимость» или «популярность» того или иного писателя.

Рассмотрим теперь вкратце статистику популярности второго рода, характеристики интенсивности. Существует несколько способов оценить размер интернета; можно попробовать это сделать на основе следующего простого приема: посчитать частоту встречаемости самого популярного слова в соответствующем языке (как отмечалось, это

было предложено в работе М. Эпштейна «Мысли в числах»). В 2024 году самое популярное слово в английском – определенный артикль «the» – встречалось около 25 млрд раз, а самое популярное русское слово – союз «и» – около 2.5 млрд раз, то есть разница в 10 раз (конечно, сами эти слова имеют разную частоту в своих языках, но мы берем грубую аппроксимацию). Это очень близко к оценке объемов Англнета и Рунета в Википедии – соответственно 52% и 4.4%. Примерно тот же коэффициент (10) получается при сравнении оценок пользователей Англнета (1,186,451,052) и Рунета (116,353,942), данные за 2020 год⁸, но пропорции уже устоялись. Самый простой способ понять интенсивность – посчитать количество упоминаний на одного пользователя интернета на каждом языке и сравнить их между собой. Например, Лев Толстой упоминается 57 раз на тысячу пользователей в русском языке и лишь 9 раз на тысячу – в английском. Отношение интенсивностей, соответственно, равно $57/9 = 6.36$. Если список писателей упорядочить по этому показателю, то для пяти из него (Чернышевский, Гоголь, Достоевский, Гроссман и Набоков) дробь будет иметь очень небольшую величину, от 1.3 до 2. Можно сказать, что «средняя душа» англоговорящего человека получает ненамного меньше информации об этих писателях, нежели «средняя душа» русскоговорящего, – их знают почти одинаково хорошо на двух языках. А меньше всего rozpoзнают на Западе таких писателей из нашего списка, как Салтыков-Щедрин, Некрасов, Зощенко, Блок, Мережковский и Аксенов, с коэффициентами от 52 до 202. Заметим, что этот взгляд на популярность, хотя частично и совпадает с рассмотренным ранее, но дает другое представление о понятии «известность». Однако не будем пытаться совместить разные картинки. Индикаторы имеют различный смысл, а возможности анализа культуры безграничны (весьма любопытно в этом контексте исследование 2022 года «Expanding the Measurement of Culture with a Sample of Two Billion Humans»⁹, в котором проводится анализ миллиардов наблюдений).

Еще одно замечание. Коэффициент вариации оценок у первой двадцатки писателей в русском интернете (без Толстого) равен 39%, тогда как у них же в английском интернете – 107%, намного выше (подобное наблюдается и для всего списка в 41 имя). Это означает, что в целом в русской аудитории интересы распределяются между писателями более равномерно, в то время как в английской большее внимание уделяется «звездам». По этой причине, когда популярность писателя в английском мире значительно больше, чем в русском, – причину логичнее искать в числителе дроби (т.е. доли в Англнете), нежели в знаменателе (доли в Рунете).

Таким образом, после всех этих рассуждений можно говорить о том, насколько различно восприятие русской литературы в двух сегментах интернета. Какие общие выводы можно сделать? Проведем следующий простой расчет: отсортируем писателей по частотам их

встречаемости в русском языке (рассчитанным как доля в общей «русской вселенной», как описано в самом начале статьи), возьмем первые двадцать самых популярных имен и посмотрим, как они коррелируют с популярностью этих же писателей в английском. (В Приложении все эти имена отсортированы по их долям в русском сегменте.) Общая корреляция оценок на двух языках, 0.63, не такая уж высокая, но всё же положительная. Если, однако, удалить «объединяющую» фигуру Льва Толстого, корреляция резко падает практически до нуля (0.14), а для первых десяти писателей становится вообще отрицательной (-0.08). Налицо явная рассогласованность популярности писателей в двух мирах. Остановимся на наиболее заметных фигурах из первой двадцатки писателей – по русской версии, по которым популярность в английском мире сильно превышает таковую в русскоязычном мире.

Поэзия исторически куда хуже воспринимается в переводе, и наличие в нашем списке большого числа поэтов могло бы исказить популярность прозаиков. Но, оказывается, нет, серьезно не исказило (пожалуй, за исключением Тургенева, который и так наименее контрастный из всех). Например, среди всех писателей популярность Гоголя в англоязычном мире в 4.58 раз выше, чем в русском, а среди прозаиков – в 3.23; у Достоевского – 4.55 и 3.21. Так что разница сохраняется даже при более аккуратном рассмотрении (в котором, конечно, есть свои проблемы – например, с многожанровыми авторами, вроде Андрея Белого или Бориса Пастернака).

В этом контексте рассмотрим пять писателей, чья популярность на Западе существенно превосходит российскую. Ниже попытаемся объяснить полученные нами статистические результаты особенностями творчества данных писателей и их перцепции в англоязычном мире. Эти размышления, с одной стороны, представляются достаточно очевидными, а с другой стороны, должны восприниматься только как гипотезы, призванные хотя бы отчасти объяснить наблюдаемые закономерности. Более глубокий детальный анализ требует обширных дополнительных исследований.

Иван Тургенев (2.0% в Рунете, 2.8% в Аннгете, английская популярность выше русской в 1.37 раза). Известность Тургенева в Европе всегда была крайне высока. Он был одним из очень немногих идейных западников, его тексты наиболее «рациональны» и понятны зарубежному читателю; в них часто обсуждаются важные для западного мира общественные идеи, причем фундаментально значимые и для своего времени, и для современности (скажем, явление «нигилизм»). Он говорил на французском как на родном, знал немецкий, английский и был «своим» в европейских интеллектуальных кругах, общаясь с самыми знаменитыми их представителями. Можно предположить, что Тургенева просто и любят как «своего», тем более что его романы практически в одно и то же время сразу появлялись как

минимум на двух языках. Именно благодаря Тургеневу русская литература начала восприниматься как органическая часть европейской.

Антон Чехов (5.1%; 9.3%; разница в 1.84 раза). Чехов удивительным образом смог нащупать в самом начале 20 века то, с чем мы столкнулись в современной истории, – с проблемой одиночества и дискommunikации, с экзистенциализмом и даже с постмодернизмом; он показал человека без ясных целей, без силы воли, без возможности прожить яркую и насыщенную жизнь. Причем сделал это «в серых тонах», с грустью и юмором, без педалирования и нажима, в привычном западном «сдержанном» стиле. Он отказался от стереотипов в изображении соотечественников и расширил образ русского человека, особенно интеллигентного, сблизил его с западным еще до того, когда этот самый западный тип выкристаллизовался; укрепил идею, что Россия – всё же Европа.

Владимир Набоков (2.5%; 8.6%, разница в 3.44 раза). Столь большая разница в популярности имеет, наверно, рациональные объяснения. Вспыхнув своей «Лолитой» (да еще и усиленной фильмом Кубрика 1962 года) как один из первопроходцев новой эротической открытости, он сразу же занял яркое место в интеллектуальной культуре Запада. Даже его малочитаемые романы поздних лет не поколебали авторитета – только расширили его ареал в среде интеллектуалов. Набоков прочнейшим образом попал своим двуязычием и уникальным талантом в критическую литературную обойму англоязычных стран. В то же время Владимир Набоков более, чем кто-либо другой, олицетворял вечную трагедию и, одновременно, силу русскоязычной диаспоры, противопоставив своей неизбежной любви к родине еще большую любовь к свободе.

Федор Достоевский (3.1%; 14.0%, разница в 4.55 раза). Этот факт, наверно, наиболее удивительный: Достоевский интуитивно воспринимается как самый русский писатель, он должен, по идее, занимать высокое место в русском пантеоне, сразу рядом с Толстым (что и отражается в оценках Мюррея – 42 у Толстого и 41 у Достоевского), но современная картина совершенно другая. Он не только резко уступает Толстому (19.1%) и Пушкину (7.7%), но и девяти другим именам, включая Маяковского и Пастернака. Попробуем рассмотреть феномен Достоевского в современной культуре чуть подробнее.

В первую очередь имеет смысл проверить, действительно ли популярность Достоевского существенно упала с некоего «общепринятого» высокого уровня, не являются ли приведенные выше числа просто-напросто плохими индикаторами. Судя по анализу частот упоминаний не в интернете, а в книгах, – безусловно, популярность писателя куда ниже, чем у Толстого, причем так было многие десятилетия: в русских книгах разница в частотах 8.5 раз (!), в английских – в 3 раза (в последнем доступном 2019 году). На основе этого определенно сказать, какова разница в популярности писателей на двух языках,

затруднительно (в силу сложностей вычислений в Google Ngrams и закрытости некоторых аспектов алгоритма), однако несимметричность отношений (8.5 против 3) косвенно, но свидетельствует о меньшей популярности Достоевского в русском сегменте. Аналогично, если использовать оценки, полученные с помощью системы Google Trends, в которых приводятся не частоты упоминаний в интернете, а частоты вопросов пользователей, – картина похожая. Некий средний индикатор популярности у Толстого был выше в русском интернете в 2023 году в 11 раз, в то время как в английском языке два индикатора практически равны. Три разных источника подтверждают: популярность Достоевского в России куда ниже, чем в англоязычном мире, несмотря на сравнительную близость «интенсивности потребления» на душу населения, о чем шла речь выше.

Мы отдаем себе отчет, что «объяснять» столь сложные культурные феномены – задача практически безнадежная; достаточно лишь упомянуть, что мнения выдающихся людей о творчестве Достоевского варьировались от безгранично высоких до предельно презрительных, а количество книг и статей о нем составляет целую библиотеку. Но всё же наметим некоторые возможные линии рассуждения с позиций каждой из двух культур.

Достоевский вобрал в себя настолько разные аспекты «русской души», что построенное им отражение ее не могло не получиться искривленным, как некая изысканная функция Веерштрасса, не дифференцируемая ни в какой точке. Он не только ввел в обиход микроскопическую «слезу ребенка» и макроскопическое «красота спасет мир» – концепции, которые расширили привычный психологический континуум до колоссальных размеров, но и сам предложил сузить то, что расширил. На Западе же созданную им картину мира восприняли (безусловно, наивно) как аутентичную, отражающую ту самую «загадочную русскую душу», и приняли бесподобное психологическое мастерство писателя за точность в описании некоего сложного понятия – «русский народ». Чудеса изображения никогда не виданных персонажей, изысканные терзания, эпатажность заявлений и поступков героев, грандиозность иррациональных скандалов с подчас глубочайшими проникновениями в ранее недоступные области подсознательного, – всё это притягивало к себе. И, главное, – во всё это не надо было вглядываться как в зеркало; можно было брать лишь отдельные грани, приемлемые сейчас, в эту эпоху, в эту личность; при этом сохранялась безопасная дистанция от автора и отстраненность от героя, которые норовили втянуть читателя в воронку саморефлексии (это втягивание в небезопасную зону грозило именно русскоязычному человеку, но оно не универсально, вопреки мнению, высказанному в очерке И. Липковича¹⁰).

Лишь в последнее время среди славистов намечается некоторый пересмотр отношения к творчеству Достоевского. Например, про-

фессор Ева Томпсон, которая еще в 2000 году опубликовала книгу «Imperial Knowledge: Russian Literature and Colonialism», предвосхищая столь популярную ныне у исследователей тему империалистического нарратива в европейских литературах, в интервью 2022 года довольно подробно остановилась на этом вопросе¹¹. Вере Толстого в универсальность человеческой природы Достоевский противопоставляет исключительность «русского текста». Кошмары нынешней войны, длящейся третий год, заставляют людей на Западе как-то иначе взглянуть на «всемирную отзывчивость русской души», декларируемую Достоевским в его знаменитой Пушкинской речи. Где-то в этой злополучной лингвистике, в зазоре между «мир» и «rease», «мир» и «world», и лежит одна из разгадок разницы в восприятии жестокого гения в двух современных вселенных.

Николай Гоголь (3.8%; 16.5%; разница в 4.58 раза). Такое ощущение, что любовь к Гоголю у западных читателей вызвана причинами, противоположными тем, которые порождают их любовь к Достоевскому. Как и Достоевский, Гоголь установил флажки на психологических крайностях, но окрасил их такими яркими цветами, что они и воспринимаются как безусловные маркеры, а не рвы без ограждений. Его Акакий Акакиевич – беспримесный символ английского humiliation, и так он и понимается англоязычной аудиторией. Его Хлестаков, Чичиков, городничий и прочие герои – логическое завершение европейских традиций плутовского романа в обворожительной сатирической форме. «Ревизор», построенный по идеальным лекалам сценического мастерства, до сих пор входит в список лучших пьес мировой драматургии. Его фантазмагорический юмор – более понятная, жизненная ипостась великого эксцентрика Стерна. Гоголевский наивный национализм, бесшабашно переходящий от украинского к великорусскому, – тоже узнаваемый штрих из размашистой картины становления государств.

Но почему всё же такой контраст с российскими оценками? Тут, может быть, есть смысл взять «статистическую паузу». Доля писателя в Рунете, 3.6%, не так уж сильно отличается от других, более высоких (кроме Толстого и Пушкина), – они меняются от 5.9% у Горького до 3.9% у Ахматовой. Гоголь входит в десятку наиболее популярных писателей, несмотря на то, что много новых имен появилось со дня его смерти (Достоевский, к примеру, лишь двенадцатый). Так что необычная популярность Гоголя на Западе оказывается важнее, нежели его «стандартно высокая» популярность в России.

Можно ли теперь сделать какие-то общие заключения о тенденциях в восприятии писателей во времени, помимо тех ограниченных сравнений, о которых шла речь выше? Простое сравнение встречаемости имен не срабатывает; Google Trends имеет нижним пределом 2004 год и, к тому же, анализирует популярность запросов (очень популярное имя вполне может иметь малое число запросов, т.к. «все

и так знают»). Только система Google Books Ngram позволяет что-то понять в широкой временной перспективе. Но она фиксирует не количество упоминаний слова или выражения в интернете, а частоту встречаемости выражения только среди книг, отсканированных Google. Это делает ее, в принципе, более близкой к оценкам Мюррея по своей логике, хотя, конечно, есть разница между «всеми книгами» и «наиболее авторитетными изданиями» (к тому же, в понятие «книга» входят не только тексты об авторах, но и сочинения самих авторов). Большое достоинство системы в том, что она позволяет давать оценки за длительные интервалы времени. Некоторым недостатком является то, что последний год отстывает от текущего времени на 5 лет (сейчас доступен 2019). Мы провели анализ тенденций за 1950–2019 годы (используя имя и фамилию).

Разница между русской и английской динамикой бросается в глаза. Но самая яркая деталь – это всплеск интереса к процессу чтения начиная примерно с 1980 года, кульминация этого интереса к 2005 году и затем к 2019 году падение – более-менее до уровня начала 1980-х годов. Это интуитивно понятный интерес к некоторым писателям в период перестройки и сразу после нее. На пике находились полузапрещенные ранее писатели. Можно также заключить, что после пика в 2000–2005 годах самым печальным образом *интерес к чтению классики на русском языке в целом резко упал*. Этот тезис не следует понимать категорически: речь идет, скорее, о возврате к доперестроичному времени, нежели о полной утрате интереса. Но характерно, что поток новой информации о давно известных писателях и поэтах, полученный в перестройку, привел не к стабильному росту интереса к ним, а к падению после насыщения. Конечно, тому может быть множество причин, в том числе рост интереса к новым именам, но мы оставляем этот вопрос открытым.

Другая картина в англоязычном сегменте. Всё это – признаки здорового культурного развития: писатели оцениваются публикой и критикой по их мастерству, а не под влиянием каких-то привходящих обстоятельств. Отчасти это не может не удивлять: ведь частоты вычисляются как процент к некоему корпусу текстов, размер которого непрерывно растет. И тем не менее доля участия иностранных писателей в этом корпусе не падает, как это наблюдается в русскоязычном сегменте. И очень сомнительно, что текущая война и всегда с ней связанное одичание изменят что-либо в будущем.

Отметим в заключение, что изучаемые в статье частоты есть следствие огромного количества факторов, которые невозможно учесть в столь простом исследовании, как наше. Даже попытка разложить их на какие-то простые составные части – например, региональные, – уже дело высокой сложности. Скажем, «английский сегмент интернета» обычно ассоциируется с США, Британией, Канадой – с тем, что размашисто называется в статье «Западом». Но есть еще примерно 150-200

миллионов англоговорящих в Индии и 30 миллионов в Индонезии, а всего в мире полтора миллиарда людей пользуются английским как родным или «вторым» языком. Культурные традиции в этих регионах отличны и от американских, и от русских. Проникновение русской культуры туда происходило совсем не так, как в Европу и в Америку.

Кроме региональных, есть и другие обстоятельства, такие как влияние на популярность не только книг писателей как таковых, но и фильмов, театральных постановок, разнообразных политических факторов. Чтобы всерьез ответить на вопрос «почему», нужно было бы провести еще огромную дополнительную работу. Пока же мы представили читателю только одну из возможных интерпретаций на заданную тему. Гуманетике еще многое предстоит сделать для понимания того, что происходит с символическим капиталом русской литературы в разных странах.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. *Murray, C. Human Accomplishment: The Pursuit of Excellence in the Arts and Sciences, 800 B.C. to 1950.* Harper Perennial, 2004.
2. *Мандель, И., Эшттейн, М.* Русские писатели в интернете: статистический анализ. Презентация в клубе IntLex, 04/24/2024. <https://studio.youtube.com/video/m53HZpkQYUA/edit>
3. *Эшттейн, М.* Мысли в числах. Россия и Запад в зеркалах интернета. «Звезда», 2006, № 10. С. 204-213.
4. *Мандель, И.* Реквием по всему с последующим разоблачением. Альманах «Лебедь», 2010. С. 612.
5. *Эшттейн, М.* Русский антимир. Политика на грани апокалипсиса. FrancTireur USA, 2023.
6. *Murray, C. Human Accomplishment...* Указ. издание.
7. Там же. С. 143.
8. Languages used on the Internet. https://en.wikipedia.org/wiki/Languages_used_on_the_Internet
9. *Özak, Ö., Martín, I., Ortuño-Ortín, I., Awad, E., others.* Expanding the measurement of culture with a sample of two billion humans. J.R. Soc. Interface 19:20220085, 2022.
10. *Липкович, Илья.* Этюды о Достоевском. Заметки читателя. 2019, https://7i7iskusstv.com/y2019/nomer6_7/lipkovich/
11. *Thompson, E.* Imperialism in Russian literature. Interview. The Review of Democracy, June 2022.

Приложение

Таблица имен двадцати наиболее популярных писателей в русском интернете (*февраль 2024 года*)

Выделены жирным шрифтом имена писателей, популярность которых существенно выше в Ангнете по сравнению с Рунетом. Другие писатели, рассмотренные в исследовании, по мере убывания доли в Рунете: Осип Мандельштам, Андрей Белый, Михаил Шолохов, Андрей Платонов, Иван Гончаров, Николай Лесков, Николай Островский, Михаил Зощенко, Михаил Ломоносов, Федор Тютчев, Варлам Шаламов, Михаил Салтыков-Щедрин, Евгений Замятин, Василий Аксенов, Николай Карамзин, Дмитрий Мережковский, Александр Герцен, Исаак Бабель, Николай Чернышевский, Гавриил Державин, Василий Гроссман.

	Имя	Ра нг	Среднее количество упоминаний в Google	Доля в общей сумме, %	Среднее количество упоминаний в Google	Доля в общей сумме, %	Ангнет / Рунет (6/4)
			Рунет		Ангнет		
	1	2	3	4	5	6	7
1	Лев Толстой	42	6,614,000	19.1	10,609,458	21.1	1.10
2	Александр Пушкин	30	2,682,000	7.7	1,614,679	3.2	0.41
3	Максим Горький	15	2,044,000	5.9	1,452,857	2.9	0.49
4	Антон Чехов	20	1,750,000	5.1	4,685,714	9.3	1.84
5	Михаил Булгаков		1,660,000	4.8	1,130,286	2.2	0.47
6	Марина Цветаева		1,367,500	4.0	461,714	0.9	0.23
7	Александр Блок	10	1,356,600	3.9	229,571	0.5	0.12
8	Анна Ахматова	4	1,350,000	3.9	557,143	1.1	0.28
9	Николай Гоголь	26	1,245,000	3.6	8,297,179	16.5	4.58
10	Владимир Маяковский	13	1,206,000	3.5	401,143	0.8	0.23
11	Борис Пастернак	10	1,071,400	3.1	1,308,571	2.6	0.84
12	Федор Достоевский	41	1,066,400	3.1	7,063,214	14.0	4.55
13	Иван Бунин	4	1,037,600	3.0	321,429	0.6	0.21
14	Иосиф Бродский		995,800	2.9	648,293	1.3	0.45
15	Владимир Набоков	3	861,000	2.5	4,314,286	8.6	3.44
16	Михаил Лермонтов	12	782,200	2.3	508,714	1.0	0.45
17	Иван Тургенев	24	702,800	2.0	1,401,429	2.8	1.37
18	Александр Солженицын		491,600	1.4	359,714	0.7	0.50
19	Евгений Евтушенко		466,000	1.3	150,887	0.3	0.22
20	Николай Некрасов	5	465,000	1.3	87,832	0.2	0.13

Рэне Герра

«Тот дивный мир, где шли мы рядом»¹

Иван Бунин и Петр Нилус

В первый раз И.А. Бунин приехал в Одессу 9 июня 1896 г., затем навещал этот город ежегодно, иногда по два раза в год. Всего в Одессе он побывал более тридцати раз. Летом 1898 г. Бунин вновь приехал в Одессу. Этот третий приезд для писателя стал одним из самых значительных. Именно тогда Бунин познакомился с Николаем Петровичем Цакни, редактором газеты «Южное обозрение». Он часто бывает на даче² у Николая Петровича, где знакомится с его дочерью Анной. Иван Алексеевич влюбляется и вскоре делает Анне Николаевне предложение, которое та принимает. 23 сентября 1898 г. состоялась свадьба, и молодожены поселились в доме семьи Цакни на ул. Херсонской, 44. Однако счастье молодых было недолгим – через полтора года, в 1900 г., брак распался.

Были у Бунина и другие связи с Одессой, не матримониальные, но более прочные и счастливые, продлившиеся много лет. Это были дружеские связи с одесскими художниками, членами «Товарищества южнорусских художников»: П.А. Нилусом, Е.И. Буковецким, В.П. Куровским, писателем и художником А.М. Федоровым и др. У новых его друзей существовал обычай собираться по четвергам у Буковецкого.

«'Четвергом' называлось еженедельное собрание южнорусских художников, писателей, артистов... вообще людей, любящих искусство, веселое времяпрепровождение, товарищеские пирушки. После обеда художники вынимали свои альбомы; писатели, поэты читали свои произведения, певцы пели, кто умел, играл на рояле...»³

Летом 1898 года Петр Нилус впервые встретился с Иваном Буниным в Одессе. Эта встреча превратилась в крепкую дружбу, которая продолжалась всю их жизнь. Об этом свидетельствует вторая жена писателя Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

«Особенно подружился он с П.А. Нилусом, дружба длилась многие годы и перешла почти в братские отношения. Он кроме душевных качеств ценил в Нилусе его тонкий талант художника не только как поэта красок в живописи, но и как знатока природы, людей, особенно женщин, – и всё уговаривал его начать писать художественную

прозу. Ценил он в нем и музыкальность. Петр Александрович мог насвистывать целые симфонии»⁴.

В 1906 году Нилус впервые заявил о себе как писатель. Его первый рассказ «Утро» был посвящен Бунину («Новое слово» № 9, 1906). В своих письмах Нилус не раз подчеркивал, что как писатель он прежде всего обязан Бунину. «Ну, братец, ты меня 'завел' основательно – всё пишу», – сообщал он Бунину 9 июня 1905 г. в период работы над «Утром».

Живописец, художественный критик и писатель Петр Александрович Нилус родился в 1869 году в селе Бушены Подольской губернии. В 1876 году семья переехала в Одессу. В следующем году юного Петра отдали в реальное училище Св. Петра и Павла, однако Нилус в шестом классе оставил училище и поступил в Одесскую рисовальную школу, где его учителем был К.К. Костанди. С 1889 года продолжил обучение в Санкт-Петербургской академии художеств у Ильи Репина, который рекомендовал молодому человеку побыстрее начать выставочную деятельность и вернуться в родной город, где мощно



заявило о себе Товарищество Южнорусских художников. Вернувшись в Одессу, Нилус активно включился в местную художественную жизнь и в 1893 году стал членом Товарищества южнорусских художников. Живописец участвовал почти во всех выставках с 1890 по 1919 год.

Создавал П.А. Нилус и портреты известных писателей. Два из них особенно примечательны: Портрет А.П. Чехова (1910) и Портрет И.А. Бунина (1918). В.Н. Муромцева-Бунина вспоминала:

«Иван Алексеевич списался с Чеховым относительно портрета, который хотел писать с Антона Павловича Нилус. И друзья в самом конце марта поплыли в Ялту... По прибытии в Ялту, Нилус принялся за портрет Антона Павловича. На сеансах, правда, коротких, в полчаса, всегда присутствовал, по настоянию Чехова, Бунин, отчего они проходили незаметно, среди оживленных разговоров, шуток и смеха»⁵.

«В первый раз я увидел Антона Павловича в 1901 году в Ялте, на его даче. Приехал я к нему с И.А. Буниным. Как сейчас помню сухой, сияющий апрельский день, сверкающую пыльную дорогу Аутки, белый дом, запыленный садик. А.П. был у своего дома, в летнем пальто, застегнутом на все пуговицы, в мягкой шляпе с тростью в руке, рядом с ним стоял журавль, поджав одну ногу. – А я думал, что вы приехали покупать мою дачу, – сказал, улыбаясь, А.П., когда Бунин представил меня ему. – Зачем вы живете в Одессе? В Одессе только акации хороши... Зашел разговор об Одессе, одесситах, одесской прессе, одесских женщинах. И акации, и пресса, и женщины – всё одесское не нравилось Антону Павловичу. Кажется, А.П. немало позабавил мой цилиндр, и, когда мы вошли в дом, он взял у меня его из рук, подошел к зеркалу, надел и сказал: – Когда я приезжаю в Париж, – сейчас же покупаю цилиндр – отличная шляпа <...>. Мое писание портрета было неудачно. А.П. был не совсем здоров, встревожен, ждал в Ялту больную жену. Сеансы были коротенькие – полчаса, час <...>. Я уехал, и только несколько лет спустя, уже после смерти А.П., почел своим долгом, как мог, закончить начатое по наброску и фотографиям <...>. Во время сеансов почти всегда бывал И.А. Бунин. Разговор шел обо всем: и о литературе, и о критиках, об издателях и о том, как нужно писать. О ценах на землю, о будущности ‘открыток’, которые тогда стали входить в моду, о революции, о новом читателе и о том, как нужно себя держать с приятелем, приехав на извозчике, желая уклониться от платежа <...>. Во время сеансов, чтобы не утомлять А.П., я просил его делать то, что ему угодно. Он обыкновенно просматривал газеты и пил кефир. – Иван Алексеевич, – не раз говаривал А.П., когда бывал Бунин, – прочтите что-нибудь из Чехова. Бунин превосходно читал маленькие рассказы Чехова. Первым смеялся А.П. своему вымыслу живым человеческим смехом. ‘Букишон’, ‘Букишончик’, – называли Бунина в семье Чехова, где его любили за живость, молодую остроту наблюдательности, за тот юмор, который в его произведениях проявился только десять лет спустя. Наиболее живое впечатление о фигуре Чехова дают воспоминания И.А. Бунина, хотя не портретно, но убедительнее всякого протокольного описания. Портрет Чехова Бунина сложился таинственно, между строк, неизвестно как. Вероятно, таким и должен быть настоящий литературный портрет»⁶. (Из воспоминаний П.А. Нилуса)

Смерть Чехова глубоко потрясла Бунина: «Действительно, потеря для него была большая. Единственный из писателей, Чехов по-настоящему был с ним близок, любил его и ценил; Иван Алексеевич чувствовал это, и сам питал к нему восхищенную любовь»⁷.

Особое место в творчестве Бунина занимают воспоминания о Чехове и Толстом, которых он считал своими учителями. Первые заметки «Памяти Чехова» были написаны в 1904 г. для сборника

«Знание»⁸. Книга Бунина о Чехове так и не была закончена: Иван Алексеевич скончался в Париже 8 ноября 1953 года. Через несколько лет после смерти мужа, Вера Николаевна с помощью Леонида Федоровича Зурова, писателя и давнего друга их семьи, закончила книгу по заметкам Ивана Алексеевича. Книга вышла из печати с предисловием М.А. Алданова и вступлением В.Н. Буниной (Нью-Йорк: Издательство им. Чехова, 1955).

Начавшуюся революцию Бунин встретил в деревне, в имении двоюродной сестры в селе Глотова Елецкого уезда. Но беспорядки, погромы и пожары вынудили Ивана Алексеевича и Веру Николаевну Буниных в конце октября 1917 года перебраться в Москву, оттуда летом следующего года – в Одессу.

«...Сняли на лето дачу Шишкина за Большим Фонтаном, жили там до октября. Затем переселились в город, где нам сдал две очень хорошие комнаты в своем чудесном особняке⁹ Евгений Иосифович Буковецкий, художник. Прожили мы там год и почти четыре месяца. Там же проживал и художник Петр Александрович Нилус, большой друг Ивана Алексеевича»¹⁰.

Только в пригороде, на дачах, летом 1918 года можно было отдохнуть. Этим и воспользовались Иван Алексеевич и Вера Николаевна. В одной из комнат того загородного дома Петр Нилус писал портрет Ивана Бунина. Художник назвал свою работу «И.А. Бунин у окна».

6 апреля 1919 года в Одессу вступают отряды Красной армии. «Вошли первые большевицкие войска под предводительством атамана Григорьева, всего полторы тысячи солдат! Вот та сила, от которой бежали французы, греки и прочие войска. Одесса – большевицкий город»¹¹. До 23 августа в городе советская власть. Вновь террор, голод, расстрелы, грабежи. Всё это выразительно описано И. Буниным в «Окаянных днях». Его записи обрываются 20 июня 1919 года. Новая власть обкладывает «буржуазный элемент» 50-миллионной контрибуцией, за неуплату которой следовали жесткие карательные санкции. Контрибуция взималась по спискам домовладельцев, регулярно публиковавшимся в газете «Известия». Однако дом Буковецкого, где жили Бунины и Нилус, в списках не значится. 11 апреля 1919 года И. Бунин, Е. Буковецкий и П. Нилус обращаются с письмом к новой власти с просьбой закрепить за ними помещение, в котором они живут¹². Бунин в «Окаянных днях» (25 апреля) пишет о посещении дома Буковецкого комиссаром «на предмет уплотнения пролетариатом»¹³. Инцидент был улажен благодаря усилиям Нилуса. Валентин Катаев в «Траве забвения» вспоминает:

«К этому времени Бунин был уже настолько скомпрометирован своими контрреволюционными взглядами, которых, кстати, не скры-

вал, что его могли без всяких разговоров расстрелять, и наверное бы, расстреляли, если бы не его старинный друг одесский художник Нилус, живший в том же доме, где жили и Бунины, на чердаке, описанном в 'Снах Чанга', не на простом чердаке, а на чердаке 'теплом, благоухающем сигарой, усталном коврами, уставленном старинной мебелью, увешанном картинами и парчовыми тканями...' Так вот, если бы Нилус не проявил бешеной энергии – телеграфировал в Москву Луначарскому, чуть ли не на коленях умолял председателя Одесского ревкома, – то еще неизвестно, чем бы кончилось дело. Так или иначе, Нилус получил специальную, так называемую охранную грамоту на жизнь, имущество и личную неприкосновенность академика Бунина, которую и приколоты кнопками к лаковой, богатой двери особняка на Княжеской улице»¹⁴.

12 апреля 1919 г. В.Н. Муромцева-Бунина вспоминает: «Квартира наша освобождена от реквизиции. Кроме Буковецкого и Нилуса хлопотал Волошин, очень легко, охотно и бескорыстно. Он, по-видимому, очень легкий и приятно-простой человек. Он прибежал днем сообщить нам об этом и очень радостно стал писать вывеску: 'Художественная неореалистическая школа' Буковецкого, Нилуса и Волошина»¹⁵.

В конце Гражданской войны, 24 декабря 1919 года, художник эмигрирует пароходом в Варну (Болгария). А следом за ним, 26 января 1920 года на французском пароходе «Спарта» Бунины отплыли в Константинополь, а оттуда, через Софию и Белград, в конце марта прибыли в Париж. Нилус несколько лет скитался по городам балканских государств, участвовал в местных выставках в Софии (1920), Вене (1921), Загребе (1922–1923), Бухаресте (1923) и Белграде (1923). В конце 1923-го он перебрался в Париж, где поселился в одном доме на пятом этаже с И.А. Буниным на улице Жака Оффенбаха, 1 (1, rue Jacques Offenbach, Paris XVI) в облюбованном русскими эмигрантами районе Пасси. Первые персональные выставки П.А. Нилуса в Париже состоялись в 1924 году в престижных галереях G. Petit и J. Charpentier, M. Bernheim (1926). Работы художника привлекли внимание знаменитого коллекционера и книгоиздателя А. Воллара. Большой успех имела выставка П.А. Нилуса в галерее Zak (1934), ставшая его последней прижизненной персональной выставкой.

Говоря о Нилусе-художнике, нельзя не сказать о нем и как о достаточно известном литераторе, беллетристе, очеркисте и критике. За 12 лет (1906–1917) Нилус написал несколько десятков рассказов, опубликованных в периодической печати; многие из них вошли в его сборники «Рассказы» (М., 1911) и «На берегу» (М., 1917). Вот отзыв известного критика Ю. Айхенвальда:

«Рассказы П. Нилуса 'На берегу моря' действительно веют соленым ароматом Черного моря, Одессой, солнцем юга, пряностями

природы и души. В его фабулах и в его манере есть что-то острое, пикантное – изящество, не специфически русское, хотя и русские учителя, Чехов, Бунин – быть может, не вполне ведомо для самого автора – формировали его дарование...»¹⁶.

А вот что писал Ив. Бунин: «Был он талантливым беллетристом, – повесть его ‘На берегу моря’, напечатанная в 1906 г. в альманахе ‘Шиповник’, затем книга рассказов, изданная ‘Книгоиздательством Писателей’ в Москве, имели крупный успех; был тонким знатоком музыки, обладал чуть-ли не абсолютным слухом...»¹⁷

Бунин был постоянным участником сборников товарищества «Знание», с 1904 по 1909 годы его стихи были напечатаны в тринадцати выпусках. В книге первой опубликовано стихотворение «Счастье» («Нет солнца, но светлы пруды...»), посвященное Петру Нилусу:

* * *

Нет солнца, но светлы пруды,
Стоят зеркалами литыми,
И чаши недвижной воды
Совсем бы казались пустыми,
Но в них отразились сады.

Вот капля, как шляпка гвоздя,
Упала – и, сотнями игол
Затоны прудов бороздя,
Сверкающий ливень запрыгал –
И сад зашумел от дождя.

И ветер, играя листвою,
Смешал молодые березки,
И солнечный луч, как живой,
Зажег задрожавшие блески,
А лужи налил синевой.

Вон радуга... Весело жить
И весело думать о небе,
О солнце, о зреющем хлебе
И счастьем простым дорожить:

С открытой бродить головой,
Глядеть, как рассыпали дети
В беседке песок золотой...
Иного нет счастья на свете.

В 1901 г. Петр Нилус посвятил Ивану Бунину свою картину «Одиночество», где на фоне осеннего пейзажа изображена молодая женщина, сидящая на берегу моря. По своему настроению эта картина очень созвучна лирике Бунина того времени. В 1902 году она была выставлена на XXX выставке передвижников (ТПХВ) в Москве и в Одессе. Впечатляют большие размеры картины, 160 x135 см, редко встречающиеся в наследии Нилуса. Среди многочисленных одесских рецензий особо интересна одна, где именно этой картине уделено основное внимание:

«...Наши южнорусские художники-одесситы занимают в выставке очень видные места и безусловно обращают на себя внимание своими талантливыми произведениями <...>. П.А. Нилус дал несколько вещей, из которых мы можем указать в этом беглом очерке лишь на самую интересную из них – на ‘Одиночество’. Картина не лишена разных декадентских и символических новаторств и заблуждений, но в ней тем не менее есть нечто такое, что говорит вам о несомненном таланте художника, способного выразить то, что он задумал даже и при довольно фальшивых средствах и условностях нового искусства. Уберите из картины все эти условности – символические деревья (до известной степени à la Нестеров), декадентские краски воздуха, облаков, далей и прочего – и вы получите очень поэтичное, чисто эгегическое изображение одиночества, так интенсивно ощущаемого среди природы, которой у г. Нилуса в картине довольно и которую он прекрасно чувствует»¹⁸.

В 1903 году в сборнике «Наши вечера» опубликована репродукция картины П. Нилуса «Одиночество», проза и стихотворение Ивана Бунина «In memoriam»¹⁹.

Поэт и критик Юрий Иваск правильно написал: «Эмиграция – всегда несчастье. Ведь изгнанники обречены на тоску по родине и обычно на нищету. Но эмиграция не всегда неудача – творчество, творческие удачи возможны и на чужбине»²⁰. Эта трагическая страница русской истории XX века оказалась, волей судеб, великой удачей для ее жертв и, в конечном итоге, для всей русской культуры. Тому лучшее доказательство – всемирный успех представителей русской творческой элиты в Рассеянии, ставшей сегодня национальной гордостью не только Франции, но и России. Своим творчеством, своей жизнью они доказали: в свое время ими был сделан трудный, но правильный выбор.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Бунин, Ив. Избранные стихи. Париж: Из-во «Современные записки». 1929. С. 203.
2. 7-я станция Большого Фонтана. Большой Фонтан – один из старейших и

популярнейших еще в Российской империи курорт, находящийся в 16 км. от Одессы.

3. *Муромцева-Бунина, В.Н.* Беседы с памятью. Нью-Йорк: «Новый Журнал». 1960, № 60. С. 172.

4. *Муромцева-Бунина, В.Н.* Жизнь Бунина: 1870–1906. Париж, 1958. С. 113.

5. Там же. С. 135.

6. Петр Нилус о Чехове. «Речь», 2 июля 1914, № 177.

7. *Муромцева-Бунина, В.Н.* Жизнь Бунина... С. 155.

8. Воспоминания «Памяти Чехова» были написаны И.А. Буниным для сборника «Знание» за 1904 год (Кн. 3. СПб., 1905).

9. Княжеская, 27.

10. В.Н. Муромцева-Бунина в письме к А. Бабореко от 13.03.1958.

11. Устами Буниных. Дневники И.А. и В.Н. В 3 тт. Т. 1. Франкфурт-на-Майне: «Посев», 1977. С. 224.

12. Копия письма находится в Отделе рукописных фондов Института истории фольклористики и этнографии им. М. Рильского НАН Украины. (Далее – ОРФ ИИФЭ). Ф. 20, оп. 1, ед. хр. 65, л. 36.

13. Собрание сочинений И.А. Бунина. Том X. Окаянные дни. Берлин: Петрополис. 1935. С. 126.

14. *Катаев, В.П.* Святой колодец; Трава забвенья. М.: «Советский писатель». 1969. С. 206–207.

15. Устами Буниных. Дневники И.А. и В.Н. В 3 томах. С. 229.

16. Газета «Речь».

17. *Бунин, Ив.* Памяти П.А. Нилуса. «Русские новости». Вып. 54. Париж, 24 мая 1946.

18. *Вучетич, Н.* Два слова о XXX выставке картин передвижников. Одесса: «Театр: газета, посвященная изящным искусствам и спорту». 1902. 10 дек., вторник. № 248. С. 1–2.

19. Наши вечера. Литературно-художественный сборник. Вып. 1. Одесса: Тип. Акц. Южно-Русского Об-ва печатного дела, 1903.

20. *Иваск, Ю.П.* На Западе. Антология русской зарубежной поэзии. Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова. 1953. С. 5.

Иллюстрация: П. Нилус. Автопортрет. 1935. Из коллекции Р. Герра.

Ницца, 2024

КНИГА И СУДЬБА

Людмила Оболенская-Флам

Вики – русская княгиня во Французском Сопротивлении

Ami, si tu tombes,
Friend, if you fall,
un ami sort de l'ombre
à ta place...

Anna Marly, «Le Chant des partisans»

Друг, коль ты падешь,
Другой заступит за тебя –
товарищ, выйдя из тени...

Анна Марли, «Песня партизан»

ПРЕДИСЛОВИЕ

4 августа 2024 года – дата восьмидесятилетия смерти Веры Аполлоновны Оболенской (1911–1944), широко известной как «Вики», героини Французского Сопротивления, казненной нацистами на гильотине в немецкой тюрьме. По прошествии стольких лет, трудно себе представить, что была она не только исторической фигурой, а человеком из плоти и крови – молодой обворожительной женщиной, окруженной друзьями, любящей и любимой, женой князя Николая Оболенского.

Сразу оговорюсь, что подхожу к этой теме не как сторонний наблюдатель; мой интерес к Вики в значительной мере обусловлен семейными узами: она в браке приходилась тетушкой моему мужу Валериану Оболенскому. От него я и услышала впервые о подпольной работе супругов во время немецкой оккупации и про ее страшную кончину. К тому времени прошло десять лет с момента казни Вики. Я не была с ней знакома лично. Зато мы часто ездили в Париж, останавливались у Николая Оболенского, дяди моего мужа, который свято берег память жены. В своем доме он окружил себя ее фотографиями. В то время я была далека от мысли, что когда-либо буду писать о Вики; к тому же расспрашивать его мне было как-то неловко, боялась причинить боль. Но после смерти всех ее близких я стала наследницей семейных бумаг, документов, фотографий, писем, в которых многое касалось Вики. Тогда я поняла, что этому нельзя поз-

волить пропасть. Однако одних бумаг оказалось недостаточно, чтобы воскресить память о Вики; следовало найти и другие ее следы и поспешить сделать это, покуда оставались в живых те немногие, кто ее знал и помнил.

Из собранных мною свидетельств, личных встреч и переписки, родилась книга «Вики, княгиня Вера Оболенская», вышедшая в 1996 году в московском издательстве «Русский путь». В 2010-м там же вышло ее исправленное и дополненное издание; теперь книга есть в Интернете. Но с тех пор мне стали доступны дополнительные сведения, связанные с деятельностью Вики в Сопротивлении, с ее пребыванием в тюрьмах Гестапо и об обстоятельствах страшной казни в Берлине. Эти факты помогли расширить рамки книги, подготовленной мною на английском языке, – «Vicky, A Russian Princess in the French Resistance»¹ (NY: The New Review Publishing, 2022). Эта книга легла в основу нынешней публикации в авторском переводе на русский, с некоторыми дополнениями и изменениями.

Отмечу также, что в русской прессе и в сетях имя Вики-Веры Оболенской звучит и сегодня. Но пишут о ней часто всякие небылицы. Вот пример некоторых фантастических утверждений: был у нее якобы рано умерший сын (даже имя приводится!), или что тело ее «покоится на кладбище Сент-Женевьев»; что муж ее, принявший священство о. Николай Оболенский, был поэтом!.. Искажаются и причины ее вступления в Сопротивление, будто вызванные патриотическими побуждениями защиты ее родины – России – от фашистов. При этом оставляют без внимания существенную деталь: Вики и Николай Оболенские вступили во Французское Сопротивление почти за год до вторжения гитлеровской армии в СССР, то есть в то время, когда Германия и СССР были связаны пактом о ненападении и были союзниками. Лишь впоследствии борьба за Францию стала для русских эмигрантов делом, в том числе, борьбы за Россию.

Надеюсь, нынешняя публикация поможет рассеять домыслы и закрепить факты, связанные с личной жизнью и исторической ролью этой женщины, до конца оставшейся верной своей совести и чувству долга.

Людмила Оболенская-Флам

ГЛАВА 1.

Лето 1994 года. Я нахожусь за круглым обеденным столом на восьмом этаже дома № 125 на улице St. Dominique в Париже. В окне виден шпиль Эйфелевой башни. Здесь живет Мария Сергеевна Станиславская, для своих – Манюша. Эта милая женщина приходит-ся тетушкой моей ближайшей подруге Наташе Майер-Кларксон. Мы вместе прилетели с ней на рассвете из Вашингтона. Она – чтобы навестить свою тетю, я – в попытке найти концы, ведущие к Вики. Что у

Наташи в Париже имеется тетушка Манюша, я знала давно, но что эта Манюша была подругой молодости Вики, выяснилось только недавно – неожиданная и большая удача для моей парижской миссии.

За крепким, как деготь, кофе (очень кстати после бессонной ночи!), заговорили о Вики. Оказалось, не только Вики с Манюшей были подругами; их отцы, одноклассники по Училищу правоведения, тоже дружили с детских лет. Позже связь прервалась, но в эмиграции дружба возобновилась. И вот что любопытно: по словам Манюши (она об этом слышала от своего отца), отец Вики, Апполон Макаров, рассказал ему, будто Вики на самом деле ему не родная дочь, а внебрачный ребенок какого-то высокопоставленного лица, чуть ли не приближенного ко Двору, и что они с женой удочерили ее в младенчестве, назвав именем приемной матери, – Вера. «А знала ли это Вики?» – «Не знаю, – ответила Манюша, – мы об этом никогда не говорили.»

Ни в одном из документов я не нашла тому подтверждения. Всюду говорится, что Вера, родившаяся 11 июля 1911 года в Москве, была дочерью вице-губернатора Бакинской области Аполлона Аполлоновича Макарова и его супруги Веры Алексеевны, рожденной Коломниной. Если же пытаться найти какие-то косвенные признаки отсутствия родства с Макаровыми, то обращает на себя внимание письмо, полученное мною из Парижа от Викиного друга детства Александра Бильдерлинга. Он писал, что помнит Вики девятилетней девочкой, когда Макаровы, приехав в Париж, поселились в пансионе некой мадам Дарзан на бульваре Шаго, где уже обитало несколько русских семейств. Вот отрывок из его письма о Вики: «Условия ее жизни тогда были особенно тяжелыми, даже в сравнении с жизнью многих русских. На что они жили – осталось загадкой. Мать и тетка ее были невзрачные, низкорослые особы, которые мало с кем общались. В отличие от матери, Вики была смешливой и жизнерадостной, быстро сходилась с людьми и пленяла их своим легким, веселым характером».

Кстати, сохранилось еще одно описание, какой Вики была в детстве. Оно принадлежит Александру Исаченко, профессору лингвистики, преподававшему на разных кафедрах в Европе и США. Его воспоминания вошли в сборник об эмигрантах в борьбе против нацистов². Исаченко впервые увидел Вики в поезде, доставлявшем группу русских беженцев в Белград. Небольшой отрезок пути ему с отцом удалось провести в вагоне-ресторане поезда «Ориентал-Экспресс». Там Александр обратил внимание на девочку «ангельской красоты», примерно его же возраста, лет восьми-девяти. Ему навсегда запомнились ее каштановые волосы и белый бант. Ехала она в сопровождении двух дам. Говорили они по-английски. Мальчик решил, что знакомства не получится, так как в английском был слабоват: «Даже если бы с Божьей помощью мне удалось познакомиться с этой неземной мисс,

я всё равно не мог бы сказать ей ничего умного», – читаем в воспоминаниях Исаченко.

Первой остановкой этой группы беженцев, ехавшей под покровительством Красного Креста, была София. Там их пересадили на товарный поезд. В набитый беженцами вагон посадили в последний момент и этих двух дам с девочкой. Оказалось, они никакие не иностранки, а такие же русские. Одна из дам, мать девочки, и была мадам Макарова; другая, имени которой он так и не узнал, – ее тетка. Девочку они называли «Вики» (имя произошло на английский лад, с ударением на первом слоге, не как по-французски – на последнем). В вагоне было тесно и душно. Ко всем запахам прибавился еще и едкий нашатырный. Он исходил от двух сиамских котов, которых везла с собой Викина незамужняя тетя. Когда она выпускала котов из их плетеной корзинки, те носились по вагону, вызывая всеобщее недовольство. Однако Исаченко вспоминает, что именно этим котам он обязан началу дружбы с Вики: когда один из котов умудрился удрать во время остановки поезда, Вики, обращаясь к нему на «Вы», попросила мальчика помочь его изловить. Так, преодолев застенчивость, завязалась их дружба. Вики оказалась отличным товарищем и готова была участвовать во всех его «порой рискованных эскападах».

Поезд тащился медленно, иногда подолгу простаивая на запасных путях. Так, во время длительной остановки у какой-то товарной станции они вскарабкались на водонапорную бочку, прокатились на турнике, забрались на паровоз и умудрились проехать на дрезине. Дружба их продолжилась и в Белграде, где семьи поселились недалеко друг от друга. Там дети виделись почти ежедневно, и Александр всерьез заявил матери о своем намерении жениться на Вики, когда вырастет большой. Но Макаровы вскоре уехали в Париж, расстроив его matrimониальные планы.

Однако вернемся к столу Марьи Сергеевны, Манюши. Какой ей запомнилась Вики, когда та девочкой появилась в Париже? – «Смышленной и смешливой. С ней всегда было весело.» По словам Манюши, Вики всё давалось легко. Когда она подросла, то много читала – «на разных языках и без особого разбора». Но вот наступила пора, когда Манюшины родители перестали поощрять их дружбу, считая, что, несмотря на свои незаурядные способности, Вики слишком легкомысленна и может оказать дурное влияние на их дочь.

«И действительно, в семнадцать лет, – продолжала Манюша, – ее больше интересовали танцы и молодые люди, чем науки.» А тут еще произошла некая история. Один молодой русский получил от своего дядюшки наследство. Вокруг него образовалась веселая компания, куда вошла и Вики. Обладатель неожиданно обретенного богатства обещал спустить всё на «красивую жизнь», а когда денег не станет – покончить с собой. Щедрой рукой деньги были потрачены на рестораны и ночные клубы, с музыкой и танцами. Когда средства истощи-

лись, молодой человек действительно застрелился. Вики была одной из тех, кто провожал его гроб.

История с молодым человеком не способствовала Викиной репутации. Те, кто плохо ее знал, не замечали других черт ее характера: отзывчивость, лояльность, работоспособность. А ведь Вики рано начала работать, взяв на себя заботу о семье. Первой работой стала профессия манекенщицы в парижском доме мод «Миеб». Но продолжалось это недолго: лет в двадцать Вики уже начала работать секретарем директора фирмы, принадлежавшей успешному предпринимателю Жаку Артюису. Ввиду того, что он вел широкую торговлю строительным материалом, думаю, там могло пригодиться ее знание языков. А знала она, помимо русского и французского, еще английский и немецкий. Видимо, Артюис ее очень ценил, так как на свой заработок Вики могла снимать небольшой дом, окруженный садом, в парижском пригороде Нейи (Neilly-sur-Seine, 2, rue de Lille). Теперь этот район – один из самых престижных, и на месте дома, где Вики жила с матерью и тетей, стоит обнесенная высоким забором и охраняемая стражем во внушительной форме большая современная вилла.

У Манюши вскоре появились дети – мальчик и девочка. Чета Оболенских, к их большому огорчению, оставалась бездетной. Не имея своих, они часто приходили к Станиславским, чтобы поиграть с их детьми. Но вот началась война. Париж был занят немцами. Однажды – Манюша это хорошо помнит – раздался телефонный звонок от Вики: «Знаешь, ты не сердись, но я к тебе больше не буду приходить». Манюша была озадачена. Обижена Вики, что ли? И только после войны, узнав о Викиной подпольной работе, Манюша поняла, что Вики боялась подставить под угрозу семью своей подруги.

ГЛАВА 2.

Круг Викиных друзей не ограничивался русскими; она чувствовала себя своей и среди французов. В 1950-м году Николай Оболенский издал в Париже небольшой сборник памяти Вики³. В нем, среди прочего, опубликованы воспоминания Жаклин Рише-Сушер (Jaqueline Richet-Souchèr), которая тоже входила в ряды Сопrotивления. Ее встреча с Вики состоялась в доме общего знакомого. Хозяин представил Жаклин «высокую молодую женщину, немного угловатую, с выдающимися скулами и необыкновенно живыми глазами»⁴. Они почувствовали взаимную симпатию и стали часто встречаться. «В свои двадцать два года Вики была воплощением жизнерадостности; всё забавное ее смешило, она обладала редким даром имитации, уморительно подражая манерам людей. Но передразнивая других, она и себя не щадила, честно признавая свои недостатки», – писала Жаклин Сушер⁵. Наблюдая за своим более моло-

дым другом, Жаклин подмечала ее «любовь к природе, ощущение принадлежности к ней, когда она подставляла лицо под дождевые капли или приникала всем телом к нагретому солнцем песку. Она обожала животных и детей, а те отвечали ей тем же». И еще Жаклин поражалась Викиной любознательности; всё ее интересовало, а если чего-то не понимала, то настойчиво добивалась ответа. Со временем Вики становилась всё серьезнее. По отношению к Жаклин она проявила себя душевным и отзывчивым другом, а в отношении себя самой – «человеком, который способен оценивать свои чувства и поступки с безупречной честностью. Когда же на ее долю выпали страдания и боль, она приняла это духовно просветленной», – свидетельствовала Жаклин⁶. Мы еще вернемся к воспоминаниям Жаклин Сушер; она была рядом с Вики до конца.



Сведения о Вики поступали порой из самых неожиданных источников, как бы помимо меня. Так, летом 1988 года я была послана в Москву в качестве корреспондента «Голоса Америки» освещать встречу президента Джорда Буша-старшего с Горбачевым. Перед отъездом из Вашингтона один из коллег попросил меня связаться в Москве с родственницей его жены. Что я и сделала, улучив свободный вечер. Это была московский врач Екатерина Трубецкая. Каково было мое изумление, когда, узнав мою фамилию, она назвала себя Викиной крестницей. В Москве? Викина крестница?!

Что же оказалось: ее мать, Мария Михайловна Муравьева, урожденная Родзянко, внучка последнего председателя Государственной Думы, в годы своего пребывания в Париже была закадычной подругой Вики. Ее старшая дочь Лиза была крестницей Николая Оболенского, а младшему ребенку предстояло стать крестницей Вики. Судьба распорядилась иначе: к моменту рождения Кати Вики уже была в немецком застенке. У крестильной купели ее заменила сестра Николая – Нина. Таким образом Вики стала «заочной» крестной.

В пятидесятых годах прошлого столетия Муравьевы решили получить советские паспорта и вернуться на родину. По рассказам Кати, которая очень переживала предстоящий отъезд из Парижа, Николай Оболенский всячески отговаривал ее родителей от репатриации, считая их решение безумным, «даже грозился лечь на рельсы перед отходящим поездом», – вспоминала она. Тем не менее отъезд

состоялся. На родине семье пришлось нелегко. Кате удалось окончить медицинский институт, она вышла замуж, появились дети. Но теперь, когда приоткрылся железный занавес, она стала предпринимать усилия, чтобы получить разрешение на выезд и перебраться в США. Со временем ей это удалось. Наша следующая встреча состоялась уже в Вашингтоне. С собой она привезла рукопись воспоминаний своей покойной матери, где много места уделяется Вики в годы ее предзамужней молодости. Копию этой рукописи Катя подарила мне, дав согласие на ее использование.

Мария (Маша) Муравьева пишет, что познакомилась с Вики в автобусе, по дороге на работу. Оказалось, жили они чуть ли не в соседних домах; девушки стали часто встречаться и подружиться. Вот как описывает подругу Муравьева: «Вики была необычный человек. Большого сердца и живого острого ума. Ко всему она подходила пылко, и с ней было очень легко и весело. Казалось, она понимала всё так, как надо. Будучи человеком честного, открытого характера, она не терпела никаких компромиссов. Работая секретарем, она содержала и мать, и тетю. Ее отец Аполлон Аполлонович уехал в Америку якобы с тем, чтобы впоследствии выписать туда жену и дочь. Так мне во всяком случае рассказывала Вики. Но он никогда этого не сделал. Уезжая, он поручил Вики на день именин матери преподнести ей букет роз, от его имени. Вики честно исполняла его просьбу, никогда не забывая».

Подруги всюду бывали вместе – в гостях, на балах, концертах, в театре и кино. У них образовалась веселая компания из русской молодежи. По воскресеньям после литургии в соборе на улице Дарю, построенном в качестве посольской церкви при Александре III, все шли закусить в ресторан «Петроград», который и сейчас находится рядом с собором. Потом вся компания отправлялась еще куда-нибудь.

В ту пору молодых увлечений и романов Маша переживала сердечную драму и делилась своими переживаниями с Вики. Человек, в которого она была влюблена, был женат, но в семье у него произошел разлад, и Маша полагала, что, разведясь, он на ней женится. Развод состоялся, но предложения не последовало. Наконец, Вики решительно заявила, что с этим пора кончать: «Садись и пиши ему письмо, а я, если разрешишь, с ним поговорю». Письмо было написано, Вики с ним поговорила со свойственной ей прямоотой, и человек этот оставил Машу в самом.

Но и у самой Вики на сердечном фронте не всё обстояло благополучно. Об этом можно заключить из воспоминаний ее старого поклонника Александра Исаченко, приехавшего по делам в Париж. Вот что он пишет: «Встретились мы с Вики совершенно случайно, в 1932 году в Париже на рю Дарю. Нас представили, но мы моментально узнали друг друга. Она только что приехала из Страсбурга и пригласила меня к себе в Нейи. Созвонившись с матерью по телефону, она повела меня к автобусу и еще на автобусной остановке стала ско-

роговоркой рассказывать о себе, расспрашивать меня. Теперь она была настоящей красавицей – рослая, идеально сложенная, крайне симпатичная. Мадам Макарова и ее (всё еще безымянная) сестра снимали особнячок в предместье Парижа. В большой комнате, куда можно было пройти прямо со двора, кишели кошки всех мастей и возраста. Ужинать в такой атмосфере было довольно неприятно. Но у Вики была своя комнатуха в мансарде, куда мы укрылись после ужина. У Вики, по-видимому, было горе; она только что пережила большое [любовное] разочарование, но наша встреча была очень сердечной, искренней и веселой. Мы вспоминали наши детские игры, хохотали весь вечер. К сожалению, на следующий день мне пришлось возвращаться в Вену».

На этом заканчиваются воспоминания Исаченко о подруге детства. Что за горе она пережила, почему ездила в Страсбург, – мне неизвестно. Не пишет об этом и Маша Муравьева.

Приехав на заработки из Белграда в Париж, Маша на первых порах работала официанткой в русском ресторане «Нет», но он прогорел, разделив участь многих недолговечных эмигрантских предприятий. Тогда Вики устроила подругу в канцелярию у того же Артюиса. Маша пишет, что Артюис был милейшим человеком. Ей запомнилось, что он изобрел аппарат «Элиос» – устройство, которое позволяло при помощи ртuti и зеркал направлять солнечные лучи в помещения, куда солнце обычно не проникало.

У Маши, как и у Вики, сложились очень дружеские отношения с их шефом и его женой Ивонн. Именно в гостях у них Маша сообщила о предложении, сделанном ей Никитой Муравьевым: «'Если он позвонит по телефону, – сказала она, – то я убегу с обеда, так как решила его предложение принять.' Ивонн засмеялась и велела подать обед пораньше, чтобы я успела подкрепиться перед столь судьбоносным решением», – писала Маша и добавляла: «Почти одновременно со мной Вики стала невестой Николая Оболенского».

Артюисы встретили его сватовство настороженно: Николай был старше Вики на одиннадцать лет, он сильно хромал. Было известно, что он совершил в молодости попытку самоубийства, выбросившись из окна. По счастью, упал он не на тротуар, а на полотно навеса над первым этажом здания. Это спасло Оболенскому жизнь, но, сильно повредив ногу, он вынужден был ходить в специальном ортопедическом сапоге. Что довело Николая до такого отчаянного поступка – то ли несчастная любовь, то ли еще что, – для меня осталось загадкой.

Оболенский казался Ивонне человеком легковесным. Николай прослушал в Швейцарии курс по экономике, но постоянной работы не искал. В отличие от большинства эмигрантов, едва сводивших концы с концами, он мог позволить себе жить достаточно обеспеченно благодаря доходу от недвижимости, которую Оболенские когда-то приобрели в Ницце. Про него шутили, что «Ника – один из немногих



На первом плане стоит мальчик, который во время венчания держал семейную икону. Это – племянник жениха; мой будущий муж Валериян Оболенский. (Л. О.-Ф.)

нам с Никитой поездку в Венецию, а Вики с Никой – во Флоренцию.»

Бракосочетание Оболенских состоялась 9 мая 1937 года. Торжественное венчание происходило в соборе Св. Александра Невского на рю Дарю, после чего молодожены со всей свадебной свитой, как полагается, позировали перед фотографом на ступенях собора.

ГЛАВА 3.

Викин муж, князь Николай Александрович Оболенский, принадлежал к старшей ветви рода, ведущего свое начало от Рюрика. Он считался главой семейного клана, насчитывающего целый ряд ответвлений, – недаром про Оболенских говорят: «не род, а народ». Подписываться главе полагается лишь фамилией, без имени, что Николай и делал, покуда не принял священства. Крестник вдовствующей Императрицы Марии Федоровны и Великого князя Константина Константиновича, Николай пошел по стопам отца, став воспитанником Пажеского Корпуса, который успел окончить перед самым крушением империи. Отец моего мужа, Александр Александрович, приходился Николаю младшим братом; у них было две сестры – Нина и

русских, кто ездит в такси не за баранкой». Работа шофером такси была тогда источником заработка для многих русских, преимущественно бывших офицеров Добровольческой армии. Человек светский, он ходил по гостям, оставлял дамам цветы со своей княжеской визитной карточкой, и приносил к Артюсам все последние сенсации. Ивонн прозвала его «Новости светской жизни».

Короче говоря, (не предвидя дальнейшего хода событий, когда Ники станет ее близким другом) Ивонна считала, что Вики заслуживает лучшего мужа. Но воспрепятствовать их браку она не могла. «Свадьбы наши, – писала Маша, – были назначены на после Пасхи. Артюс временно лишился сразу двух секретарш, но это его не огорчило, и в качестве свадебного подарка он оплатил

Мия. Отец, в прошлом градоначальник Санкт-Петербурга, умер в Париже в 1924 году; мать, Саломия Николаевна, была дочерью Светлейшего князя Николая (Нико) Дадиани Мингрельского.

С Мингрелией и родом ее правителей связано много любопытного еще с давних времен: это та Колхида, куда герой древнегреческого эпоса Ясон отправился со своими аргонавтами в поисках золотого руна. Легенда о золотом руне возникла неслучайно: протекающая в Мингрелии река Риони – золотоносная. Местные жители издавна научились опускать в ее воды баранью шкуру, на которой оседала золотая пыль.

Род Дадиани ведет свое исчисление с 1046 года, став со временем одним из наиболее знатных, состоятельных и просвещенных княжеских домов Западной Грузии. Их замок в столице Мингрелии Зугдиди – подлинное хранилище редчайших грузинских книг, рукописей и археологических артефактов. В 1802 году, перед угрозой турецкого нашествия, Мингрелия – последней из грузинских княжеств – перешла под российский протекторат, при этом сохранив самостоятельность во внутренних делах.

В 1838 году владетельный князь Мингрелии Давид Дадиани женился на Екатерине Чавчавадзе, дочери поэта Александра Чавчавадзе и сестры Нины Грибоедовой, рано овдовевшей из-за варварского убийства ее мужа. Памятник, воздвигнутый ею на могиле писателя, по сей день привлекает посетителей. Он установлен на кладбище, которое находится в Тбилиси на горе св. Давида. Обе сестры славились своей красотой; Екатерину называли «черной розой Грузии». Безнадежно влюбленный в нее поэт Николо Бараташвили посвящал и дарил ей свои стихи. После смерти поэта Екатерина разрешила их напечатать, тем обеспечив Бараташвили посмертную славу одного из лучших поэтов Грузии. В переводе Бориса Пастернака, стихи Бараташвили, воспевавшие даму сердца, сделались достоянием и русских любителей поэзии. Вот начало одного из самых известных:

Цвет небесный, синий цвет,
 Полюбил я с малых лет,
 В детстве он мне означал,
 Синеву иных начал,

И теперь, когда достиг
 Я вершины дней своих,
 В жертву остальным цветам
 Голубого не отдам....

(Пер. Б. Пастернака)

Екатерина Дадиани прославилась не только как красавица и муза Бараташвили. Она выросла в Тбилиси в среде передовой грузинской

и русской интеллигенции, владела в совершенстве грузинским, русским и французским языками; выйдя замуж за Дадиани, освоила и местный мингрельский. Князь Давид Дадиани скончался в 1853 году, оставив ее ответственной за судьбу детей и за дела княжества. А было это во время Крымской войны. На Мингрелию наступали турки. Российские войска, воевавшие против британских, французских и турецких сил, не смогли защитить Мингрелию. Екатерина, оставив без ответа предложение султана перейти под его знамена, проявила решимость: собрав кавалерию из лучших мингрельских наездников – мужчин и женщин – сама верхом на скакуне, впереди войска, успешно отбила наступление турок. Вскоре подоспевшая российская армия сумела закрепить победу.

Екатерина решила отказаться от своих прав Правительницы в пользу сына Нико. Тот же, достигнув совершеннолетия, передал свои суверенные права российскому императору, получив существенное денежное вознаграждение и титул Светлейшего князя Дадиани Мингрельского.

Своим героическим отпором туркам, как и отказом перейти под покровительство султана, Екатерина Дадиани сделалась фигурой легендарной. Как-то уже во время Второй мировой войны к Саломее Николаевне Оболенской явилась группа мингрельцев, попавших в немецкий плен и посланных на работы во Францию. Узнав, что в Париже живет внучка знаменитой спасительницы Мингрелии, они решили прийти к ней на поклон и в знак почтения по очереди поцеловали ее в плечо, чем очень ее смутили.

Иными словами, образ Екатерины Дадиани стал для Мингрелии чем-то вроде Жанны д'Арк для Франции. Но если Орлеанской Деве было уготовано сожжение на костре, то жизнь Екатерины сложилась как нельзя более благополучно.

В марте 1856 года, после заключения Парижского мира, она получила приглашение на коронацию Александра II, куда прибыла с детьми и сестрой Ниной. Как свидетельствует мемуарист того времени К.М. Бороздин: «...она со свитой производила эффект чрезвычайный. Сохранившая блеск своей красоты <...> в роскошном и оригинальном костюме <...> она была чрезвычайно представительна, а рядом с нею все видели прелестную ее сестру, Грибоедову, дорогу для всего нашего русского общества по имени, ею носимому. Все были в восторге от мингрельской царицы, ее сестры, детей и свиты».

В Петербурге Екатерина создает свой салон. После пятнадцати лет столичной жизни она уезжает в Париж. Здесь, при дворе Наполеона III, ее дочь Саломия выходит замуж за принца Ашила Мюрата, внука наполеоновского маршала, которого Наполеон посадил на престол в Неаполе. Вскоре молодая чета Мюратов обосновалась с детьми в Зугдиди. Там их потомки проживали до тех пор, покуда не были вынуждены из-за революции покинуть Грузию и переселиться

во Францию. Николай Оболенский рассказывал, что эти Мюраты до конца жизни говаривали друг с другом по-мингрельски. Что же касается замка Дадиани в Зугдиди, то в наши дни он был превращен в музей, где хранятся всевозможные семейные реликвии и где висит большой портрет Екатерины работы модного художника девятнадцатого века Франца Винтерхальтера. Екатерина выглядит на нем величественно; на ее темных густых волосах красуется алмазная тиара, выполненная по ее заказу лучшим парижским ювелиром. Находится в музее и посмертная маска Наполеона, оставшаяся там после отъезда Мюратов.

Сын Екатерины, Светлейший князь Николай (Нико) Дадиани Мингрельский женится в Петербурге на дочери министра Двора Марии Адлерберг. Бракосочетание состоялось в Зимнем Дворце. Свадебное путешествие молодоженов из Петербурга в Мингрелию красочно описано грузинским автором Серги Чилая⁷: «Добравшись до Кавказа, молодые были встречены горцами, которые сопровождали их верхом с грузинскими песнями... на каждом привале устраивался пир... Заранее прибывшая в Мингрелию Екатерина встретила новобрачных перед замком Дадиани в Горди. Присутствовавшие видели, как сын, преклонивши колено, поцеловал подол материнского платья, после чего Екатерина ввела молодых в собор, где их брак благословил митрополит. Вечером был устроен пир на 500 человек гостей, будто бы евших с золотых тарелок. Песни и пляски продолжались до утра, а разведенный на горе огромный костер возвещал на всё княжество о женитьбе сына его последнего властелина.»

Последние годы жизни Екатерина провела в Горди; место это славится своим здоровым климатом. Она скончалась в 1882 году в возрасте 66 лет. Там и находится ее могила.

Ее внучка Саломия, ставшая свекровью Вики, была богатой невестой. Выйдя замуж за князя Александра Оболенского, она блистала на придворных балах (говорили, что чулки на ней были из золотой нити). Присутствием Оболенских были отмечены торжества по случаю трехсотлетия Дома Романовых. А после прихода к власти большевиков, объявленные «классовыми врагами», они вынуждены были направиться в изгнание. После краткого пребывания в Финляндии Оболенские осели в Ницце. Уверенные, как и большинство эмигрантов, что власть большевиков долго продлится не может, они жили великосветский образ жизни. Мия, отменная наездница, увлекалась верховой ездой. Для нее и Александра был нанят гувернер. Этот гувернер оказался проходимцем: он исчез бесследно вместе с драгоценностями Саломей, которые могли бы надолго обеспечить семье безбедное существование. Оболенские перебрались в Париж, где стали вести более скромный образ жизни.

На этом можно было бы закончить рассказ о романтической Мингрелии и ее правителях. Но нельзя обойти молчанием историю с

«мингрельским золотом». Когда семья Оболенских обосновалась в Париже, в подzemелье Государственного банка Франции хранились десять ящиков, принадлежавших семье Дадиани и вывезенных из замка в Зугдиди членами меньшевистского правительства Грузии при их эвакуации оттуда в 1921 году. В ящиках находились те самые золотые тарелки, отчеканенные к свадьбе Нико Дадиани, ювелирные изделия, а также редкие семейные реликвии и археологические древности. Я слышала, например, что там были туфли, принадлежавшие, по преданию, грузинской царице Тамаре. Нанятый в Париже адвокат считал, что права на всё это принадлежат Саломее Николаевне, прямой и единственной наследнице. Однако французские власти всячески оттягивали решение по ее ходатайству. К моменту женитьбы Николая на Вики ящики всё еще находились за семью печатями в подzemелье банка, дразня Оболенских своей недосягаемой близостью к ним. К неожиданной развязке этой истории мы вернемся, когда речь пойдет о послевоенных годах.

ГЛАВА 4.

Вернувшись из свадебного путешествия, Вики возобновила работу у Артюиса. Маша тоже вернулась на работу, но ушла от Артюиса перед рождением первого ребенка. В связи с прибавлением семейства Муравьевы стали искать себе подходящее жилье. Вики пришла им на помощь, уговорив хозяйку небольшого дома, примыкавшего к саду Макаровых, сдать его по сходной цене и сама участвовала в «операции» по истреблению обосновавшихся там крыс.

Копия прописки из мэрии в Нейи свидетельствует о том, что официальным адресом Вики и Николая продолжал быть дом, где она жила до замужества. На самом деле молодожены поселились отдельно от матери и тетки Вики. Отношения Николая с Викиной родней были сложные: с тещей корректные, но тетку с ее кошками он не выносил. Что касается Викиного отца, то о нем Оболенский никогда не упоминал, хотя, конечно, знал, что тот жил в Нью-Йорке, где, скажем, я с мужем могли бы с ним познакомиться. Вероятно, Николай был возмущен тем, что Макаров взвалил ответственность за семью на плечи еще совсем молодой Вики. Как мне удалось узнать, в Нью-Йорке Макаров работал на спичечной фабрике, принадлежавшей Борису Бахметеву⁸. Золотых гор нажать на такой работе было нельзя. Будущее же покажет, что Макаров отнюдь не остался равнодушным к Викиной судьбе, пытаясь разыскать ее затерявшиеся в гитлеровских застенках следы.

К началу Второй мировой войны Николай и Вики были женаты неполных три года. Напряжение в Европе нарастало по мере того, как Гитлер, нарушая Версальский мирный договор, расширял владения Третьего Рейха за счет всех территорий, где проживали этнические

немцы. После присоединения Саарской области и Австрии на очереди стал вопрос Судет, населенных немцами пограничных областей Чехии. В сентябре 1938 года состоялась знаменитая Мюнхенская конференция, согласно которой Судеты отошли к Германии. А через полгода года, уже без чьего-либо согласия, Гитлер занял всю Чехию и Моравию, а также вернул себе литовский порт Клайпеда (Мемель). Критический момент наступил, когда Гитлер предложил полякам уступить Данциг (Гданьск) и так называемый польский коридор, ведущий к Данцигу, обещая не трогать остальной Польши. Поляки на это не пошли, а западные державы, наученные горьким опытом Мюнхенской конференции попустительству Гитлеру, обязались поддерживать Польшу в противостоянии Германии.

Сталин так же мог бы тогда заключить договор с Англией и Францией – на два фронта в предполагаемой войне Гитлер не смог бы воевать. Но у Сталина был иной расчет: «Вмешательство Англии и Франции станет неизбежным, <...> [тогда] мы сможем надеяться на наше выгодное вступление в войну», – заявил Сталин на заседании Политбюро 19 августа 1939 года⁹.

После этого выступления немецкий министр иностранных дел Риббентроп был приглашен на переговоры в Москву. В результате 21 августа 1939 года в Берлине был подписан немецко-советский торговый договор, предоставляющий СССР крупный кредит, а два дня спустя Молотов и Риббентроп подписали в Москве Пакт о ненападении и секретный протокол о разделе сфер влияния¹⁰. Таким образом был «узаконен» раздел Польши: западная часть отошла к Германии, восточная – к Советскому Союзу. Пакт позволил Сталину ввести свои войска на территорию Литвы, Латвии и Эстонии, сфабриковать там принудительное «голосование» и ввести эти государства в состав СССР. Укрепив таким образом свой плацдарм, Сталин выжидал время, когда Германия достаточно ослабеет в своих военных походах, чтобы вступить с ней в войну. Диктатор до конца не верил, что Гитлер первым нарушит достигнутые договоренности. Вопрос о том, решится ли Гитлер напасть на Польшу, если бы Сталин примкнул к западным державам, до сих пор обсуждается историками, но взаимосвязь между Пактом Молотова-Риббентропа и началом Второй мировой войны очевидна: Гитлер напал на Польшу всего неделю спустя после подписания этого документа. Франция и Великобритания немедленно объявили Германии войну и стали проводить мобилизацию.

Жак Артюис, воевавший против Германии еще в Первую мировую войну, как и большинство французских офицеров запаса, немедленно откликнулся на призыв правительства. В качестве добровольцев пошли воевать за Францию и многие русские эмигранты, даже не имевшие французского гражданства, в том числе отец моего мужа Александр Оболенский и Викин близкий друг князь Кирилл Макинский. Николай Оболенский не мог этого сделать из-за увечья.

Первые семь месяцев война протекала вяло. Французы надеялись на укрепления так называемой Линии Мажино, сооруженной вдоль границы с Германией, и, скучая на передовой, шутили над «сидячей войной». Но 10 мая 1940 года, в обход Линии Мажино, Гитлер предпринял массированное наступление на Бельгию и Голландию. Американский историк Мэтью Кобб пишет: «По численному составу войск обе стороны были примерно равны: на западном фронте у союзников имелось 144 дивизии; у Германии – 141, и обе стороны располагали примерно 2,900 танками. Но у немцев была усовершенствованная система коммуникаций, и они обладали критическим превосходством в воздухе»¹¹. Под давлением гитлеровских полчищ западные силы англичан, французов и бельгийцев были прижаты к Дюнкерку, у пролива Ла-Манш. Дальше отступать было некуда, и началась массовая эвакуация войск, в которой приняли участие не только военные суда, но и гражданские, от частных яхт до рыболовецких лодок. В результате было спасено более 330 тысяч английских, французских и бельгийских военных, переправленных в Англию. Но и потери оказались большими: более двух тысяч солдат и моряков утонули при переправе; более 50 тысяч солдат и офицеров, прикрывавших подходы к Дюнкерку, попали в плен, не говоря уже об огромном количестве пропавшей военной техники.

Войну стали ощущать и в Париже. 3 июня 1940 года Маша Муравьева решила навестить свою подругу. Она напишет позднее: «Помню, 3 июня я поехала в гости к Вики и Нике, которые жили в центре Парижа у самой Сены, недалеко от автомобильного завода ‘Ситроен’. Кроме меня, Вики пригласила на обед Софку Носович, ее подругу и, как я впоследствии узнала, сотрудницу по Соппротивлению, глуховатую даму. Была также у них в гостях старая княгиня Оболенская. Только Вики успела поджарить котлеты и кое-кому разложить на тарелки, как неистово завывли сирены. Вики, обернувшись к нам, со смеющимися глазами, сказала: ‘Не пойдем в подвал, будем обедать’ – и мы согласились. Но тут началась такая бомбардировка, что мы, бросив недоеденные котлеты и захватив с собой Викину собачку Киджу, побежали в подвал. Распорядитель защиты гражданского населения любезным жестом пригласил нас войти в подвал, где уже сидели другие жильцы дома. Бесперывно слышался сначала свист, а потом грохот разрывающейся бомбы. От напора воздуха открытые двери подвала ходили ходуном. Княгиня всё шептала: ‘Господи, помилуй’ и истово крестилась. Распорядитель нас утешал, что над нами семь этажей и чтобы мы не беспокоились. ‘А что если все семь этажей на нас грохнутся’, – пыталась пошутить Вики. ‘Не беспокойтесь, дом крепкий’, – утешил он. Бомбежка кончилась, сирены завывли отбой. Мы вернулись к котлетам, но наш квартал имел весьма плачевный вид». В том воздушном налете приняло участие 300 немецких бомбардировщиков, целью которых были заводы

«Ситроен» и «Рено»; погибло 254 человека¹². Париж охватила паника. Опасаясь дальнейших налетов и артиллерийского обстрела столицы, люди ринулись вон из города. Массовый исход был стихийным. Бежали кто как мог: поездом, автобусами; на частных автомобилях и такси; на лошадиных фурах, велосипедах и, наконец, просто шли пешком. Считается, что Париж покинуло около трех миллионов жителей, запрудивших все окрестные дороги, а сверху их обстреливали с немецких самолетов¹³.

Вики и Николаю удалось сесть на поезд, идущий в Бордо, в котором ехал и Александр Бильдерлинг. В своем письме ко мне он писал, что Вики уже тогда была настроена воинственно, у него даже сложилось впечатление, что она старалась выяснить, готов ли он к сопротивлению.

Политическая ситуация во Франции приняла катастрофический оборот. Генерал Максим Вейган, назначенный президентом Рейно на пост главнокомандующего, оказался не лучше своего предшественника, на которого свалили вину за провал на фронте. Не лучшим было и назначение 84-летнего маршала Филиппа Петена на пост заместителя премьер-министра: «Ни тот, ни другой не считали, что германским силам возможно дать отпор, и оба пользовались большим влиянием в правительственных и военных кругах, настроенных в пользу капитуляции»¹⁴.

14 июня 1940 года гитлеровские войска, не встретив сопротивления, вошли в Париж. 16-го числа президент Рейно подал в отставку, маршал Петен стал премьер-министром. 17-го произошло два события. В полдень Петен обратился к французам по радио: «С тяжелым сердцем я вынужден объявить сегодня о необходимости прекратить противостояние. Военные действия будут остановлены». И в тот же день заместитель министра обороны генерал Шарль де Голль, категорически настроенный против капитуляции, самовольно покинул пост и улетел из Бордо, где временно находилось правительство, в Лондон для обсуждения возможностей французского сопротивления захватчикам вопреки решению Петена¹⁵. И то, и другое имело далеко идущие последствия. В потоке событий последующих четырех лет миллионы людей потеряют жизнь, изменятся границы государств, много имен будет внесено в черный список истории; светлыми войдут в нее те, кто нашел в себе силы и мужество противостоять оккупантам и насилию.

Для Вики и Николая Оболенских лето 1940 года ознаменовалось коренным изменением привычного образа жизни, заставив их сделать необратимый выбор – выбор, который выявил лучшие черты их характеров и то мужество, которого они, возможно, и сами в себе тогда еще не сознавали.

(Продолжение следует)

ПРИМЕЧАНИЯ

1. *Flam, Ludmila*. *Vicky – A Russian Princess in the French Resistance*. New York: The New Review Publishing, 2022.
2. *Яценко, Александр*. Русская эмиграция и движение Сопротивления в годы Второй мировой войны. Сост. М.Ю. Сорокина. М.: Дом Русского Зарубежья имени Александра Солженицына, 2021. – 228 с.
3. *Vicky*. 1911–1944. *Souvenirs et Témoignages (Memories and Testimonies)*. Воспоминания и свидетельства). Paris. 1950s. Private non-copyrighted publication.
4. Там же. Р. 13.
5. Там же.
6. Там же. Р. 14-16.
7. *Чилая, С.Е.* Екатерина Чавчавадзе. Ч. 1-2, 1966. Пер. на русск. 1969.
8. Фабрика принадлежала Борису Александровичу Бахметеву (1880–1951), русскому ученому-эмигранту в области гидравлики, политическому и общественному деятелю русской эмиграции, послу Временного правительства в США, организатору и главе Русского Гуманитарного фонда. Его именем назван крупнейший архив русской эмиграции при Колумбийском университете. В межвоенный период для оказания помощи русским эмигрантам Бахметев покупает спичечную фабрику и основывает «Lion Match Company», на которой работали эмигранты; спичечная фабрика очень быстро становится одной из четырех крупнейших в США.
8. *Пушкарев, Б.С.* Две России XX века. 1917–1993. М.: «Посев», 2008. С. 234-235.
9. Там же.
10. *Cobb, Matthew*. *The Resistance: The French Fight Against the Nazis*. London; New York: Simon and Schuster. 2009. Р. 15.
11. *Cobb*. Р. 18.
12. Яркое описание этого исхода содержится в посмертной книге Ирэн Немировски (*Irene Nemirovsky*), французской писательницы еврейского происхождения, эмигрантки из Российской Империи, – «*Suite Francaise*». Random House, 2009. – 528 p.
13. *Cobb*. Р. 17.
14. Там же. Р. 24.

ЭССЕ. ОЧЕРКИ

Дмитрий Бобышев

Об «Ахматовских сиротах»*

В начале мая 2024 года в Принстонском университете состоялась международная конференция на тему «Ахматовские сироты». Речь шла об одном частном литературном явлении в русской словесности, происходившем в 60-е годы прошлого века, – о тесном кружке ленинградских молодых поэтов, объединившихся вокруг поздней Анны Ахматовой, об их стихах, отношениях и дальнейших судьбах. С кончиной Ахматовой кружок этот распался, но его литературное значение не утратилось, а годы и десятилетия его лишь подтвердили, уготовив законное место в различных энциклопедиях и справочниках. Этому содействовали два фактора. Прежде всего – прославленное имя самой поэтессы, выдержавшее не только прижизненные наветы и гонения, но и посмертные нападки, переоценки и деконструкции. А во-вторых, необычайный поворот судьбы одного из участников кружка, увенчавший его Нобелевской премией. Однако золотая медаль одного имела и обратную сторону: своим блеском она затмевала других, создавая культ одной фигуры в читательском восприятии и сосредоточивая на ней интерес многих исследователей и критиков. Такой перевес психологически объясним, ведь слава и успех ослепительны и неодолимо привлекают публику... Но, видимо, настало время рассмотреть упомянутое явление в целом – объективно и со всех сторон. Для меня, как для участника упомянутого кружка, это собрание стало событием, имеющим принципиальное и даже символическое значение.

В чем его смысл? Лично для меня он заключается в попытке установить справедливость. Льстецы до сих пор сравнивают лауреата только с Пушкиным или с великими латинянами. Да, в литературе можно сравнивать что угодно с чем угодно, но должно не замалчивать других, а дать им звучать в силу их голоса. Ведь это как раз то самое, что Виктор Шкловский называл «гамбургским счетом». Поэты *могут и должны* состязаться, но не по количеству наград, а по качеству текстов.

Здесь к месту вспомнить ахматовскую притчу «О диванных валиках». Помню ее рассказ почти дословно. Она лежала с третьим инфарктом в больнице на Васильевском острове. Состояние было тяжелое, врачи никого к ней не пускали. Но правдами или, скорее, неправдами к ней всё же пробрался один молодой московский поэт

* Выступление на научной конференции «Akhmatova's Orphans», Princeton University, 3-5 мая 2024 года.

Георгий Недгар, приехавший с той лишь целью, чтобы узнать у нее, кто из трех является первым поэтом – Пастернак, Мандельштам или Цветаева? Замечу от себя бестактность молодого человека – Ахматову он в свой список не включил. Собравшись с силами, она ответила: все они – звезды первой величины, и не надо превращать их в диванные валики, чтобы избивать ими друг друга.

А теперь позвольте мне рассказать историю и предысторию словосочетания «Ахматовские сироты». Хотя это выражение стало более чем известно, по-моему, стоит выслушать первоисточник, каковым в данном случае являюсь я сам.

О «ПЯТОЙ РОЗЕ»

Ахматова подарила мне «Пятую розу». То есть, вернее, это я ей подарил розы, а она посвятила мне стихотворение с таким названием. Получилось это в день ее рождения, 23 июня 1963 года. Цветы достать в Ленинграде было трудно. Но все-таки стоял июнь, поэтому шансы были. На Кузнечном рынке я нашел у эстонки ведро свежайших роз и выбрал пять, самых красивых, разных форм и с разными оттенками красного и алого.

Потом нужно было ехать около часа на электричке. У роз были все шансы завянуть. Но я это предвидел, обернул черенки роз платком, обмакнул в их родное ведро, потом поместил в полиэтиленовый мешочек. И довез розы совершенно свежими. Они Ахматовой очень понравились. Она немедленно велела поставить их в вазу.

Анатолий Найман (он тогда был ее секретарем) потом рассказывал, что Ахматовой очень понравились мои розы. Она говорила, что четыре из них в должное время увяли, а пятая необыкновенно хорошо расцвела, светилась ночью и едва не летала по комнате – словом, творила чудеса. И вот это чудо она и передала в стихотворении «Пятая роза».

Но я не упомянул еще одну деталь. Я ведь с этими розами подарил ей стихотворение ко дню рождения, которое так и называется «Анне Андреевне Ахматовой». Оно написано в стиле мадригала, в куртуазной форме восхищения Прекрасной Дамой. И я написал его немножечко так весело. И это тоже, видимо, ей очень понравилось.

АННЕ АНДРЕЕВНЕ АХМАТОВОЙ

Еще подыщем трех – и всемером,
диспетчера выцеливая в прорезь,
угоним в Вашу честь электропоезд,
нагруженный печатным серебром.
О, как Вы губы стронете в ответ,
Прилаживаясь будто для свирели...
Такой от них исходит мирный свет,

что делаются мальчики смиренны.
 И хочется тогда, корзиной роз
 роскошно отягчая мотороллер,
 у Вашего крыльца закончить кросс
 и вскрикнуть дивным голосом Тироля:
 Бог – это Бах, а царь под ним – Моцарт,
 а Вам улыбкой ангельской мерцать.
 И будто бы моторов юный гром,
 и словно этих роз усмиренье,
 не просится ль тогда стихотворенье
 с упоминаньем каждого добром?

Июнь 1963

И вот она написала – не только мне – «Пятую», ее розы стали умножаться: она написала еще и Бродскому «Последнюю розу», и Найману «Небывшую розу».

Итак, они утроились, а я ведь написал об «усмирении роз», то есть об умножении их до семи – что это означало? Здесь я запрятал намек на «Великолепную семерку» – так назывался голливудский боевик с Юлом Бриннером, снискавший в то время бешеную популярность. Иными словами, дал знать, что наша четверка достойна и такого эпитета, и даже ахматовских посвящений. Так оно и вышло!

ОБ ЭПИГРАФЕ

...Ахматова открыла записную книжку и показала страницу, где ее рукой было написано: «Пятая роза», ниже – просвет, еще ниже – мои инициалы, а затем ее стихотворение. Она предложила вписать в тот просвет эпиграф. «Что именно?» – спросил я. «Из ваших стихов, что сами захотите», – таков был ответ. Я был почти уверен, что она хочет строчку из мадригала «Бог – это Бах, а царь под ним – Моцарт, а Вам улыбкой ангельской мерцать», но почему-то не смог этого написать. Показалось, что это уж как-то слишком... в таком контексте будет помпезно, что ли... И я вписал строфу из стихотворения «Движение в морском пейзаже», где Божья рука вынимает из облака белую птицу и держит ее, как живую розу:

Но вынула она запястье, кисть,
 А в пальцах шевелящаяся роза.
 Где лепестки и крылья, клюв и лист –
 Всё белое, всё – взмахи альбатроса.

На этом записная книжка захлопнулась... И на годы всё это так и оставалось, пока Ахматова не умерла. Но вот 15 сентября 1971 г. вышла «Литгазета» с небольшой подборкой «из ненапечатанного», публикатор – академик Жирмунский. Среди стихов была «Пятая роза»,

но, как говорится, «без ничего» – никаких альбатросов, никаких инициалов... Полюбовался я на такое отсутствие, погрузился, да и написал письмо в редакцию. Очень не скоро, но письмо все-таки сработало.

А в 1976 году вышла «синемундирная» Ахматова в Большой серии «Библиотеки поэта». Там был напечатан немного другой вариант «Пятой розы», а эпитафия куда-то улетел, но мои инициалы остались в посвящении и в примечаниях они раскрывались: «Посвящается поэту Дмитрию Бобышеву, подарившему Ахматовой пять роз». Итак, эта маленькая протестная акция заняла десятилетие. В истории литературы остались мои инициалы и рука с букетом роз.

О ПОХОРОНАХ АХМАТОВОЙ

О смерти Ахматовой в Москве 5 марта 1966-го можно было узнать только из заграничных «враждебных голосов», и к похоронам я поехал в Комарово, где дождался, когда ее привезут, и попрощался с ней. Я взял с собой горсть песка с этого кладбища.

Спустя несколько лет, когда я пришел в дружеский дом, мне неожиданно поставили пластинку – как сюрприз, и я ожидал, что заиграет музыка, но вместо музыки вдруг зазвучал голос Ахматовой, как будто она сама позвала меня. Этот зов меня пробудил, и я как-то быстро сочинил «Траурные октавы». В них восемь восьмистиший, каждое – набросок, фрагмент ахматовского образа.

Эти стихи были напечатаны в Париже в сборнике «Памяти Ахматовой» в 1974 году. Они хорошо известны, поэтому я приведу здесь лишь две октавы.

ВСЕ ЧЕТВЕРО

Закрыв глаза, я выпил первым яд,
И, на кладбищенском кресте гвоздима,
душа прозрела; в череду утрат
заходят Ося, Толя, Женя, Дима
ахматовскими сиротами в ряд.
Лишь прямо, друг на друга не глядят
четыре стихотворца-побратима.
Их дружба, как и жизнь, необратима.

ВСТРЕЧА

Она велела мне для «Пятой розы»
эпитафией свою строку вписать.
И мне бы – что с Моцартом ей мерцать,
а я – о превращеньях альбатроса
непоправимо внес в ее тетрадь.
И вот – она, она в газетной прозе!
Эпитафия же – и впрямь по-альбатросьи –
куда вдруг улетел – не разыскать.

О НАЗВАНИИ КРУЖКА

Я никогда не настаивал на словосочетании «Ахматовские сироты» для обозначения четверки поэтов из ахматовского окружения; и то, что его приняли и пустили в научный обиход, для меня стало неожиданностью. Но теперь им пользуются повсюду, и оно вошло как термин в разного рода справочники. Это звучит странно в сравнении с другими поэтическими группами, и в том упрекают меня. Да, я его использовал впервые в контексте моего стихотворения, но только там оно уместно и точно. Это образ четырех друзей-поэтов, собравшихся у могилы Ахматовой, истинно скорбящих по ней и по своему бывшему единству. А единство было, и у составителей словарей для него не нашлось иного обозначения, чем мои «сироты». Кстати, ударение у меня падает на первый слог, а это теперь считается неправильным. Но так тогда говорили, и я частенько слышал это слово, особенно в послевоенные годы, когда детей, оставшихся без родителей, было очень много.

Что нас объединяло? Общая молодость с ее неприятием всего, что навязывалось сверху. И еще то, что Гёте называл «избирательное сродство». Ну и, конечно, сама Ахматова. Из-за нашего неприятия сервильности в любой форме она называла нас «аввакумовцами» – ссылаюсь в этом на свидетельство Наймана.

Она также называла нас «волшебный хор», но я сам этих слов от нее не слышал. Бродскому, который обнародовал это словосочетание, приходится верить, хотя эпитет «волшебный» мне не нравится. Не нравится и «хор», потому что мы пели совсем не слитно, а каждый по-своему.

О НАШИХ ОТНОШЕНИЯХ

Но пока не проявилось соперничество, отношения были самыми дружескими, а в ностальгической перспективе – чуть ли не братскими. Мы обменивались взаимными посвящениями, стихотворными похвалами и здравницами. Найман дарил мне рифмованные поздравления к дням рождения, я ему тоже – мы были оба апрельские... Я написал похвальную рецензию на его ранний сборник, отвергнутый издательством, дал ему один рукописный экземпляр в утешение и пустил другой в самиздат: «О неизвестном известном поэте». И почтил поэта в своей первой тамиздатской книге:

Куда уходит жизнь? Должно быть – в обмолот,
на перемол, в муку – и вкус ее, и мука.
И в каравай-страна, и в колобок-народ...

Иль строчкой вымаранной промелькнет
в черновиках у друга?

И посвятил впоследствии целую поэму «Петербургские небожители» – об ангелах и других высоких точках нашего города. А шуточных стихов и поздравлений было без счета как в ту, так и в обратную сторону.

Иосиф, а для меня Жозеф (Жозеф и Деметр – так мы иногда звали друг друга), был тоже очень мил и щедр на стихи, особенно в раннюю пору нашей дружбы. Вот, вдруг обрадовал – преподнес стихотворение «дорогому Д.Б.», адресованное не только мне, но и Наталье, моей первой, с которой мы тогда примирились после большой ссоры, о чем он мог догадаться из моего «Романса об отлетающем аисте». Стихи его были сердечно-участливые. Но одна строчка царапала слух...

Вы поете вдвоем о своем неудачном союзе,
улыбаясь сейчас широко каждый собственной музе.

Я был убежден, что мы окончательно помирились с Натальей, а он объявил наш союз неудачным и, выходит, уже приговорил нас к разводу! Это было досадно, хотя впоследствии оказалось, что тут он как в воду глядел...

Были еще стихи, так и озаглавленные: «Дмитрию Бобышеву» – с городским пейзажем в дождь, с девочкой-памятью, бредущей по городу, с «тоненькой песенкой смерти». Эта неожиданная тема, уколовшая меня, вероятно, и была «пресловутой иголкой в достославном стоге», упомянутой в первой строчке, но откуда она появилась и почему мне адресована? У меня есть один ответ: из моего стихотворения «Со мною девочка идет Наталья», которое ходило в самиздате. Но там у меня – весна, влюбленность, теплые сквозняки... А у него, наоборот, мокрый холодный город, некая девочка с *temento mori*. Его стихотворение как бы перечеркивает мое.

Это шел 1962 год, Иосифу было всего 22 года, а мне как раз тогда стукнуло 26. И он принес мне в подарок еще одно, довольно большое стихотворение в двух частях «Элегия и стансы Дмитрию Бобышеву» с эпиграфом из Наймана «Какой простор для укоризн...» Конечно, слово «укоризны» из эпиграфа и было ключевым. Сюжет прерывист, настроение шаткое, со срывом в отчаяние. Даю отрывки:

... Пора прощаться понемногу.
Какая боль. Какая грусть.
Ступай, ступай. Я, слава богу,
тебе вослед не обернусь....

...Ступай, ступай. Так тень забвенья
благословлю в потемках я...
Как мало здесь от вдохновенья!
Как много здесь от забвения.

Вот так стоишь и ищешь брата,
а он стоит, как ты, в тени,
и только тень триумвирата
ты видишь в солнечные дни.

Но во второй части (стансах) укоризна заключалась в том, что друзья слишком заняты жизнью, витальной возней с ее бытом и заботами о потомстве, а он остается с глубокой печалью где-то вне, в одиночестве, готовый умереть, непризнанный и забытый как поэт... Здесь он поскромничал. В отличие от неизданной элегии, стансы были им впоследствии опубликованы отдельно и без посвящения. Напомню лишь последнюю строфу.

Я – весь умру. Ни слова, ни листка;
в чужом краю каком-нибудь недалнем,
и звон прекрасный русского стиха
мне колоколом будет поминальным.

Возможно, в подтексте это был лишь юношеский сантимент с досадой на старших, но последняя строфа просветленно возвышалась над смутными чувствами, над жалостью к себе и вдруг в последних строчках зазвучала чем-то бóльшим и даже большим – поминальным колоколом русского стиха. Но и тут царпнула укоризна: «пусть не от души, хоть что-то вы оставите от плоти». Все-таки каждый из нас, я думаю, оставил свое сердце в поэмах и воспоминаниях о том городе, где мы жили... А если уж глядеть ретроспективно, насорил потомками (то есть оставил «что-то от плоти») все-таки он.

Под машинописным текстом от руки была проставлена дата – *II IV 62* и подпись *И. Бродский*. Перекладина от заглавного *Б* размашисто перечеркивала мою дату рождения. Конечно, это был случайный росчерк его пера, но это долго мешало мне написать ответ. Слова пришли только тогда, когда начальственные тучи начали сгущаться над нашими головами.

Иосифу Бродскому

Жизнь достигает порой
такой удивительной плотности,
что лицо разбивается в кровь
о кулак ее милости, скорости, святости, подлости, кротости.

Попроси, и расскажут тебе
летчик, гонщик, погонщик коней и нырлящик –
может выломать руку в локте
многотонного воздуха ящик,
с жутким свистом мимолетающий.

Только ночью, себя от него отделив одеялом,
ты лежишь, семикрыл, рыжеват, бородат, космоват,
и не можешь понять, кто же ты – серафим или дьявол?
Основатель пустот? чемпион? идиот? космонавт?

Это стихотворение уже было набрано в альманахе «Молодой Ленинград», но я заметил редакторскую правку и в истовом протопоповаввакумовском упрямстве отказался подписать корректуру. Альманах вышел без этих стихов, но они были опубликованы позднее, в моей первой книге «Зияния», вышедшей в Париже в 1979 году.

А где же тут Евгений Рейн? Вернемся в более ранние времена. Когда мы сами были зелены, придумал я написать небольшую поэму на день рождения Солнца, вообразив наше светило юбиляром на годовщине вечности. И посвятил стихи Рейну. Привожу отрывки, а весь текст – в книге «Я здесь».

*Когда ты в тучах – дыры в них сверли, заглядывай, играй через
отверстия. На пальцы по колечку, ювелир, ты подари своим недолгим
сверстникам. Мы все живем, пока срок не вышел, – и Женя друг,
и генерал Михеев. Гордясь образованием высшим, стал Женя
Рейн мороженщик-механик. Но вот – поди ж ты – полюбил однажды,
на палец навинтил кольцо с нарезкой, и вот уже стоит, отважный, с
прелестной Галею Наринской... Романтик, а теперь тебе – зарплата.
Всё правильно. Но как, скажи, ты сладил с твоей грудною клеткою
фрегата, с душою, тренированной для славы?*

В этом стихотворении я выражал, пусть немного юмористически, только дружелюбие и добродушие. Но некая укоризненная струнка, видимо, всё-таки дребезжала – во всяком случае, ее расслышал Рейн и обиделся. Еще сильнее эта струна зазвучала в его стихотворном ответе. Приведу отрывок, а полностью – в той же книге, следом за моей поэмой.

*Ах, Дима, Дима, как тебе сказать – среди твоих уколов и укоров,
среди моих уроков и суробов такое тесто трудно раскатать. <...>
Как елочный подарок во хмелю, произойдет туманный поворот, ах,
Дима, Дима, я тебя молю не поступать тогда наоборот. Вторая
жизнь уже уклон у ног, бесповоротная, мы рождены уже. Не сомневайся.
Это точно. Но... пока не будем думать о душе.*

Предчувствие чего-то неправильного, «наоборотного», грозящего произойти, присутствует и у него, и у меня. И оно произошло. Когда настала пора и стали рваться дружбы, он полностью отрекся от меня, изобразив клеветнически в поэме «Треугольник и глаз», которую он читал по домам общих знакомых и потом повез Бродскому в ссылку. Тот, к его чести, читать этот опус не захотел. Воистину, он

мог бы называться «Треугольник и замочная скважина». Чтобы образумить Рейна, я написал и посвятил ему некое иносказание.

Евгению Рейну

Крылатый лев сидит с крылатым львом
и смотрит на крылатых львов, сидящих
в такой же точно позе на другом
конце моста и на него глядящих
такими же глазами.

Львиный пост.

Любой из них другого, а не мост
удерживает третью существа,
а на две трети сам уже собрался,
и, может быть, сейчас у края рва
он это оживающее братство
покинет.

Но попарно изо рта
железо напряженного прута
у каждого из них в цепную нить
настолько натянуло звенья,
что, кажется, уже не расцепить
скрепившиеся память и забвенье,
порыв и неподвижность, верх и низ,
не разорвав чугунный организм
противоборцев.
Только нежный сор
по воздуху несет какой-то вздор.

И эта подворотенная муть,
не в силах замутить оригинала,
желая за поверхность занырнуть,
подергивает зеркало канала
нечистым отражением.

Над рвом
крылатый лев сидит с крылатым львом
и смотрит на крылатых львов напротив:
в их неподвижно гневном развороте,
крылатость ненавидя и любя,
он видит повторенного себя.

Это стихотворение долгое время принимали за узнаваемый городской пейзаж. В этом качестве ему воздал хвалу поэт Виктор Кривулин: «В альманахе ‘Молодой Ленинград’ было впервые за пол-

века напечатано по-настоящему петербургское стихотворение – ‘Львиный мост’. Его появление означало для нас надежду на конец позорного ленинградского периода литературы. Начиналась новая эпоха – эпоха уже не советской, а новой русской поэзии, это стало очевидным именно благодаря стихам Бобышева.

И только московский поэт Слава Лён разглядел иносказание и догадался, что это стихотворение о нашей ахматовской четверке.

ЧТО ОТ НАС ОСТАЛОСЬ

А в новой эпохе «сироты» отошли в далекое прошлое, туда же, куда и «волшебный хор», а его участники по отдельности строили свои судьбы. Но, делая свое, каждый (тут я уверен) следил краем глаза, что делают остальные. Одного выдвигали, поддерживали, он и сам старался петь «нотой выше» и достиг таких пределов, что «дальше некуда»; другого, наоборот, притормаживали, но и он спел свою песню, а двое еще, оставаясь под прессом цензуры, тоже не сплющали... Самый младший умер первым, и когда его душа покидала этот мир, она явилась другому в сновидении, и он описал эту странную встречу в точности как было.

ГОСТЬ

В ночь сороковую был он, быстрый,
здесь, – новопоставленный певун.
Рыже на лице светились искры,
стал он снова юн.
Стал, как был, опять меня моложе.
Лишь его вельветовый пиджак
сообщал (а в нем он в гроб положен):
– Что-то тут не так!
Мол, не сон и не воспоминанье...
Сорок дней прощается, кружа,
прежде, чем обитель поменяет
навсегда, душа.
Значит, это сам он прибыл в гости,
оживлен и даже как бы жив.
Я, взглядевшись, не нашел в нем злости,
облик был не лжив.
Был, не притворяясь, так он весел,
так тепло толкал в плечо плечом
и, полуобняв, сиял, как если б –
всё нам нипочем.
Словно бы узнал он только-только
и еще додумал между строк
важное о нас двоих, но толком
высказать не мог.

Как же так! Теперь уже – навечно...
Быв послем чужого языка,
в собственном не поделиться вестью!
Ничего, я сам потом... Пока.

О чем была эта невысказанная весть? Возможно, об «Ахматовских сиротах», которые рассеялись по жизни, как если бы их вовсе не было, и в то же время сохранились все вместе как литературное явление... А подтверждение этому написал «следующий – на выход», Анатолий Найман. Я приведу лишь первую и последнюю строфы одного из лучших его стихотворений:

Я знал четырех поэтов.
Я их любил до дрожи
губ, языка, гортани,
я задерживал вздох,
едва только чуял где-то
чистое их дыханье.
Как я любил их, Боже,
каждого из четырех!...

...Оркестр не звучней рояля,
рояль не звучней гитары,
гитара не звонче птицы,
поэта не лучше поэт:
из четырех любому
мне сладко вернуть любовью
то, что любил в начале.
То, чего в слове нет.

В конце хочу напомнить о трех ключевых моментах в моем выступлении. Это, во-первых, «гамбургский счёт» Виктора Шкловского как образ честного и компетентного состязания. Во-вторых, умиротворяющая притча Анны Ахматовой «О диванных валиках» и, в-третьих, постулат Анатолия Наймана «Поэта не лучше поэт».

Май-июнь 2024, Princeton – Champaign

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

Бахыт Кенжеев (1950–2024)

26 июня 2024 года в Нью-Йорке скончался поэт Бахыт Кенжеев.

Он родился в 1950 году в Чимкенте в семье ишана Южного Казахстана – дед погиб от рук большевиков в 1923-м. Его «Дело» «казахского националиста» неожиданным образом всплыло спустя несколько десятков лет – и молодой семье его сына, Шукуруллы Кенжеева, пришлось срочно покинуть Казахстан. Так в жизни Бахыта возникла Москва. Там он вырос, учился, вырастал в настоящего поэта; по этому поводу всегда полушутит-полусерьезничал: «Я – русский поэт, но чувствую себя казахом». Он окончил химический факультет МГУ в 1973-м, заполучив «хлебную» профессию, – которой никогда не воспользовался. Еще студентом пришел в литературный клуб – как вспоминал его наставник тех лет, литературовед Игорь Волгин, Бахыт «явился в университетскую студию ‘Луч’ девятнадцати лет, осенью 1969 года. <...> был вежлив, немногословен, избегал ами-кошонства и заставлял почтенную публику напряженно вслушиваться в свои вкрадчивые и негромкие речи. Он умел держать паузу. ‘Поздний’ Кенжеев видится совсем иным: открытым, демократичным и, в известном смысле, даже незащищенным. Но думается, никуда не делся тот внутренний стержень, который сопутствовал ему со времен ранней молодости».

В начале 1970-х Кенжеев стал одним из создателей поэтической группы «Московское время». Сегодня понятно, сколь важным было это небольшое литературное «самопроизводное» объединение для свободной русской литературы в ее советские подневольные времена. «Манифест группы не был обнародован (не был даже написан), но какие-то его пункты читались достаточно ясно: возврат к традиции, воссоздание поэтической нормы. Оттачивание стиховой техники. Отчасти и коллективная литературная работа: целенаправленная выработка нормативного стиха и большого стиля» (М. Айзенберг). «Московское время» подарило нам Алексея Цветкова (1947–2022), Александра Сопровского (1953–1990), Александра Казинцева (1953–2020), Сергея Гандлевского и др.

В 1980-м Бахыт женится на Лауре Бераха, канадской славистке, приехавшей на стажировку в СССР. Спустя два года они решают оставить их московское житье и уехать в Канаду (не без давления соответствующих органов – сказались и публикации в «Континенте», и поддержка опальных писателей – да и весь его свободный стиль мысли и стиха). Он вспоминал: «24 июня въехал в Канаду. В день, как я люблю шутить, святого Жана Баптиста, то есть Иоанна Крестителя. На самый главный праздник Квебека. Мы приехали нищие, несчастные и вдруг – фейерверк! Так нас приветствовала Канада». Он работал

переводчиком, радиожурналистом; особое место в его жизни в те годы занимала Русская летняя школа в Норвиче, основанная еще эмигрантами первой волны: «Это была такая наша мини-Россия. <...> на этом пятачке вермонтской земли, где рядом жили два взаимоисключающих, но великих русских писателя, – Александр Исаевич Солженицын и Саша Соколов, – на этом пятачке умудрялись уживаться все, и царил атмосфера, как на ‘Острове Крым’».

Позднее Бахыт Кенжеев переселяется в Нью-Йорк; пришла в его жизнь и новая любовь. Именно в Нью-Йорке в 2000-е подобралась группа поэтов, метко названная критиком Лилей Пан «Гудзонской нотой», собравшей поэтов разных стилей, жанров и эстетик в своеобразный «цех». Началось необыкновенно творческое, богатое на стихи и дружбы время – дай Бог оставшимся продлить его!

Бахыт Кенжеев номинировался на Нобелевскую премию, получил «Антибукер», стал лауреатом множества иных престижных премий и наград, выпустил более 20 книг стихов и прозы, был членом Русского ПЕНа; публиковался в переводах на казахском, английском, немецком и др. европейских языках, менял стили и направления – и оставался всё тем же беспробудным лириком, элегистом; всё так же «держал паузу», не поддаваясь мирской и литературной суете.

Бахыт был православным. Пусть не самым примерным, но без Бога не видел себя, а у Бога ходил в любимчиках. Ведь Бахыт показавшись – «счастливчик». С годами, духовно возвышаясь и оценивая мистические стороны бытия, кажется, становился ближе к деду-суфисту, всё глубже погружаясь в кочевой образ мысли и чувства акына – певца-импровизатора, необходимого персонажа нашей карнавальной жизни...

«Столько нашепчет историй и подростковых забот / Сколько друзей в крематорий микроавтобус свезет / Хрип постаревшей пластинки леннон а может булат / Организуем поминки водка селедка салат / Веруя в родину эту в немолодую родню / Выпью расплачусь лишь свету вечному не изменю...»

*Марина М. Адамович,
гл. редактор НЖ*

Редакция «Нового Журнала» и The New Review Corporation выражают глубокие соболезнования вдове Елене Мандель, детям и всем близким покойного.

* * *

Цветкову

всякий алтарный шепот обернется щепоткой праха
так отсвистит перун отгремит гефест и зачихнет один
ах самозванцы лживые божества ни тебе аллаха
ни вифлеемского плотника вечер холоден и свободен

всех предыдущих имен не вспомнить на смертном ложе
кто-то был бодр а иной ревел от недостатка веры
распластавшись в горячей ванне прекрасней чем яд а все же
цезарю богоравному страшно взрезать молодые вены

всех предыдущих не вспомнить старческой кровью
истекающий седобородый кажется звали павел
и еще один вывешенный на древе с табличкою в изголовье
шепчущий еле хрипло Отче зачем ты меня оставил

* * *

Если ртуть – суетливый аргентум, то как же кроту
объяснить, для чего закат над его норой
проплывает, как влажный невод? Такая сухость во рту
что ни первой звезды уже не выпросить, ни второй,

не решить, отделяя минувшее точкою с запятой –
то ли сына-судью родить, то ли эринию-дочь,
чтоб им тоже топтать пресмыкающееся пятой,
а ему – оловянный крест по траве волочь.

Да и я – ухвертка под Божьим камнем, а не кощей,
для кого сохранить булавку в утином яйце – пустяк.
Повторится, кто спорит, всё, кроме вызубренных вещей,
вроде ржавых норвежек да мертвой воды в горстях,

вроде снежного мякиша, вроде судьбы – не плачь,
всё проходит. Нужда научит: всякому за углом
обещают булыжник мерзлый, а может быть, и калач,
по делам его злополучным, читай – поделом.

(«Новый Журнал», № 246, 2007)

* * *

Ах, Гамлет, Гамлет, нищий друг, ну в чем твоя вина?
Пусть у тебя шестнадцать рук, но печень-то одна.
Пора выплачивать долги, а не качать права:
У человека три ноги, но глаза только два.

От неурядицы такой кривится смертный рот,
и вот артист, забыв покой, гармонику берет.
У ней пушистые меха, и кнопок галалит
то о-хо-хо, то ха-ха-ха, то сладко, то болит.

Я был и сам большой артист, я под грозою мок,
то травянист, то каменист, то вовсе невдомек,
и робко верил, что для нас, художников, судьба
предназначает третий глаз посередине лба.

Струитесь, слезы; лейся, смех; слагайся, хитрый стих!
Топорщится тресковый мех на девах молодых.
Письмо. Дуэль. Сервант. Хрусталь. Есенин. Ночь. Трюмо.
Ну да, ни капельки не жаль, – но видеть сны, быть мо...
(«Новый Журнал», № 283, 2016)

Памяти Бахыта Кенжеева

Владимир Гандельсман

Слово о Бахыте

Сегодня хоронят Бахыта.

Совсем недавно я пережил еще одну утрату дорогого мне человека, моей кузины, и тогда, как и теперь, мне вспоминалась строка из стихотворения Ахматовой «Памяти В. С. Срезневской»: «Почти не может быть, ведь ты была всегда...»

Есть люди, с которыми смерть не вяжется. Любовь к жизни в них кажется неистошмой.

26-го июня я находился там, где нахожусь и сейчас: в Царском Селе. И поэтому совершенно естественно мне вспоминаются не только строка Ахматовой, но и пушкинские строки: «Чей глас умолк на братской перекличке? / Кто не пришел? Кого меж вами нет? / Он не пришел, кудрявый наш певец...»

26-го июня, еще не зная о смерти Бахыта, я шел по Царскому и набормотал двенадцать строк. Понятно, что выдумывать в данном случае какой-то сюжет или просто что-либо выдумывать было бы немислимо. Произошло именно так: набормотал. Единственное, что я сделал потом, – приставил к этим строчкам название.

Прошу прощения за несовершенство этой записи. Мое сердце с Леной и всеми родными и близкими.

ДВА ШАГА ВСЛЕД

1.

дыхание неоспоримей,
просторнее, не теснее,
всё видимое – незримей,
невидимое – яснее
и таинство светотени –
секунда, не дольше,
мгновение всё мгновенней
и тонкое – тоньше

2.

есть скорбь горбато говорящая
есть почерк быстрый и убористый
листвы под ветром, куст горящий
и горестное слово «горестный»

Андрей Грицман**Сезон дождей***Бахыту и Лене*

Я проснулся в стране, где живут в четырех временах года: грусть, память о грусти, ожидание грусти, сезон дождей. Время идет вдоль застывших мокрых полей по направлению к городу, и чахлый дымок стыдливо ползет из трубы охранного домика. Город встает вдали футуристическими динозаврами ненужных конструкций, и на подходах к городу закрытые в машинах люди думают о застывшем за окнами сезоне, стареют и обмениваются впечатлениями о вечном дожде, денежном обмене и мечтами о том, чтобы проснуться в раю. В раю у бассейна накрыты столы, ломящиеся от оплаченных в кредит овощей и фруктов; слышен зов муэдзина, одинокие фигуры убирают пустынный пляж после вчерашнего дня, которого и не было, а жена рядом в постели делает вид.

На следующий день мне приснилось, что умер мой друг, замечательный поэт, и мы, небольшой круг друзей и соратников, от всех это скрывали (говорили, что он уехал куда-то в Казахстан по делам), и я сидел с ними, и мы ели мертвую курицу с пластиковой тарелки, и я думал, что он любил эту еду, и что всё могло бы быть по-другому, и, на самом деле, всё еще можно повернуть, если сезон сменится вовремя или хотя бы на время. Со сна я не вполне понимал, где я проснулся, – знаете, как это бывает? Расположение эстампов на белой стене,

на комодe – черно-белая фотография чьей-то мамы со всепрощающей улыбкой, очертание человеческой фигуры, висящей на вешалке в углу, – подсказывали, что я в привычном месте, жизнь продолжается, всё идет своим чередом, и он жив, и я жив, и вдова жива и торчит в офисе, муэдзин орет где-то безопасно далеко, а фрукты и овощи можно купить на углу в корейском магазине. Я успокоился, встал, выматерился на двух известных мне языках и вдруг нашел очки. Подошел к окну и обомлел. За окном явно кончался сезон памяти и начинался сезон дождей.

Задумчиво я пил мохито
и, размышляя о Бахыте,
еще и водки заказал.
И думал я – как мало нужно
нам, в общем-то, чтоб славно жить:
смотреть на чудо пред собою,
в мозаику славянских слов,
когда волшебник пьяный нежно,
небрит, всклокочен, из глубин
вдруг достает свой неизменный
с казахской негой неизбежной
непостижимый клавесин.
А то себя вдруг повстречаю.
В такие дни я понимаю,
что жизнь случается, играя.
Плывет Гудзон, за далью даль.
Сидим в моей скворешне светлой
и пьем мы «белое вино».
И так светла моя печаль.
Бахыт напротив, рядом Лена,
Всё остальное как-то бренно,
Летит, как мусор по ветрам.
У нас тут ветер по долине,
и мы на птичьем языке
ведем беседу, не скучаем
о стародавних временах.
И хорошо мне, стих мерцает.
К закату выхожу с крыльца,
Иду к реке, гляжу на воду.
«Я вспомнил по какому поводу»...

Григорий Стариковский**Выплеснуться, вырваться, выжить...**

Лет пятнадцать назад в Москве я купил сборник Бахыта Кенжеева «Невидимые» (изд. ОГИ, 2004). Помню, читал эту книгу везде (в метро, на улице, в гостях) и, пока читал, пытался понять, почему именно эти стихи так внезапно запоминаются, овладевают сознанием. Что-то я понял уже тогда. Тетива стихотворения натягивается постепенно, каждый последующий образ углубляет предыдущий. Так же строятся и отдельные строфы: например, вторая строфа в известном стихотворении «Окраина – сирень, калина...» начинается прозрачным ладом «Лад слободской в рассрочку продан, / ветшает сердце с каждым годом», а заканчивается удивительным «с небесным медленным дождем». Кенжеев выводит читателя из городских окраин («Окраина – сирень, калина») в совсем иную ясность. Он как бы говорит: «есть ‘враги, подростки, отговорки’, вы всё это и так знаете, но есть и другое, глубокое зрение, другой, очищенный слух, и я сейчас помогу вам увидеть и услышать этот мир по-новому». Услышать-увидеть этот дождь, как тонко-тонко играющую пластинку: «Играй, пластинка, тонко-тонко – струись, сиянье из окна». Прочитирую последнюю строфу полностью:

...дуй, ветер осени – что ветер
у Пушкина – один на свете –
влачи, осиновый листок
туда, где, птицам петь мешая,
зима шевелится большая
за поворотом на восток.

И снова – расширение горизонта, промывание читательского зрения, и это его, Кенжеева, тяга – выплеснуться, вырваться – за поворот, – выжить. Пушкин назван неслучайно. Кенжееву удастся то, на что способны единицы: оставаться ни на кого не похожим мастером, при этом почти в каждом стихотворении перешептываться с Пушкиным, Баратынским, Вяземским, Тютчевым, Мандельштамом – как с равными. «Ах как молодость ластится, вьется! / Хорошо ли пируется вам – / рудознатцам, и землепроходцам, / и серебряных дел мастерам?» Наверное, мы, его друзья, добрые знакомые и соседи по разнообразным застольям, сами еще не вполне осознаем, какого драгоценного поэта мы потеряли.

Александр Стесин

Бахытик

В день, когда не стало Цветкова, я позвонил Лене, срывающимся голосом попросил передать трубку Бахыту и, едва он подошел к телефону, дал волю слезам. Он же в ответ на мои рыдания заговорил ровным голосом взрослого, который успокаивает ребенка: «Да, Сашенька, да, осиротели мы... Будем поминать... Видишь, вот я уже Лешке стопочку налил, в центре стола поставил... Вот...» Я запомнил эту реакцию как нечто непостижимое: почему же он, для которого Цветков всю жизнь был лучшим другом, в тот момент не разрыдался, как я?

Два года спустя, я получил ответ на свой наивный вопрос: невозможность смерти. Вечером 25 июня, всего за пару часов до ухода Бахыта, я говорил с реаниматологами из госпиталя Леннокс-Хилл и, хотя было понятно, что всё плохо, цеплялся за обнадеживающее: лейкоциты постепенно снижаются, стало быть, с инфекцией справились. Давление стабилизировали. Теперь будут делать КТ-ангиографию брюшной полости. Если исключат кровотечение и тромбоз, значит никакой угрозы сейчас, вроде бы, нет... Ординаторша пообещала связаться со мной, как только появятся результаты ангиографии. Я лег спать и уже в полусне увидел, как Бахыта выписывают из больницы, как мы снова сидим за столом у них на улице Мерсер. Как он, осунувшийся после болезни, тянется к бутылке, а Лена кричит, что ему нельзя. Посреди застолья он, как всегда, уходит вздремнуть... И наутро, прочитав ночное сообщение от Лены и позвонив ей, бормоча машинальное «как же так?», я всё еще не мог стряхнуть утешительный полусон: вот сейчас он проснется, выйдет из спальни, снова сядет с нами за стол и будет весело цитировать стихи Саши Кабанова: «Смерти нет, смерти нет, наша мама ушла на базу».

* * *

«В Переделкино лес облетел, над церквушкою туча повисла, да и речка теперь не у дел, знай журчит без особого смысла...» С этих стихов и с тех, что вошли в сборник «Осень в Америке», для меня началась современная русская поэзия. Когда я учился на последнем курсе Баффаловского университета, они перевернули мою картину мира. Я бормотал их по дороге на семинары Чарльза Бернстина и Сьюзен Хау, думая о разрыве между теми стихами, что мы разбирали на занятиях, и этими, случайно отыскавшимися в университетской библиотеке. Дескать, *language poetry* – замечательная вещь, но уж если заниматься таким странным делом, как сочинительство, то – ради естественной магии слова, ради таких вот строчек, мигом впечатывающихся в память. Иначе говоря, я влюбился. Потом был вечер в «Русском само-

варе», после которого чикагский друг Гарик подвел меня, робеющего юнца, к кумиру. «Бахыт Шукуруллаевич, вот познакомьтесь, это – Саша, он ваш фанат». «Ну, а твои стишки где можно почитать?», – проворковал кумир. Я пролепетал, что был бы рад прислать ему подборку, но ни в коем случае не хочу обременять его чтением моих, в общем, ученических виршей. Он записал свой имейл на салфетке, я послал стихи в тот же вечер, а к утру уже получил ответ – обстоятельный и незаслуженно комплиментарный. Окрыленный таким успехом, я дерзнул предложить: «Бахыт Шукуруллаевич, может быть, в следующий раз, когда Вы будете в Нью-Йорке, мы могли бы с Вами где-нибудь попить кофе?» – «Мы, казахи, пьем исключительно водку. Приходи в следующую пятницу в гости к моей подруге Лене. Вот адрес.» Помню, как я готовился к этому походу в гости, репетировал какие-то слова – ничего не пригодилось. Помню, как он возлежал на диване, солидный и пожилой (тогда он был на два или три года старше, чем я сейчас). И вместо ожидаемой церемонности мэтра, знакомящегося с юным обожателем-подражателем («Проходите, молодой человек, садитесь. Что ж, я прочел ваши стихи...»), бросил запросто: «Привет, Сашка».

Это было двадцать пять лет назад. С тех пор прошла целая жизнь, наша нью-йоркская жизнь – с Бахытом в центре, во главе стола. «Двадцать лет прошло, словно двадцать дней.» Теперь нужно вспоминать, записывать, пока не стерлось. Но фокус в том, что вспоминать получается только тогда, когда начинается забывание. А сейчас он еще тут, дремлет в соседней комнате. На столе – его знаменитый плов из узгенского розового риса, а на кухне – разгром, свидетельствующий о бурной кулинарной деятельности. Я тоже кулинар-любитель. «Ну это понятно, ты же биолог, а я химик, мы в таких вещах разбираемся.» И когда он проснется, поделится со мной своим последним гастрономическим открытием: «Эй, Вася, я недавно, наконец, понял, как делать настоящий домашний квас. Хочешь, расскажу?» Он как никто умеет угощать, принимать гостей. Мы готовим в четыре руки бешбармак или какую-нибудь экзотику, которую я притащил из супермаркета в Чайнатауне, или режем закуски к новому году. Потом часами сидим за столом, приятно перескакиваем с одной темы на другую, и Бахыт то и дело подливает, цитируя при этом друга Сопровского: «Много говорим, мало домой пишем». И пока я сижу за этим столом, с ним и с Леной, мне хорошо и спокойно как нигде в этом городе. Для меня эта квартира – safe space, как принято теперь говорить. Одно из любимых мест на свете. Я чувствую это всякий раз, когда, поднявшись на третий этаж, лифт открывается, и меня через весь коридор обдает запахом сигарет. А вместе с запахом, невыносимым с тех пор, как я бросил курить, – предощущение семейного тепла и уюта. Магия человеческого тепла подвластна Бахыту в меньшей степени, чем магия поэтического слова. Вот почему и Цветков, пока жил в Нью-Йорке, приходил сюда каждую пятницу без исключения.

В своем замечательном романе «Трепанация черепа» Гандлевский написал о Бахыте, что тот «не легок даже, а лёгок». Так и есть. У тех, кто не знал Бахыта близко, могло создаться ошибочное впечатление, что он просто не замечает многих вещей, которые омрачают наше повседневное существование. Не замечает, не рефлексирует, не отдает себе отчета. Что он – то, что по-английски называется «oblivious». Разумеется, это максимально далеко от правды. Будучи человеком чувствительным и, вдобавок, склонным к депрессии, он, кажется, только и делал, что замечал, рефлексировал, переживал. Но предпочитал не выплескивать это на окружающих (в этом смысле Бахыт всегда напоминал мне моего папу). Я думаю, легкость была для него осознанным выбором, установкой. Как и то удивительное достоинство, с которым он сносил любые оскорбления. Как тогда в Питере, когда пьяный литератор Мякишев срывает ему выступление хамскими выкриками из зала. Что-то про «пархатого жида» и «жалкого графомана». «Ну, не дал мне Господь таланта, что делать? – отвечал Бахыт со сцены. – Ну, давайте тогда послушаем ваши стихи, если вы так настаиваете.» Такого ответа задира не ожидал. Рассчитывал на скандал, а получил кенжеевскую добродушную иронию. И сдулся, и был незамедлительно выведен из зала.

Та фестивальная поездка в Питер весной 2006-го была моим первым визитом в Россию с момента отъезда в Америку в 1990-м. И состоялась она, как и многое в моей жизни, благодаря Бахыту. Если уж вспоминать, можно начать с того, чем я ему обязан. Первой поездкой в Россию, первой публикацией в «Новом мире» и первым откликом – там же – на мои стихи, предисловием к моей первой московской книжке, знакомством с Сашей Кабановым и Ерболом Жумагуловым (в свое время он определил нас троих в свои «литературные дети»), с Леной Генерозовой и другими замечательными друзьями. Этот список можно продолжать и продолжать, и всё это – свидетельство удивительной кенжеевской щедрости. Щедрость как легкость и теплота – одно из его определяющих качеств. С тем же энтузиазмом, с каким он угощал и принимал гостей, Бахыт знакомил и продвигал своих друзей, пристраивал подборки, радовался чужим успехам, восхищался, километрами цитировал чужие стихи (в первую очередь, стихи Сопровского, Гандлевского и Цветкова). Кроме всего прочего, он был удивительно верным другом. Через тридцать лет после смерти Сопровского продолжал говорить о нем, как если бы они виделись вот только вчера. В тысячный раз прочтя наизусть «Оду на взятие Сент-Джорджеса», поднимал тост «за Сашу» и настаивал, чтобы все чокались («иначе Саня бы обиделся»). Мне всегда очень нравился этот жест. Если пить за погибшего друга, то чокаясь. Если вспоминать, то – о веселом.

Конечно, о веселом. Иначе Бахытик обиделся бы. А веселого было хоть отбавляй. Вспомнить хотя бы стихи Ремонта Приборова и

Мальчика Теодора, которые зачитывались за тем же любимым столом на Мерсере. «Один еврей любил кита, а кит любил гипотенузу...» Или про клавиатуру с запавшей буквой «х», на которой он, «Багыт», «всё печатает эту гуйню». Или стихи, сочиненные Цветковым на какой-то из юбилеев: «Когда я познакомился с Бахытом, он растекался в лужу на глазах, питался мухами, страдал рахитом, он был еврей скорее, чем казах...» Или капуста, который Бахыт с Цветковым написали нам с Аллой на свадьбу, или тот, что они написали на день рождения Лены. Или стихотворные игры вроде конкурса на лучшие стихи с использованием словосочетания «Союз Советских Социалистических Республик». Четверостишие-победитель: «Как говорил еще Сосо, / Намазывая маслом бублик, / Люблю Союз Советских Со- / циалистических Республик». Или традицию так называемой философской лирики – двестишый про писателей и философов, которую впоследствии продолжили и мы с Борькой Лейви. «Августин Блаженный / хер имел саженный». И обязательное застольное пение хором, и его неизменные прибаутки («Все вы тут русофобы и предатели родины» или «Лена, сколько раз повторять, не позорь меня перед друзьями!»), и его практические советы («хозяйке на заметку»)...

Или вот: фестиваль «Киевские лавры», ежевечерний сабантуй на загородной даче (кто был, тот помнит) в самом разгаре. Вдруг сквозь общий гвалт я слышу голос Цветкова: «Михалыч! Ты что тут делаешь? Все врачи уже убежали спасать Бахыта, у него сердечный приступ!» Я срываюсь с места и несусь в дом, избегаю по витой узкой лестнице на второй этаж (попутная мысль: если с этой лестницы никто не грохнется в пьяном виде, это будет настоящее чудо!) и врываюсь в комнату к Бахыту. Что здесь? Кто здесь? Где пациент? Вот он, тут, лежит на койке совершенно голый поверх одеяла и зычно храпит. Других врачей – Херсонского и Грицмана – не видать. Я тормошу Бахыта:

– Бахытик, проснись! Ты в порядке?

– Нет, – бормочет сквозь сон Бахыт, – я совсем не в порядке. – И, разом пробудившись, сев на кровати, продолжает уже отчетливо, – Я совсем не в порядке, потому что я слишком мало выпил.

Я спускаюсь обратно в сад и рапортую Цветкову:

– Ложная тревога, Петрович, никакого инфаркта. Обычный запой.

– Как? – удивляется Цветков. – А где же тогда все остальные врачи?

– Видать, на консилиуме.

* * *

После того, как не стало Алеши, я начал время от времени звонить Бахыту просто, чтобы сказать ему, что я его люблю. А два года назад, когда летал в Алматы, подбил на это и Ербола. Раздавлив бутыл-

ку, мы разбудили Бахыта среди ночи и стали дуэтом признаваться ему в любви и почитании (Гандлевскому в аналогичной ситуации повезло больше: в День Благодарения мы с Олегом Лекмановым, обуреваемые приливом благодарности и любви, не стали будить адресата на другом конце света, а записали видеосообщение, которое он просмотрел на следующее утро). Разбуженный нашим звонком, Бахыт резонно выругался («Молодежь, вы вообще в курсе, сколько здесь сейчас времени?»), потом прослезился: «Вспомнил сейчас, как мы с Лешкой много лет назад из Мичигана звонили Елагину, и как он тогда удивился, что кто-то вообще помнит про него и его стихи». Удивляется ли сейчас Бахыт, наблюдая из своего непредставимого «там»? Вся фейсбучная лента и все новостные каналы уже второй день заполнены его фотографиями и стихами. Кстати, о стихах. Если выбирать любимое в творчестве Бахыта, я бы выделил два периода: ранний (те стихи, что так поразили меня в юности) и самый поздний, стихи последних нескольких лет. Этот последний период – совсем другой, чем всё, что было раньше. Суше, проще и, на мой вкус, сильнее. Кажется, ему, как Мандельштаму, удалось предельно сконцентрировать свой поэтический дар под конец жизни.

А из раннего помнится, кроме прочего, всем известное: «Тормознет – и лбом саданешь в стекло, / А очнешься – вдруг двадцать лет прошло». Как вместить в мемуар-некролог двадцать или двадцать пять лет нашей нью-йоркской жизни, в которой столько определялось его присутствием, его теплотой и легкостью? Как справиться с осознанием, что его больше нет; что невозможность смерти – краткосрочный защитный механизм?

Одна из моих любимых историй – о том, как Бахыт разговаривал во сне. По словам Лены, сноговорение случалось с ним регулярно, но она, как ни пыталась, никогда не могла разобрать ни слова. Лишь однажды услышала отчетливую фразу: «Ну ладно, ребята, еще по одной, и расходимся». Когда она рассказала об этом в застолье, Цветков резюмировал: «Теперь мы знаем, что Бахыт проживает сразу две жизни, одну наяву, а другую во сне... И эти две жизни совершенно одинаковы». Спи спокойно, любимый Бахытик, пусть твой сон будет счастливым. А мы будем продолжать наяву, как будто ты снова ушел подремать в соседнюю комнату; будем пить за тебя, чокаясь. Ты – с нами.

ПАМЯТИ БАХЫТА

Когда напоследок стихи перешлют
с припискою «Светлая память»,
пусть смысл их раскроется, как парашют,
с небес позволяющий падать.

И речка, в которую дважды нельзя,
Гудзон, обернувшийся Летой,
из прошлого, где ни обиды, ни зла,
протянется траурной лентой.

Останься. Не спрашивай, что впереди
и где, в тридесятом ли Риме.
Очнись, как когда-то, и переведи
часы на «Московское время».

Пусть снова в полночном кафе персонал,
ругаясь, обслужит, и снова –
цитат и остроумия полковой арсенал,
бок о бок и за слово слово.

Манхэттена демисезонный наряд.
Водяра и плов у «канадца».
Не в мутную Лету с разбега нырять –
в живую среду окунаются.

Туда, где баклуши примерные бьют
и путают годы с часами,
и вновь за Сопровского, чокаясь, пьют:
«Иначе обиделся б Саня».

Нью-Йорк

The New Review / Novyi Zhurnal is the oldest continuously published Russian-language literary quarterly

The New Review Inc. gratefully acknowledges the support of our loyal friends:

Patrons: Russian Nobility Association in America;

Benefactors: Mrs. Larisa Vulfina & Mr. Yan Vulfin;

Sponsors: Eli & Ludmila Flam Living Trust; American-Russian Aid Association “Otrada”; Mr. Vitaliy Pavlyuk;

Fellows: The Tcherepnine Foundation Inc.; Mr. G. Mesniaeff; Mr. A. Mous-saian; Mr. A. Nemirovsky; Mr. A. Neratov; Mr. V. Torchilin;

Friends: Ms. R. Nuzhdenko; Ms. Z. Sergeeva; Mr. G. Cheron.

The complete list of Fellows&Friends see at: <http://newreviewinc.com/fundraising-2022>

It requires the support of loyal friends for year 2024:

Patron – \$ 5,000 and up

Benefactor – \$ 2,000 and up

Sponsor – \$ 1,000 and up

Fellow – \$ 500 and up

Friend – \$ 100 and up

The Internal Revenue Service has determined that The NEW REVIEW, Inc. is a tax-exempt organization and a «public charity». Contributions to The NEW REVIEW, Inc. are tax-deductible.

Checks must be made payable to

THE NEW REVIEW
1216 Broadway, 2nd floor
New York, NY 10001

Additional information: https://newreviewinc.com/podpiska_subscription

НАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Москва, Россия: Андрей Красильников – 111024 Москва, а/я 61

Санкт-Петербург, Россия: Евгений Голлербах – тел.: 7-921-940-0421

Израиль: Марина Кособок-Полонски: Polonskybooks@gmail.com

«НОВЫЙ ЖУРНАЛ» в 2024 году можно купить:

Polonsky Books: Haifa, Huri Street, 2, Migdal ha Nevi'im, Israel;

+972 55 968 24 16

На сайте журнала через PayPal (страница: Подписка)

Вы можете оформить подписку на журнал, в том числе электронную.

Подробности на сайте: www.newreviewinc.com (Подписка)

Вся информация об авторах НЖ на сайте The New Review Inc.:

https://newreviewinc.com/avtori_ng_1/

Новый Журнал THE NEW REVIEW

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ на 2024

Подписная цена (4 книги, включая пересылку):

для университетов и организаций
в США – \$ 160.00, за границу – \$ 220.00
(10% скидка для подписных агентств)

Индивидуальная подписка

(4 книги, включая пересылку):
в США – \$ 85.00, за границу – \$ 130.00

Цена отдельного номера – \$ 16.00

дополнительно за пересылку:
в США – \$ 7.00, за границу – \$ 27.00

E-access на год – \$ 185.00

Комбинированная подписка на год
(E-access и 4 журнала)

в США – \$ 320.00
за границу – \$ 360.00
(10% скидка для подписных агентств)

Все подробности о подписке на сайте
www.newreviewinc.com (Подписка)

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В РЕДАКЦИЮ:

The New Review
1216 Broadway, 2nd floor, New York, NY 10001

Телефон и факс редакции: (212) 353-1478
www.newreviewinc.com
newreview@msn.com
